



Александр *Малышевский*

собрание сочинений
том III



собрание
сочинений

III

Радостная встреча
Отклонение
Рассказы и стихи



Александр Малиновский

**Собрание
сочинений
в 7-ми томах**

Том третий

Российский писатель

2019

ББК 84 (2-Рус)

М19

Малиновский А.С.

М19 Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 3. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2019. — 528 с.

ISBN 978-5-91642-194-1

ISBN 978-5-91642-197-2 (3 том)

Настоящее собрание сочинений является наиболее полным изданием замечательного русского писателя, известного учёного, крупного производственного руководителя Александра Станиславовича Малиновского.

Александр Станиславович Малиновский родился в 1944 году в с. Утёвка Нефтегорского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог» и прошёл путь от рабочего до генерального директора крупных нефтехимических заводов.

Доктор технических наук. Заслуженный изобретатель России. Член Союза писателей России. Автор более тридцати книг прозы и поэзии.

Награждён медалями Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Лауреат всероссийских литературных премий «Русская повесть», имени А. Толстого, имени П. Ершова, имени И. Шмелёва, имени Э. Володина. Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. Награждён Почётным знаком «За труд во благо земли Самарской».

ISBN 978-5-91642-194-1

© Малиновская Л.П., 2019.

ISBN 978-5-91642-197-2 (3 том)

Радостная встреча

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...*

А.С. Пушкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Животворящая святыня!

В сентябре 1989 года в селе Утёвка Самарской губернии на Воздвижение Животворящего Креста, после восстановления был открыт храм Святой Троицы. Событие, может быть, на фоне всплеска интереса к религии и неприметное. Но есть у этого храма одна особенность. Его история и связанная с ним судьба крестьянского художника-иконописца Григория Николаевича Журавлёва так слились между собой, что стали неотделимы. Дополняя друг друга своей похожестью, рождают они и до сих пор в округе противоречивые чувства. В них смешались преклонение, вера, недоверие, скептицизм и прочее.

Григорий Журавлёв родился без рук и ног и свои иконы писал, зажав кисть зубами.

Признаюсь, когда в начале 60-х годов я впервые узнал об этом, то пришёл в сильное волнение. Мне захотелось собрать материал о художнике. Обнаружив самое, очевидно, поверхностное, я написал очерк и, приложив снимок утёвского художника, послал его в областную газету.

Я тогда был уверен, что очерк напечатают, потому послал и уникальную, единственную фотографию. На ней художник был изображён в полный рост. Увы, не напечатали. Фотография затерялась. И только более чем через двадцать лет мне удалось найти ещё одну, подобную пропавшей.

Сейчас ложные, лицемерные боги рушатся. Говорим, что у нас в Отечестве идёт возрождение христианства. А оно и не умирало. Его пытались убить. Не удалось! Решили не замечать вовсе... Но христианство было образом жизни российского народа.

Когда-то именно она, Святая Вера Православная, собрала воедино разрозненные славянские племена и дала возможность образованию нашего, прежде единогодушного и могучего

народа. Святая Вера Православная освящала и укрепляла в наших предках любовь к своему Отечеству.

Православная Церковь, как заботливая мать, старалась воспитать в русском человеке лучшие качества. Так было! Именно Церковь стала в своё время центром нашей государственности. Церковная идея служения лежала в основе сословного устройства государства Российского.

Православность являлась непререкаемым качеством всего русского в его многовековом историческом развитии. Понятие «русский» и «православный» были слиты неразрывно.

И только в этом единении и показал свою истинную мощь русский народ! Народ соборный, державный. Всегда открытый и готовый на подвиг во имя Отечества.

Вот краткая справка.

В 1892 году в Самарской епархии насчитывалось около двух миллионов православных, действовало 837 церквей, 27 строилось и среди них — Самарский Кафедральный собор Христа Спасителя, один из крупнейших в России. После Октябрьской революции до 1985 года действовало всего 18 приходов. В 1992 году — их уже около 80. Открылся молебельный дом в г. Отрадном, и строится новая церковь. Открыта церковь в с. Покровка.

...Мои намерения были просты: заново обойти утёвцев, которые знают или помнят что-либо о Григории Журавлёве, побывать в школьном музее, в самой церкви. Поговорить с прихожанами и вновь, собрав материал, постараться закрепить в своих записках конкретные имена, события, факты.

Очень многое уходит бесследно. Но случай с Григорием Журавлёвым — уникальный. Он достоин того, чтобы сохранить эту страницу истории села Утёвка. Как одну из интереснейших и поучительных...

Письмо с берегов Адриатики

Волна краеведческих поисков материала о талантливом художнике-самоучке пошла с находки, сделанной в Республике Босния и Герцеговина югославским историком, реставратором Здравко Каймаковичем. Находкой стала икона, написанная Григорием Журавлёвым. Через комитет по охране памятников культуры Республики Босния и Герцеговина он обратился

в СССР. И от Государственного архива получил необходимые сведения, подтверждающие авторство нашего земляка-художника.

Вскоре местный учитель, руководитель краеведческого кружка Утёвской средней школы Кузьма Емельянович Данилов узнаёт об этой находке и между ними завязывается переписка.

В одном из писем Здравко Каймаковича краеведу К.Е. Данилову говорится:

«...Проводя учёт памятников культуры в нашей Республике, в 1963 году в сербско-православной церкви в селе Пурачиц около Тузлы я обнаружил икону, которую сделал Ваш земляк Григорий Журавлёв. От имени комитета я написал об этом в СССР и через Государственный архив СССР получил подтверждение тех сведений, которые написаны белой краской на иконе. Затем последовал запрос Вашей школы об этой иконе. После 1963 года я имел случай ещё раз посмотреть это произведение; у нас пока ещё нет его хорошей фотокопии, но я обещаю сфотографировать и, если фотография будет удачной, пришлю её на Ваш адрес, на адрес Вашей школы. Но до того как я сделаю это, я дам Вам описание иконы и перевод текста Григория под ней.

Икона средних размеров, исполнена масляными красками на доске и изображает славянских первоучителей св. Кирилла и Мефодия. Святые изображены стоя со свитками в руках. Икона представляет собой тщательную и тонкую работу, так что в первый момент я подумал, что это произведение иконописца с академическим образованием, предположив, что текст Журавлёва является обычной монашеской мистификацией. Отсюда моя радость, что такой феномен, каким был Ваш земляк Журавлёв, действительно существует и, преодолев жестокость природы, сумел подняться до завидных высот художественного искусства. Он художник не потому, что творил, держа кисть в зубах, но потому, что сумел создать действительно художественное произведение. Текст на иконе гласит приблизительно следующее: «СИЮ ИКОНУ ПИСАЛ ЗУБАМИ КРЕСТЬЯНИН ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ СЕЛА УТЁВКИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ БЕЗРУКИЙ И БЕЗНОГИЙ. ГОДА 1885, 2 ИЮЛЯ». Точный текст пошлю Вам дополнительно с фотографией иконы.

Я бы просил Вас, если это возможно, прислать мне фотографию Григория Журавлёва (его лично) и фотографию одного его произведения, которое сохранилось у Вас, а также некоторые данные о личности и творчестве Григория Журавлёва. Мы хотим его икону из Пурачица взять под охрану государственного закона.

Мне ничего не известно о том, как икона преодолела путь от Утёвки до Пурачица, но я предполагаю, что она подарена церкви каким-нибудь нашим человеком, который был в России примерно в 1918 году, или пожертвована русским, переселившимся в Югославию...»

Это письмо перевёл с хорватского доцент кафедры русского языка Куйбышевского пединститута А.А. Гребнев по поручению руководителя клуба интернациональной дружбы Самарского пединститута доктора биологических наук профессора Д.Н. Фролова, к которому письменно обратился К.Е. Данилов. Опережая события, с сожалением могу отметить, что остаётся неясным, получил ли обещанную фотокопию иконы К.Е. Данилов или нет, а если получил, то трудно сейчас предположить, где она...

О том, какой большой толчок дало это письмо для местных краеведов, говорит публикация в районной газете «Ленинский луч» от 10 июня 1966 года под заголовком «Крупницы большого таланта»:

«В газете «Ленинский луч» уже сообщалось, что члены историко-краеведческого кружка Утёвской средней и восьмилетней школ решили увековечить память о своём земляке художнике-самородке Григории Николаевиче Журавлёве. Они взялись организовать уголок материалов о его творчестве.

Общественность села Утёвка живо откликнулась на начинание кружковцев. Так, Иван Илларионович Кабанов охотно передал в дар юным краеведам икону, написанную Григорием Николаевичем. Так же, как Иван Илларионович, поступили сёстры Трегубовы — Анна Васильевна и Александра Васильевна.

Энтузиаст-коллекционер Владимир Борисович Якимец вскоре после опубликования «Письма из Югославии» («Ленинский луч» от 25 мая 1966 года) принёс мне как руководителю кружка икону, написанную Григорием Николаевичем на доске. На ней изображён псалмопевец Давид с арфой в руках (царь

древнееврейского государства). Владимир Борисович эту икону нашёл у кого-то на чердаке и отдал её в музей краеведения села Утёвка.

Нельзя умолчать о благородном поступке и Петра Семёновича Галкина. У Петра Семёновича бережно хранится портрет, написанный Григорием Николаевичем карандашом, где талантливо изображён дедушка П.С. Галкина. И вот этот портрет как ценную семейную реликвию Пётр Семёнович дал согласие передать в музей краеведения с условием, если ему взамен портрета дадут фоторепродукцию с него...

...Среди жителей немало и таких людей, которые с большим желанием включились в поиски творческого наследия, оставшегося после смерти нашего талантливого земляка. Так, пенсионер Иван Филиппович Гурьянов решил разыскать того человека, у которого хранится портрет, написанный нашим незаурядным земляком, где он умело запечатлел на полотне личность жителя села Утёвка Гордея Афанасьева (портного). Алексей Печенов приступил к поиску портретов своего дяди Тимофея Филипповича и двоюродного брата Николая Тимофеевича Печеновых.

К. Данилов,
председатель президиума Совета
Нефтегорского районного отделения
Всероссийского добровольного общества краеведов».

В областном музее краеведения

С надеждой переступил я порог Самарского областного музея краеведения. Но в его залах не смог увидеть того, что искал. Тем не менее я был уверен, что в музее есть материалы, касающиеся Григория Журавлёва. С этой уверенностью я и вошёл в кабинет директора музея. В тот день я ничего увидеть не смог, но мне пообещали, что недели через две покажут всё, что есть в музее, касающееся Григория Журавлёва.

И вот я держу в руках две вещи, найденные в запасниках музея. Первая — икона работы художника-самоучки с изображением женщины с ребёнком, написанная маслом на обычной доске, размером 26х31 см. На обратной стороне иконы чёткая надпись, сделанная краской:

«Икона писана Журавлёвым Григорием Николаевичем в 1910 г., безруким и безногим самоучкой художником крестьянином с Утёвки, Кинельского района, Средне-Волжского края. Работал зубами.

Приобретена Грачёвым В.В. 6.04.1933 г. у племянницы художника Мокевой Анны Давыдовны в с. Утёвка, в присутствии которой писана икона.

В.В. Грачёв».

Думаю, что в фамилию племянницы художника вкралась ошибка, ибо в Утёвке распространена фамилия Мокеевы и совсем не известна «Мокевы».

Каких-либо пояснений работники музея дать мне не смогли. Всё, что я смог им рассказать, они слышали впервые. Так что мне предстояло самому разобраться, кто такие Мокева, В.В. Грачёв, при каких обстоятельствах эта икона попала в музей, признают ли её в Утёвке и т.д. Мне позволили вынести икону во двор на дневной свет. Там я сделал несколько фотоснимков.

Названия икона не имела, музейные работники по этому поводу ничего сказать не могли.

Недели через две я показал фотокопию этой иконы настоятелю Троицкого храма с. Утёвка. По мнению отца Анатолия, на ней изображена «Млекопитательница». Чуть позже мне удалось получить машинописную копию статьи А. Праздникова, напечатанной в газете «Волжская коммуна» от 5 февраля 1970 года. Статья небольшая, всего в одну страницу. В ней привлекла внимание строка: «Несколько работ Журавлёва хранятся в фондах Куйбышевского краеведческого музея». Если Праздников не оговорился, нам, может быть, предстоит встреча с новыми журавлёвскими иконами.

И, наконец, вторая музейная находка: фотография Григория Журавлёва размером 9x12 см, на которой он изображён в полный рост со своим братом Афанасием¹.

¹ Позже обе эти фотографии впервые будут опубликованы в областной газете «Волжская коммуна» (сентябрь 1992 г.) вместе с моим очерком «Утёвские находки». По различным публикациям они теперь знакомы многим, в том числе за пределами Самарской области.

После посещения областного краеведческого музея я в который раз ужаснулся за судьбу работ Григория Журавлёва, ибо не видел той силы, которая могла бы целенаправленно, если не организовать поиски неизвестных работ художника, то хотя бы квалифицированно, с привлечением специалистов, определить достоверность авторства тех работ, которые есть в Троицком храме, а также в домах моих сельчан.

А надежды на новые находки есть...

Недавно, перечитывая переписку между К. Даниловым и журналистом из Свердловска Е. Девиковым, я наткнулся на фразу: «...А тем не менее югославская находка художника, уральская находка так же подписаны». Оказывается, на Урале обнаружена икона кисти Журавлёва. Только не следует путать, как это было допущено в одной из газетных публикаций: речь не идёт об иконе «Утёвская мадонна». Она никогда не покидала прежде пределов Утёвки. Найдена совершенно до того не известная нам икона.

Мне вскоре предстояла замечательная встреча.

Отец Анатолий подтвердил мне, что в ЦАКе (Центральном археологическом кабинете) Троице-Сергиевой Лавры наряду с иконами, известными всему миру, выставлена икона Журавлёва.

Таким образом, и там Журавлёва признали как иконописца. Так что можно возразить против того, что Журавлёв — неизвестный крестьянский иконописец. Кому не известный? Нам с вами! Нашему поколению, для которого очень многое делали, чтобы мы как можно меньше знали.

Теперь на минуту вообразим, что религия в нашем Отечестве была бы в этом столетии так же свободна, как и в прошлом. На многое, очень многое мы бы глядели иными глазами...

В школьном музее

...Ребятишки, прознав, что в школьном музее появилась боевая сабля, организовали набег. Но неудачно: школьное начальство приняло меры — музей временно закрыли. Экспонаты разнесли по разным закуткам. Потом многие из них исчез-

ли. И теперь я держу в руках лишь худенькую папку с материалами о художнике.

Увы, такая вот судьба, как это ни печально, уготована всем любительским музеям. Либо их разграбят, либо случится пожар. Или, по недомыслию маленького, но непобедимого чиновника, будет что-то перемещено, переоборудовано, перевезено, просто утрачено или выброшено во имя других, мнимо больших и важных дел. И ни копий вам, ни репродукций.

Я не виню школьное начальство, и сам-то во многом опоздал.

Подлинные экспонаты должны храниться в государственном музее. Там они защищены значительно надёжнее.

Похвальны, конечно, усилия членов историко-краеведческого кружка Утёвской средней школы по увековечению памяти своего земляка. Усилия похвальны, а результат? Собрать в одно место, чтобы потом одним махом всё сразу развеять по ветру... Конечно же здесь сработала подспудно и атеистическая пропаганда. Учитель, однозначно, должен был быть у нас неверующим, а тут заниматься с ребятами «иконописцем», «богомазом»? Непрестижно всё это было, непонятно официальным властям. А представить Григория Журавлёва без его икон невозможно!

Напрасно я пытался отыскать хотя бы нечто, похожее на опись того, что хранилось в школьном музее и что было туда передано после смерти Кузьмы Емельяновича. Этого нет. Более того, меня повергло в уныние, когда я узнал, что залежи переписки краеведа Данилова с земляками, выпускниками школы, организациями районного и союзного масштаба были просто выброшены как ненужные. Человек много лет вёл интенсивную работу по сбору сведений об известных земляках — и всё пущено по ветру. Выходит, напрасно целые поколения школьных краеведов трудились над сбором материалов. Ребята давно выросли. Другие теперь заботы у Любы Распутиной, Вали Коротковой, Лены Подусовой, Лены Бакановой — бывших активисток краеведческого музея. Я представляю их состояние, когда они, придя в школу, вместо музея увидели то, что от него осталось: тоненькая чиновничья папка с помятыми листочками.

Кого обвинять в содеянном? Кузьма Емельянович! Вы мечтали открыть музей в левой половине дома, где жил Григорий. И не успели этого сделать.

Может, нам повезёт больше, чем вам.

«Утёвская мадонна»

У этой иконы — особая история. В шестидесятых годах я впервые увидел её фотокопию, сделанную жителем села Утёвка, выпускником средней школы Владимиром Игольниковым. Годом позже увидел и сам оригинал. Мне кажется, душа художника-самоучки более всего проявилась в этой небольшой картине-иконе. Тогда я впервые услышал, как её называют в народе: «Утёвская мадонна».

На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие тёмные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Нет ни тени церковности. Но всё же она воспринимается как икона.

Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами. Они являлись миру. И уже потом эти явления разворачивались рукотворно в искусство, тиражировались и т.д. Эта икона Григорию Журавлёву явилась, это чувствуется. Уже потом может, он как художник додумывал детали. Но святое отношение к женщине-крестьянке — это от природы его.

В этом слиянии канонизированного и простого, осознанно или нет, заложена (как мне показалось) позиция обострённо чувствующей жизнь души. Надо сказать, что из всех приписываемых кисти Журавлёва икон эта — единственная такого рода.

Весной 1991 года со съёмочной группой Самарского телевидения, окрылённый возможностью наконец-то запечатлеть эту икону и владелицу её на плёнку (мы готовились сделать небольшую телепередачу о Журавлёве), я постучал в слабенькую калиточку дома номер восемнадцать по улице Чапаевской. Из дома вышла такая же слабенькая, как калиточка со скрипучим голосом, пожилая женщина — Таисия Ивановна Подлипнова, моя бывшая школьная учительница математики. Оказывается, она дальняя родственница владелицы иконы Подусовой Александры Михайловны.

Я внутренне воодушевился. Мне везёт! Уж моя-то учительница даст нам рассмотреть всё подробнее и снять на плёнку. Но всё оказалось сложнее. Нас выслушали на пороге дома и сказали, что надо посоветоваться с другим родственником, который приехал из Самары. Вышедший во двор пожилой мужчина тут

же заявил, что Александра Михайловна больна и в дом он никого не пустит. Вынести икону во двор, чтобы мы могли её посмотреть, он отказался. По всему видно было, что здесь последнее слово за ним. Мы сделали несколько попыток выяснить, когда можно будет посмотреть икону. Всё было безуспешно.

Помню отчаянную горечь в душе. Я привёз за сто вёрст съёмочную группу, знаю, что многие утёвцы очень хотят посмотреть эту икону, и ничего не могу сделать.

Мы тогда уехали ни с чем.

...И вот сегодня, 23 февраля 1992 года, я вновь у знакомой калитки. Меня манит этот дом. Не могу, приезжая в своё село Утёвка, не думать о Журавлёве и его «Мадонне».

Я пришёл один. Тайно надеялся, что одного да ещё в праздник меня встретят более приветливо. Не калитку, а дверь открыла незнакомая старушка. Пригласила в дом. В доме ещё двое: молодой человек и пожилой с приветливым лицом мужчина. Через минуту всё становится понятным. И я чувствую крайнюю досаду.

Оказывается, полгода назад Александра Михайловна Подусова умерла. Чуть позже умерла Таисия Ивановна Подлипнова. Встретившие меня приветливые люди — новые жильцы дома.

Упавшим голосом спрашиваю, не знают ли они что-либо о судьбе двух икон Журавлёва, бывших в этом доме, одну из которых называют «Утёвская мадонна».

Да, знают. Иконы забрал родственник из Самары, но адреса его у них нет...

Потихоньку затеялся разговор. Старушку зовут Елена Тимофеевна Мальцева, ей восемьдесят лет. Она певчая из церковного хора Троицкого храма. Пожилой мужчина — её сын. А вот младший из семьи, внук — псаломщик, Александр Евгеньевич Мальцев. Он служит в Троицком храме. Приехали они из Ташкента, где он и его бабушка служили в церкви Александра Невского. Пригласил их в Утёвку настоятель Троицкого храма отец Анатолий. Спрашиваю, не скучно ли после большого города жить в провинции?

Светлея лицом, старушка отвечает:

— А почему должно быть скучно? Я родилась и жила долго в тутошних местах, в Зуевке. Не стало здесь церквей, подалась по белу свету. А теперь у нас и родина есть, и храм.

Не скучно, как я понял, и мужчинам. Я успел, пока сидел в горенке, обогреться и телом, и душой. Настолько всё достойно и приветливо. А заодно и прошёл маленький ликбез о вере перед ликами святых, глядевших на меня со стен такой низенькой, но светлой избёнки.

Когда, прощаясь, поблагодарил за приём. Псаломщик сказал в ответ на моё «спасибо»:

— Во имя Бога.

Отрадная волна прошла в душе. Странно было. Я в который раз потерпел неудачу в своих поисках, но не было горечи. Не было и обиды на мою учительницу математики. Было такое ощущение, когда вышел на улицу, что я люблю весь мир, всех людей. Такими, какие они есть.

Шагая по морозному снегу, размышлял: кто же всё-таки Григорий Журавлёв? Что в нём главное?

Он — живописец. Житель и уроженец села Утёвка. А поскольку иконопись у нас в стране стала страницей истории, живописи вообще, то уникальный случай с Григорием Журавлёвым должен быть интересен не только его землякам, а и за пределами села.

Кроме всего, Григорий Журавлёв — это явление не только в иконописи, но и в истории Самарского края.

Закономерно, что ноги сами привели меня в дом отца Анатолия. И вот мы сидим за столом и ведём беседу.

...Оказывается, отец Анатолий бывал у владелицы иконы Александры Михайловны Подусовой. Видел «Утёвскую мадонну». Александра Михайловна ему говорила, что очень любит икону и бережёт её как семейную реликвию. Никогда её из дома выносить не давала. Хорошо помнила, как привозили Григория Журавлёва к ним в дом, когда он принимал заказ на икону. Его внесли и посадили за стол. Ребятно выпроводили на улицу, но она видела, как взрослые сидели за столом, разговаривали. Ей было тогда лет шесть, то есть это происходило в самом начале века... Запомнила, как забавно художник пил из стакана, беря его одними зубами!

Вот пока и вся история «Мадонны». Пока.

Я думаю, у неё будет продолжение.

Дом Журавлёвых

«Не в меньшей мере благородно поступил и Филипп Афанасьевич Гришаев. Дело в том, что он в 1928 году купил дом в селе Утёвка (Самарская улица), в котором жил и трудился до последних дней своей жизни Григорий Николаевич Журавлёв. Вместе с домом перешла в собственность Гришаева и икона работы Григория Николаевича. В беседе со мной Филипп Николаевич сказал, что икону с большим желанием отдаст в краеведческий музей. Более того, он заявил, что ту половину своего дома, в которой жил и трудился Г. Журавлёв, согласен отдать под музей краеведения».

Это выдержка из статьи К.Е. Данилова, напечатанной в районной газете «Ленинский луч» 10 июля 1966 года, когда началась работа по сбору материалов о Григории Журавлёве.

Захотелось побывать в доме, где жил художник и откуда его провожали в последний путь.

...Стоит себе обычный для утёвских улиц пятистенный дом на Самарской улице под номером восемнадцать. Смотрит на улицу своими пятью окнами. Рядом, через дорогу, наискосок — Троицкий храм. Он возвышается величаво огромным сказочным шлемом древнего русича. Захожу в дом, здороваюсь. Нынешний хозяин его, старик Николай Андреевич Бокарёв, приветливо подаёт руку. Мы не знакомы, но, когда называю своего деда и отца, принимает как своего. В деревне так: вместо визитной карточки достаточно назвать имя твоего деда либо кого-то из родственников постарше тебя.

Дом крепкий, деревянный. Внутри разделён на две половины. Правая несколько больше — в три окна, левая — в два. В этой, левой, и жил художник. В правой — его брат Афанасий Николаевич. Светло. Солнечно. На стене фотографии. На одной — хозяин. Охотно говорит о Журавлёве. Но знает всё через третьи руки. Сменились несколько хозяев, и ничего ни в комнате, ни на «подловке», ни в подвалах из личных вещей Журавлёвых нет.

— А откуда, — спрашиваю, — знаете, кто где жил?

— Да, старик Корнев говорил, он его помнит.

Удивительное дело происходит, когда собираешь материал в сёлах. Можно годами искать и не находить желаемое, а можно,

споткнувшись о неожиданную фразу, сразу оказаться счастливым...

Далее я уже не мог быть спокойным. Попрощавшись, в сопровождении сына Бокарёвых шёл вдоль домов всё по той же Самарской улице. И наконец вот он, дом Корнева.

В гостях у старика Корнева

Это второй после моего деда Ивана Дмитриевича Рябцева человек, который общался с Григорием Журавлёвым и с которым мне довелось не спеша поговорить. Всю нашу беседу (она длилась около часа) я записал на магнитофонную плёнку и сейчас попытаюсь в этой главке дать основное. Это, может быть, несколько непоследовательно, так как я сохранил разговор без какой-либо обработки. Если читатель захочет послушать и голос рассказчика, и всё, что не попало в эту главку, то плёнка хранится в моём домашнем архиве, среди самых дорогих для меня вещей.

Завораживает голос не утомлённого жизнью девяностолетнего старика. Кстати, он не заметил и не понял, что я включил магнитофон. Потом мы вместе послушали запись. Она ему понравилась.

У меня была с собой фотография обоих Журавлёвых: Григория и его брата Афанасия. Афанасий сидит на стуле, Григорий стоит рядом, на своих культышках-ногах. Тёмная его рубашка свисает почти до пола. Сидящему своему брату Григорий, стоя, достаёт головой едва до переносицы. От фигуры художника, его взгляда исходит такое ощущение физической мощи и воли, что сразу вспоминаешь богатырский облик храма Святой Троицы и удивляешься их похожести.

Я молча показал фотографию Николаю Фёдоровичу. Он с ходу назвал обоих по имени-отчеству.

— Он лёгонький был, маленький. Его принесут мужики в церковь, он сидит и зорко на всех посматривает.

— А сколько вам было лет, когда Григорий помер?

— Я с тысяча девятьсот первого года. Вот, считай. Он умер в тысяча девятьсот шестнадцатом. Похоронили его около церкви в ограде. Там могила была. В ней уже были похоронены двое: церковный староста Ион Тимофеевич Богомолов и свя-

ценник Владимир Дмитриевич Люстрицкий. Могилу разрыли и установили третий гроб.

— Большой гроб был?

— Нет, короткий гробик. Но широкий и высокий.

— Николай Фёдорович, а вы сами видели, как Григорий рисовал?

Старик опускается на колени перед стулом и поясняет:

— А вот так и рисовал. Держа кисть в зубах, стоял на полу перед маленьким особым столиком.

— Как же он обучался?

— Вначале земский учитель Троицкий помогал. В Самаре — художник Травкин. Мало ли добрых людей. Потом сам.

— Он рисовал красками?

— И красками, и углём. Писал всякие письма, прошения по просьбе сельчан. У него часто в избе кто-нибудь да бывал. Приветливый был человек!

— Ну, а как вот с бытом его, кто за ним ухаживал?

— Да ведь вначале матушка его, дед, а потом, до самой смерти — брат Афанасий. Он был искусный чеканщик. В столярной мастерской, которая от отца им досталась, он, брательник-то, мастерил деревянные заготовки для икон, готовил краски, мало ль чего ещё?.. Он вместе с Григорием обучался в Самаре. И в церковь, и на базар, и в баню, и на рыбалку, всё он — брательник его доставлял.

— А на чём возил его брательник?

— Были у него лошадь-бегунок и тарантас. Ему дал их самарский губернатор после того, как Григорий был у царя.

— Он был у царя?! Точно?

— Так говорили, и я слышал. Утверждать не буду. Народ лучше знает. Дали упряжь, тарантас, лошадь и пожизненную пенсию. За что дали? Говорят, что рисовал портрет всей царской семьи. Каково! Хороший был мужик, Григорий. Его все любили.

— А за что любили?

— Весёлый был, шутить умел. Мужики, особенно певчие, рады были его брать с собой. Часто его уносили и приносили на руках. Раза два мы, ребетня, на Рождество ходили к нему славить. Интересный. Взяв в зубы пастуший кнут, размахивался и хлопал им с оглушительным звуком. Умел красиво, мастерски расписываться.

— Николай Фёдорович, как хоронили художника? С почестями либо кое-как?

— Что ты, мил человек, с уважением, с попами. Его все почитали. Я сам не видел, но говорили тогда, что он помогал строить церковь, расписывал её. Уважаемый человек.

— Кому помешала церковь, — спрашиваю, — коли её начали ломать, а иконы и роспись почти совсем уничтожили?

— Кому-кому? Время такое было. Мешала, видать, красота вершить несправедное. Укоряла молча. Её и того... в распыл, значит, за это.

От Николая Фёдоровича я впервые услышал, что в селе Утёвка были две действующие церкви. Потом в областном архиве я отыскал сведения об этом. Дмитриевская церковь, на месте которой позже возвели деревянное здание Дома культуры (его сейчас уже нет), была построена тщанием прихожан в 1810 году, а в 1870-1875 годах расширена. Здание было каменное. Каменными были колокольня, ограда и сторожка. Престола было два: главный холодный во имя Великомученика Дмитрия Солунского и придельный тёплый во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского. Указом Священного синода от 4 марта 1885 года положено быть в ней двум священникам, дьякону и двум псаломщикам. Около этой церкви был большой базар. Храм Святой Троицы построили тщанием прихожан в 1892 году. Здание каменное, с такой же колокольней, холодное. Престол во имя Св. Живоначальной Троицы. При церкви была небольшая библиотека. В приходах имелись школы. При Троицкой церкви она была открыта в 1892 году. Школа грамоты при Дмитриевской церкви открыта была в 1895 году. Земско-общественная школа — в 1842-м. Всё село было разбито на два прихода. Оказывается, тот край села, который примыкает к реке Самарке, славен был богатыми купцами, торговавшими зерном. А доставляли зерно по реке Самарке на баржах. Сам старик Корнев несколько раз ходил этим маршрутом.

Припомнил он и такой эпизод: лопнул колокол в храме, заказали новый. Везли его от станции «Грачевка» до посёлка Красная Самарка на лошадах. Колокол весил двести пятьдесят два пуда двенадцать фунтов, другой поменьше — восемьдесят пудов.

Я было высказал сомнение по поводу веса колоколов, но старик уверенно его отклонил. От посёлка Красная Самарка колокол несли на руках. Вручную поднимали на колокольную. Желающих ударить в колокол было много. Каждый, кому посчастливилось это сделать, тут же жертвовал деньги. Звон новых колоколов слышен был в окрестных сёлах Бариновке, Покровке.

— Что двигало, — спрашиваю, — людей на такие труды?

Ответ последовал такой, каким я его и ожидал:

— Вера!

* * *

...Конечно, можно предположить, что вокруг имени Григория Журавлёва сложилось немало легенд, и здесь надо всё внимательно отбирать. Но не могу не привести выдержки из документа, подписанного К.Е. Даниловым в июле 1975 года. Оставляю впрочем и за собой право на поиск более убедительных подтверждений изложенных фактов.

Вот эти строки:

«О необыкновенном художнике стало известно царствующей фамилии дома Романовых. В этой связи Григорий Николаевич был приглашён Николаем II во дворец...

Николай II пожизненно назначил ему пенсию в размере двадцати пяти рублей в месяц и приказал Самарскому генерал-губернатору выдать Журавлёву иноходца с летним и зимним выездами.

В последней четверти века (1885-1892) в селе Утёвка по чертежам и под непосредственным руководством Журавлёва была построена церковь, а также по его эскизам была произведена вся внутренняя роспись.

На пятьдесят восьмом году своей жизни Григорий Николаевич Журавлёв скончался от скоротечной чахотки и по разрешению епископа Михаила Самарской епархии похоронен в ограде церкви, которая явилась его детищем».

Думаю, что можно говорить не о «непосредственном руководстве Журавлёва» при постройке церкви, а о его непосредственном участии как художника.

...Бытует легенда (её мне рассказывали несколько человек), что по пути из Петербурга, где он писал портрет царской семьи

по заказу царя, Григорий Николаевич попал к циркачам. Они возили его полгода по России. Показывали публике как диковинку. Еле вырвался...

По страницам газет

В разное время на страницах газет мелькали короткие, но сенсационные для рядового читателя сведения о художнике-самоучке. По сути, они повторяли одно и то же. С одной стороны, это объясняется тем, что мало в то время находили нового, с другой — естественным желанием новых людей, которые впервые близко прикоснулись к судьбе Григория Журавлёва, обнародовать, закрепить в газетной строке хотя бы то, что есть. Отсюда и перепевы.

Перечислю газетные статьи на 1990 год, в котором я начал писать эти заметки.

Можно думать, что одной из первых газетных публикаций в советское время была заметка в нефтегорской районной газете «Ленинский луч» от 25 мая 1966 года под названием «Письма из Югославии». Затем последовали: «Крупницы большого таланта» в той же газете от 10 июля 1966 года К. Данилова, «Григорий Журавлёв — живописец из Утёвки» в областной газете «Волжская коммуна» автора А. Праздниковца от 5 февраля 1987 года и, наконец, «Забывтое имя» в «Волжской коммуне» автора Р. Чумаш от 17 октября 1987 года. Номера этих газет сохранились в моём домашнем архиве. Была публикация в газете «Литературная Россия». Я её читал лично в присутствии К. Данилова, если не ошибаюсь, где-то в начале 1966 года. Этого номера потом я не нашёл¹.

Впрочем и за границей была опубликована статья в издающемся в Белграде на материалах агентства печати «Новости» журнале «Земля Советов».

¹ Уроженец села Утёвка, историк-краевед Пётр Дмитриевич Лупаев называл мне много позже ещё одну статью К.Е. Данилова «Художник-самоородок». Она была напечатана в газете «Сталинский луч» (с. Утёвка) 17 сентября 1958 года. Об этом у меня есть запись, когда я в последний раз встречался с Лупаевым в г. Новокуйбышевске незадолго до его смерти. Тогда же, помню, в нашем разговоре он поставил Григория Журавлёва в один ряд с Алексеем Мересевым.

Я пишу эти заметки и ловлю себя на мысли, что вот где-нибудь подрастает молодой человек, в котором загорится искра, и ему, более усердному и удачливому, предстоит сделать больше, чем нам... Как сказал великий поэт: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Заботы отца Анатолия

Он оказался очень молодым человеком, отец Анатолий (в миру Анатолий Павлович Копач). В первый день, когда мы познакомились, я его видел на богослужении и в светской одежде на строительной площадке. В храме работал только маленький придел с иконостасом, собранным с миру по нитке. Несколько икон возвращены из села Мало-Мальшевка, куда они попали после закрытия утёвского храма. Когда-то в церкви Мало-Мальшевки в военное лихолетье и я был крещён. Отец Анатолий назвал несколько икон, находящихся в иконостасе Троицкого храма, которые могут принадлежать кисти Журавлёва. При этом он сделал оговорку, что в написании некоторых из них и росписи на стенах храма художнику могли помогать его ученики. У Журавлёва их было двое. Икону «Господь Саваоф» принесла какая-то старушка и, не сказавшись, оставила в храме. Икона «Жены Мироносицы» привезена из села Мало-Мальшевка. Рядом с ними находятся «Крещение Господне» и «Воскресение Христово». Икону «Царь Давид» с изображением псалмопевца Давида с арфой в руках подарил когда-то школьному музею Владимир Борисович Якимец, житель села Утёвка. Он утверждал, что она написана Журавлёвым. Икону «Спаситель Благословляющий» подарила Мария Пестименина, правнучка Ионы Богомолова — попечителя храма. С Марией Пестимениной меня познакомил отец Анатолий. Заказчик и исполнитель похоронены рядом. Храм строился двадцать лет. Иона Тимофеевич Богомолов, прадед Марии Емельяновны Пестимениной, был всё время его попечителем. Он умер в 1915 году, через год — Григорий Журавлёв. Семью Марии Емельяновны раскулачили, и она долго жила на чужбине. Но место захоронения своего прадеда помнила хорошо. И показала его нам с отцом Анатолием уверенно.

Она мне и разрешила порыться в жалких остатках архива, который когда-то собирал К.Е. Данилов.

Я сидел около раскрытого сундука с остатками пожелтевших бумаг, перебирал их, а она рассказывала спокойно и отчётливо, как их раскулачивали и выслали из Утёвки.

Потом, вдруг спохватилась, словно боясь, что второй такой встречи у нас уже не будет, позвала на улицу, к Храму. И там вновь мы оказались на месте, пока ещё никак не обозначенном, захоронения художника и попечителя.

— Ты знаешь, сынок, ведь, когда закрывали церковь, иконы со стен срывали баграми. Много икон увезли, никто не знает куда. Икону «Спаситель Благословляющий» Григорий писал по просьбе моего прадеда, народ её сохранил.

Пристально посмотрев мне в лицо, сказала:

— А ведь тех людей, которые баграми срывали красоту, святых наших, я знаю. Они живы. Прошлый раз на вечере в клубе в президиуме сидела одна старушка из Самары, как ветерана пригласили. Она была комсомолкой и орудовала тогда в храме с такими же. Хотела я к ней подойти спросить, чего же это она делала тогда и как она теперь живёт, да подумала: Бог ей судья.

Позже, уже в доме, священник за чаем рассказывал, что храм был закрыт в 1934 году. Отца Гавриила пытались брать несколько раз, но каждый раз звонарь при подъезде «воронка» успевал дать призывный звон и народ вставал на защиту своего священника. В конце концов верёвки звонарю обрезали. Отца Гавриила забрали. Старый храм сломали и сделали гараж. Новый же храм намеревались взорвать, разрушили верхнюю часть колокольни, но дальше почему-то отступили, ломать не стали. Не осталось и следов от церковной ограды, от колодца. Когда храм превратили в склад, тут уж красота не выдержала. Роспись стала осыпаться и большей частью пропала совсем.

— Собираемся восстанавливать церковную ограду, могилу Григория Журавлёва, — говорит отец Анатолий. — Обычно в храмах при строительстве предусматриваются подвалы, где хранятся иконы. Возможно, что-то при закрытии храма было спрятано там. Я разговаривал с прихожанами. Их родители свято верили, что всё вернётся на круги своя. О подвале знали

только два-три человека, так что и его, и могилу теперь будем пытаться искать специальными неразрушающими методами. Нужна техническая помощь.

У священника много забот. Он депутат районного Совета, ездит по сёлам, старается как можно ближе быть к прихожанам. Его здесь любят.

У храма пока нет практически никаких подсобных помещений. Нет сносного освещения вокруг него. Но есть уже свой хор певчих, некоторые приезжают из села Бариновка.

На прошлой неделе я попал в храм в родительскую субботу. Поминали усопших. Не забыли и Журавлёвых.

«У Бога все живы», — так меня поучали богомольные старушки.

«Как приду в церковь, поставлю свечку, помяну своих и — праздник на душе».

Моя матушка, Екатерина Ивановна Шадрина, тоже зачастила в храм.

— В душе что-то по-новому ворохнулось, — говорит она, светлея лицом.

«А я и помянуть не могу своего внучка-афганца: некрещёный он. Не Богов, значит, и — ничей», — услышал я на выходе из храма.

Какой политбеседой ответишь на это?

Спрашиваю отца Анатолия, как он относится к художнику Журавлёву.

— Иконопись — это служение Христу. Он не закопал свой талант, а оживотворил его и принёс на службу своему народу. Люди помнят это. Не скудеет рука дающего, она будет возблагодарена.

Чувствуется, молодой священник много читал, многое видит по-своему. Невольно сравнивая его со светскими сверстниками, натыкаюсь на мысль, что дремучее невежество наше в религиозных и экологических знаниях — это две составляющие того провала, который ведёт нас к уродству души и тела.

Во время нашего разговора раздался телефонный звонок. Отца Анатолия вместе с женой Ольгой приглашали в гости к себе домой знакомые.

На мой вопросительный взгляд ответил:

— Пастырь, не знающий свой народ, не пастырь.

Он считает, что в общении с людьми идёт взаимоочищение. Горько переживает, что молодёжь погрязла в мате, скверне и прочих грехах. Разучилась деревня нормально разговаривать.

— Апостол послал своих учеников в дома прихожан и, если вас приняли, то способствуйте соединению с Богом.

Уже на ходу вспоминает, что времени остаётся мало, а он обещал к концу недели дать статью в районную газету. Озабочен, что запущено в селе кладбище. Кладбище — тоже сфера забот церкви. А на столе у него лежат листочки с эскизами памятника Григорию Журавлёву, которые нам предстоит обсудить.

Мария Фёдоровна Качимова, певчая из хора, рассказывала мне, что отец Анатолий в телогрейке на морозе освободил забитые досками окна храма. Горы мусора, вывезенные с того места, где сейчас иконостас, тоже дело его рук. Конечно, пастырю сейчас трудно. Ему приходится самому заниматься стройкой и возрождением храма.

Я смотрел на прихожан в храме и думал: «Но ведь это одиночки. Их мало. Мало верующих осталось, а из тех, кто приходит сюда, много просто любопытных, неверующих. Какой же путь надо преодолеть отцу Анатолию, чтобы восстановить разлад между Богом и моими односельчанами? Сказал же Пушкин, которого я считал почему-то до того большим безбожником, что религия создала в этом мире искусство и поэзию, всё великое и прекрасное. Если это так и если не будет у религии будущего, что будет с нашей душой, с искусством? Со всеми нами?..»

Костры посередине села

Мой крёстный, полковник в отставке, бывший военный лётчик Василий Дмитриевич Лобачёв, живёт сейчас во Владимире. Узнал, что я собираю материал о нашем селе, и тут же откликнулся. Прислал письмо.

Удивительны воспоминания человека образованного, пытливого, остро чувствующего время и себя в нём.

Его маленькие истории мне очень дороги ещё и потому, что действующие лица в них — либо мои родственники, либо хорошие знакомые. И все они освещены особым светом того непростого времени. Вот они, эти события нашей общей жизни, увиденные семилетним утёвским мальчиком:

«Наша церковь разрушали долго. Она как бы сопротивлялась людям, потерявшим разум. Связка между кирпичами была намного прочнее самого кирпича. Для того чтобы получить один целый кирпич, три-четыре надо было разбить.

Особенно долго не могли свалить колокольню. Хотели взорвать, но хватило ума этого не делать. Вначале долго горели костры, уничтожавшие деревянные опоры внутри кирпичной кладки. Потом привязали верёвки к верхней части колокольни, попытались её свалить. Я с ужасом ожидал, что мужиков, тянувших верёвки, накажет Бог и они провалятся сквозь землю. Но этого не случилось.

Колокольня обрушилась в другую сторону. Когда подгорели столбы, выбросила из себя, как последний выдох, с синеватым облачком, жаркое пламя.

Как и почему случилось, что люди разрушали самое красивое, святое место в своём селе?

Сказать, что кто-то виноват только со стороны, не могу. Этому кощунству предшествовал опрос граждан. Заходили с тетрадами в каждый дом и под роспись жителей села спрашивали мнение о судьбе церкви.

Ну, ладно, председатели, бригадиры, коммунисты могли заплатить за своё мнение, но рядовые-то колхозники чем рисковали? Я точно знаю, что моя мать высказала мнение «против разрушения». Мнение отца мне неизвестно. Ничего же с моей мамой не сделали! Дорогие мои земляки должны винить и себя в содеянном.

...А вокруг церкви была хорошая такая ограда, часовня, ухоженные могилы, просвирня, колодец с замечательной водой. Лучше вода для чая в то время была только в Самарке.

...Весной 1934 года мой отец готовил ульи для колхозной пасеки. Однажды ему вместо досок привезли целую подводу икон из нашей церкви. Это событие, конечно, стало известно жителям села, которые стали собираться в нашем дворе. Сокрушались, плакали. Какой грех! Но как раздать иконы? Могут посчитать врагом Советской власти. Воинствующий атеизм набрал большую силу. Что делать? Отец принимает решение: с просьбой не давать этому огласки, раздаёт иконы взамен досок, равных по размеру. Таким образом ни одной иконы из привезённых не погибло. Всё разошлось по жителям села. Конечно,

это были не все иконы. Поговаривали тогда, что предварительно их просматривали специалисты и наиболее ценные увезли в Самару. Одна икона была у нас в переднем углу. Потом её отдали кому-то из родственников.

Мне в то время было семь лет. Я всё отчетливо помню. Никто тогда отца не предал».

Эти строчки не нуждаются в комментариях.

Всё сурово и просто, как сама тогдашняя жизнь.

Радостная встреча

«Уважаемый Александр Станиславович, получил от Вас материалы о Вашем земляке-иконописце Журавлёве. Спасибо. Я передам эти материалы в Церковно-археологический кабинет. Прочёл всё, что Вы любезно прислали в письме, а также Вашу книгу.

Со страниц всего мною прочитанного сквозит неподдельный интерес и любовь к художнику-калеке.

В нашем ЦАКе действительно находится икона кисти Григория Журавлёва. На иконе изображён святой Лев — папа римский.

Размер иконы 35,4x28 см. На тыльной стороне доски надпись: «Сию икону писалъ зубами крест. Григорий Журавлёвъ Самарской губ. Бузулукского уезда с. Утёвки июля 30.1892 года».

...С пожеланиями Вам творческих успехов и уважением
Протоиерей Николай Резухин».

Я прочитал это письмо, и вновь мне вспомнилась моя удивительная поездка.

Читатель, очевидно, помнит, что отец Анатолий как-то обмолвился, что видел одну из икон Григория Журавлёва в Церковно-археологическом кабинете (ЦАК) Троице-Сергиевой Лавры. Вот это обстоятельство и подтолкнуло меня прошлым летом к поездке.

* * *

...Я сошёл с электрички и, влекомый общим людским потоком, двигался почти наугад, полагаясь, что мне не придётся долго идти.

Так оно и оказалось. Минут через пять ходу я вышел из стареньких улиц на простор и увидел Его.

Город лежал чуть ниже меня, златоглавый и величественный.

С этой минуты я уже не замечал бытовых деталей вокруг. Меня манил сказочный город-крепость.

Но надо было как-то ориентироваться.

Две идущие впереди монахини, к которым я обратился, оказались неожиданно разговорчивыми. На мой наивный вопрос, смогу ли я попасть в город и посмотреть его, одна из них, высокая и светлая лицом, живо ответила:

— Тысячи людей попадают, почему вам нельзя? Смотрите, какой поток народу льётся туда и обратно!

Действительно, мой первый вопрос был явно не совсем удачным. Но у меня был второй, для меня настолько важный, что я не мог задать его с ходу, боясь встретить равнодушие и отрицательный ответ.

Я всё-таки собрался с духом:

— А вы слышали что-либо об иконах в ЦАКе, написанных безруким художником Журавлёвым?

Та, что пониже, сразу ответила, что нет, о таком не слыхала.

Высокая, которую, как потом я узнал, зовут Олей, скороговоркой зашепила:

— Слышала и видела. Я не помню имени художника, но картину видела. Видела! Она в кабинете висит.

— А как мне попасть туда?

— Идите с нами к Царским чертогам, а там разберётесь.

Так я оказался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Монахини на территории Лавры как-то спешно отделились от меня, сказав, чтобы я обратился к любому семинаристу Духовной Академии, и мне помогут.

Я так и поступил. Мне тут же ответили стоящие у входа в Академию молодые люди, что без протоиерея Николая Резухина я не смогу ничего увидеть. Сегодня ЦАК не работает, а у протоиерея какая-то серьёзная внеплановая делегация. Его не поймать.

Мои планы рушились, ибо мне надо было вечером быть в Москве. В кармане лежал билет на поезд до Самары. Очевидно, как-то угадав моё отчаянное состояние, один из ребят при-

близился ко мне и вполголоса проговорил, озорно сверкнув глазами:

— Мы его изловим! Я знаю, где он! Идите за мной.

Протоиерей Николай Резухин — помощник ректора Московской Духовной Академии и семинарии по представительской работе, заведующий ЦАК, депутат местного городского Совета, оказался очень занятым человеком. Невысокого роста, в обычной светской одежде, с рыжеватой бородкой, быстрый в движениях, он был похож на доцента с институтской кафедры.

Не останавливаясь, на ходу выслушав сбивчивое извинение и просьбу, глядя на меня цепкими и колючими глазами, назидательно сказал, что времени для того, чтобы сегодня поговорить со мной, у него нет.

И тут мне пришёл на ум довод, который я тут же и использовал:

— Журавлёв — мой земляк. Мы с ним из одного села. Я неделю назад был в его доме. Ходил по его комнате. Понимаете мои чувства?

Мой собеседник всё понял.

— Ну, если так, посидите где-нибудь в скверике. Часа через два-три я, может быть, вас найду.

И ушёл. Что мне оставалось делать?

Боясь потерять возможность встречи с протоиереем, я решил неотлучно ждать на скамейке под липами у Троицкого собора.

...Я сидел в тени старинных цветущих лип и пытался разобратся в своих чувствах.

Кругом была изумрудная свежая зелень, аромат сирени в воздухе, группы туристов, слушатели Академии. Звучала русская и нерусская речь. Звонили колокола.

И мне на какой-то миг показалось, что моя мечта — найти и посмотреть икону Григория Журавлёва — несбыточна. Грандиозность соборов, монументальность всего и официоз отделили художника и его иконы от меня и моих сельчан. Здесь не до него и не до меня. Настолько микроскопичен человек перед этой беспредельной вечностью, осевшей на куполах соборов...

...Я ошибся. Меня тихо позвал совсем молодой человек, сказав, что он от отца Николая. Мой новый знакомый оказался студентом Московской Духовной Академии. Назвался он братом Тимофеем. Мы направились в ЦАК.

Пока кто-то ходил за ключами, из рассказа моего гида я узнал, что Церковно-археологический кабинет расположен в Царских Чертогах, одном из интереснейших сооружений восьмидесятых годов XVII века в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чертоги — целая веха в истории Московской архитектуры. До того обычно дворцы являли собой сложные по планировке постройки, живописные и причудливые. Чертоги же отличаются строгим единым объёмом, они и определили в последующем развитие Московской архитектуры в сторону «регулярности». ЦАК расположен на втором парадном этаже Чертогов. Он создан по благословию Святейшего Патриарха Алексия в 1950 году при кафедре Церковной археологии. Экспозиция кабинета размещена в исторической последовательности.

Принесли ключи. И вот она — комната с экспозицией, посвящённой работам русских художников XVIII-XX веков. Первое, что бросается в глаза, — картина В.И. Сурикова на сюжет из IX главы Евангелия от Иоанна «Исцеление слепорождённого». Тут же картина А.П. Рябушкина «Благословляющий Христос Спаситель», этюды В.М. Васнецова «Богородица с младенцем Христом», М.В. Нестерова «Портрет священника», В.Д. Поленова «Христос Спаситель» и многие другие. И, наконец, она — цель моей поездки.

На этом стенде восемнадцать икон в четыре ряда.

В верхнем правом углу вторая справа — икона Г. Журавлёва «Святой Лев — папа римский».

Изображение выполнено на доске около трёх сантиметров толщиной. Мягкий коричневый цвет и бледные розово-голубые тона на нежном сером фоне. Икона не теряется в ряду работ знаменитых авторов. Более того, она не отпускает от себя и притягивает своей проникновенностью и тонким лиризмом.

Икона основательно прикреплена к стене. Поэтому я не мог осмотреть обратную сторону её. Но брат Тимофей заверил, что, как только время позволит, либо он, либо отец Николай икону снимут. Текст, который там есть, перепишут и пришлют мне в письме.

Внезапно появился отец Николай, уже в церковной одежде возглавляя внеплановую экскурсию. Я видел, с каким неподдельным интересом люди смотрели на икону Журавлёва. Так же, как и я, по несколько раз возвращались к ней взглядами.

Огорчило одно: очевидная скудность информации о Григории Журавлёве, которой владели в кабинете. Насколько мог, я постарался восполнить это, рассказав некоторые подробности из биографии художника. Передал его фотографию.

...Освободившийся наконец протоиерей Николай Резухин пригласил меня к себе, и я увидел и услышал живого обаятельного человека.

...В довершение всего, узнав, что я вечером еду в Самару, меня накормили в студенческой столовой при Академии. Прощаясь, мы обменялись адресами, обещая сообщать друг другу о новых находках, которые будут касаться моего земляка-художника.

Не хотелось уходить. Вместе с братом Тимофеем я побывал на молебне и поставил свечи за упокой души всех умерших своих ближайших родственников, которых помнил, написав их имена на бумаге. И отчего-то, когда я вышел из монастырских стен и шёл к электричке, всё казалось мне, что кто-то: то ли помянутые мною родственники из моего далёкого далека, то ли чей-то иконный лик, большой и невидимый, — освещал мне путь добрым и тёплым светом...

...И за всё это, за радостную встречу, приблизившую меня к моим предкам и ко всему русскому, я был благодарен земляку Григорию Журавлёву, заставившему по-новому взглянуть в гулкое наше прошлое.

«Мне повезло прикоснуться...»

Сразу после опубликования моих заметок «Утёвские находки» о художнике в областной газете «Волжская коммуна» в сентябре 1992 года, где были помещены несколько найденных мною уникальных фотографий, я начал получать письма от знакомых и незнакомых мне людей. Люди искренне пытались помочь в поиске важных для меня сведений либо просто размышляли над нашим прошлым и будущим.

Мимо судьбы Григория Журавлёва нельзя пройти равнодушно. Вот выдержки из письма художника-оформителя Николая Ивановича Колесника. Это письмо интересно хотя бы уже тем, что своё мнение высказывает художник:

«Григорий Журавлёв по своей профессии близок мне. Я понимаю, что видеть краски, чувствовать пространство, уметь

создать образ — это не всё. Необходимо ещё умело владеть кистью. Художник-иконописец, преодолевая недуг, отыскал силы, чтобы развить в себе талант, которому суждено остаться в веках. Эти иконы воистину нерукотворные.

Да вот беда наша в том, что мы порой проходим мимо таких человеческих судеб. Этому ещё раз свидетельствует случай с сельским музеем, который, видимо, имеет свои корни в разрушительной стихии, направленной против христианских святынь ещё тех, далёких, послеоктябрьских лет. Я один из тех, кто видел фотографию Григория Журавлёва. Первое, что идёт на ум: сила духа этого человека, очевидно, была так велика, что она превозмогла всё. Трудно сказать, что стояло на первом месте — борьба за существование или потребность выразить себя. Но его иконы написаны с большим старанием и умением. Об этом говорит фотография иконы «Утёвская мадонна». Я решил сделать копию её, пользуясь фотографией. Это оказалось не так-то просто. Сразу почувствовал, что написана она мастером высокого класса. По несколько раз я принимался за эту работу и всё не находил нужных оттенков. Порой ловил себя на мысли, что эта работа мне просто непосильна. И какова была моя радость, когда не без участия коллег по работе копия картины была вставлена в багетовую рамку и предстала на суд зрителей, которые узнали из моего рассказа, кто автор подлинника и какова его судьба. Я был счастлив. Я чувствовал, что мне повезло прикоснуться к чему-то очень большому и вечному.

Таков он — ваш земляк Григорий Журавлёв.

Знаете, у меня есть свои так называемые «настольные книги». Они порой бывают в нескольких томах, а порой — небольшой книжечкой или газетной полосой.

Для меня материал о Журавлёве выполняет задачу тех больших томов, которые дают возможность черпать силы для творчества».

* * *

...Современники Журавлёва тоже не были глухи к его таланту. Приведу отрывки из газеты «Самарские губернские ведомости» № 1 от 5 января 1885 года:

«...Крестьянин с. Утёвка Бузулукского уезда Григорий Николаевич Журавлёв, имеющий в настоящее время около 25 лет от роду, в самом раннем детстве лишился употребления рук и ног (руки до плеч и ноги по колена атрофированы, и он может передвигаться только на коленках) и грозил быть бременем для своего бедного семейства...

...Лет 8-ми от роду Журавлёв стал посещать сельскую школу и в два года выучился читать, а затем, познакомившись с употреблением карандаша, принялся учиться письму и рисованию, вставляя для сего карандаш между зубами...

...Но этого Журавлёву было мало: он задумал во что бы то ни стало выучиться писать масляными красками «настоящие образа». И вот 15-летний поклонник искусства, никуда доселе не выезжавший из родного села, появляется в губернском городе и обращается к проживающему здесь живописцу Травкину с просьбой показать ему, как пишутся «образы». Тот ласково принял такого необыкновенного ученика, оставил его на несколько дней в своей квартире и познакомил с первыми приёмами живописи. Этого для Журавлёва было достаточно. Закупив в Самаре красок, кистей и прочего, он вернулся в родную Утёвку и, заказав себе стол с особыми приспособлениями, принялся учиться живописи.

Верным и постоянным спутником в этом деле явилась у него старуха-бабушка, которая стала чистить кисти, подготавливать краски, усаживать внучка за работу и так далее...

...Через пять лет непрерывного труда этот живописец-самоучка стал писать «образы» настолько удовлетворительно, что решился несколько экземпляров икон своей работы подарить высокопоставленным лицам города Самары. С этого времени Журавлёв начал получать заказы на работу, улучшившие до некоторой степени его материальное положение, а вскоре Губернское Земское собрание, приняв во внимание бедственное положение семейства Журавлёва и его личные труды по части самоусовершенствования в искусстве живописи, назначило ему ежегодную пенсию в размере 60 руб. В конце прошлого года (1884) Журавлёв, изготовив икону св. Николая Чудотворца, обратился к самарскому губернатору, всегда принимавшему участие в положении калеки-живописца, с просьбою представить икону Его Императорскому Высочеству, Государю Наследнику Цесаревичу.

Желание его было исполнено, и в конце декабря Управляющий собственные Его Величества дворцом и Конторою Августейших Детей Их Императорских Величеств уведомил тайного советника Свербеева, что Государь Наследник Цесаревич милостиво принял икону, писанную крестьянином Журавлёвым, соизволил пожаловать ему единовременное пособие сто рублей из собственной Его Императорского Величества суммы».

Талант художника был признан.

Возможно, нам предстоит ещё встреча с иконой св. Николая Чудотворца. И мы порадуемся ей, как порадовались, когда предстала перед нами на иконостасе Самарской Петропавловской церкви икона святого князя Александра Невского, написанная Григорием Журавлёвым.

Из писем отцу Анатолию

Разные письма приходят к отцу Анатолию. Пишут и верующие, и атеисты. Адрес на таких конвертах простой: «Нефтегорский район, с. Утёвка, Православная церковь».

Вот бесхитростные строки одного такого письма. Оно о судьбе священника Троицкого храма. Написала его жительница Самары Анастасия Андреевна Конькова:

«Здравствуйте, отец Анатолий! Прочитала я «Утёвские находки» автора Малиновского в газете «Волжская коммуна» и узнала из них, что судьба отца Гавриила, который был последним священником перед закрытием Троицкого храма, вам неизвестна. А мне довелось с ней познакомиться. Я ехала в деревню и встретила его свояченицу Антонину. Она мне и рассказала о его судьбе.

Когда он вышел из заключения, то не мог найти нигде работу. Помер голодной смертью. Антонина жила с дочкой отца Гавриила, у него было их трое: Вера, Надежда, Любовь. Антонина померла пять лет назад.

Так хочется побывать в своём храме. Сердце разрывается. Большое вам спасибо за описание в газете. Я много узнала новостей и радостных, и горестных. Рада, что открыли Божий храм. Рада, что позаботились так о Григории Журавлёве. Он это заслужил.

Может, газета попадёт дочкам отца Гавриила, они бы всё подробно написали. Они ведь где-то в наших местах, в Самаре».

А вот другое письмо. Пишет его Екатерина Иосифовна Ветчинова, дочь Иосифа Семёновича Проживина, по-уличному, Лубошного, проповедника, которого забрали прямо в церкви вслед за отцом Гавриилом, осудив на десять лет:

«Он был очень набожный человек. Читал проповеди, собирал народ, ездил по всему Утёвскому району. Забрали его, забрали все иконы и книги. Посылаю пятьсот рублей, чтобы помянули его за упокой и в праздники Божественные прошу упоминать его имя.

Батюшка, я считаю, что мой отец заслуживает, чтоб его крест был около церкви, за которую он погиб. Ведь мама моя рассказывала, что, когда она ездила к нему в Кузнецкую тюрьму, он ей сказал, что ему предложили при всём народе отречься от Бога и тогда его выпустят на свободу. Отец отказался. Вскоре его не стало».

Много подобных писем ещё придёт в Утёвский храм. А сколько верующих и неверующих не успели написать своего письма священнику?..

Вот короткая, но прожигающая душу справка: почти четыреста тысяч священнослужителей с родителями, жёнами и детьми были в нашей стране уничтожены в период с 1917 по 1924 год.

А сколько покалечено судеб родственников этих погибших. Какая бухгалтерия в силах это подсчитать?!

Повиниться надо бы перед ними на миру. Да как это сделать?..

Незаживающая рана

О том, как я искал эту книгу, можно написать маленькую повесть. Но речь не о том... Я с волнением держу в руках небольшую, размером примерно 18х30 см, в хорошем переплёте, в зелёной обложке, книгу и не сразу решаюсь открыть её.

Она издана Самарской государственной думой и отпечатана в Самарской губернской типографии в 1894 году. Посвящена созданию храма Спасителя. Книга так и называется «Во имя Христа Спасителя. Кафедральный соборный храм в

г. Самаре»¹. В ней сорок семь страниц. Я давно знаю, что там есть упоминание о нашем земляке-художнике. Книга переходила из рук в руки, как и большинство журавлёвских икон, оставаясь неуловимой...

И вот теперь на двадцать девятой странице читаю:

«...Иконы в иконостасе написаны на цинке в мастерской Сидорского, в Петербурге, а одна, именно икона Св. Алексия митрополита Московского, написана по поручению в то время бывшего губернатора, А.Д. Свербеева (ныне сенатор) крестьянином села Утёвка, Бузулукского уезда, Григорием Журавлёвым, лишённым от рождения рук и ног, пишущим иконы, держа кисть в зубах. Словом, с Божию помощью. К задуманному сроку нижний храм строящегося собора был окончен к 7-го января 1892 года, Преосвященным Владимиром, Епископом Самарским и Ставропольским (ныне Высокопреосвященный Экзарх Грузии, Архиепископ Кахетинский и Карталинский), был торжественно освящён во имя св. Алексия митрополита Московского, покровителя г. Самары, и в годовую день кончины Преосвященного Серафима над его могилой действительно возносились бескровная жертва».

Итак, получается, что написать икону покровителя г. Самары св. Алексия митрополита Московского самарский губернатор А.Д. Свербеев поручил не Сидорскому в его мастерской, а Журавлёву.

Поскольку нижний храм был освящён в 1892 году, а книга вышла позже, в 1894 году, то становится очевидным, что икона была написана и должна находиться в храме. Так ещё раз крылом своего таланта издалека, из прошлого, художник-самоучка коснулся нашей с вами, дорогой читатель, родной истории. Книга посвящена строительству в Самаре Кафедрального собора, одного из крупнейших в России. На возведение собора ушло двадцать пять лет. Он поражал своим величием и роскошью внутренней отделки. Собор вмещал до 2 500 человек. Он царил над городом, занимая самое возвышенное место. Общая высота храма — 79 метров. Он был виден за десятки вёрст. Государь-император Николай II, посетивший со-

¹ Книга написана Петром Владимировичем Алабиным — главой города Самара.

бор 1 июля 1904 г., сказал: «Храм у вас хорош. Я им любовался из окна вагона».

Меня поразила та неторопливая, основательная манера изложения, которая характерна для книги. Какой материал брали, какой кирпич, бутовый камень, раствор, чей проект и так далее.

Колокол, поднятый на соборную колокольню в октябре 1893 года, отлит был в Москве на заводе Финляндского. Весил он 880 пудов. Подарил его городу самарский купец Давид Васильевич Кириллов. О многом повествуется в книге.

Храм строили на века, и книга писалась исходя из того же.

Оказывается, в память скончавшегося в январе 1886 года русского писателя Ивана Сергеевича Аксакова, проживавшего в Самарском крае, было в храме Евангелие, на обороте которого начертано:

«Святое Евангелие сие, сооружённое по постановлению Самарской городской Думы 1886 года, принесено кафедральному соборному храму, в вечную память об Иване Сергеевиче Аксакове, писателе, посвятившем всю свою жизнь делу единения и братства с отечеством нашим племён мира славянского».

Когда 7 октября 1888 года ночью скончался Е.Н. Шихобалов, в продолжении 19 лет неустанно трудившийся над сооружением соборного храма, днём на экстренном заседании Городская Дума постановила: «...На видном месте строящегося храма поставить, в изящном киоте, икону Св. Емилиана, ангела усопшего строителя храма, начертать под нею повод воздвижения этой иконы».

На этом заседании городской голова г. Алабин заключил: «Желательно, чтобы будущие поколения наши в этом храме находили видимое свидетельство того, что общество наше умело ценить своих сограждан, посвящавших ему свой многолетний труд и деятельность».

Удивительными словами заканчивается эта книга: «Будущность нашего края, нам, верующим в непогрешимость пророчества одного из величайших святителей земли русской, Св. Митрополита Московского Алексия, естественно, представляется светлою, и потому, нет сомнения, много ещё будет нашему краю случаев возлагать свои благодарственные и памятные жертвы на тот жертвенник, что воздвигнут ныне населением

Самарского края во славу Божию, в виде Храма, во имя Христа Спасителя Мира!»¹

Икона Св. Алексия Митрополита Московского, написанная Григорием Журавлёвым, и Евангелие в память писателя русского, и икона Св. Емилиана, ангела усопшего строителя храма самарского — где всё это теперь?

Где та тихая радость и благодать сотен, тысяч людей, причастных к пожертвованиям на строительство храма?

Увы... Какой урок нам дан...

Храма теперь нет. Взорвали-таки рассчитанную на вечность красоту, и книга эта долго никому была не нужна. Во всей Утёвке один белобородый старец Сергей Илларионович Трегубов (Дятлов) берёт её. После смерти его, как щепка на водной стремнине, прибилась она у Любы Распутиной. И хорошо! Не пропала!

В книге, которая была написана сразу после возведения храма, на первой странице есть фотография его. Он прекрасен. Нет в нашей Самаре сейчас таких сооружений. С некоторым сомнением я мог бы поставить если не в ряд, то хотя бы около, здание любимого мною областного драматического театра!

Мне захотелось проследить судьбы тех людей, которые были вплотную связаны с нашей губернской историей, в данном случае — с Кафедральным храмом Самары. Это уже за рамками темы, но одна судьба меня поразила. Её я узнал чуть позже и из других источников.

...Печальна дальнейшая судьба нашего самарского храма Спасителя, воздвигнутого в честь спасения во время покушения 4 апреля 1866 года на жизнь императора Александра II. Погибли и храм, и император. Увы, такой же скорбной судьбы не избежал и Преосвященный Владимир, Епископ Самарский и Ставропольский, который освящал храм в своё время.

Святитель Владимир (в миру Василий Никифорович Бого-явленский) родился 1 января 1848 года. Отец его был священником. В 1874 году он окончил Киевскую Духовную Академию и в течение семи лет преподавал в Тамбовской семинарии. Из-

¹ Закладка храма была совершена 25 мая 1869 г. после молебна в женском Иверском монастыре преосвященным Герасимом епископом Самарским и Ставропольским в присутствии губернатора Г.С. Аксакова, всех местных властей и большого числа жителей.

вестно, что в 1888 году он был возведён в сан епископа Старорусского vicария Новгородской епархии. В 1891 году получил назначение в Самарскую епархию.

После Самары пять лет как управлял святитель Грузинским экзархатом в сане Архиепископа Карталинского и Кахетинского. В 1898 году Высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом Московским и Коломенским, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священно-архимандритом. В 1912 году, когда скончался первоиерарх Православной Российской Церкви митрополит Петербургский и Ладожский Антоний, его место принял митрополит Владимир.

Если верить газетным архивам, митрополит Владимир оказался первым среди расстрелянных русских православных архиереев. Это произошло 25 января 1918 года в Киеве, куда он в своё время был переведён на кафедру митрополита Киевского.

Перед смертью святитель благословил своих убийц и сказал: — Господь вас да простит.

Когда-то, в год освящения нижнего храма Христа Спасителя, 12 февраля, при открытии в Самаре епархиального Братства, Преосвященный Владимир в слове своём определил главную задачу христианского Братства как духовное совершенствование и воспитание в людях сострадания и взаимной любви.

Он и перед лицом насильственной смерти остался верен Богу и своим идеалам.

А как живём мы?

Совсем недавно был на заводе, где по моей просьбе рабочие взялись изготовить надгробный памятник на могилу Григория Журавлёва. По замыслу он должен в миниатюре напоминать контурами храм Святой Троицы. Эскиз его мы рисовали с о. Анатолием у него дома.

Спрашиваю рабочих:

— Всё по проекту?

— Да, но кое-что и сами придумали.

Изготавливают они его безвозмездно и в нерабочее время. Отрадно и грустно. Похоже на зализывание ран, которые мы руками наших дедов и отцов нанесли сами себе.

Я пытаюсь теперь многое осмыслить для себя заново. Но, признаюсь, часто не нахожу ответа. И говорю об этом с горечью. Но я, кажется, вижу спасительную соломинку, за которую ухватившись, человек может обрести душевное равновесие. Это созидание физическое и духовное. И это уже, кажется, понимают многие. Ведь как у нас повелось? Для нас подвижка к компромиссу — едва ли не подлость (кто не с нами — тот против нас). Но в наше время так уже нельзя. Надобно человека слушать и слышать. Христианство призывает к этому. Нравственные основы его позволяют надеяться на выход из вандализма, к которому мы скатились.

Православие сообщило в своё время нашему народу свойство соборности, драгоценнейший дар, удержать который полностью в своих руках мы, увы, не смогли. А ведь соборность — это духовная общность русского народа, основанная на общем служении, на понимании и исполнении общего долга.

Утрачивая чувство соборности, мы теряем и былую державность, то есть чувство долга, ответственность, патриотизм, сознание каждым ответственности за всех, ответственности каждого за нравственное здоровье общества и крепость государственных устоев. Попристальнее бы взглянуть в себя! Посмотреть друг на друга!

Мне рассказывали, что человек, который сам давал команды рвать трактором крест с утёвского храма Святой Троицы, когда уже наша власть официально разрешила религию, пришёл в церковь и пожертвовал на её восстановление триста рублей. Что это? Раскаяние или просто бывший тёртый чиновник вновь держит нос по ветру? Дух ханжества, боюсь, во всех наших делах витает, как и прежде...

Мы яростно боролись против Бога, но оказалось, что эта борьба направлена против самих себя, против человека.

Красота спасёт мир? Увы, я крепко сейчас сомневаюсь в этом. Я думаю, что мир могут спасти разум, разумность. Уровень воспитания и образованности, интеллигентности, интеллект. Красоту надо спасать нам с вами. Народная мудрость гласит: всё хорошо, что в меру. А меру определит уровень культуры, разумность. Но этого никогда не будет, если мы каждого,

кто образованнее и умнее нас, будем считать чуть ли не личным врагом.

Я — эмоциональный человек, эмоции — это прекрасно! Тем более если положительных больше, но разумность — вот рычаг, который может нас спасти сегодня. И в определённой степени рациональность...

Когда в характере нетерпение, подавление чужого мнения, на это уходит энергия, а объединённая на основе компромисса, эта сила идёт на созидание. Именно созидания не хватает сейчас для возрождения крепкого экономического уклада в городе и деревне. А для этого нужен духовный стержень.

Не могу сейчас полностью принять известную установку Ф. Достоевского: «Кто в Бога не верит, тот и в народ свой русский не поверит».

Если человек неверующий, куда ему податься? И большая часть нашего народа пока неверующие, так вот получилось с нашим обществом.

Как и большинство, я верю в свой народ, в будущность его. Здесь многое ещё надо понять, но начинается это понимание с бережного, пристального отношения друг к другу, к нашему прошлому и настоящему.

...Я уверен: мне повезёт с находками, связанными с именем Григория Журавлёва, поэтому думаю, что и записки мои на этом не заканчиваются.

1992 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Обретение голоса

3 апреля 2005 года на Крестопоклонную неделю игумен Самарской епархии Корнелий и отец Анатолий освятили перед подъёмом долгожданные колокола¹. И на праздник Благовещенья, 7 апреля, впервые после восстановления Храма Святой Троицы над Утёвкой разлился колокольный перезвон.

Заговорила звонница из восьми колоколов. И среди них самый большой — колокол «Григорий», названный так в память о художнике Журавлёве.

Храм Святой Троицы обрёл голос.

Эти записки я делаю спустя более трёх десятков лет после того, как впервые начал собирать материал о Журавлёве, и пятнадцать лет — после выхода первого издания этой повести «Радостная встреча». Теперь она стала первой частью этих моих записок, которые я решил продолжить. Прибилась душа к нерукотворным иконам художника, к его дару.

Мы и обезножили, и обезручили на нашем пути выживания.

А он в своё время преодолел многое... И сумел не только преодолеть!

Не огрубел, не разуверился. Сохранил мужество и ясный взгляд на мир. Создавая красоту, завещал и нам свой дар веры.

Прозорливый художник!

Душевное волнение тех, кто хотя бы раз видел работы Григория Журавлёва, не случайно.

Истинные православные иконописцы приступали к написанию икон только после длительного поста и молитв. До того как взять кисть в руки, они стремились к нравственному очи-

¹ Храм Святой Троицы был освящён Архиепископом Самарским и Сызранским много раньше, в 1991 году, в день памяти Георгия Победоносца.

щению. Писание икон для них было актом высокого духовного творчества.

Именно так!

По-другому нельзя думать и об иконах Журавлёва.

Они продолжают объединять людей, плачущих порознь над одной бедой. Заставляют вновь вспоминать об утраченной соборности нашей.

Я об этом говорил и раньше. Но как резко изменилось наше общество после 91-го года. Нельзя молчать об этом...

Восстановление утраченной соборности взамен насаждаемого теперь эгоистического индивидуализма — вот какая духовная работа предстоит всем! Надо вернуться в Церковь! Число верующих растёт!

Но как наступательно в последние годы развернулись силы, работающие на растление, разложение души... Такого не было до перестройки.

Игромания, наркомания, преступность, цинизм и пошлость телевидения...

Вместо свободы слова — свобода для разложения общества. Больно уж силы неравные.

Об этом думалось под звон колоколов.

Об этом и моё стихотворение, родившееся у старинных стен Храма:

*Звонят колокола в соборе Троицком,
Птичий грай на краю моего села.
Жизнь наладится, жизнь устроится,
Только б с рельсов она совсем не сошла.*

*Только б она с металлическим лязгом
Не прошла колесом по больной груди.
Что дадут нам политические дразги?
Там ли ищем спасительные пути?*

*На магистралях чужих не устроиться,
Своих не имея, напрасно пенять.
Звонят колокола в соборе Троицком,
Впереди бессонная ночь у меня...*

...И как спасительное приходит понимание простой, казалось бы, очевидной истины: мы выживем только при высокой вере, укреплении духа и сбережении друг друга.

Готовы ли мы к этому?

Готовы ли к восстановлению истинных ценностей внутри себя, чтобы потом восстановить их вовне? Восстановить православную духовность нашу, религиозно-нравственные опоры, без которых наше национальное самосознание погибнет?

Вернуть державность, источником которой всегда была Церковь, готовы ли?

В Самарском епархиальном церковно-историческом музее

Я помню своё волнение, когда 14 мая 1997 года открылся долгожданный Самарский епархиальный музей, созданный по инициативе архиепископа Самарского и Сызранского Сергия.

В музее три зала, два из них отведены под постоянную экспозицию и один — под выставки.

В историческом зале экспозиция посвящена истории Православной церкви в Самарском крае.

Здесь находятся документы, фотографии архиереев, возглавлявших Самарскую епархию.

Представлены документы из жизни подвижников благочестия Самарского края.

В этом зале находится мемориальная келья митрополита Мануила (Лемешевского), одного из известнейших иерархов Русской Православной церкви XX века.

Владыка, будучи около 25 лет в ссылке и лагерях, совершил научный подвиг. Им написаны биографии всех русских архиереев, начиная с Крещения Руси и до 60-х годов XX века.

В мемориальной келье помещена картотека с библиографическими ссылками к его труду.

В зале церковного искусства один из разделов посвящён утёвскому художнику Григорию Журавлёву.

Я рад, что наконец-то материалы о Григории Журавлёве оказались в надёжных руках и они не будут утеряны, как это случилось в школьном утёвском музее.

С каким интересом архиепископ Сергей держал в руках мою рукопись о художнике «Радостная встреча»! Он тогда благословил её и дал особый свет моей книге о земляке:

«Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздаётся должное таким талантам, как живописец Григорий Журавлёв. Рождённый с недугом, но имевший глубокую Веру и силу Духа, он творил во имя Бога и для людей.

Его иконы несли Божественный Свет, помогая людям. Призываю Божие благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде».

Эти слова его посвящения, предварившего книгу, и до сей поры по-особому освещают все мои поиски, связанные с жизнью Григория Журавлёва, чьи иконы разошлись по всей Руси и за её пределы.

После выхода в «Волжской коммуне» моего очерка «Утёвские находки» архиепископ живо расспрашивал о том, где и что сохранилось из написанного художником.

...Сейчас в музее находятся пять икон Журавлёва. Три из них взяты на временное экспонирование из Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Это — «Млекопитательница», «Пресвятая Богородица Смоленская» и «Взыскание погибших». Четвёртая — «Жены Мироносицы» — из Утёвского Троицкого храма.

А вот — пятая! О ней особый разговор. Было известно, что где-то в Казахстане есть икона Журавлёва. И она нашлась! И помогли этому выход в свет книги о Журавлёве и создание после этого в музее экспозиции о художнике. Эта находка как отклик. Икону передал епархиальному музею Алексей Мокиевский, который служит в одной из русских церквей в Казахстане в городе Хромтау. Подарил он её 1 января 1999 года. Икона деревянная. На ней изображены святые Кирилл и Мефодий.

Надпись гласит: «Сия икона писана зубами в Самарской губернии Бузулукского уезда Утёвской волости такого же села крестьянином Григорием Журавлёвым, безруким и безногим. 1885 г. 2 сентября».

Икона средних размеров, схожих с иконой «Млекопитательница», о которой я уже писал.

В славянском православии создатели славянской письменности братья Константин (получивший незадолго до смерти монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются как святые равноапостольные «учителя словенские».

Они происходили из византийского города Фессалоники. Их отец по имени Лев был офицером при страте (военном и гражданском губернаторе) фемы Фессалоник. Семья состояла из семи сыновей. Михаил (Мефодий) — старший, Константин (Кирилл) — младший из них. После того как они, создав славянскую азбуку, перевели Евангелие и Апостол на славянский язык, папа римский Андриан позволил им отслужить четыре литургии на славянском языке в католическом Риме, в том числе в соборе святого Петра.

Кирилл и Мефодий не только создали азбуку, которой и в настоящее время пользуются многие народы, но и открыли возможность славянам молиться на родном языке.

...Когда я уходил из музея, хранительница его Ольга Ивановна Радченко дала мне адрес Алексея Мокиевского. Мне предстояла встреча с человеком, прикоснувшимся к истории жизни Журавлёва.

Летом 2006 года я вновь побывал в музее. Теперь рядом с иконами Журавлёва находится ксерокопия книги «Ветхий Завет в картинках», принадлежавшей когда-то утёвскому художнику. В ней его карандашные рисунки.

Об этой книге, недавно вернувшейся на родину иконописца, я расскажу чуть позже.

Дар Веры

С тех пор, как я стал заниматься сбором материалов о моём земляке Григории Журавлёве, судьба подарила мне немало интересных встреч и событий. Григорий Журавлёв удивительным образом соединяет незнакомых людей. Ни время, ни расстояния тому не помеха. Этот его дар уникален. Моя книжечка «Радостная встреча» стала для меня проводником в городах

и сёлах. Совсем незнакомые люди оказываются близкими по духу. Объединяющая сила дара моего земляка огромна и органична. Просветление лиц и душ при упоминании его имени происходит на глазах. Мы, запутавшиеся в своей безобразной перестройке, все силы положившие на выживание, вдруг обнаруживаем в Журавлёве столько мужества, что становится известно за своё безверие и слабость.

Художник и кинодокументалист Борис Григорьевич Криницын увидел в церковно-археологическом кабинете в Сергиевом Посаде мою книжку о Журавлёве. Попросив на время, он прочёл её и загорелся написать сценарий документального фильма. Как потом он мне рассказывал, сценарий был послан на конкурсный отбор высшему киношному руководству. Среди десятков сценариев занял первое место, и Российская киностудия документальных фильмов «Отечество» получила финансирование для съёмок фильма.

И вот сценарист и режиссёр будущего фильма Борис Криницын и оператор Геннадий Макухин сидят у меня в самарской квартире. Мы слушаем запись воспоминаний девяностолетнего старика Корнева о Журавлёве, ту самую, о которой я писал ранее. Старика Корнева давно уже нет в живых. Дом, где родился и жил Григорий Журавлёв, внешне изменился. Деревянный сруб пятистенника новые хозяева обложили кирпичом. Не изменился записанный на плёнку голос Корнева. Он завораживает своей чистотой.

Два следующих дня Криницын и Макухин вели съёмки в епархии, в музее. На третий день я отвёз их в мою Утёвку, на родину Григория Журавлёва. Там, под крылом директора школы Валерия Ивановича Кузнецова, они пробыли с неделю. Жили в лесу, в трудовом лагере около большого озера Лещёвое. Я приехал к ним под конец съёмок. Их было не узнать. Такие же интеллигентные, сдержанные, негромкие, они были самими собой и здесь. Но... лица! Они стали открытее, взгляд стал мягче и спокойнее...

Я приехал не один, а пригласил с собой своих друзей.

...Купались в Самарке, сидели на жёлтеньком песочке, разговоры разговаривали. Обо всём. О главном и о мелочах жизни. Попели русские песни на обрывистом песчаном берегу...

Материала о художнике оказалось вовсе не на пятнадцать минут, а, как минимум, вдвое больше. И у Бориса Григорьевича уже роились мысли, как пробить вторую часть сценария. Мы с ним саженьками, как в детстве, переплыли быструю Самарку. Нас снесло течением вниз и не спеша потом шли по пояс в воде вверх, возвращаясь к костру. Борис говорил:

— Я посмотрел за неделю на жизнь сельскую, на вас всех сегодня... Знаете, Россия жива!.. Она будет жить вечно! Её не побороть ни на поле брани, ни хитроумными планами из-за моря.

— Но разве это не видно в столице?

— Слишком много суеты в Москве...

Я взглянул на него, на его иконный лик, и мне вдруг показалось, что это не режиссёр Криницин, а Григорий Журавлёв смотрит на меня и на всех нас. Смотрит выжидательно и с надеждой.

Когда прощались, Борис Григорьевич обронил:

— Вы знаете, у меня набралось материала для целого документального фильма о вашем селе минут на сорок-пятьдесят. О вас, о нас, россиянах, живущих сейчас. Это надо делать, пока мы живы. Нам надо сказать самим о себе!

Я не возражал. За семь дней, которые были знакомы, мы начали о многом одинаково думать. И верить одинаково.

Он уехал в Москву монтировать фильм, а у меня на столе остался его подарок — копия сценария фильма о Григории Журавлёве «Дар Веры».

Я несколько раз перечитывал его.

Потом вышел фильм.

В мае 2001 года на VII фестивале «Православие на телевидении» фильм «Дар Веры» получил заслуженное признание.

Автор сценария и режиссёр Борис Криницин был награждён Серебряной медалью «...за произведение, имеющее высокое художественное достоинство и утверждающее христианские ценности».

Чуть позже в журнале «Искусство кино» Нея Зоркая в статье «Чудо судьбы» писала:

«И всё-таки есть особая радость для всех нас в том, что такой человек был, что человек может быть таким... Дар веры, дар любви, которым щедро был награждён Григорий Журав-

лёв, сочетался с даром истинно христианской доброты — им-то, последним, и проникнут фильм «Дар Веры».

Я читал эту статью о Григории Журавлёве и всё-то думал, что многое о художнике так пока и не сказано...

Из истории иконописи

Известно, что мастерство иконописи пришло к нам как часть греческой православной культуры.

Проводниками этой культуры были греческие митрополиты, монахи. Греческие зодчие и иконописцы явились основоположниками культурных и художественных ценностей Православной Руси. Русские иконописцы переняли у греков не только образный, символический метод изображения святых, но вместе с тем и технические приёмы в изготовлении икон. И это неукоснительно соблюдалось ими в течение семи столетий до реформ Петра I.

Процесс изготовления иконы технически был строго определён. Деревянная доска, чаще всего липовая, была основой её.

Игумен Филарет (Соловьёв), настоятель Свято-Ильинского храма (пос. Палех Иваново-Вознесенской епархии) в статье «Состояние русской иконописи в XVIII веке. Иконопись Палеха» так описывает эти операции:

«На доску наклеивалась «паволока» — редкий холст, покрывавшийся толстым слоем алебастрового грунта, замешанного на рыбьем клее. На грунт наносился рисунок, прочерчивался иглой, накладывались тончайшие листы золота или серебра».

Мне, чей ум основательно «подпорчен» техническим образованием, любопытно все эти подробности. И я приведу ещё небольшие выдержки из статьи упомянутого выше автора, так достовернее: «Живопись, начиная с IX века, выполнялась исключительно темперой — краской, стёртой на яичном желтке. Процесс написания иконы также разделялся на особые этапы, общий принцип которых заключался в последовательном наложении одного слоя краски на другой...

...При таком трепетном отношении к самому технологическому процессу иконописание часто превращалось в некий священный обряд, тайнодействие...»

Но русские мастера, как отмечает упомянутый автор, к высказываниям которого я буду возвращаться, не были слепыми

подражателями греков. Творчески переосмысливая, обогащая эти традиции, они обновляли их своим духовным содержанием и, опираясь на приёмы византийцев, выражали новые высоты православного духа.

Великие образцы икон XV-начала XVI веков, созданные замечательными русскими иконописцами: преп. Андреем Рублёвым, Дионисием и их учениками — сделали своё время золотым веком русской иконописи.

В конце XVI-XVII веков возникло новое развитие иконописи.

Так называемая «строгоновская школа» поражала глаз зрителя уже не высоким богословским языком, не духовной силой, как отмечает Игумен Филарет, а яркой национальной самобытностью, тонкостью письма, внешней привлекательностью.

«С реформой Петра I меняется уклад религиозной жизни народа, иконопись, в первую очередь — столичная, теряет свои вековые традиции и принимает западную, католическую ориентацию».

В это время появилось немало характерных для своего времени произведений, в которых заметно снижение художественного уровня.

«К другой группе произведений иконописи принадлежат работы живописцев-академиков: В.А. Боровиковского, О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова. Это иконы высокого художественного уровня, но выполненные представителями реалистической школы, писавшими наравне с религиозными картинами и светские сюжеты. В 1856 г. в Академии художеств был специально создан класс православной иконописи. Выполненные его воспитанниками иконы-картины, а также росписи Исаакиевского собора в Петербурге, Храма Христа Спасителя в Москве, сделанные знаменитыми академиками (К. Брюлловым, Ф. Бруни, П. Семирадским и др.) окончательно утвердили господство в церковном обиходе живописного реалистического направления».

Так со временем утрачиваются традиционные регламентированные приёмы письма икон. Приходит с запада укоренившаяся там техника масляной живописи. Она заменяет темпера. Вместо дерева чаще начинает использоваться холст.

Фон картин уже не сверкает листовым золотом. Его заменили коричнево-чёрная и синяя краски.

...В провинции, в глухих окраинах России традиционные формы иконописи сохранились, поражая не манерой исполнения, но духовным величием. Яркий пример тому — небольшие сёла Владимиро-Суздальской Руси: Холуй, Мстёра и Палех.

Очевидно, благодаря Григорию Журавлёву к этому ряду можно отнести и Утёвку.

Писание Журавлёвым икон чаще всего на дереве и без позолоты объясняется, видимо, той же причиной, как это было и в сёлах Холуй и Мстёра, да и в других окраинах России: дешёвая икона в крестьянской среде была доступнее. У Григория есть иконы и на золоте...

Оставим специалистам определять стиль и пристрастие в манере писания икон Журавлёвым. Отметим несомненную одухотворённость, которую они излучают.

На главной площади Самары

Весна 2005 года для меня оказалась необычной.

Я заболел и попал в больницу нефтяников, которая расположена на улице Льва Толстого в Самаре. Но не о том речь.

Вскоре я стал выходить на прогулки во двор. В один из дней безотчётно потянуло на улицу, а потом дальше — на площадь Куйбышева. Захотелось простора.

...Шагая по улице Чапаевской, пересёк улицу Красноармейскую, обрадовавшую привычным городским движением, и глазам моим открылось необычное.

Будто небесные заоблачные воздушные парусники-ладьи заполнили сквер на площади. Белого среди зелёного было так много, что его не заслоняло многоцветье людского потока. Оказывается, здесь открылась фотовыставка Виктора Пылявского, о которой он мне говорил ещё зимой.

Войдя в сквер, я был поражён: с небесных высот на серый асфальт, затоптанный тысячами ног, будто спустились облака-паруса, чтобы, расправив полотнища свои, явить божественную красоту.

С высоты птичьего полёта, в парении Виктор сфотографировал почти все церкви нашей Самарской области. И открылось чудо!..

Зоркой душой он почувствовал необычайную красоту ещё на земле. Преодолев земное притяжение, воспарил, чтобы показать её людям.

Я бывал у него дома. Смотрел некоторые его фотографии. Теперь я видел его работы под ясным куполом неба. Это сильно волновало.

Свежесть красок, ёмкие и точные тексты не отпускали. Очарованный, медленно шёл я от одного удивительного стенда к другому. Я чувствовал себя счастливым ребёнком. О недуге своём забыл. Забыл и о том, что надо вовремя вернуться...

В конце выставочного ряда новая радостная волна — Утёвский храм Святой Троицы и цветная копия портрета Григория Журавлёва.

Этот портрет нарисовал маслом несколько лет назад по моей настоятельной просьбе заводской художник Николай Колесник.

Не сразу он согласился.

Николай уже пробовал написать копию «Утёвской мадонны». Но выходило тяжеловесно и далёким от манеры утёвского художника.

Кажется, портрет Григория Журавлёва получился удачным. После нашего знакомства в 2004 году Виктор Пылявский сделал несколько фотокопий его. Одну я подарил музею города Нефтегорска, другую — в Утёвский храм Святой Троицы.

Теперь Григорий Журавлёв смотрел на меня знакомым открытым взглядом.

Ликом художника завершал свою чудо-выставку Виктор Пылявский.

Мне, вырвавшемуся из душной больничной палаты, всё было как подарок.

Эта выставка была совсем недалеко от того места, на той же площади, где когда-то стоял Самарский Кафедральный собор во имя Христа Спасителя. И это показалось мне не случайным.

Будто созвонившись, собрались православные храмы сюда на день памяти когда-то самого главного Самарского Кафедрального собора.

Когда выходил из сквера, в будочке увидел журнал отзывов посетителей выставки.

Я раскрыл его.

Сердца писавших были полны удивлением и благодарностью. За каждой записью виделся взволнованный человек. Какая же это радость: знать, что ты живёшь внутри искреннего, верного народа. И ты — частичка его!

«Спаси Вас Господи за великий труд! Выставка разбудила покаянное чувство, помогла осознать грех наших предков-разрушителей. Ведь этот грех и на нас!

Помогла понять высокую роль человека-созидателя на земле, радость от того, что мы живём на такой прекрасной земле, и одновременно — горечь за наше неразумие. Прости нас, Господи!»

Это написала семья Мерниковых из города Самары.

А вот слова самарской учительницы С.Ю. Ивановой:

«Восторг!!! Спасибо за несколько часов счастья! Слёзы льются! Ухожу с выставки, зная точно, что приду ещё раз. Приведу всех своих родных и знакомых.

Наверное, мне трудно теперь будет ставить двойки своим ученикам!»

И такая есть запись:

«Я, Бурлаков Владимир Степанович, 1955 года рождения, уроженец Кинель-Черкасского района. Отслужил в армии двадцать семь лет, шесть лет — на Кавказе.

...Спасибо Вам, что Вы даёте людям чистоту. Мне всегда было обидно за Русь. Я семь лет служил в Венгрии, Прибалтике и видел, как там люди относятся ко всему хорошему, красивому. Мало что рушат, а больше создают.

На Руси выбивали грамотных, трудолюбивых. Осталась сесть, и в настоящее время снова идёт растление народа, особенно молодёжи. Мне обидно за Державу».

Я уже намеревался уходить, когда вдруг мелькнула запись в журнале, всколыхнувшая в памяти немало. Всё время, пока я собираю материал о художнике Журавлёве, мне верилось, что написанная им «Утёвская мадонна» не может исчезнуть бесследно. Не должно такое свершиться!

И вот читаю в журнале отзыв:

«...Мне шестьдесят три года, много пережил и испытал. По профессии журналист, по призванию романтик с верой в прощение Спасителя. Я никогда не видел такой красоты и глубины

художественных фоторабот в сочетании с историческим комментарием и исполнением элементов чудес и легенд.

Фантастически чарующая красота!

К сожалению, я только рядовой пенсионер и не могу ничего подарить взамен впечатляющей картины Вашей выставки, кроме благодарности и признательности за Божий дар видеть и передавать увиденное людям. Низко кланяюсь! Храни Вас Господь!

P.S. У моей дочери Лены, кстати, есть одна из работ Журавлёва. Икона Мадонны в крестьянском головном уборе. Он это икону написал, держа кисть зубами. Не знаю её точного названия. Живём мы с ней в Самаре недалеко от места Вашей выставки».

Подписи под текстом не было.

Таинственная «Утёвская мадонна» где-то рядом с нами, в Самаре! Но сокрыта от людей!..

Это показалось мне таким несправедливым делом!

Но настроение не упало. Верилось: если картина у добрых людей, они и поступят по-доброму. И в конце концов она будет радовать нас. Её место — в музее.

Жизнь продолжается. И будут новые обретения!

Какие?

«Жизнь покажет, — успокаивал я себя, — тем она и прекрасна, что несёт в себе неожиданные встречи».

Возвращаясь с площади, я всё думал о Журавлёве и Пылявском, размягчённый и этой встречей, и своим выздоровлением. Невольно вновь удивлялся простой истине: как прекрасен человек, приносящий в этот мир своими делами красоту и добро!

Такой человек никогда не исчезнет в небытие.

Красота и добро бессмертны!

Бескорыстные помощники

Стоит, как и прежде, в Утёвке на улице Самарской под номером восемнадцать дом, в котором жил до конца своих дней художник Григорий Журавлёв.

В последние годы дом внешне изменился. Новые хозяева обложили его снаружи по периметру красным кирпичом, почти в тон церковным стенам.

Давно уж нет моего деда Ивана. Не стало старика Корнева. Они видели Григория Журавлёва, были его современниками. Нет в живых и Марии Емельяновны Пестимениной.

Увы, теперь просто физически не может быть тех, кто видел живого Журавлёва. Прошло девяносто лет после его смерти. И на нас лежит особая ответственность. То, что знаем, надо сохранить. Не исказить, не переиначить.

Фигура художника настолько самобытна и самостоятельна, что не нужны никакие идеологические и иные костыли. Ни к чему наведение глянца, выдумывание и написание душещипательных сцен из его жизни.

Журавлёв достоин огромного уважения. Но беллетристам не терпится. Множатся вариации описаний жизни художника, в которых допускаются, по незнанию, в спешке, досадные искажения и вымысел.

Тогда как сами документы, факты порой бывают вещью фантастической.

Я так и не побывал повторно в Троице-Сергиевой Лавре и не сделал фотокопию иконы Журавлёва «Лев — папа римский». Но у художника теперь и кроме меня помощников немало.

Работники библиотеки села Зуевка в 2004 году были там и привезли копию этой иконы. Теперь она — в Троицком храме.

А в 2005 году в храме появились ещё три иконы. По утверждению жителей села, они написаны Григорием Журавлёвым.

Это иконы: «Спаситель с предстоящими», «Святитель Николай», «Господь Вседержитель».

Все эти годы шла кропотливая работа.

Продолжается она и теперь.

Ещё 19 ноября 1996 года вышло Постановление администрации Нефтегорского района о выделении 100 тысяч кирпичей на строительство разрушенной когда-то колокольни. В 1997 году был готов проект на её строительство. Его выполнили в Самарской архитектурной академии. Помог в этом Анатолий Карпенко — уроженец села Утёвка. Он оплатил работу и подарил проект Троицкому храму.

Строить колокольню начали только в 2003 году. До этого не было средств.

Завершив к осени кладку, купол поставили в октябре 2004

года. Строили всем миром. Помогали техникой и деньгами местные жители Александр Фёдорович Киселёв, Сергей Александрович Золотарёв. Оказывая финансовую помощь, многое и в организации работ взял на себя директор Нефтегорского агентства поддержки малого предпринимательства и среднего бизнеса житель Утёвки Владимир Иванович Петрушин.

Старые женщины-прихожанки разгружали и подносили кирпич. Носили раствор.

В 2005 году были приобретены в Воронежской фирме «Вера» восемь колоколов.

Самый большой колокол весит 650 кг. На нём в честь утёвского художника сделана надпись «Григорий». На колоколе весом в 200 кг надпись гласит, что сия звонница отлита в память всех, кто жертвовал средства на строительство колокольни и изготовление колоколов.

Николай Матвеевич Киселёв помог сделать ограду вокруг церкви, а житель села Домашка Геннадий Алексеевич Кривопапов приобрёл автомашину УАЗ-452 и подарил её храму. Всех помощников не счесть...

Отреставрирован купол церкви, заменён крест. В 2004 году выкопали и обустроили рядом с церковью колодец. Церковь теперь отапливается двумя газовыми котлами. Появился в храме в 2005 году звонарь Александр Давыдов. Ранее он служил в Тольяттинском мужском монастыре, пел в хоре. Имеет музыкальное образование.

При церкви действует свой крестильный дом. Строили его с 1991 года на свои средства.

Есть теперь и своя гостиница на шесть человек, столовая, библиотека.

Особое слово — о святынях Троицкого храма.

В 1998 году по благословию Высокопреосвященнейшего Николая Митрополита Нижегородского и Арзамасского в храме Святой Троицы помещены для святого поклонения частицы мощей преподобного Серафима Саровского.

С 1999 года в храме перед иконостасом в мощевике находятся частицы мощей всех Оптинских старцев.

Есть частицы мощей Вифлиемских младенцев-мучеников, мощей преподобных Максима Грека, Петра Муромского, Александра Чагринского.

Есть в храме частица камня от Гроба Господня, частица камня от Гроба Божией Матери, камень с горы Синай.

В конце 2006 года установили новый, резной из дерева иконостас. Ширина его — одиннадцать метров, высота — семь.

Теплится в храме неугасимая лампада.

Как и должно быть!

Портрет молодого человека

Этот портрет мне подарили, зная о моих поисках, мои друзья, коллеги по работе: Николай Васильевич Давыдов и Анатолий Андреевич Петряев. Николай Васильевич Давыдов — мой земляк, родился в Утёвке.

Они случайно увидели его в букинистическом магазине в Самаре и поспешили купить.

На портрете изображён молодой человек.

Нарисован портрет на бумаге карандашом и помещён в раму под стеклом. Размер его 35х53 см, внизу в правом углу подпись: «Рисовал с фотографии зубами Григорий Журавлёв».

Кто изображён Журавлёвым и кто владелец портрета, мои коллеги не знали.

Ухватившись за возможность узнать хотя бы что-то дополнительно, хотя бы самую малость о художнике, я отыскал того, кто продал эту вещь. Случилось это осенью 2000 года. Бывшей владелицей картины оказалась женщина преклонных лет, живущая под Самарой в посёлке Кряж. Назвалась она Раисой Петровной Бондаревой.

Ничего нового, к сожалению, в разговоре с ней о Журавлёве я не узнал. Раиса Петровна живёт в квартире городского типа одна. Есть ветхий домишко за Волгой. Там она обитает на природе, «у воды», как она сказала, большую часть года. Поэтому мне и не удавалось довольно долго застать её дома.

Живёт одна, муж недавно умер. На портрете изображён дед мужа по материнской линии.

Муж очень дорожил, судя по её словам, этим портретом. Решилась она продать его только потому, что устала от безденежья. Говорила обо всём скупно, явно опасаясь давать какие-либо подробности. Их у неё, очевидно, много-то и не было.

Имя мужа называть не захотела.

О причинах осторожности нетрудно было догадаться, когда в конце разговора Раиса Петровна обмолвилась, что дед мужа после гражданской войны много скитался по стране. Долго на одном месте не жил. Потом пропал совсем. Как она сказала: «нашли» его. Более определённого что-либо говорить не хотела.

Возможно, это ещё одна трагическая судьба русского человека, попавшего в братоубийственный водоворот гражданской войны в нашем Отечестве.

Григорий Журавлёв умер в 1916 году, ясно, что писал он портрет до того, как оглушительные события поделили нас на красных и белых. Под конец разговора она всё-таки назвала того, кто изображён на портрете. По её словам это — Иван Соловьёв. В посёлок Кряж он прибыл в своё время с женой Феодосией Алексеевной из села Кинель-Черкассы.

Уходил я от бывшей владелицы портрета, чувствуя на себе взгляд много повидавшего в жизни человека. И научившегося лишнего не говорить.

Портрет я передал в Нефтегорский краеведческий музей.

Существуют ещё два портрета, выполненных Григорием Журавлёвым, о которых я давно знаю. Пока найти их мне не удалось.

О них писал ещё в 1965 году Данилову бывший житель села Утёвка Михаил Семёнович Тимонтаев:

«...Теперь я познакомлю Вас с этими портретами, они нарисованы карандашом.

Размер 65x45 см.

Сбоку надпись чернилами: рисовал с фотографий зубами Г. Журавлёв.

Я напишу в Москву, может быть, сумеют сфотографировать без меня, на это надеюсь.

В отпуск съезжу в Москву и попробую сделать фото сам».

Чуть выше в этом же письме он пишет о Журавлёве примечательные подробности относительно его рук и ног. О том, как Григорий Журавлёв передвигался:

«Я видел его, когда мне было лет 11, видел, как он рисовал. Ног у него не было до половины голеней, ходил он на коленях, где были подвязаны какие-то мягкие кожаные подуш-

ки. А вот про руки ничего не могу вспомнить, знаю, что их не было».

Фамилия владелицы, проживающей в Москве, указана: Ольга Евгеньевна Шамина. Адрес написан неразборчиво.

Вероятно, Ольга Евгеньевна — бывшая жительница села Утёвка. Шамины жили в Утёвке. В селе есть озеро Шамино.

Изображённые на портретах люди, возможно, её родственники.

День памяти художника

Много лет назад, собирая по малым крупичкам материал о Журавлёве, я был крайне удручён скудостью документальной информации о художнике. И рукопись свою тогда назвал «На пепелище». Слишком, как мне казалось, многое из со-вершённого Журавлёвым было утеряно. И, возможно, без-возвратно...

Под таким названием повесть и вышла в свет в одном из моих прозаических сборников.

Но душа протестовала. Не хотелось верить в утраты.

Я и тогда, делая записи, ловил себя на мысли, что где-то когда-то появится человек, немного удачливее, чем я, и ему по-везёт больше, чем мне.

Позже, во всех последующих изданиях, повесть мою я стал называть «Радостная встреча».

И не ошибся... Находки продолжаются...

В конце 2005 года обнаружилась копия справки о смерти художника. Скорее всего, она из бывшего архива К.Е. Данилова.

Её передала утёвскому краеведу, истинному патриоту своего края, школьному учителю Анатолию Плаксину его бывшая ученица. Мы с ним посоветовались и решили, что её место в Нефтегорском районном детском музее. Справка с той поры хранится там.

Теперь мы точно знаем дату смерти Григория Журавлёва — 15 февраля 1916 года. Копия «Записи акта о смерти» под номером шесть заверена заведующей бюро ЗАГСа.

Точную дату рождения Григория Николаевича Журавлёва, к сожалению, пока документально мне установить не удалось. Можно думать, что она не была документально известна и К.Е. Данилову, который пишет, что умер художник в возрасте 57 лет. Кузьма Емельянович Данилов активно занимался установлением фамилий, дат рождений и смерти своих земляков.

Одним из самых старейших населённых пунктов Нефтегорского района является Красносамарская крепость, которая была основана в 1736 году в системе «Самарская укрепленная линия». Одновременно с основанием крепости была построена и церковь.

«Первое время жители сёл Покровка, Утёвка и других, расположенных вблизи Красносамарской крепости, были приписаны для отправления религиозных обрядов к церкви этой крепости... В этой церкви крестили новорождённых, бракосочетались и совершали религиозные обряды над умершими».

Так пишет Кузьма Емельянович в письме на имя заведующего Куйбышевским областным архивом ЗАГСа Трофимова. Далее он просит сообщить сведения о земляках с указанием имён и отчества, возраста, дат рождения, смерти и так далее.

Существует интересный документ. Это записанные Кузьмой Емельяновичем воспоминания жителя Утёвки Спиридона Васильевича Трайкина о Григории Николаевиче Журавлёве. Они датированы 2 июня 1961 года.

В этих воспоминаниях Спиридон Васильевич отмечает: «Григорий старше меня более чем на 20 лет».

Тут же Данилов пишет, что Спиридон Васильевич родился примерно в 1880 году.

Может быть, сопоставление даты рождения (1880 год) Спиридона и его возраста (моложе Григория не более чем на 20 лет) и дало возможность краеведу определить возраст Григория Журавлёва.¹

Считается, что родился художник в 1858 году.

Уникальны следующие строки воспоминаний Трайкина:

¹ Отметим, что газета «Самарские губернские ведомости» в январе 1885 г. писала о Журавлёве: «...имеющий в настоящее время около 25 лет от роду...»

«...В то время, когда родился Гриша явным уродом, мать очень плакала и хотела на себя от великого горя наложить руки, вместе с собой умертвить и Гришу, но Трайкин Пётр Васильевич, мой дедушка и отец матери Гриши, доказал вредность замысла своей дочери и матери Гриши. Он говорил ей, что Гришу будет растить сам и возьмёт его на своё обеспечение. Так он и сделал. Когда Грише стало 9 лет, дедушка Пётр устроил его в школу. До школы и из школы он возил Гришу в зимнюю пору на салазках в течение двух учебных лет, после чего дедушка Пётр умер и на этом закончилось учение в школе, так как некому было Гришу возить в школу.

Однако Григорий Николаевич не прекратил своего образования. Он стал учиться на дому самостоятельно. Помогал ему в этом учитель земской школы, фамилию, имя, отчество этого учителя¹ я не помню».

Спиридон Васильевич вспоминает, что Григорий «особо хорошо писал печатно по-славянски... Он хлопал кнутом лучше, чем отдельные люди, имеющие руки. Хлопая кнутом, брал кнутовище в зубы. Сам закуривал, пил из стакана или кружки воду».

И далее: «Григорий Николаевич имел большую голову, высокие и широкий лоб, серые большие глаза...»

Итак, из этих воспоминаний ясно, что мать Григория — это дочь Петра Васильевича Трайкина. Теперь мы знаем, что мать художника могла носить до замужества фамилию Трайкина. Возможно, когда-нибудь узнаем и имя её!

Знание точной даты смерти подтолкнуло земляков Журавлёва провести день памяти художника.

В конце февраля 2006 года в зале Утёвского Дома культуры собрались почитатели таланта Григория Журавлёва.

Мог ли я в своё время, даже в восьмидесятых, представить такое?... Тогда воинствующий атеизм слабел, но не уступал дорогу... И на мои поиски продолжали смотреть в лучшем случае... с недоумением.

Делегацию руководства района возглавил глава администрации Сергей Николаевич Афанасьев, утёвский земляк ху-

¹ Очевидно, имеется в виду учитель Троицкий. Эту фамилию мне называл при нашей встрече и старик Николай Фёдорович Корнев, знавший Григория Журавлёва.

дожника и горячий его поклонник. День памяти был печальным, но светлым.

И осветило его особенное событие.

О ней рассказал житель Утёвки Владимир Иванович Петрушин.

То, что в Кошках есть альбом или книга с рисунками Григория Журавлёва, известно было давно.

Но Владимиру Ивановичу удалось эту книгу, которая называется «Ветхий Завет в картинках», вернуть в Утёвку. В этом его заслуга.

То, что она принадлежала Григорию Журавлёву, свидетельствует золотое тиснение на кожаном корешке: «Г. Журавлёв».

На вопросы, кем, где и когда сделано это тиснение, пока ответа нет. Но, возможно, и это нам станет со временем доступно. Не была ли она выполнена в иконно-столярной мастерской Журавлёва в Утёвке? Ведь у художника был опыт работы и с золотом.

Можно полагать, что книга была подарена ему царской семьёй. Но пока документального свидетельства тому нет.

...В тот вечер, с понятной всем радостью, мой земляк делился подробностями от поездки в Кошки.

Вот что он потом напишет в своей книге «Главное русло судьбы»:

«Книга эта много лет хранилась в витрине школьного музея села Старая Кармала Кошкинского района нашей области... Передала её туда Валентина Ивановна Китаева¹.

...Книгу «Ветхий Завет в картинках» привёз в Старую Кармалу художник, который в начале двадцатого века расписывал здесь церковь. Имени художника в селе никто не знает.

От него, видимо, эта книга попала в дом деда Валентины Ивановны Анисима Китаева. Он был человеком набожным, вместе с семьёй служил в церкви и даже был похоронен возле её стен».

Далее автор приводит отрывки из переписки директора Нефтегорской централизованной библиотечной системы С.В. Митрофановой с сотрудником Российской Национальной библиотеки (С.-Петербург) Евгением Кирилловичем Соколинским:

¹ Запись рассказа В.И. Китаевой находится в музее.

«15 марта 2004 года.

Уважаемая Светлана Владленовна! К сожалению, должен Вас разочаровать. Я сравнил присланные Вами гравюры (копии) с экземпляром имеющейся у нас книги «Ветхий Завет в картинках» (СПб.: Ф. Прянишников и А. Сапожников, 1846) и убедился, что это та самая книга, только у Вас дефектный экземпляр, без 12 страниц текста. Книга была подготовлена членами Общества поощрения художников. Рисунки Агина, гравюры на меди выполнил Афанасьев. Книга с посвящением герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому. Рисунки выполнены в манере «очерка», требуют твёрдой руки и безруким художником написаны быть не могли.

Вероятно, Журавлёв пользовался ими при создании собственных икон в качестве образца...»

Становится ясным, что Журавлёв не был автором уникальной книги.

В другом письме, от 18 марта 2004 года, сотрудник института пишет, что тот экземпляр, который находится у них, содержит 12 страниц текста и 82 листа гравюр. У вернувшейся в Утёвку книги на обратной стороне многих листов когда-то прекрасной по качеству бумаги — карандашные рисунки, наброски ликов Божьей Матери, Христа...

Рисунки завораживают, трудно отвести взгляд...

Все ли они принадлежат кисти Журавлёва или тут потрудились и его ученики?¹ Не будем гадать...

Возвратил нефтегорцам эту дорогую им реликвию местный бизнесмен Владимир Иванович Петрушин. Это ли не обнадёживающая примета нашего времени? Предприниматель пи-

¹ Сохранились два письма Кузьмы Емельяновича Данилова Василию Григорьевичу Попову, которого он называл учеником Журавлёва, с просьбой поделиться воспоминаниями о художнике. К сожалению, адрес Попова утерян. Заметим, что Василия Попова называл учеником Г. Журавлёва и Иван Харитонович Чекунов — один из тех, с кем переписывался К.Е. Данилов. Также в этом письме краевед просит сообщить, где живёт Михаил Хмелёв или его жена. Хмелёва он называет в письме тоже учеником иконописца. Кроме того, говорит о том, что у Хмелёва, по рассказам, после смерти утёвского художника «осталось кое-что из трудов нашего земляка Журавлёва». Может, книгу «Ветхий Завет в картинках» в Старую Кармалу привёз Михаил Хмелёв?

шет об истории своего района добрую книгу «Главное русло судьбы», проникнутую сыновней любовью к родному краю, а бывший, воистину народный учитель местной школы Анатолий Васильевич Плаксин, радуется не только односельчан, а многих любителей истории, своей, написанной совместно с Павлом Фёдоровичем Кузнецовым, книгой «Древности Нефтегорского района» — результатом изучения археологических памятников района. Книга помогает восстановить основные вехи древней и средневековой истории Поволжья. Стоит радоваться за моих земляков.

Рассказ об обнаруженных карандашных рисунках Владимир Иванович Петрушин поместил в главке, которую назвал «Последняя находка». Это не совсем точно. Нам многое ещё предстоит узнать о нашем земляке. Конец 2006 года принёс новые встречи, а с ними — и новые находки.

Но об этом чуть позже...

Художник и губернатор

«...Однажды Свербеев раздобыл где-то безрукого и безногого живописца. Этот обрубок писал ему иконы, держа кисть в зубах. И вот губернатор вздумал подарить реальному училищу одно из произведений этого «художника» — икону «святых» Кирилла и Мефодия, специальностью которых считалось обучение и воспитание юношества. Эта икона с крупной надписью золотыми буквами «сия икона писана зубами» была поставлена на видном месте в актовом зале реального училища. Школьники, к величайшему конфузу учителей и директора, собрались толпами перед иконой и издевательски спрашивали начальство:

— Как же это можно написать икону не кистью, а зубами?

Свербеев, разъезжая по губернии, прежде всего являлся в церковь. Здесь он «прикладывался» ко всем иконам. Если они были поставлены на иконостасе высоко, ему подавали лесенку, а иконам, недосыгаемым и при помощи лестницы, он посылал лобзания через свою трость.

Этот полоумный старик только по внешности был добродушен, в действительности же был злым, мстительным царским сатрапом».

Это строки из книги «Революционная Самара 80-90-х годов» старого большевика, соратника Ленина Матвея Ивановича Семёнова (Блан). Книга издана в 1940 году.¹

В своё время Семёнов за издание нелегальных прокламаций был выслан из Самары в Бугульму. Вернувшись в 1889 году в Самару, он познакомился с Лениным, под влиянием которого порвал с народничеством и стал на позиции марксизма.

Семёнов был одним из организаторов газет «Волна» и «Поволжская газета», в которых печатался под псевдонимом М. Блан.

После революции М.И. Семёнов работал комиссаром финансов, председателем страхового отдела ВСНХ, начальником Госстраха, в Госплане СССР.

Участвуя в съёмках фильма, заново переживая судьбу художника, я, может быть, впервые глубоко для себя осознал важность «тихого» мужества и мужества в искусстве Григория Журавлёва, которые так теперь необходимы нам.

...Если бы я и знал о существовании этих строк революционера Семёнова о Журавлёве и губернаторе Свербееве тогда, в конце восьмидесятых годов, вряд ли решился бы внести их в текст первой своей книги о художнике.

Слишком эти слова жестоки.

Теперь в бóльшей степени понятна причина долголетнего забвения, в котором оказалось имя Григория Журавлёва.

У существовавшей тогда власти было своё отношение к таким людям конкретно и к Православию вообще.

Вот ещё одно свидетельство тому. Строки, которые я привожу, взяты из книги «Подвижники Самарской земли» авторов-составителей Игоря Макарова и Антона Жоголева издательства «Кредо». В них идёт речь о судьбе Преосвященного Владимира, который был в 1918 году расстрелян большевиками пер-

¹ Впервые об этой книге воспоминаний я услышал, участвуя в съёмках документального фильма «Григорий Журавлёв», от заместителя главного редактора Самарской телерадиокомпании РИО Александра Викторовича Игнашова. Чуть позже – от президента этой компании Виктора Аркадьевича Добрусина. Фильм о Журавлёве снимался осенью прошлого, 2006 года. Оператор Сергей Шарганов и режиссёр Дмитрий Ионов уже смонтировали его, и в начале этого года он должен появиться на экранах областного телевидения.

вым из русских православных архиереев (об этом я упоминал ранее, в первой части книги в главке «Незаживающая рана»):

«Во время голода в Самаре он (Преосвященный Владимир — *прим. автора*) учредил епархиальный комитет для сбора и раздачи пожертвований пострадавшим, сделал предписание об отчислении процентов из церковных наличных сумм, при всех монастырях и церквях приказал устроить столовые и чайные. В бездожде 1891 года архиерей учредил крестные ходы, причём трудился сам больше всех, а когда начались дожди, он призвал свою паству обратиться к Господу с благодарственной молитвой.

Самарский владыка не жалел сил и средств, чтобы спасти умирающих от голода. И в это же время в Самаре молодой помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов всеми силами «разлагал» созданные комитеты помощи голодающим. Они были рядом в те годы. Епископ и революционер. Один спасал и кормил, другой «имел мужество открыто заявить, что последствия голода, этого могильщика буржуазного строя, — явление прогрессивное, ибо содействует росту индустрии и двигает нас к нашей конечной цели — к социализму, через капитализм... Голод, разрушая крестьянское хозяйство, одновременно разбивает веру не только в царя, но и в Бога, и со временем толкнёт крестьянина на путь революции, и облегчит победу революции». Этого факта достаточно, чтобы понять, что «кровавую баню» народу нашему «безусый» тогда ещё вождь готовил сознательно... Но в той, первой схватке владыка Владимир всё-таки победил: «Все, как один человек, по свойству русской души откликнулись на нужды пострадавших от неурожая. Пожертвования посыпались с разных сторон». Только в Самаре было собрано 26 тысяч пудов продовольствия.

Потом их пути разминулись. Но, видимо, «вождь пролетариата» не забыл своего самарского противника: зверское убийство митрополита Владимира, по замыслу «интернационалистов», стало «сигнальной ракетой», началом физического уничтожения цвета Русской Православной Церкви. Всё это можно было предвидеть ещё тогда, в голодный 1891 год. Ведь ещё в Самаре будущий «вождь» спокойно сказал, что с комитетом помощи голодающим «есть только один способ разговора: рукой за горло и коленкой в грудь». Так всё и случилось.

За одним бедствием Самару ждало другое. На опустошённую неурожаем губернию надвигалась с юга холерная эпидемия.

Епископ Владимир на холерном кладбище сам служил панихиды, на видных местах и площадях города устраивал молебны об избавлении от беды. Владыка своим пастырским словом убеждал население города не падать духом и пользоваться врачебной помощью. Нередко, несмотря на опасность, он посещал безнадёжно больных в городских госпиталях.

Преосвященный Владимир способствовал учреждению в Самаре православного епархиального Братства, избравшего святителя Алексия своим небесным покровителем. В день открытия Братства, 12 февраля 1892 года, епископ Владимир так определил его главную цель: нравственное совершенствование и воспитание в людях сострадания и взаимной любви.

В то время, когда его расстреляли, в Москве проходил Поместный Собор Всероссийской Православной Церкви. Весть о мученической кончине старейшего иерарха потрясла всех членов Собора.

Собор постановил творить ежегодное молитвенное поминовение всех усопших во время гонений исповедников и мучеников в день кончины святителя — 25 января.

В 1992 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви митрополит Владимир был причислен к лику святых».

...Мы теперь больше стали знать.

Приведённая цитата помогает полнее понять, с какими зигзагами развивалось наше самосознание.

Итак, обнаружить дополнительные сведения, касающиеся Григория Журавлёва, можно было в документах о деятельности Самарского губернатора А.Д. Свербеева, раз он так опекал художника, помогал ему и был истинным верующим. Мне подумалось, что хорошо бы прочесть всё то, что писал М.И. Семёнов.

И тут мне стало известно от главного библиографа Самарской областной библиотеки, нашего замечательного земляка Александра Никифоровича Завального, что существовали дневники губернатора Свербеева. В них он вёл записи для себя, не стремясь их опубликовать.

Записки охватывали период с 1877-го по 1888 год. А самарским губернатором он был с 1878-го по 1891-й.

Икону славянских первоучителей Кирилла и Мефодия Григорий Журавлёв написал в июне 1885 года. К тому же, как теперь известно, икона св. Алексия, митрополита Московского, была написана художником по поручению губернатора А.Д. Свербеева.

Всё сходилось к тому, что в дневниках могли быть записи о художнике Журавлёве и его иконах.

Я воспрянул духом!

Надо было искать дневники губернатора!

И уж не до революционера Семёнова мне стало, не до его книг!

Не мог, как я полагал, не откликнуться в своих записках губернатор и на страшные события, связанные с крушением царского поезда, следовавшего из Севастополя в Санкт-Петербург 17 октября 1888 года.

Тогда погибли 23 человека и получили ранения девятнадцать. Царь Александр II и все члены его семьи чудом уцелели.

В память о чудесном спасении императорской семьи из разных концов России поступали подарки.

Самарские дворяне заказали икону для поднесения императорской семье Журавлёву, о чём свидетельствуют документы, хранящиеся в Государственном архиве Самарской области.

Указана и сумма, выплаченная Григорию Журавлёву за написание иконы, — 50 руб.

И эти события, как я полагал, губернатор Свербеев мог упомянуть в своих дневниках.

Дневники губернатора Свербеева

Я позвонил Александру Никифоровичу Завальному и поделился с ним своими замыслами. Он тут же пригласил к себе, пообещав во всём помочь.

И вот я в областной библиотеке.

Александр Никифорович не только поддержал моё желание поработать с дневниками губернатора, но и дал справку о Свербееве. Как историк он немало знал о нём.

Тут же, в ходе обсуждения моих планов, он назвал место, где находятся дневники: РГАЛИ (бывший ЦГАЛИ) — Российский

государственный архив литературы и искусства. Тот самый ЦГАЛИ, в котором хранятся многие документы, касающиеся известных писателей, поэтов, деятелей искусства.

Мы связались по телефону, работники архива нам ответили, что можно приезжать.

Через три дня я был в Москве.

Архив губернатора Свербеева меня ошеломил. Другого слова не подберу. Как мало мы знаем о жизни наших предшественников!

Как порой бездумно, с мнимой высоты современной жизни, смотрим на прошлое. Но там жизнь была... И какая!

Вначале я читал бессистемно. Не мог успокоиться.

«Каким мы знали князя П.Д. Волконского в ранней юности, таким остался он и теперь, в пожилых годах, после стольких переживаний, впечатлений, радостных и тяжёлых, и нельзя не удивляться, что милый его нрав совсем не изменился, что он так же добр и скромен и относится ко всем людям всякого звания и положения с неизменным благоволением и сердечным сочувствием. Такое постоянство и такая доброта свидетельствуют о том, что душа его полна любви к ближнему и сердце его побуждает его помогать всякому во всяком месте и случае, сохраняя великую скромность, несмотря на своё знатное происхождение и высокое общественное положение».¹

Это выдержка из записок А.Д. Свербеева «Чутовская хроника»² 1916 года. Разве пишущий такие строки мог быть сатрапом, как назвал его революционер Семёнов?

Так писал человек в последний год своей жизни для себя. Даже не намереваясь ничего печатать.

Он тихо радовался, что есть рядом такой человек. Мог ли он сам быть ничтожным и недобрым, говоря такие слова о других? Так каким же был десятый по счёту губернатор Самары Александр Дмитриевич Свербеев?

Необычным!

Это первое определение, которое мне тогда пришло на ум.

Удивил объём архива губернатора.

¹ РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 105.

² Село Чутово на Полтавщине.

На материалы фонда составлена опись, включающая 769 дел (единиц хранения).

Александр Дмитриевич Свербеев принадлежал к старинному московскому дворянскому роду. Его отец Свербеев Дмитрий Николаевич — литератор, автор воспоминаний о событиях и общественно-литературных деятелях первой половины XIX века. Его «Записки» опубликованы в 1899 г. В разделе рукописей Д.Н. Свербеева содержатся его статьи и заметки «Поездка в Серпухов», «О статьях в газете», «Вести» и др. Среди его адресатов — К.С. Аксаков, Л.С. Норов, В.Ф. Одоевский. Ему писали: П.А. Вяземский, Л.С. Норов, К.С. Аксаков, С.А. Юрьева и др.

Мать Александра Дмитриевича (урождённая княгиня Щербатова) была хозяйкой известного в середине XIX века московского литературного салона. Среди корреспондентов Е.Д. Свербеевой: К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, С.Г. Волконская, Н.И. Тургенев, Н.В. Гоголь, В.А. Сологуб.

Александр Дмитриевич Свербеев родился в 1835 году в Москве. В 1856 году окончил Московский государственный университет. Он слушал лекции таких историков, как С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский. В архиве имеются его записи лекций Грановского по древней истории, а также его (Свербеева) очерки и статьи: «Нашествие татар на русскую землю», «Битва при Калке, 1224 г.», «О пользе истории» и др. Хранятся студенческий билет, указы и уведомления о наградах и служебных назначениях и др.

Служба Александра Дмитриевича началась 11 октября 1856 г. по ведомству министерства внутренних дел. В марте 1871 года он стал действительным статским советником.

Назначение на губернаторскую должность в Самару он получил 23 октября 1878 года и прослужил в этом качестве, как я уже писал, до 1891 г., затем был назначен сенатором. Утвердил нового губернатора в должности министр внутренних дел А.Е. Тимашев.

Брат губернатора Свербеева, Фёдор Дмитриевич, был камергером Двора Его Императорского Величества и курляндским губернатором.

Из материалов архива видно, что самарский губернатор много внимания уделял народному просвещению. Он сам составил описание школ, большинство из которых посетил лично.

Организовал борьбу с эпидемиями, посещал больницы. В период его правления активно развивается промышленность. Были построены в 1879-1881 гг. пивоваренный завод А.Ф. фон Вакано и механический завод П.М. Журавлёва (станкозавод).

Губернатор Свербеев принимал все возможные меры для прекращения революционной деятельности населения. На период его службы в Самарской губернии пришлось меры по подавлению революционной деятельности народников. Был он, несомненно, «просвещённым консерватором».

Есть достаточно свидетельств, что губернатор Свербеев внимательно относился к поступающим на его имя жалобам.

По его указаниям проверялись критические выступления газет. Он являлся председателем Окружного Правления Общества спасения на водах, был председателем правления Самарского общества любителей музыкального и драматического искусства. При его правлении в Самарской губернии было построено несколько церквей.

Он честно, с его точки зрения, исполнял свой долг, сочетая в себе преданность самодержавию и неприятие революционного движения. О нём говорили как об администраторе с широким размахом деятельности, свободным от постороннего влияния человеком.

По свидетельству современников, губернатор был искренним почитателем самарского епископа Серафима (1878-1891), который говорил о себе: «Ни на какое дело я не напрашивался, но и ни от какого поручаемого мне дела я не отказывался».

Так что на сатрапа, то есть деспота, самодура, управляющего по собственному произволу, губернатор Свербеев похож не был, как бы о том ни писал революционер Семёнов.

В разделе рукописей архива десятого губернатора Самары значительное место как по количеству, так и по ценности занимают дневники. Их он вёл регулярно. Как нам теперь известно, ещё не будучи в Самаре, с 1877 года.

Мне более всего была интересна та часть записей, которая охватывала период управления им Самарской губернией.

Я насчитал в архиве 23 дневника губернатора. Они относятся к периоду, начиная с декабря 1877 года и кончая 1916 годом.

Скончался их автор в 1917 году. Каждый дневник содержит от 40 до 240 страниц мелкого почерка.

Колоссальный труд. Записи делались, как правило, каждый день вечером.

Он называл их «Мои заметки».

Материалы в архиве подлинные.

Записки практически охватывают все стороны жизни Самарской губернии. В этом их несомненная ценность. И они являлись как бы подведением итогов каждого прожитого дня. Дневник губернатора — результат поездок его по волостям. Живой источник для исследования жизни предреволюционной России!

Однако я оказался не в состоянии всё внимательно прочесть. Очень мелкий трудночитаемый почерк и моё слабое зрение не позволили мне этого сделать. В конце концов я начал смотреть выборочно по датам, затем — наугад...

...Наконец-то я порадовался, наткнувшись на рукопись воспоминаний «На берегах Волги». Самара (1878-1891)». Текст записок написан крупно, разборчиво, в отличие от дневников. Подумалось, что уж здесь-то о моём земляке-художнике что-то будет сказано.

...Так хотелось найти документальные сведения о самых неосвещённых периодах жизни художника. О том времени, когда он учился в Самарской гимназии, ездил (его возили) в Петербург. Когда встречался с императором Николаем II, императрицей Александрой Фёдоровной и их детьми: Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и цесаревичем Алексеем, коли он писал портрет царской семьи. (Если так было в действительности?)

Увы...

Быстро я прочитал девять страниц и на десятой споткнулся о неожиданное:

«В марте нынешнего года (1916) мне сообщил мой племянник князь Н.В. Голицын, что недавно в Академии Наук было сделано пожертвование, а именно — моих записок с приложенными в них документами; тогда я приказал принести тот чемодан, в котором эти заметки хранились, и нашёл в нём только тетради; оказалось, что остальные были похищены и проданы старьевщику одним из прежних моих слуг...

Похищение это лишило меня всех собранных мною подробностей, которые были бы мне теперь особенно полезны».

Далее Александр Дмитриевич пишет, что хранил свой архив в спальне, но, когда заболел, прислуга вынесла всё оттуда в коридор. Так стало возможно похищение.

В ЦГАЛИ записки появились уже много позже его смерти. Таким образом, написать обстоятельные воспоминания о годах, проведённых на Волге, основанные на давних своих записках, губернатору помешала кража и последующая его смерть.

Но у меня всё же не пропала уверенность, что в дневниках имя художника должно было упоминаться.

Неделю я провёл за кропотливым чтением торопливых строчек. Но всё безрезультатно.

Зато наступил день, когда я обнаружил неожиданные находки.

Да какие!

Письма Журавлёва к самарскому губернатору и к будущему царю Николаю II.

Речь о них — в следующей главе.

Письма Григория Журавлёва

Мне довелось обнаружить в архиве бывшего губернатора Свербеева четыре письма художника. Кратко скажу о них в хронологическом порядке.

В первом письме¹ к губернатору, датированном 29 декабря 1880 года, Григорий Николаевич пишет:

«В проезд Вашего Превосходительства через село Утёвку, Вы, вникая в благосостояние жителей села, не упустили из виду обратить внимание и на отдельных лиц общества, то есть на беспомощных, а в числе их коснулись и моего положения, как человека без рук, явившегося на свет Божий.

Ныне господин Бузулукский исправник предписанием от 24 декабря через Утёвское Волостное правление объявил мне милость, исходатайствованную Вашим Превосходительством в Самарском губернском собрании, о назначении мне месячного пособия в размере 6 р.с. Да будет счастлива и светла жизнь Вашего превосходительства. Благодарю так же от души и тех, не

¹ РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д 210.

известных мне благотворителей, которые согласились оказать мне эту драгоценную милость...»

Вполне понятно чувство благодарности, которое испытывал сельский художник за проявленную материальную поддержку.

Было-то ему в то время всего около двадцати двух лет.

Приведу содержание второго письма¹, озаглавленного:

«Его Превосходительству г. Начальнику

Самарскому Губернатору

Прошение».

В этом письме Григорий Журавлёв просит принять иконы, которые он выполнил по указанию губернатора. Дан перечень икон (сохраняю правописание автора):

«1. Икона Святого благов. вел. Князя Александра Невского.

2. Икона святителя Николая. И 2 иконы: Покрова Пр. Бог.».

Далее он просит дать указание Г. Наумову выдать деньги, которые тот ему обещал за иконы Спасителя и Казанской Пр. Богородицы.

Деньги просит передать своему родителю, которому вручил доверенность.

Под текстом письма значится: «Село Утёвка. 1883 года января 22 дня».

Итак, в письме названы шесть икон поимённо, которые выполнил лично он, Григорий Журавлёв.

Третье письмо художника короткое, но ёмкое. В нём идёт речь сразу о семи иконах.

«Его Превосходительству

г. Начальнику Самарскому Губернатору

Покорно прошу ваше превосходительство принять иконы, которые вы просили меня, Журавлёва, выполнить к 10 июня. Название икон.

1. Спасителя Нерукотворного. На золоте.

2. Спасителя Николая. На золоте.

3. Спасителя Нерукотворного. На золоте.

4. Святителя Николая. На золоте.

5. Св. Василия Великаго. На золоте.

6. Св. Мучен. Евграфа. Декабря 10 дня.

7. Св. Мученицы Любви. Сентября 17 дня.

¹ РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д 528.

При отпущении написанных мною икон Расписался:

Григорий Журавлёв.
с. Утёвка 7 июня 1884 года».

Итак, из этого письма теперь мы доподлинно знаем ещё о нескольких работах иконописца¹. Причём большая половина из них выполнена мастером на золоте.

Имея опыт работы с золотом, Григорий Журавлёв и его помощники вполне могли сделать тиснение золотом на книге «Ветхий Завет в картинках» в своей мастерской.

Оставим уточнение этого вопроса специалистам.

И, наконец, четвёртое письмо.

Оно адресовано будущему императору:

«Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу.

Ваше Императорское Высочество, покорнейше и усердно прошу Ваше Императорское Высочество, что я, крестьянин Самарской губернии Бузулукского уезда с. Утёвка Григорий Журавлёв от всего моего сердца желаю поднести Вашему Императорскому Высочеству икону — Святителя и Чудотворца Николая, которую я написал ртом, а не руками по той причине, что от своей природы не имею силы и движения в руках и ногах своих.

Ваше Императорское Высочество, покорно прошу Вашего Высочайшего Имени принять сию икону, которую я подношу к Вашему Императорскому Высочеству от всей моей души и любви.

Ваше Императорское Высочество!

Покорнейше прошу Вас допустить препровождаемую сию икону до Вашего Высочайшего Имени потому, что я не имею у себя рук и ног.

¹ Кроме того, есть сведения (мною пока лично не проверенные), что в Санкт-Петербурге в Музее истории религии и атеизма хранилась икона «Избранные святые». Размер её 45x44 см. Написана Журавлёвым. На тыльной стороне доски надпись указывает имя автора и способ изготовления иконы. В Музее изобразительных искусств хранится икона Вседержителя. Её автор Г. Журавлёв, о чём свидетельствует надпись на ней. Об этих двух иконах сообщал в своё время журналист Е. Девиков. Нам придётся ещё отыскать упомянутую когда-то в Епархиальных ведомостях икону, написанную Григорием Журавлёвым для Кафедрального собора Самары. Название её: «Отненное вознесение Илии Пророка». О ней также упоминал Е. Девиков.

И написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, который допустил меня на Свет Божий. И даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю своё мастерство по повелению Божию».

Письмо отличается от предыдущих трёх.

Оно без подписи Журавлёва. Даты под письмом нет. Написано на одном листе (на обеих сторонах его) карандашом. Почерк более размашистый, несколько отличается от писем, написанных чернилами.

Сомнений в подлинности письма нет. Другое дело, что это может быть какой-то промежуточный вариант.

Что думал Григорий, посылая икону Николая Чудотворца цесаревичу? Непростое было время!..

Зверское, шестое покушение на Александра II.

Дьявольская охота на Александра III...

Дарил ли художник икону с верой, что святой Николай Чудотворец укрепит дух будущего императора и облегчит тяжесть его креста?

Скорее всего, да!

Итак, в письмах упоминается отец художника Николай Журавлёв, который доставлял иконы сына в Самару.

Теперь мы можем назвать, кроме известных ранее, ещё имена тех, кто помогал Григорию Журавлёву.

В детстве — это его дед Пётр Васильевич Трайкин, позже, когда художник трудился в своей мастерской над иконами, кроме брата Афанасия, его отец Николай Журавлёв и, возможно, ученики, которых упоминает в своём письме Кузьма Емельянович Данилов: Михаил Хмелёв и Василий Попов.

Может быть, прочитав эти записки, родственники учеников иконописца откликнутся?!

У могилы Журавлёва

Теперь в Нефтегорском районе действуют несколько приходов: во имя Святой Великомученицы Варвары (город Нефтегорск), в честь Святой Троицы (с. Утёвка), в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Бариновка), во имя Святого Дмитрия Солунского (с. Богдановка), во имя Архангела Божия Михаила (с. Зувка), в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Покровка).

Могила Григория Журавлёва стала одним из особо почитаемых паломниками мест.

Но беспокойно на душе...

Куда деться от чувства брошенности, непрочности нынешней жизни, обвала времени? Необъятная наша русская окраина держит уже которое по счёту испытание на выживание, на самоспасение. Предоставлена самой себе.

Ещё совсем недавно по историческим меркам наша великая литература, школа, институты формировали в нас целостные идеалы. Теперь душа взрослого россиянина рвётся на части. Дома ему говорят одно, в школе — другое, пресса и телевидение — третье. На улице — свои законы...

Сохранить человека!

Но куда прибьётся душе?..

Душа обязана трудиться! Если человек приходит в храм и ставит свечку только ради того, чтобы где-то там что-то за него сработало, устроило его дела, ему далеко до спасения души...

Невольно вспоминаются времена, когда в России в самые её тяжкие периоды государство обращалось к Церкви. Стучалось в её двери.

Так было в период монголо-татарского ига, в смутное время начала XVII века.

Кутузов накануне Бородинской битвы молился перед Казанской иконой Божией Матери.

Сталин в военные годы был вынужден прекратить гонение на Церковь. Об этом большинство из нас знают.

Но мы не учимся у своей истории.

В современной России наступил не менее трагический период её жизни.

Как важен сейчас духовный стержень! Как необходим он для подрастающего поколения. Перестройка, обрушив социалистический строй, породила отсутствие благих целей и смыслов воспитания. Государство до сих пор не может понять, какой гражданин ему теперь нужен.

Недавно я вернулся из Москвы. Был участником X Всемирного русского народного Собора, который приступил к своей работе 4 апреля 2006 г. в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Тема его — «Вера. Человек. Земля. Миссия Рос-

сии в XXI веке». Не первый раз я участвую в работе Собора. Но этот — особенный. После молитвы со вступительным словом к присутствующим обратился Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

С докладом, обозначившим основные болевые точки соблюдения прав человека в глобальном мире, выступил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, который, завершая своё выступление, сказал: «Очень плохо и греховно, когда попираются права наций и этнических групп на их религию, язык, культуру, ограничивается свобода вероисповедания и право верующих на свой образ жизни, совершаются преступления на религиозной почве. К борьбе с подобными пороками должно сегодня призываться общество, в эту борьбу должна включиться Церковь. С православной точки зрения, в этом и состоит смысл правозащитной деятельности сегодня...»

Увы, все разговоры в нашем обществе за последние двадцать лет о свободе слова сопровождались разрушением права души быть нравственной. И вот теперь, кажется, что-то меняется. В докладе дан анализ сложившейся ситуации. Процесс глобализации стал реальностью, и, очевидно, обратного пути нет.

Но каким должен быть мир будущего?

Он не должен быть безнравственным.

«Мир не должен быть скроен только по западному образцу», — так прозвучало на Соборе.

Принят целый ряд документов и деклараций. Как же хочется верить, что идеи, заложенные в этих документах, будут использованы в законодательном процессе нашего общества.

Общество, в котором законы соответствуют нравственным традициям, может многое превозмочь.

Психологи давно заметили, что главная причина кризиса современной цивилизации — потеря человеком смысла жизни.

Когда западное общество отошло от христианства, на смену ему пришла пустота, действующая на человека самым разрушительным образом.

У нас это порой принимает самые крайние формы.

К примеру, у алкоголиков чётко прослеживается отсутствие смысла жизни. Таким же образом обстоит дело и с агрессивностью.

Агрессивность не снимается ничем, кроме как возвращением смысла бытия человеку. Подобное я наблюдаю теперь и в наших заволжских городах и сёлах.

Власть и Церковь, чтобы оживить душу общества, должны сказать человеку, куда мы идём, что мы строим.

Об этом я думал, когда стоял тихим летним вечером у могилы Журавлёва.

Он-то знал свой путь и верил. А мы заблудились...

Отец Анатолий сокрушается: в шеститысячном селе Утёвка совсем мало прихожан. Что тут скажешь?

Вера у многих ещё впереди.

27 августа 2005 года состоялся Праздник села Утёвка. На нём был открыт экскурсионный маршрут, посвящённый памяти Григория Николаевича Журавлёва...

Одними из первых приехали в Утёвку ребята из школы-интерната № 9 города Самары.

Я знаком с ними.

Мы иногда встречаемся. Два раза приезжал к ним с новыми своими книжками.

Отзывчивые ребята, неодолимо тянутся к доброму в жизни.

Они уже побывали в экскурсионной поездке в Утёвку, и вот теперь у меня листочки с записью их впечатлений.

«...Не могла насмотреться на красивый сказочный храм. Ещё больше было радости, когда я вошла в него!

...Когда выходили из церкви, над куполами летали стаи голубей. Как будто они нас провожали».

Так пишет Женя Крылова, ученица 6-го класса. Ей вторит Ангела Вакула, её одноклассница:

«...Уходить из церкви не хотелось, что-то снова тянуло в неё.

— Посмотрите ещё раз на храм, — сказала экскурсовод, когда мы стали отъезжать. Я с грустью оглянулась и долго смотрела на церковь, которую теперь запомню на всю жизнь!»

А вот как видел окружающее в этой поездке пятиклассник Виктор Бакулин:

«...В храме заканчивалась служба. Было Прощёное воскресенье. Все прихожане просили друг у друга прощения и цело-

вались. Я поставил свечку за упокой души моей мамы и стал смотреть, как батюшка Анатолий освящает крестики.

Я глядел на нарисованные когда-то Григорием Журавлёвым фрески на стенах храма, на красивые, тонко выписанные лица святых, которые смотрели издалека, и думал, что художник, нарисовавший их, не был обыкновенным человеком. Обыкновенному человеку такое не сделать».

Тут же мне вспомнилась запись, сделанная девятилетним мальчиком Колей из села Елховка. После того, как посмотрел выставку Виктора Пылявского в Самаре, он написал, как воскликнул:

«В нашем селе разрушена церковь. Когда вырасту, её восстановлю!»

Стоит ли комментировать эти отзывы, написанные теми, кто, возможно, будет определять жизнь россиян лет через тридцать-сорок?

Свetaет на душе.

2007 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Подарок Цесаревичу

С того дня, когда мне посчастливилось обнаружить в РГАЛИ в архиве бывшего губернатора Самарской губернии А.Д. Свербеева письма к нему Григория Николаевича Журавлёва, я не мог успокоиться. Дело в том, что среди перечня икон, посылаемых художником, были названы две, одна из которых могла предназначаться Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Николаю. Кроме того, было письмо художника лично Цесаревичу с просьбой принять икону Святителя Николая Чудотворца. Известно, что Государь Наследник принял икону. Об этом писала в своё время газета «Самарские губернские ведомости» (№ 1, январь 1885 года). Но какая из икон имеется в виду? Одна из тех двух, что значилась в письме среди семи икон или была ещё одна икона? И почему писалась в дар икона именно Святителя Николая Чудотворца?

Вопросы, вопросы...

Я начал с поиска ответа для самого себя на вопрос, давно волновавший меня, почему именно эта икона была преподнесена Цесаревичу.

...Почти семнадцать веков прошло с тех пор, когда жил на земле святитель и угодник Божий Николай, великий чудотворец, архиепископ Мирликийский¹. За ревность по вере, добродетельную жизнь и многие чудеса, творимые им и до наших дней, за скорую помощь и милосердие его чтут и прославляют во всём христианском мире. Святитель Николай жил в самое,

¹ Здесь и далее по тексту сведения о святителе Николае взяты из книги «Жития и чудеса святителя Николая Чудотворца и акафист» (Санкт-Петербург: изд-во ИП Ю.Е. Белозёров, 2007), составленной по изданию «Житие и чудеса Николая Чудотворца и слава его в России» (Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1899).

может быть, трудное для христианства время. Это был период решительной борьбы христианства и язычества.

Римские императоры, будучи ревностными язычниками, считали христианство погибелью для Римской империи, а христиан — самыми опасными её врагами.

На христиан шло гонение, их заставляли отрекаться от Христа, поклоняться идолам. Несогласных бросали в темницы, подвергали мучительным пыткам, топили в реках, отдавали на растерзание диким зверям, сжигали на кострах.

Родители святого Николая Чудотворца — Феофан и Нонна — жили в городе Патары, в древней Ликии, входившей в состав Малой Азии. Они происходили из благородного рода, отличались праведной жизнью, милосердием к бедным и усердием к Богу.

Отсутствие детей сильно огорчало их, и они не переставали усердно молиться Господу о даровании им сына, дав обет посвятить его служению Богу.

Молитва праведников была услышана. Нонна родила сына. Дали ему имя Николай, что значит «победитель народа». Отрок Николай делал успехи в книжном обучении, успевал и в благочестивой жизни. С юности готовил себя как храм Божий, в котором мог бы обитать Дух Святой. Юноше помогал в его духовном становлении его родной дядя — епископ в городе Патары.

Приняв сан священника, Николай стал вести ещё более подвижническую жизнь. Он совершил путешествие в Палестину и во время него творил чудеса. По возвращении на родину настало время, когда Николай выступил духовным руководителем Ликийской церкви, просвещая людей светом Евангельского учения.

Потом последует уход из обители в мир для прославления имени Божия. Жил он как нищий, но посещал все церковные службы. И Господь, возвышающий смиренных, возвысил его. Собор епископов рукоположил Николая в архиепископа Мирликийской церкви.

При вступлении в управление Мирликийской архиепископией Николай сказал себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоё место требует от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, но для других».

Так он и жил. Был кроток, незлобив сердцем, смирен духом, чужд надменности и своекорыстия.

Последовавшие вскоре гонения на христиан принесли много горя. Так, в Никодимии в самый день Пасхи было сожжено около двадцати тысяч христиан. Дошли гонения и до Мир Ликийских. Николай вместе со многими христианами был заключён в темницу. Несмотря на смертельную угрозу он громко и открыто проповедовал имя Божие.

По освобождении из темницы, Николай снова занял Мирлийскую кафедру, сохраняя и умножая ревность в утверждении христианства и искоренении ересей.

Святой Андрей Критский свидетельствует, что, «живя ещё во плоти, прежде отшествия ко Христу, святитель Николай являлся к обременённым различными бедствиями, подавая им скорейшую помощь в нуждах и исторгая жертвы смерти из самых её челюстей».

Таким христианский мир знает и помнит святого Николая Чудотворца.

* * *

Это теперь мы имеем определённые знания о жизни царя Николая II, а ещё лет тридцать назад они были скудны. Говорили и писали много о Петре и Екатерине II.

Наши знания о последнем российском императоре не столько книжные, они — трагический факт нашей действительной жизни, нашей общей истории.

Но откуда тогда, в 1884 году, молодому художнику Григорию Журавлёву, которому было всего-то около двадцати шести лет, то есть он был всего на десять лет старше будущего императора, дано знать об общей нашей судьбе... о нашей надвигающейся трагедии?

Смерть Александра II, убитого народовольцами, и приход к власти Александра III знаменовали окончание либеральных преобразований и смену политического курса. Жёсткими мерами Александр III сбил накал революционной борьбы. Ему удалось обеспечить России покой внутренний и внешний. При нём, Царь-Миротворце, международный авторитет России поднялся весьма высоко, Россия не принимала участие в военных конфликтах. Наметилась стабилизация российской экономики и финансов...

Будущий царь с рождения отличался крепким здоровьем, спокойным нравом, был внимательным и впечатлительным ребёнком. Мы знаем, что детство и отрочество будущего царя можно считать безоблачным. Великая Княгиня Мария Фёдоровна лично руководила его воспитанием. Она следила за выбором его учителей.

С 1877 года под руководством генерал-адъютанта Г.Г. Даниловича, в прошлом директора военной гимназии и инспектора классов кадетского корпуса, началось регулярное образование Цесаревича. Учебный план был рассчитан на двенадцать лет. Поражает уровень преподавателей.

«Обучать будущего императора были приглашены ведущие учёные и военные того времени, имевшие большой опыт преподавания... Так, финансовое право, политическую экономию и статистику преподавал профессор Киевского университета Н.Х. Бунге, учёный с мировым именем, бывший в 1881-1886 годах министром финансов. Международному праву наследника обучал профессор московского университета М.Н. Капустин, политической истории — профессор Санкт-Петербургского университета Е.Е. Замысловский. Химию читал профессор Харьковского университета Н.Н. Бекетов.

Друг юности Цесаревича Николая великий князь Александр Михайлович («Сандро») писал в своих воспоминаниях: «Будущий император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его по знанию языка за настоящего англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий языки...»

Учить наследника законоведению был приглашён обер-прокурор К.П. Победоносцев, который наставлял наследника на путь безусловного следования принципам правления Александра III, сумел внушить великому князю Николаю Александровичу мысль о невозможности со стороны самодержца делегирования своей власти кому бы то ни было во избежание анархии и краха. Император Николай II будет неуклонно следовать этой идее».¹

¹ Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже XIX-XX веков: Каталог выставки. — Санкт-Петербург: АО «Славия», 2012 г. — С. 131.

И эта блестящая система обучения, подготовка Цесаревича к великой миссии во имя служения России приходит в диссонанс с умонастроениями самого Николая Александровича.

20 октября 1894 года Александр III умер и Николай Александрович стал императором. Как признавался позже Николай II, мысль о грядущей царской ноше повергала его в ужас. По свидетельству великого князя Александра Михайловича, царь в день кончины своего отца плакал и сокрушался о себе как о человеке не готовом принять бремя верховной власти, и о России, судьба которой ему была небезразлична. В своём дневнике Николай записал: «Для меня худшее случилось, именно то, чего я так боялся всю жизнь».

Таким вступал на трон Николай II.

Как важна и нужна была в то время ему стойкость и жертвенность в служении своему народу, так характерная для Николая Чудотворца. Думал ли об этом двадцатилетний художник из далёкого заволжского села, писавший икону для будущего самодержца, или простодушно беспокоился о молитвенном призвании святого, имя которого носил Цесаревич?

Полагаю, что, несомненно, думал...

* * *

Но где теперь находится икона святителя Николая, подаренная Цесаревичу более ста двадцати лет назад? После очередного выхода дополненного издания моей книги о Григории Журавлёве «Радостная встреча» в 2007 году, в которой приводился список ещё двенадцати икон художника, география поисков расширилась. Случилось наконец то, чего мне давно хотелось: всё более и более читателей подключалось к поиску икон. Но всё равно это было похоже на поиск иголки в стоге сена.

Прошло около пяти лет...

За это время появилась информация, что подписная икона Григория Журавлёва «Спас Нерукотворный» хранится в настоящее время в г. Галиче Костромской области в женском монастыре.

Найдена ссылка, что в Санкт-Петербурге в музее истории религии должна быть его икона «Избранные святые».

Долгое время я собираю информацию о тех, кто когда-то работал вместе с Григорием Журавлёвым.

И вот появились сведения о Емельяне Калашникове.

По словам его правнучки, жительницы г. Самары Ацегейды Ольги Ивановны, о Емельяне Калашникове рассказывала его дочь Самаркина Евдокия Емельяновна: «Отец был художником. Я помню, как он рисовал углём на белёной печи портреты приходящих в дом людей. Когда свободного места совсем не оставалось, печь заново белили. Но такой она оставалась недолго, отец снова рисовал на ней портреты гостей. Писал иконы и картины».

Семья жила в селе Домашка и Емельян уезжал в Утёвку расписывать Храм Святой Троицы...

Емельян редко бывал дома, всё больше времени проводил в Храме. А когда не было распутицы приезжал к своей семье. Тогда он рассказывал детям Евдокии и Ивану о том, какой интересный человек живёт в Утёвке, работает в Храме. «Он без рук и без ног. Держит зубами кисть и пишет святые образы, да так, что иной мастер и руками не сделает». Рассказывал, что переносил его как ребёнка. И кормил, потому что Григорий и есть не мог самостоятельно.

В семье Калашниковых много молились, статус семьи иконописца ко многому обязывал. Молитвы и строгие посты соблюдались безоговорочно. Дети Емельяна росли в строгости и послушании. Евдокия дожила до 94 лет. Работала в Горзеленхозе г. Кинель. Многие деревья на территории райцентра посажены её руками. А Иван Калашников трудился в линейном отделении милиции на станции Кинель. В 1943 году ушёл на фронт, был санитаром — выносил раненых. Погиб при форсировании реки Днепр на Украине.

У потомков Е. Калашникова много лет хранилась икона святой Варвары Великомученицы. Писал ли её Емельян или это другой иконописец — неизвестно. Находилась она в доме с тех самых пор, когда глава семьи писал и работал в Утёвском Храме. Эту семейную реликвию потомки Емельяна Калашникова передали в дар Утёвскому Храму в память о своём предке...

Сейчас правнучка Емельяна Калашникова посещает школу иконописи в православном центре «Синай» г. Новокуйбышевска и мечтает стать иконописцем. Жизнь и вера неистребимы!

Совсем недавно в Храме Святой Троицы появилась копия портрета, выполненного Г. Журавлёвым, о чём свидетельствует надпись на обратной стороне оригинала.

Это копия подарена Храму Любовью Александровной Чернышёвой. Речь идёт о карандашном портрете (он находится у родственников в Москве) отца Александра (Егорова) и матери Евгении.

По словам Любови Александровны, отец Александр до революции (т.е. при жизни Г. Журавлёва) был настоятелем Троицкого Храма в с. Утёвка. У них были дети: Леонид, Вера, Надежда.

Были и есть внуки и правнуки. Среди них: внучка Светлана Леонидовна Колмыкова. И правнук: Андрей Александрович Колмыков (в 90-е годы прошлого века — вице-губернатор Самарской области).

В своё время бывший житель с. Утёвка Михаил Семёнович Тимонтаев говорил о нахождении в Москве двух похожих портретов, выполненных Григорием Журавлёвым. Но, видимо, речь шла не об этой работе...

И вот новое радостное событие: среди многочисленных ответов на наши письма и обращения (часть их готовила Алла Алексеевна Ижедерова, и отправлялись они от имени главы Нефтегорской районной думы) пришёл совершенно замечательный ответ. Из государственного Эрмитажа г. Санкт-Петербурга сообщали, что о запрашиваемых иконах информации нет, но есть икона «Св. Николая Чудотворца» кисти Журавлёва.

И случилась оказия. Давний помощник в моих краеведческих делах, профессиональный фотограф Константин Байгузин отправлялся к родственникам в Санкт-Петербург. Не мешкая, мы созвонились с хранителем музея Дмитрием Владимировичем Гусевым, подписавшим ответ из Эрмитажа, и договорились, что он предоставит возможность Константину сделать снимки с иконы. Что и было исполнено.

Уже через неделю я держал в руках фотокопии иконы святого Николая Чудотворца. Две из них я отвёз в Утёвку на родину Григория Журавлёва. Одну — в храм Святой Троицы, другую — в музей художника.

В это же лето на день села в Утёвку был приглашён Дмитрий Владимирович Гусев. Мы познакомились очно и договорились о сотрудничестве. Поставили себе цель: отыскать, если таковые есть, иконы Журавлёва в Эрмитаже и в других музеях Санкт-Петербурга и России. Так я приобрёл в помощники специалиста, занимающегося в Эрмитаже историей русской культуры.

* * *

Да, это та икона, которая была передана Григорием Журавлёвым Цесаревичу. На тыльной стороне её надпись: «Из госархива Цесаревича». На лицевой стороне внизу по дереву надпись белилами, характерная для утёвского художника: «Писал зубами крестьянин Григорий Журавлёв. Самарской губ. Бузу-лук. уезда, села Утёвки».

Икона поступила в Эрмитаж в 1949 году из государственного музея этнографии народов СССР г. Ленинграда (инв. ЭРЖ-2307).

Начались наши с Дмитрием Гусевым плодотворные контакты по телефону и электронной почте.

В этот период в государственном Эрмитаже шли работы по созданию выставки «Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже веков» в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг». Организационный комитет программы «Эрмитаж-Выборг»: А.Ю. Дрозденко (губернатор Ленинградской области), М.Б. Пиотровский (генеральный директор государственного Эрмитажа, член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук), Г.А. Орлов (глава муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области). Дмитрий Владимирович Гусев занимался непосредственно размещением экспонатов в выставочном зале. Параллельно готовится и издаётся каталог этой беспрецедентной в истории русского искусства выставки.

На второй день после моего приезда в Санкт-Петербург мы с Дмитрием Владимировичем поехали в Выборг на выставку.

Старинный Выборг встретил нас неожиданно бодрой погодой. Ни моросящего дождя, ни свинцовых туч, как в Санкт-Петербурге. Даже не верится: удалились от северной столицы всего-то на 125 километров да тем более приблизились к фин-

ской границе. Мой спутник уверял, что такие дни в Выборге — редкость.

Мимо старинных домов из крупных булыжников, мимо замка XIII века, башни, ратуши, по мощёным узким улочкам, напоминавшим города давнего европейского стиля, шли мы в выставочный зал Центра.

Может быть, оттого, что была суббота, особого рабочего ритма в городе не чувствовалось. Не ощущалось, что мы были в городе, который является морским торговым портом, большим транспортным узлом, через который проходит целая сеть железных дорог, связывающих его со столицами и другими городами различных стран. Скорее всего, так было оттого, что мы всецело были заняты своей главной задачей — судьбой художника Журавлёва и его икон.

* * *

Рассказывать о выставке можно долго. Но её надо видеть!

Работа выставки рассчитана до 31 марта 2013 года, и рассказывает она о русской истории через образ царской семьи, через частную и официальную жизнь членов этой семьи. Обстоятельства личной жизни императора Николая II имели большую роль в его деятельности как самодержца.

Переплетение личных и национальных чувств и судьбы Государя стали судьбой нашей предреволюционной страны.

Фигура царя Николая II трагическая и трогательная.

Действующие лица той эпохи представлены на выставке только подлинными изображениями и личными вещами. Вся выставка — повествование о части нашей общей российской жизни, побуждающее к размышлению.

Лица, лица, лица...

Когда ходишь по залам выставки, целиком находишься в полном погружении в трагедию XX века, постигшую Россию.

Трагическое лицо императрицы Александры Фёдоровны, торжественный, удивительно русский образ Николая II. Великие князья... Семейные картины венчания, церемоний, предметы роскоши, подарки, безделушки...

Неохватная мощь и державность! И этому всему суждено было превратиться в пыль...

Особое щемящее чувство охватило, когда на втором этаже, в светлой просторной комнате подходили к стенду с иконой святителя Николая Чудотворца.

Она небольшая. Вот как написано о ней в инвентарной карточке:

«Время и документы поступления: поступил в 1949 г. Передан из музея этнографии народов СССР (бывший исторический отдел).

Автор: Журавлёв Г.Н. (иконописец), 1858-1916 гг.

Название: Николай Чудотворец.

Место создания: Россия.

Датировка: нач. XX век.

Материал, техника: дерево, масло.

Размеры: 36X26,5 см.

Изображение поясное, правой рукой благословляет, в левой — евангелие; фон золочёный; в деревянном футляре.

Сохранность: общая потёртость, кракелюр».

Внизу иконы надпись: «Писал зубами крестьянин Григорий Журавлёв, Самарской губ. Бузулук. уезда, села Утёвки».

К сожалению, в эти записи вкралась неточность: указано время создания иконы — начало XX века. Мы-то теперь знаем, что икона написана в конце XIX века. Причину неточности мне объяснили позже. История иконы, факт дарения её Цесаревичу в Эрмитаже не были известны, поэтому художники определяли время её создания по своим критериям. Отсюда понятно то, почему в каталоге выставки ошибочно указано, что она была преподнесена Императору Николаю II, а не Цесаревичу.

Посетители выставки проявляют живой интерес к иконе Журавлёва, она не теряется в многоликости экспонатов.

Мне приходилось тут же в зале давать пояснения, рассказывать об истории создания иконы, о Григории Журавлёве.

Тепло и заинтересованно прошёл на следующий день разговор в реставрационной лаборатории Эрмитажа. И здесь мне довелось рассказывать её сотрудникам о Журавлёве и его творчестве. Меня внимательно слушали. Задавали вопросы. Замечательные русские люди. Как я могу понимать, высококлассные специалисты.

Книга «Радостная встреча» тут же была размножена на цветном ксероксе. Решено было взять икону святителя Николая Чудотворца на исследование. Художественная ценность иконы несомненна, несомненен и масштаб личности её создателя.

Обратили внимание специалисты и на особенность, с которой избражён лик святого, — тревогу на лице. И вновь, теперь уже не только я, все мы вернулись памятью к тем роковым, трагическим событиям в России, накануне которых Цесаревич принимал корону империи. Что было в иконе Журавлёва? Предупреждение? Надежда? Желание помочь будущему царю найти силы для обретения стойкости и мужества перед грядущим? Какие чувства теснились в душе у создателя иконы? Ведь он — песчинка из далёкого заволжского села, частичка огромного российского народа, готового и на сострадание, и на безмерную ярость...

* * *

Последний мой день в Санкт-Петербурге был занят поисками ещё одной иконы Журавлёва. Напомню, у меня ещё до поездки имелись сведения: одна из икон Григория Журавлёва «Избранные святые» хранилась когда-то в Музее истории религии. По другим источникам — в главном храме Санкт-Петербурга, воздвигнутом для общенациональной святыни Казанской иконы Божией Матери. Первый камень в основании храма был положен императором Александром I 27 августа 1801 года. Этот храм со дня освящения стал духовным центром Санкт-Петербурга, он имел значение придворного храма Царствующего дома Романовых. В Казанском соборе венчались все члены царской семьи.

В нём расположена усыпальница великого российского полководца, светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова.

Удалось установить, что икона «Избранные святые» действительно была в храме, но в течение длительного времени, когда в храме находился Музей истории религий, принадлежала ему. Когда Музей переселился, икона покинула Казанский собор. Нам с Дмитрием Гусевым помогли связаться с хранителем музея истории религии и получить ответ: да, икона сей-

час хранится у них в музее. Принадлежность её кисти Утёвского иконописца подтверждается надписью на обороте: «Сию икону рисовал зубами крестьянин Григорий Журавлёв. Самарской губернии Бузулукского уезда, села Утёвки. Марта 13 дня 1888 года». Так что мои предположения о месте нахождения иконы «Избранные святые», о чём я упоминал в 2007 году во 2-ой части этой книги, подтвердились.

...Так хотелось хотя бы немного узнать ещё и об иконе Вседержителя, которая по моему убеждению должна находиться в Музее изобразительных искусств Санкт-Петербурга, но времени на поиски уже не было совсем...

Заручившись обещанием Дмитрия, что он непременно получит фотокопию иконы и вышлет её мне, я поторопился на Московский вокзал к поезду.

Уже в поезде раздумчиво анализировал я свои впечатления, связанные с поездкой. Вспоминал хождения по величественным залам, по улицам города-музея. Блистательное величие Исаакиевского собора, залов Государственного Эрмитажа в который раз, несмотря на то, что несколько раз бывал в городе на Неве, учился в Технологическом институте, покоряли, восхищали...

Но в этом величии и блеске не терялся для меня свет, идущий от совсем небольших икон Журавлёва. И той, которую я увидел в эти дни, и той, с которой ещё предстоит встреча.

Для меня иконы Григория Журавлёва обладают особой притягательной силой, природу которой сразу не определишь, не назовёшь. И надо ли это делать?

...На второй день после того, как я вернулся в Самару, мне позвонил отец Александр Шастин, настоятель Кафедрального собора в Галиче, с которым мы совсем недавно познакомились, и напомнил о нашей договорённости, что я непременно приеду к нему в Галич на встречу с иконой «Спас Нерукотворный». Я обещал приехать в начале 2013 года, юбилейного для Григория Журавлёва. Как только закончатся мои зачётные и экзаменационные дела в университете...

Меня ждала ещё одна радостная встреча...

На костромской земле

Мне давно надо было побывать в городе Галиче Костромской области, да всё как-то откладывал я свою поездку по разным причинам. Последней причиной была поездка в Санкт-Петербург на встречу с иконой «Св. Николай Чудотворец». Теперь мне предстояла встреча в Галиче с иконой Журавлёва «Спас Нерукотворный», которую я для себя открыл, как уже говорил в предыдущей главе, работая над статьёй об утёвском художнике для издания «Православная энциклопедия»¹.

...Галичская земля встретила нас крещенскими морозами и бездонным тёмно-синем небом. Поезд прибыл около десяти часов вечера. Нас, как и было обещано, встречала удивительно заботливая и отзывчивая супружеская чета: настоятель Кафедрального собора в Галиче протоиерей Александр Шастин и матушка Людмила.

Все четыре дня, которые мы провели с моей женой Ларисой в этом небольшом, но древнем городе стали незабываемыми для нас. И это так сложилось благодаря нашим новым знакомым, их подвижническому образу жизни, с полной отдачей всех сил делу, которому они служат, а вернее — вере, которая освещает все действия их и поступки.

...Мы переночевали в гостинице при Кафедральном соборе и в десять часов утра были уже на службе в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.

И с этого дня, мы всё более и более начали погружаться в захватывающую сознание русскую старину.

Совсем небольшой город Галич основан во второй половине XII века. Это был форпост Северо-Восточной Руси в освоении Севера.

Впервые он упомянут в 1238 году, когда татары «всё по Волге пленили и даже до Галича Мерьского».

После смерти князя Владимирского Ярослава Всеволодовича город становится столицей самостоятельного княжества. Сын Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского Константин Ярославович становится первым князем Галича.

¹ Эта статья напечатана в XIX томе Православной энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XIX, с. 385-387.

...После смерти Дмитрия Донского Галич достался Юрию Дмитриевичу.

Город часто подвергался нашествиям его противников, так как прикрывал центральные части Московского великого княжества с севера-востока.

В 1398 году новгородцы захватили Великий Устюг и опустошили территорию, окружающую Галич. Позже до Галича доходили отряды Едигея. В 1428 году к Галичу подходили татары, но город не взяли. Несмотря на намерения оппозиции сделать Галич выше Москвы, в 1450 году он был присоединён к Москве, сделавшись центром уезда.

В Смутное время Галич оказался в руках поляков. Карательным отрядом, которым командовал Лисовский, он был полностью разорён.

Как непроста судьба этого небольшого городка, в который привела нас икона Журавлёва!

Отец Александр рассказывал, а нам хотелось знать всё больше и больше.

...В начале далёкого XVII века Галич сыграл важную роль в кровавой драме Смутного времени.

Первый самозванец Григорий Отрепьев был родом из Галича. Но именно галичане первыми на северо-востоке Руси в ноябре 1608 года подняли восстание против поляков.

Позже галичане приняли активное участие в Первом и Втором ополчениях.

В 1619 году галичанам вновь пришлось пережить разорение...

* * *

...В 2009 году Галич отметил своё 850-летие. Ныне этот город — один из крупнейших районных центров Костромской области, с населением более 17 тысяч человек.

...Невольно трепетное отношение к истории края при рассказах отца Александра передаётся и нам. Чувствуется: просветительство и проповедничество — это его призвание. И призвание это возросло на патриотизме и вере. Отец Александр родился в городе Костроме. Его отец Михаил, которому уже за восемьдесят лет, — протоиерей. Брат Василий — тоже протоиерей, возглавляет миссионерский образовательный отдел

Костромской епархии. Другой брат протоиерей Сергей — настоятель Крутицкого патриаршего подворья в Москве.

Сын — священник Михаил — клирик Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Таков город Галич и его люди, приютившие в лихолетье и поругание церкви икону «Спас Нерукотворный», написанную моим, далёким от Галича, земляком.

Неодолимо тянуло в Паисиево-Галичский монастырь. Хотелось знать его историю. Его жизнь.

Я уже знал, что монастырь, хранитель иконы Г. Журавлёва, был основан близ Галича как Никольский. После чудесного явления Овиновской иконы Божией Матери он получил название Успенского. Позже по имени самого замечательного его настоятеля стал называться ещё и Паисиевым.

Считается, что он возник близ Галича на горе Краснице во второй половине XIV века. Монастырь был ктиторским, построенным по усердию боярина Ивана Овина на его землях.

Расцвет монастыря пришёлся на время настоятельства подобного Паисия Галичского. При нём сложилось основное ядро монастырских вотчин.

К моменту кончины Паисия Галичского Успенский монастырь на горе Краснице становится почитаем как великая святыня далеко за пределами Галича.

Причиной этому была и чудотворная Овиновская икона Божией Матери. Исцеления от неё привлекали паломников, многие из которых делали вклады.

До самого начала XVII века благосостояние монастыря только росло. Василий III отписал ему рыбные ловли «в озере Галич, в реках на Ихлеме у озера в устье и над Святицею и Сухой Песок».

Польско-литовские разорения и голод привели к запустению и Галича, и монастыря, и его вотчин...

Но храм в который раз восстал из руин!

...Не иссякал поток богомольцев в монастырь, и когда он был разорён большевиками.

С начала 30-х годов Паисиев монастырь использовался под хозяйственные нужды (инкубатор, дровяной склад и т.п.).

Ограду и Святые врата разобрали на кирпичи, а монастырское кладбище было уничтожено.

В 1990-е годы началось возрождение Паисиево-Галичского монастыря. Первый со времени возрождения крестный ход к монастырским руинам состоялся 5 июня 1992 года, в день памяти преподобного Паисия.

В 1994 году монастырь был возобновлён как женская обитель. Первой настоятельницей стала игумения Наталия (Василенок).

Первая Божественная литургия, совершение которой возглавил архиепископ Костромской и Галичский Александр, прошла в Паисиевом приделе Успенского собора 5 июня 1997 года.

А в 2003 году в Паисиево-Галичский монастырь из Введенского Кафедрального собора города Галича была торжественно перенесена древняя святыня обители — чудотворная Овиновская икона Пресвятой Богородицы.

Как похожа судьба монастыря на судьбу Троицкого храма в с. Утёвке, в жизни которого принимал активное участие иконописец Г.Н. Журавлёв.

...Как уже говорилось, особо чтимой иконой в монастыре изначально была Овиновская икона Божией Матери, явленная боярину Ивану Овину.

После утраты её, около первой трети XVIII века, был создан новый Образ.

Сейчас эта икона и Спас Нерукотворный находятся рядом.

Икона «Спас Нерукотворный» помещена на левом, если смотреть от входа, столбе. Она появилась, по словам священника отца Николая, в обители после её возрождения года через четыре. Написана в начале XX века. Где была икона всё это время — неизвестно. Икона довольно значительного размера (около 70х60 см), написана маслом на дереве. Несколько потемневшая от времени. Внизу надпись, говорящая о том, что она выполнена Григорием Журавлёвым.

...Как известно из древних источников и научной литературы, есть несколько версий о первоначальном происхождении Мандилиона. По одной из них большой проказой эдесский царь Авгарь направил к Христу своего слугу с письмом, в котором просил Иисуса приехать и исцелить его. Иисус ответил письмом, но оно не исцелило царя. Тогда царь Авгарь прислал слугу-художника, поручив ему, если Спаситель не сможет прийти, написать Его образ и принести ему. Окружённый толпой

Христос, увидев, что художник хочет сделать Его портрет, попросил воды, умылся, вытер Свой лик платом. И на этом плато отпечатался Его образ. Спаситель передал плат художнику с повелением отнести с ответным письмом пославшему его. Получив портрет, Авгарь, дотронувшись до чудесного полотенца, исцелился от главного своего недуга.

Эдесский царь поместил плат в надворную нишу для всенародного поклонения.

Когда наступили времена гонений на христианство, икону замуrowали в городской стене с зажжённой перед ней лампадой.

Только в IV веке плат снова был явлен миру. Его почитание было широко распространено на всём Востоке.

С этого плата списывались многие копии, он стал как бы оригиналом ликов-икон, в изобилии распространившихся по всему христианскому миру.

Византийские императоры Константин Багрянородный и Роман I выкупили Нерукотворный Образ у Эдессы. Плат перенесли торжественно в Константинополь. Он был помещён в храме Пресвятой Богоматери, называемом Фарос.

Существует и другая версия возникновения образа Христа. Она связана с историей плата Вероники — отдельной реликвии, хранящейся в Соборе св. Петра в Риме и принадлежащей западной традиции.

Согласно этой версии в день распятия св. Вероника подала полотенце Спасителю, который изнемогал под тяжестью Своего Креста. Иисус вытер им Свой лик, который отпечатался на полотенце. Будто это и есть источник возникновения иконы Спаса Нерукотворного, то есть Мандилиона. Однако многие считают, что это независимая реликвия, независимое изображение. На иконописных версиях плата Вероники главу Спасителя венчает терновый венец, что соответствует рассказу о том, когда был подан плат. На Мандилионе тернового венца нет, волосы и борода Иисуса мокрые, что согласуется с преданием о слуге Авгара, в котором Иисус вытирается полотенцем после умывания.

Культ плата Вероники, как отмечают учёные, возник относительно позже — около XII века. Иконы, связанные с этим культом, есть в действительности версии св. Мандилиона, несущее в себе византийское либо славянское происхождение.

Икона «Спас Нерукотворный», созданная Григорием Журавлёвым, не только по своей иконографии, но в самом прямом смысле является нерукотворной. Изограф писал её, держа кисть в зубах.

На иконах Спасителя изображение только головы Иисуса говорит о примате духа над телом.

Иконы часто возникали вследствие желания «размножить» реликвию, освятить ею весь христианский мир.

Икона Спасителя Нерукотворного говорила и о реальности земной жизни Спасителя, и о подлинном существовании самого Святого Плата.

Тот факт, что художник, посланный царём Авгарем, не смог нарисовать Спасителя, а получил отпечаток образа на плате от Христа, говорит о том, что иконописцы есть не художники в общепринятом смысле, а исполнители замысла Божьего.

На Руси почитание Нерукотворного Образа начинается в XI-XII веках.

В 1355 г. московский митрополит Алексий привёз из Константинополя список св. Мандилиона. Для него был заложен храм-реликварий. По всей Руси стали возникать церкви, приделы храмов с посвящением Нерукотворному Образу. Они получили название «Спасских».

Знамёна (хоругви) с иконой Спаса сопровождали русские войска в походах, начиная с Куликовской битвы вплоть до Первой Мировой войны. Иконы Спаса начинают размещать на крепостных башнях, над входом в церковные здания в качестве принадлежности к христианской церкви.¹

...На третий день нашего пребывания в Галиче отцу Александру понадобилось ехать в Костромскую епархию. Он пригласил нас с собой. Мы с радостью согласились.

И не зря! Эта поездка, на первый взгляд как бы напрямую не связанная с поисками иконы Спасителя, так сильно повлияла на ход наших мыслей и чувств, столько дала сердцу пищи...

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

¹ Часть сведений взята из статьи Андрея Охочимского «Спас Нерукотворный и его значение», из статьи А.М. Лидова «Святой Мандилион. История реликвии» в книге «Спас Нерукотворный в русской иконе» (М., 2008, С. 12-39) и других официальных источников.

Животворящая святыня!..

Ранним утром, ещё в сумерках, внедорожник, за рулём которого сидел сам батюшка, уверенно вышел на трассу. Впереди путь длиною в 120 километров. Каждый день общения с отцом Александром и матушкой Людмилой приносил нам открытия.

Так было и в этот день.

Отец Александр сразу предупредил, что поедем мы не прямой дорогой, а с заездом в Сусанинские места. Конечно, о Сусанине каждому из нас известно ещё со школы. Но... одно дело знать, другое — видеть!.. Я невольно осмотрелся: повалил крупный рыхлый снег, небо меж низких туч еле просматривалось.

— Давно ли чистили дорогу? И сможем ли мы разъехаться со встречным транспортом? — сам несколько смущаясь своих вопросов, спросил я, когда мы довольно резко свернули с большого на узкий просёлок и почувствовали, как натужно заурчал мотор.

— Не беспокойтесь, я надеюсь, нам сегодня повезёт. Когда ещё у вас будет такая возможность.

«Ничего себе ответ!» — подумалось мне.

Мы ехали, порой казалось, по целине. Ни указателей, ни следов машин. Кругом: вдали, внизу, сбочь — необозримое пространство из угадываемых под снегом болот, мелколесья и оврагов.

Подъезжаем к селу Домнино, которое отстоит от Костромы вёрст на семьдесят к северу.

Согласно преданию, Иван Сусанин был родом из Деревеньки — небольшого поселения, расположенного недалеко от Домнино.

— А какие-то конкретные подробности бытуют среди местных о том давнем событии в этих болотах? — мне всё хочется натолкнуться на какой-нибудь факт, не известный дотоле мне.

— Поздней зимой 1613 года уже наречённый Земским Собором царь Михаил Романов и его мать инокиня Марфа жили в Домнино. Польско-литовский отряд, узнав об этом, пытался отыскать дорогу в Домнино, чтобы пленить юного Романова. По пути захватчикам попался Иван Осипович Сусанин, бывший тогда вотчинским старостой. Ему приказали показать дорогу. Сусанин согласился, но повёл чужеземцев в другую сторону, к селу Исупову. А своего зятя Богдана Саблина послал в Домнино предупредить об опасности.

Дальше последовала всем известная история.

— Она документально подтверждается?

— Конечно. Есть жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича наследникам Ивана Сусанина, датированная 30 ноября 1619 года. В ней говорится о подвиге Ивана Сусанина и о даровании зятю Сусанина половины деревни с «отбелением», то есть освобождением от всех податей и повинностей.

...Потом в Костроме мы узнали, что известное в истории с XVI века село Домнино было в своё время вотчиной дворян Шестовых. Из этого рода происходила инокиня Марфа (Ксения Ивановна Шестова) — мать царя Михаила Фёдоровича Романова.

В конце XVI века, когда Ксения Шестова вышла замуж за боярина Фёдора Никитича Романова (впоследствии он стал Патриархом Московским и Всея Руси Филаретом), домнинская вотчина была дана ей в приданное.

После кончины инокини Марфы в 1631 году, согласно её завещанию, Домнино и вся вотчина были пожалованы московскому Новоспасскому монастырю — месту погребения Романовых, где была похоронена и инокиня Марфа.

В год 300-летия Дома Романовых неподалёку от Домнино в деревне Деревеньки, на месте, где по преданию стоял дом Сусанина, Александровским братством была воздвигнута памятная часовня во имя небесного покровителя народного героя — святого Иоанна Крестителя. В часовне до 1917 года совершались молебны в царские дни и панихиды по царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину.

...Побывали мы и около Успенской церкви села Домнино, где в ограде приходского кладбища 11 сентября 1994 года был торжественно освещён деревянный крест, установленный на месте предполагаемого захоронения крепостного дворян Шестовых — Ивана Сусанина.

Затем подъехали и постояли около огромного, величиной с деревенский дом, валуна, установленного в 1988 году на холме над Чистым болотом на месте бывшей деревни Анфёрово. На памятном камне надпись: «Иван Сусанин. 1613 г.».

Необозримые дали открываются с этой возвышенности. Дали, кажущиеся и в наше время непреодолимыми и недоступными. Ни конному, ни пешему...

...Уже приехав в Самару, я навёл справку: 27 августа 1939 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, гласивший: «Переименовать Мольвитинский район Ярославской области в Сусанинский и его центр, село Мальвитино, в село Сусанино».

...Мы ещё какое-то время потоптались около огромного валуна с надписью, посмахивали, подпрыгивая, перчатками снег, налипший на большие белые буквы и... направились в сторону Костромы. Снеговая стихия на какое-то время поглотила нас... Ни единого человека: ни встречного, ни попутного до самой трассы на Кострому мы не встретили...

* * *

Старинная Кострома нас порадовала морозным полуднем. Тучи куда-то подевались. На небе, одинаково во все стороны ровно-молочном, светило яркое на морозе солнце, освещая раскинувшийся вольно на костромской низменности, на берегах великой Волги, город.

Город основан в XII веке при впадении реки Костромы в Волгу, по версии В. Татищева, во время экспансии князя Юрия Долгорукого в Поволжье. С XVII-XVIII веков Кострома — один из крупных русских городов. В отличие, например, от Самары, благополучно пережившей бурные моменты истории Российской, Кострома неоднократно разорялась татарами, новгородскими ушкуйниками, польско-литвоскими войсками и др.

...Монастыри костромской земли, как правило, имели началом своей истории отшельнические кельи подвижников, стремившиеся к уединённому пустынноческому житию. Они удалялись в безлюдные места, со временем к ним собиралась братия, желавшая жить под началом опытного духовника. На месте их строились храмы, создавались обители...

С именами костромских святых и монастырями связана история чудотворных икон Божией Матери, прославленных на костромской земле.

Преподобному Авраамью Городецкому, подвизавшемуся в уединённой келье на берегах Галичских, явилась икона Пресвятой Богородицы «Умиление».

Чудотворный Овиновский образ Царицы Небесной был явлен преподобному Паисию Галичскому и стал главной святыней монастыря.

В этом старинном городе я узнал, что написанная Григорием Журавлёвым икона Нерукотворного Образа Спасителя — одна из чтимых не только в Галиче, но и в Костроме, куда она доставлялась для всеобщего поклонения.

...Близ Костромы в урочище Игрищи местные пастыри обрели в 1622 году в ветхом деревянном храме Игрицкую Смоленскую икону Божией Матери...

Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий монастырь, Свято-Предтеченский Иаково-Железоборовский монастырь, Макариево-Унженский монастырь, Макариево-Писемский монастырь, Знаменский монастырь — эти и другие обитатели являлись не только духовными, но и культурными центрами для своего времени. Здесь велись летописи, хранились древние святыни и реликвии, создавались шедевры искусства.

Мне, только что вернувшемуся из Санкт-Петербурга и Выборга, где я узнал так много о последнем русском царе Николае II и о его семье, особо притягательно было то, что связано с истоками монархии Романовых, с нашим российским царём Михаилом Фёдоровичем. Вся 300-летняя история Романовых гудела во мне — от Михаила Фёдоровича до Николая II — единой, туго натянутой струной.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь!..

События Смутного времени сделали его одним из центров, где решалась судьба всей России.

Начавшиеся по стране восстания осенью 1608 года против польских захватчиков дошли в 1609 году до Костромы. Изгнанные из города поляки укрепляются в Ипатьевском монастыре.

С большим трудом, благодаря служивым людям Константину Мезенцеву и Николаю Костыгину, сумевшим сделать подкоп под монастырскую землю и взорвать там бочку с порохом, ополченцы освободили монастырь.

Костромское ополчение после этого принимало участие в освобождении Москвы.

В стенах Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря юный Михаил Фёдорович Романов пред ликом чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы принял избрание его Земским собором на престол государства Российского, положившее конец эпохе Смутного времени.

Прибывшему в Ипатьевский монастырь посольству во главе с архиепископом Рязанским и Муромским Феодоритом и келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палицыным долго (в течение шести часов) пришлось уговаривать юного Михаила исполнить волю Собора, ибо он от этого «...со многими рыданиями отрицая». Тогда архиепископ Феодорит обратился к Михаилу Фёдоровичу с проникновенными словами: «Не противься воле Божией — не мы предприняли сей подвиг, но Пресвятая Божия Матерь возлюбила тебя, устыдись пришествия Ея».

Воспитанный в преданности Церкви и Послушании Промыслу Божию юный Михаил упал перед иконами и, рыдая, произнёс: «Аще есть, Господи, на то воля Твоя, я — раб Твой, спаси и соблюди меня!»¹

19 марта 1613 года Михаил Фёдорович с матерью монахиней Марфой отбыл в Москву. Спаситель вершил Свой Промысел.

Вновь в который раз явилась перед глазами моими как наяву икона Журавлёва Спас Нерукотворный...

...Ипатьевский собор поражает воображение. Но где бы я ни был в нём: стоял ли перед композицией «Страшный суд», на которой изображены все жившие на земле сословия в день их воскресения и Страшного суда, или, поражённый величием, взирал на резной пятирусный иконостас, созданный в 1756-1758 годах бригадой костромских резчиков, всюду преследовала неотвязная мысль: «Первый царь наш из династии Романовых Михаил, едва став царём, мог погибнуть, если бы не успел укрыться в монастыре... И оба царя — первый Михаил Фёдорович и последний из Романовых Николай II — с рыданиями против воли своей становились царями... Что же это за судьба такая у России?! Существует она до сих пор вопреки!»

¹ Священник Андрей Казарин и др. «Монастыри Костромской епархии». — Костромская епархия Русской Православной церкви, Кострома, 2009 г.

Когда поздно вечером мы вернулись в Галич, в Центре православного воспитания при храме Введения увидел я на стене в аккуратной рамке текст. Невольно подивившись тому, что за три предыдущих дня не замечал его. Вздрогнув, начал читать.

«Завещание

*Императора Александра III своему сыну,
будущему императору Николаю II*

Тебе предстоит взять с плеч моих тяжёлый груз государственной власти и нести его до могилы так же, как его нёс я и как несли наши предки. Я передаю тебе царство Богом мне вручённое. Я принял его тринадцать лет тому назад от истекшего кровью Отца... Твой дед с высоты престола провёл много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за всё это Он получил от русских революционеров бомбу и смерть... В тот трагический день встал передо мною вопрос: какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое «передовое общество», заражённое либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывали мне моё собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть. Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним и Россия рухнет. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить всё, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что Ты несёшь ответственность за судьбу Твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость Твоего царского долга будет для тебя основой Твоей жизни. Будь твёрд и мужественен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только Самого Себя и Своей совести. В политике внешней — держись независимой позиции. Помни, у

России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней — прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в години бед. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».

Прочитал я Завещание и не смог сразу отойти.

Начал читать повторно, уже не торопясь, проникаясь судьбоносностью и пронзительностью строк, давая отчёт в том, что речь в завещании идёт не только о самодержавии, речь о нас всех...

...Так мои первоначально простые, начатые в начале 60-х годов, попытки собрать воедино сведения о необычной жизни сельского художника Григория Журавлёва вылились в длительные поиски и многочисленные поездки не только по Самарской области, но и по всей России, в которых я смог прикоснуться душой к живой истории государства Российского.

Таков масштаб личности утёвского иконописца.

Икона св. Алексия Митрополита Московского

То, что такая икона есть в храме Вознесения Христова в селе Кинель-Черкассы, мне стало известно совсем недавно.

Об этом отцу Анатолию, настоятелю храма Святой Троицы в с. Утёвка, и мне говорил настоятель Храма Серафима Саровского в г. Новокуйбышевске отец Сергей.

* * *

Мы приехали в село Кинель-Черкассы с моим постоянным помощником в таких поисках фотографом Константином Байгузиным в ясный февральский день.

Нельзя не залюбоваться храмом ещё издали. Он величественен и ухожен, хотя и не нов!

Предварительно наведя справки, я знал уже, что строительство церкви в честь Вознесения Христова было начато в 1833 году и закончилось в 1852 тцанием прихожан. Освящён храм был 16 мая 1852 года.

Храм и колокольня построены из камня, покрыты металлом. В далёком 1887 году при храме была открыта церковная

школа, которую в 1894 году преобразовали в церковно-приходскую.

В годы советской власти церковь неоднократно пытались закрыть, но прихожане отстояли свой храм.

...Икона св. Алексия Митрополита Московского находится в южном приделе в честь Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Святитель Алексей изображён в полный рост. Икона явно храмовая, размер её 126,5x53,5 см, вверху полукружие. И надпись: «Образ св. Алексия Митрополита Московского».

Внизу иконы в правом углу ещё одна надпись: «Сам. губ. Бузулукского уезда с. Утёвки той же волости. Август 25 дня 1891 год».

Манера исполнения явно Журавлёва. Выполнена на металле. Поскольку губернатором Александром Дмитриевичем Свербеевым для иконостаса Храма Спасителя в Самаре икона св. Алексия Митрополита Московского была заказана Журавлёву к открытию храма (он был частично освящён в 1892 году), то становится вполне возможным полагать, что это та самая, давно разыскиваемая мной икона.

Икона эта у прихожан одна из особо почитаемых. Но история её, как и когда она появилась в храме, неизвестна. Надпись в нижнем правом углу была обнаружена всего два года назад молящейся пред ней древней старушкой.

Об этом и о многом другом я услышал от настоятеля храма иерея Дмитрия Сыркина и руководителя музея Петра Даниловича Столярова, когда мы уже сидели в небольшой комнате и обсуждали увиденное мной.

Приятно удивлённый молодостью и основательной, мягкой манерой общения, я попросил отца Дмитрия немного рассказать о себе.

Приехал отец Дмитрий (в миру Дмитрий Сыркин) в село Кинель-Черкассы из Томской области (село Каргасок) в январе 2006 года со всей семьёй сразу (супруга, тёща, двое детей).

То было, как он сказал, «время духовного поиска».

Да и жена подтолкнула, получив от старца в Дивеево благословение на такой шаг.

Было и место названо, где благословлялось начать новую жизнь: село Кинель-Черкассы, о котором супруги до этого ничего не слыхали. А тут попала на глаза книга автора-составителя Антона Жоголева «Блаженная схимонахиня Мария» о

местночтимой блаженной Марии Самарской. И захотелось на кинель-черкасскую землю. Купили, приехав, дом.

Около года Дмитрий Сыркин работал на пасеке у местного предпринимателя. Потом — дворником, бухгалтером в церкви, оператором в котельной, звонарём, пономарём.

А через два года после приезда был рукоположен в дьяконы, затем стал священником. Жена — матушка Фотиния (Светлана Сыркина) — при храме ответственная по хозяйственной части. Теперь у них в семье четыре сына.

...Я слышал отрывок разговора батюшки по сотовому телефону.

— У меня просьба: сходи, пожалуйста, к прихожанке, она совсем старушка (он назвал имя и фамилию). Посмотри, что у неё там с котлом. Она говорит, что замерзает. Я обещал подойти сам, но у меня гости...

Через полчаса ответный звонок, понимаю, что помощник излагает причину неполадки в работе котла.

Батюшка озабоченно уточняет:

— Но сегодня, в крайнем случае завтра, можно поправить?

Не вполне ясно, как звучит ответ, можно только догадываться. Батюшка легонько подталкивает:

— Сделай! Почини, что нужно! Если она не в силах оплатить, всё равно прощу: сделай. По оплате мы с тобой потом решим сами. Вот и договорились.

Батюшка откладывает сотовый. О многом говорит услышанное.

Закончили мы наше общение в музее Марии Самарской в сопровождении его хранителя Петра Даниловича Столярова.

Аккуратно прибранная, любовно оформленная светлая комната. На столе библия в старинном переплёте, уже упоминавшаяся книга Антона Жоголева. На полу у стены пожитки блаженной, чуть поодаль место, где она спала.

Смотрю книгу отзывов посетителей храма, музея.

...Учителя, ученики. Местные, приезжие не только с района, с области посещают храм, музей... Отзывы... Среди многочисленных записей и отзыв архиепископа Самарского и Сызранского Сергия... Простые, идущие от сердца слова благодарности и напутствий.

Как не потянуться сюда жаждущей покоя и внимания душе?..

Возвращение

Сразу же, как только я вернулся из села Кинель-Черкассы в Самару, мне позвонил настоятель храма Святой Троицы в Утёвке отец Анатолий и сообщил, казалось, невероятное: нашёлся колокол, который был отлит в основание храма Святой Троицы села Утёвки 15 августа 1885 года. Об этом свидетельствует надпись на колоколе.

Она гласит: «Пожертвован сей колокол ко храму Свтыя Троицы при селе Утёвки в память основания сего храма в 15 день месяца августа в лето от Рождества Христова 1885 год».

С 1885 года до 1934-го (около 49 лет) служил храму когда-то этот колокол. Потом более семидесяти лет был не у дел. Нашёлся он на чердаке старого дома в Самаре. Колокол протоиерей Георгий Гомонов забрал из Самары в храм во имя преподобного Амвросия Оптинского в посёлке Стройкерамика в 2011 году.

Колокол отремонтировали: заварили трещины, очистили язык, поправили дужку. Около года он пробыл в храме в посёлке, а в начале января 2013 года вернулся в Утёвку в храм Святой Троицы. И скоро опять зазвучит его голос, который наверняка слушал когда-то вместе с моими земляками Григорий Журавлёв...

* * *

Я немало поездил по российским городам и весям. Порой очень далеко от Утёвки, от храма Святой Троицы. Собирал по крупицам то, что связано с именем Григория Журавлёва, с историей моего села, нашей общей историей. И вот предстояла теперь ещё одна радостная встреча! Там, где я начинал когда-то свои поиски, где и мои истоки, — в Утёвке.

Вновь я в начале светоносного круга!

2012-2013 гг.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ А.С. МАЛИНОВСКОГО ОБ УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА Г.Н. ЖУРАВЛЁВУ

Добрый день, дорогие друзья, гости, победители конкурса! Сегодня в этом зале вершится замечательное событие.

И несмотря на то, что мне приходилось выступать перед самой разной аудиторией: и за границей, и в России, я, наверняка буду сейчас волноваться.

Дело в том, что в зале находятся мои замечательные земляки, которых я бесконечно уважаю и с которыми связан совместными работами. Нас объединяет светлое имя: Григорий Журавлёв.

Оно придает нам в наших богоугодных делах чувство соборности и благодати.

Представьте себе вторую половину 80-х годов. Уже вроде бы и перестроечные ветры подули. А храм в Утёвке стоит без креста. Собранный мной годами материал о безруком художнике газеты не печатают.

Тут-то и было принято решение издать на свой страх и риск (и на свои деньги) книгу «Радостная встреча». Цель издания была: вернуть из забвения имя Григория Журавлёва. Вернуть нас к сами себе. Взглянуть и может быть опомниться. Найти единомышленников, помощников. Вернуть веру, и в Бога, и в себя. Так я писал в книге.

И они нашлись — помощники. Они находятся и в нашем зале, и по всей России. Спасибо всем.

Уже несколько лет повесть о Журавлёве размещена на сайте Союза писателей России в Москве. Этим сайтом пользуется мировой читатель. Особенно европейский.

Снято несколько документальных фильмов. О Григории Журавлёве помещена статья во всемирной православной энциклопедии. Конечно, это очень радует.

Поиск работ художника продолжается. В последние два года найдено местонахождение знаковых работ художника: икона Николая Чудотворца, икона «Спас Нерукотворный», икона

Святителя Митрополита Московского Алексея — покровителя города Самары.

Эта икона была им написана по просьбе 10-го губернатора А. Свербеева. Об этом писал в своей книге глава Самары Пётр Алабин. И она находилась в иконостасе нашего Самарского Храма Спасителя.

После разрушения храма, икона на 80 лет была утеряна. Сегодня она в храме села Кинель-Черкассы. Самарчане обрели свой символ.

В прошлом году мне посчастливилось увидеть еще две иконы художника, они в Храме села Ундоры. Это иконы: Жены мироносицы и Вседержитель.

Как замечательно, что и у нашего поколения, и у более молодого есть в лице Журавлёва пример подражания.

Меня, как наверное и многих, когда я начал изучать жизнь Г. Журавлёва поразило мужество человека без рук и ног, но сделавшего так много физически! Это и роспись храма, и создание икон, и усердие при учебе живописи. Перед нами физический подвиг человека. Этому надо учиться. Надо стараться быть похожим на него. Надо принять и то, что он Судьбу свою принял какая она есть, какой было дано ему Богом. Он посвятил свою жизнь и талант Богу и людям.

Он мог бы начать рисовать лубочные поделки, малевать ярких лебедей на шифере. И продавать! На рынке! Но он пошел по иному пути. Художник писал иконы. Это уже нравственный подвиг. Этому тоже надо учиться!

Г. Журавлёв — символ мужества и физического и духовного. И он достоин памятника в Самаре Как символ мужества в православной вере.

И место для этого есть хорошее. Оно на набережной Волги — Пионерском спуске. Где стоит часовня на месте скита, в котором когда-то останавливался Митрополит Московский направляясь в Золотую Орду. Как соединяются судьбы россиян во времени!

И оттолкнуться скульптору есть от чего: отыскалась фотография, где Григорий Николаевич стоит во весь свой рост с братом Афанасием.

Надеюсь, что такой памятник когда-нибудь будет поставлен.

Степной чай

На тропинках моего детства

Они разные — тропинки моего детства. Одни — утопанные, утрамбованные десятками мальчишеских ног, пройдёшь по ним босиком и не оставишь следа. Другие — уже полузабыты, заросли травой-муравой. А есть одна, зовущая к обрыву у реки, прямая, словно струна. Когда я поднимаюсь по ней под бесшабашное ликование жаворонка в синеве или гляжу, как идёт семилетняя соседка Любка, несущая на самодельном коромысле крохотные ведерки с водой, мне кажется, что тропинка поёт. Поёт что-то своё, высокое и вечное. И впрямь, как струна!

Все тропинки начинаются незаметно. Выйдешь за село, выберешь нужное направление, а когда посмотришь под ноги, она уже тут — тропинка. А рядом её подружки: бегут, извиваются, заманивают...

Есть тропинки, которые, добежав до бочажка или до лесной полянки, обрываются так же незаметно, как и начинались. Но есть и такие, что, поплутав по овражкам, зарослям шиповника и ежевики, вдруг выходят на шумный большак и вливаются в него, как ручейки.

И покажется вдруг, что сама дорога — это несколько объединившихся тропинок. И потому так шумна она, что каждый ручеек принёс с собой свои звуки, журчание своего родничка, шлепанье босых ног своих мальчишек...

Я давно мечтал вернуться на тропинки моего детства. Так хочется иногда снять башмаки и босиком припустить по тропке, да так, чтобы в лицо бросились мокрые ветви, осыпали крупной росой и где-то за поворотом, вдруг, сразу — голубизна знакомой с детства, но уже немножко другой речки.

Или так: выйти потихоньку на закате за село и не спеша побродить. И не спеша обдумать жите-бытие своё, обдумать то, что тебя давно «томило, мучило и жгло».

И, прислушавшись в звёздном сумраке к собственным шагам, может быть, найти ответы на вопросы, которые не раз задавал себе...

Нестеркин колодец

Моё село заметно меняется. Газовые плиты потихоньку вытесняют русские печи. Моя бабка, искусная варительница дрожжей на всю нашу улицу, уже и забыла, когда готовила их в последний раз. Забыл и я, когда в последний раз добывал ей хмель в лесу. Теперь все привыкли к «базарискому» хлебу.

Но дед Андрейка обижен на жизнь:

— Ракеты запускаем, а простой керосиновой лампы завезти в сельпо не можем. — Это после того, как на прошлой неделе два дня не было электрического света в селе: как раз, когда по телевидению показывали фигурное катание.

Село потихоньку строится. Только немножко жаль — телевизионных антенн над крышами все больше, а скворечниц — меньше.

Водопроводные колонки начали вытеснять колодцы. Лишь на нашей улице по-прежнему стоит колодезный журавль, как и в детстве задрал шею высоко в небо. И кажется в морозные синие ночи, что, дотянувшись до холодной звезды, он тихо касается её, и оттого сверху доносится холодный тихий звон. Или это звенит колодезная цепь?

Колодец зовется Нестеркиным. Был когда-то, говорят, такой мужичок по имени Нестор. Вот и нарекли вырытый тем мужичком колодец его именем да в свой срок чистят и поправляют ветловый сруб — знаменита на всю округу вода его.

С детских лет не тускнеет в памяти картина. Зимний вечер. На печке тепло и привычно. Монотонное повизгивание бабкиной пряжи порой заглушают порывы ветра. За стеной февральская метель. На сундуке мурлычет кот. И от его тени на бревенчатой стене, большой и причудливой, немножко жутковато. Весь день падал с небес белый косой снег, и было странно видеть: снег белый, а становилось от него во дворе темно. Позёмка разыгралась, когда начало смеркаться. В дремотной тишине мне слышатся странные звуки. Прислушиваюсь — звуки ещё жалобнее. «Это же Тема и Жучка, там, в колодце. Им надо помочь!» Незаметно для бабки сползаю с печки и, растворив дверь, проваливаюсь в темень. Увязая в синем и мокром снегу, добираюсь до колодца. Перевесившись через обледенелый

сруб, кричу в глубину. Пустынное чрево колодца отвечает глухо и насмешливо:

— Тё-о-мма-а!

Никого нет.

Испуганно оборачиваюсь назад и враз утопаю в бабушкином полушубке...

...Сегодня утром, проходя мимо колодца, не удержался от соблазна, подошёл и, отодвинув в сторону бадью, заглянул в него. Не такой уж он и глубокий, как мне казалось раньше. И уж совсем не страшный...

Все правильно — мы взрослеем. Давно уже выросли из детских своих одежек. И что же грустить по этому поводу? Может, просто жить?

Но что значит жить?

Наверное, идти, торить свою дорогу, узнать, постичь, на что ты способен. И постоянно беречь в себе впечатления того далёкого, отлетевшего детства, той чудесной поры, когда окружающая нас жизнь была на тысячу красок ярче, а собственная — походила на огромный, пахучий, едва-едва початый каравай ржаного хлеба...

И разве можно по-другому!..

Дневник учителя

Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми и соломенными крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.

Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые мелко подрагивают, как бы прося работы, — таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сгорели деревянный сарай и погребница.

Поздоровались. Я присел рядышком.

— Председатель наш, Петрович, обещал прислать к вечеру трактор — свезти бревна на пилораму.

— Много ль сгорело?

— У Суховых подчистую все, а моё успели вынести, только вот книжки очкарика порастеряли.

— Очкарика?

— Жил у меня около двух лет учитель Вадим Сергеевич — математик. Станный был мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашиваю, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.

И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай все знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды — профессора испужать можно.

— А сейчас где же учитель?

— А вот, дружок, и не знаю. Я тогда со своей глаукомой в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Приехал через месяц — его и след простыл. Только моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Саратовскую область — она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу.

Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.

— Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопощусь ещё малость.

В это время к нам подошёл восьмилетний внук деда Андрейки — Вовка, с обгоревшей тетрадью.

— Деда, вот ещё нашел.

— У тебя глаза молодые, посмотри-ка, может, кому согодится.

Смотрю. Похоже, дневник учителя. На самой первой странице расплывшиеся фиолетовые строчки:

«Я понимаю, сын, что быть искренним всегда, во всем до конца, очень трудно. Поэтому, начиная сегодня разговор с тобой, я обещаю стараться быть предельно искренним. Почему я все это затеял? Потому что мне не хватает тебя, потому что так уж случилось, что мы не вместе, а вместе можем быть только мысленно. Тебе пока всего три года, мне — 23-й, но я буду говорить с тобой, как со взрослым, и хочу, чтобы ты прочёл эту тетрадку взрослому. И, может быть, понял бы нас с мамой...»

— Он что, разошёлся с женой?

— Разошелся, да как-то уж больно не по-человечески, не допускала его теща к сыну.

— Как так?

— Вот так. Всяко бывает. Я его винил сначала, а теперь вижу: тут дело не по моему разуму. Тут свой пожар, крепче нашего.

Под датой «20.06.62 г.» написано торопливо карандашом: «Понимаешь, я очень боюсь за тебя, хочу каждодневно, ежедневно быть около. Я хочу о тебе знать как можно больше. Мне надо знать, как ты относишься к кошкам, собакам, деревьям...

Помню, в нашем селе около озера стоял могучий дуб, казалось, он — олицетворение долголетия и мощи. Но вдруг в одно лето его расщепило надвое молнией. Он засох и весной уже не зазеленел. Так и стоял года три мертвым. Потом его спилили. А вот как громадный пенёк сгнил и пропал вовсе — никто и не заметил. Теперь там, где был дуб, ровная лужайка, поросшая муравой. Тем, кто не знает, что здесь стоял такой великан, и подумать об этом трудно. И приходит минута, когда вдруг резанет в сердце за несчастную его судьбу. И вновь переживаешь все, как в детстве... Бывает ли такое у тебя? Понятно ли тебе, что жизнь травинки каждой, дерева, наша ли жизнь быстротечна и неповторима? И надо жалеть её и дорожить ею?»

Пропускаю десятка два страниц. Открываю наугад. Строчки первого абзаца сверху, датированные маем 1963-го года, бьют деду Андрейке не в бровь, а в глаз.

«Видишь ли, краеведение у нас считается делом почти что несерьезным. Но ведь любовь к своей земле, речке, полю начинается не с абстрактного разговора о любви вообще, а с бережного отношения к истории родного края, с общения с сегодняшними людьми его, со знания того, какой она была и стала, окружающая нас жизнь».

Запоздало спохватившись, что, в общем-то, некрасиво читать чужой дневник, закрываю тетрадь. Хочется встать, оглядеться, будто заранее знаешь, что увидишь вокруг себя нечто такое, что никогда раньше не замечал. Кажется, будто учитель где-то здесь, рядом. Просто отошел на минутку, сейчас вернется, подойдет к деду Андрейке, и мы встретимся как старые знакомые.

— Дружок, — дед замолкает на полуслове, что-то ещё про себя решая. — А ведь ошибку я допустил — не сходил в те годы к нашему учителю на урок. Посидел бы, поглядел, послушал, а?

Память

Вместо сказок бабушка рассказывала нам истории из своей жизни. Её не надо было просить. В ней жила неистребимая жажда высказаться. Рисуя все в лицах, принимая характерные позы героев своих рассказов, подражая голосом, она безраздельно владела вниманием взрослых слушателей, а что уж говорить о нас — ребятке.

Мне думается, что все хорошее в нас, внуках, от неё, от её рассказов. Их было много. И они были так живописны, что и сейчас эти истории остались в моей памяти, как куски киноленты уже не бабушкиного, а моего прошлого.

Бабушка моя прожила долгую жизнь. Дочь дьячка, она рано осталась сиротой, была в прислугах в Самаре, пережила голод в Поволжье. Из девяти её детей выжили только трое. Ей было о чем рассказать. Мне теперь думается, что будь грамотной, она обязательно бы устремилась писать...

Вспоминаю один из рассказов и будто нахожусь с ней в тех далеких годах, будто вижу её глазами давно исчезнувшие, не виданные мной никогда лица.

...Вижу, как мать, дьяконица, гонит побираться мою бабушку, совсем ещё маленькую её сестрёнку Марусю и двенадцатилетнего Митю.

С тех пор как отца — местного дьячка принесли на масленицу мертвого с пробитой в кулачной драке головой, мать только и делает, что пьянствует, и пьяная бьет их, прогоняет с проклятиями просить милостыню.

Они стараются ходить в дальние деревни и, когда их спрашивают, жалея, чьи они, называют не свою фамилию. Так продолжается второй год. Их уже все кругом знают, а они все стыдятся называть себя. Потом началось самое страшное. Мать стала приходиться домой с Гаврилой-алкоголиком, когда-то здоровенным, а теперь плоским и длинным, как доска, мужиком.

Глядеть на пьяную растрепанную мать в компании с Гаврилой было не в силах, и они убегали на улицу. В один из таких вечеров, застав мать опять с Гаврилой, они забились на печь и горестно молчали.

— Я её убью, — лицо Мити бесстрастно, и только верхняя губа как-то нервно дергается, — убью, и нам будет некого сты-

даться. Отсижу в тюрьме, зато никто не будет отбирать милостыню.

— Митенька, Митенька! — Голос моей бабушки высокий, режущий, на лице безнадежность: Митя никогда не отступает от своих слов. — Митенька! — Она гладит ему щеку. — Что же будет?

— Будет, как я сказал.

Убить мать решено было сразу же, как только уйдет ночью Гаврила.

Стали ждать.

В полудреме бабушке видится большой длинный барак, по которому она идёт, взяв за руку Марусю. Идут долго, путаясь в каких-то закоулках. Наконец выходят к большой яме, в которой лежит Митя. Он лежит на самом дне ямы, привязанный к столбу. Все ждут воду. Вода должна затопить яму. Так поступают с каждым, кто убивает кого-нибудь.

— Не хочу, не хочу, — она вскакивает на ноги, сильно ударившись о потолок головой, валится с полатей.

Митя, на лету подхватив легонькое тело, прижимает её к себе.

...После третьих петухов в глубине комнаты во весь рост выросла фигура Гаврилы. Шлепая босыми ногами по полу, на котором клоками валяется солома, пошёл он к порогу. Подойдя к ведру с водой, шумно напился, сплюнул и вывалился во двор. Немного спустя, бормоча ругательства, вышла за ним и дьяконица.

Крадучись, вслед за ней скользнула фигурка Мити. Видел он, как, словно слепая, хватаясь за все на своём пути, прошла она в глубь двора и, открыв калитку, подпёртую старой пешней, вышла в огород. Дрожащей рукой подобрал пешню, Митя ступил за калитку.

Дьяконица лежала в картофельной ботве, уткнув лицо в землю и поджав под себя ноги. Тихонько похрапывала. Оставалось подойти ближе, закрыть глаза и ударить.

Но не было сил ни подойти на шаг ближе, ни замахнуться пешней. Бессильно осев на землю, он дрожащими руками утирал лицо. Плакал.

Дьяконица умерла сама. В один из осенних вечеров она, пьяная, упала в старый заброшенный колодец.

Это было в шестнадцатом году...

...Сейчас я вижу другого Дмитрия — первого председателя колхоза в нашем селе и последнего здорового мужика, уходящего в сорок втором на фронт.

Не велел плакать Дмитрий на своих проводах. Помня мучительную растрепанную жизнь своих родителей, он за всю свою молодую жизнь ни разу не притронулся к стакану с водкой. И теперь, порозовевший от хмельного, чинно обходя кружок стариков и прощаясь со всеми за руку, был он преувеличенно бодр. От его крутых плеч и крупной спины веяло силой. И, то ли инстинктивно почувствовав, что с последним здоровым мужиком уходит из села опора, то ли просто по слабости, кольхнулся бабий рядок, потянулись платки к глазам, когда дрожки отчаянно застучали по жидкому мосту.

Погиб Дмитрий весной в сорок третьем...

— Когда умру, — частенько говаривала бабушка, — продолжайте помнить Дмитрия Лобачёва. Никак его нельзя забывать. На нашей памяти свет держится.

И я помню.

Кривая ветла

Я часто думаю: почему нас так сильно волнует возвращение в родные края, встреча с речкой, лесом, полем? И почему, по странствував по свету, увидев много интересного и поразительного и отдав дань этому поразительному, мы с ещё большей силой тянемся к немудрёному, знакомому с детства? Почему молчаливая ветла у околицы нам кажется приветливой и ближе, чем роскошный платан?

И вольнее дышится здесь, и работается, и думается, почему?

Уж не потому ли, что и речка, и лес, и луг, и деревце каждое — свидетели живые детства нашего, времени, когда делаются удивительные открытия, намечаются невидимые связи с миром. Когда впереди ещё целая жизнь и все свежо и остро. Не потому ли, что они — свидетели того, как ты босиком шлепал по затравевшим, омытым дождем улицам, свидетели твоей первой рыбалки.

Меня волнуют названия наших озер: Латинское, Лещевое, Осиновое, Таловая Яма.

Когда и кому пришло в голову назвать заросшее ивняком озеро Латинским, не знаю, но только совсем недавно я обратил внимание, что очертания его берегов похожи на изображение в географических картах Латинской Америки. Время меняет многое — старая истина. Как можно теперь догадаться, что мелеющее озерцо с пологими берегами, в котором бойкие пацаны, засучив штанины, ловят пескарей, зовется Прыгалкой за то, что когда-то оно отличалось и глубиной, и крутыми берегами, прыгнуть с которых в прохладную толщу воды было непременно желанием каждого заядлого купальщика...

Я иду поляной, утопая в лесном разнотравье. Это место тоже имеет своё название. Собираясь за земляникой на эту поляну, мы, ребяташки, называли её или Большой, или Нашей. И, когда однажды моя бабушка позвала нас с собой за ягодами к Кривой ветле, мы не сразу сообразили, что речь идёт о Нашей поляне. И как только бабушка подвела нас к зарослям клена у самого поворота дороги на поляну, мы ахнули — в кустах стояла прямая ветла в три обхвата, но высоко над головой ствол делал такой резкий зигзаг, что, казалось, будто ветла нагнулась над поляной, присматриваясь да прислушиваясь к возне ребятни в зарослях таволги и чилиги. Оказывается, стоило только поднять голову, чтобы увидеть...

...Недавно я побывал у Кривой ветлы. Она все такая же, как и раньше, такая же и поляна. Даже старый вяз посреди ситцевого разнотравья с тёмным пеньком и тот цел. Мне даже удалось отыскать давнишний след от отцовского клина для отбивания косы... Но сам пень, на вид крепкий, уже чуть дышит, весь пробуравленный множеством муравьев-древоточцев, устроивших в нем своё рабочее общежитие. Уходя, я с пригорка помахал Кривой ветле на прощание рукой. Старушка стояла сгорбленная и молчаливая.

Теперь я точно знаю: пройдёт много лет, не будет моей бабушки, давшей впервые поляне это имя, не будет меня, самой ветлы, наконец, а название так и будет жить. И будут другие босонogie мальчишки недоумевать, откуда взялось такое странное название: «Кривая ветла», как я сейчас гадаю над названиями озер.

И отрадно знать, что есть пяточок родной земли, к названию которого причастен и ты...

В сентябре прошлого года я принес с поляны домой маленький кленёночек, завернув его вместе с комочками лесной земли в мокрую рубаху. Посадил. Часто теперь любуюсь им, я замечаю, что иногда смотрю на него так же, как на меня уставший за день отец.

В газетах пишут, что в Лос-Анджелесе городские власти приступили к высадке в городе... пластмассовых деревьев. Долговечно и меньше забот. Не надо поливать, рыхлить землю, убирать осенние листья, ничего не надо. Бессмертные неживые деревья. Дальше некуда. Так и видится чье-то далекое детство, враз ставшее наполовину беднее...

...Плохо спалось. Всю ночь гремела гроза. Под окном, удаляясь в стекло, словно просясь в дом, шумел мой кленёночек. В фосфорических вспышках высвечивалась белая лента реки, ещё больше усиливая какую-то нереальность, жуткость происходящего. Мычал по задворкам скот. В каком-то кошмарном полусне виделись падающие деревья. Горящие леса пылали до боли в глазах ярко. Все живое билось, металось и пряталось с глаз вон.

А над всем этим стоял громовый хохот летнего знойного неба...

Утром июльское солнце, словно желая задобрить за ночные страхи, разлилось щедро и улыбочиво. На блестящих от росы травяных улицах в ложбинах образовались лужи, манящие пробежаться босиком, наперегонки, оставляя за собой семиструнную радугу.

Я подошёл к изгороди. Мои ночные страхи были напрасны. Клен стоял уверенно и прямо. Широко раскинув плети, цвела тыква, над её бледно-желтыми цветами, над распаренной солнцем землей жужжали пчелы. В поднимающейся после ливня и ветра траве невидимая глазу птаха начинала свою утреннюю песню. Во всем была своя, уверенная жизнь.

Дикая яблоня

Вечерело. Когда я подошёл к околице села, увидел у плетня сбившихся в кучу ребятишек. Похоже, ждут возвращения стада. Среди них седенький старичок, не по годам подвижный, ведет, как бы между делом, рассказ:

— ...Была-то она худенькой хворостинкой, когда принес её из дальнего леса твой, Николашка, дед и посадил первую на все село под своими окнами. А года через два на ней уже были яблоки. Деревцо крепко прилепилось. И сколько радости было весной, когда цвело оно. И возмечтали мужики сады развести, поверили, значит, что и у нас могут яблони расти. Да такое вот дело случилось: в слепой ярости, то ли спьяну, то ли сводя какие счёты, вырезал Гришка Косой на стволе её широкую ленту коры. Не надеясь, что яблонька выживет, съездил дед Степан в район и привез ещё три саженца антоновки, потом ещё. Так и появился первый яблоневоый сад. Но выжила яблонька, затянулась рана. Только теперь она стояла перехваченная в талии широким тугим поясом — дед Степан то место варом обмазал. И ни одна яблоня потом не смогла перерасти её.

— А что же Косому? — вставил Николашка вопрос.

— Косому-то? Недолговечным оказался Косой, помер и свои тридцать неполных. С опою. Когда потом кто вспоминал о нем, то говорил: «Это тот, который яблоньку чуть не стубил?» А больше о нем и помнить было нечего. Знаменитой стала дикая яблоня. Много слышала она разговоров парней и девчат деревенских, тех, что с глазу на глаз говорятся. Да и твоя вот, Васятка, бабка Ульяна дала согласие выйти замуж за Корнея, деда твоего, тоже у яблони. Так что и свахой, вишь, она была, и советчицей. А когда на войну Отечественную уходили наши, совала всем Ильинична на счастье по кульку диких сушёных яблок. А однажды весной старая яблоня уже и листом не покрылась, не зацвела. Несколько лет никто не трогал её, ни у кого рука не поднималась спилить. А сады в ту весну цвели особенно дружно, будто за старую яблоню старались...

Помолчал дед. И сказал, как черту подвёл:

— Вот две жизни, хоть и неравные: человека, который хотел погубить дерево, и дерева самого. И какие разные жизни. Ну, я пошёл, а вы смекайте...

Он оттолкнул своё легонькое тело от плетня и пошёл навстречу мычавшему на подходе к околице стаду.

Березовая удочка

Вчера, перебирая заброшенные рыбацкие снасти, наткнулся на крючок, сделанный из простого гвоздя. И вспомнилась одна из самых ярких картин детства.

Все началось с первой моей собственной берёзовой удочки. Её сделал мой дед. Делалась она так: облюбованную березовую заготовку, только что срезанную, он крепил на длинной доске гвоздями, исправляя все кривулины, и клал на несколько дней на просушку. После снимал её, прямую, и специально для крючков привязывал к удочке замоченную в кадке кугу, крепко стянув её в трех местах лыком. Поплавки он выстругивал из ветловой коры.

Первое, что я сделал — побежал показывать удочку Кольке. Рядом с моей удочкой Колькина выглядела обыкновенной хворостиной. Наскоро накопав под поющим на все лады мостом червей, мы отправились на Самарку.

Не помню, первой ли была эта поклевка или нет, но помню, как мой поплавок, прибившийся в омутке к коряжке, не спеша погрузился под воду — так бывало, когда был зацеп. На всякий случай легонько дернув, я вдруг ощутил непривычную, но податливую тяжесть, руки инстинктивно рванули удочку. Она согнулась до воды и словно выстрелила. Поплавок метнулся в воздухе и отвязался. Когда я, не чувствуя боли в ушибленном колене, бросился к добыче, на крючке сидел огромный, клешни больше ладони, флегматичный рак. Было и досадно, и удивительно. Досадно от того, что в те мгновения бессознания, когда я рвал удочку из воды, ожидалось, что на крючке будет кто-то большой и таинственный, а удивительно от того, что на червяка попался простой, хотя и большой, рак, каких мы с Колькой ловили просто на бечевку, привязав на конец мясо ракушки.

Решив выкупаться, поставили удочки на живца и уплыли на противоположную сторону речки на прогретую песчаную косу.

— Смотри, смотри, — Колька показал пальцем в сторону наших удочек.

Я оглянулся. Здоровенный парень из соседнего села, Стёпка, взял Колькину удочку, отвязал поплавок, кинул его под ноги в

воду. Удочку воткнул у своих ног рядом со своими донками. Мы рванули обратно.

— Что вы понимаете в рыбалке, пескари несчастные, кыш отседова и не шуметь.

Вылезая из воды, Колька попробовал канючить:

— Степка, а Степка, отдай, мне за неё тятка задаст, без спроса взял.

— Надоедать будешь, я задам. Буду уходить домой, отдам.

Дальше просить расхотелось, хотелось подойти потихоньку сзади и дать по Степкиной красной шее, но было страшновато, Степку даже некоторые наши мужики побаивались.

— Жди, отдаст, как же! Скорее переломает. Пойдем домой, Шурка, пока светло.

— Коль, давай пока порыбачим, может, взаправду отдаст. — Мне ещё хочется верить в Степкину порядочность.

Теперь уже одной удочкой мы ловим пескарей и окунишек. Насаживаем их на длинный кукан и ждем Степкиной доброты.

Вдруг около упавшей поперек реки в половодье осины кто-то словно невидимым веслом раздвинул толщу воды и хлопнул по ней. Минут через десять после нового всплеска мелкие рыбешки выбросились из воды.

— Сом, — определил Колька, — на, — он протянул мне удочку, — я знаю, что надо делать. У тебя крючки есть?

— Есть.

Я достаю из фуражки крючок.

Колька снимает с кукана окунишек и выпускает их, они нам теперь ни к чему. Привязываем крючок к капроновой бечеве, бечеву — к коряжке, торчавшей в воде у ног, и через минуту наш один-единственный пескарик с крючком в спинном плавнике, обрадовавшись обманчивой свободе, исчезает в воде.

Решено, пока не поймаем следующего пескаря, не проверять нашу снасть.

Забыто все: и Степка, который сидит метрах в тридцати от нас за мыском, и то, что уже темнеет. Но, наконец, пойманы один за другим два пескаря. Дрожащей рукой нащупываю поводок, но рука чувствует досадную легкость.

Что это? Пескаря нет, а крючок разогнут так, что стал похож на маленький гарпунчик. Отвязав крючок от удочки, ладим заново свою снасть и насаживаем другого пескаря. Колька

бросает снасть в воду. Теперь мы уже не можем отойти от этого места. Оно не отпускает, завораживает, заставляет забыть обо всем, даже о моей берёзовой удочке. Когда Колька, не вытерпев, вскакивает и берется за бечеву — становится жутковато. Рывком дёргает — бечева легко подаётся, и вот в Колькиных руках сломанный пополам крючок. Долго сидим неподвижно. Обидно. словно желая ещё больше досадить нам, под самым Колькиным носом (Колька забрался на лодку напиться) сом поднимает бурун. Совсем уж нахал распоясался.

И тут-то происходит чудо. Колька вскрикивает и хватается за голень. В штанине у него торчит забытый кем-то в лодке самодельный, величиной с палец, крючок из гвоздя. Торопясь, мы восстанавливаем свою снасть. Уже поздно. Решено завтра, как погонят коров, прийти проверить. Степки уже нет на своём месте, нет и моей удочки. Мы бежим по песчаной дороге домой. Страшновато. Но признаваться в этом не хочется. Для бодрости поем все песни, какие только знаем...

Колькину мать мы уговариваем разрешить ночевать нам вместе в нашей сельнице.

...Утром по холодному песку спускаемся к заветному омуту. Солнце ещё не поднялось. Над водой тянется слоистый белесый туман. Около нашей коряжины на мыске метрах в десяти сидит Степка. В руках у него моя удочка.

Нащупав в воде поводок, Колька разочарованно смотрит на меня — леска идёт свободно. Но вдруг он с силой рвет её на себя и падает животом на что-то огромное и страшное. Продолжая борьбу уже в воде, мы выволакиваем скользкое чудовище на берег. Ошарашенный Степка бросает свои удочки и идёт к нам.

— А ну, рыбаки, дай гляну.

— Драпаем!..

Колька хватает добычу за жабры, я пытаюсь взяться за скользкий пегий хвост... Вот мы уже на высоком берегу. Когда густые ветви сомкнулись за нашими спинами, мы остановились перевести дух и осмотреть добычу. Чумазый, весь в пиявках, сом был Кольке от пят до подбородка. Наши руки, рубахи и штаны покрылись липкой слизью и прилипшим песком. Счастливые, мы трогаемся в путь. День только начинается, до вечера далеко — можно ещё вернуться на рыбалку...

Лист семижилльника

Растение это по-книжному называется по-другому. Только моя мама зовет его семижилльником. Растет оно обычно в тени, на влажных местах, чаще на лесных дорогах, проходящих по оврагам и близ озер. В степи семижилльник встречается реже. Его везде безжалостно мнут копыта лошадей, колеса телег. По нему, обжигающему босые ноги прохладой, бегают ребятишки, забравшиеся вглубь леса.

До поры до времени его не замечают, но когда вдруг нога наткнется на битое стекло или гвоздь и рана потом начнет гноиться — обязательно найдется человек, который вспомнит об удивительных свойствах семижилльника. И он, этот прохладный зеленый лист, своими семью жилочками, как щупальцами, накроет рану. Пройдет время, и рана очистится, опухоль спадет, а листок, ещё недавно зеленый, засохнет, пожелтеет и пропадет совсем. И опять все забудут про это неприметное растение. Но забудут только до поры.

Завидная судьба у семижилльника.

Истоки

Стоял конец августа.

Устав от назойливых поклевки мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу, напротив Кунаева ключа.

На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.

В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно. Словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.

До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!

Но почему один в такой дали? До нашей Утёвки километра три, но ведь он идёт совсем в противоположную сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.

Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдет он стороной по круче или мы встретимся. В полусотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фуражку воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, поторопился к нему.

В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Высушенная за лето трава пожиралась огнем со страшной быстротой, огонь десятками юрких ящериц ускользал из леса на опушку, на простор.

...Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:

— Деда Матвея работа, точно.

— Это которого же Матвея?

— Да нашего Самосада, сторожа с паровой мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар...

Кого-кого, а Матвея Чугунова, по прозвищу Самосад, я отлично помнил. Как и большинство жителей села, он имел свою особинку: многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного, какой готовил он, ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.

Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я узнал его: Лёнька — сынишка Трохина, бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.

— Ну и куда путь держишь, путешественник?

Он тут же отозвался на вопрос вопросом:

— А откуда вы знаете, что я путешественник?

— Да уж видно по снаряжению.

— Бабка у меня в Крепости (так ещё у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила к ней в гости.

Он приселу воды и поставил банку на песок. Взглянув на неё, я понял, почему он так странно шёл по берегу — в банке были стрекозы, десятка два.

— А что, не побоялась мамка тебя одного отпустить?

— Не-е, я же не в первый раз. — Он встал, собираясь уходить.

— Ну раз так, пойдем к лодке чай пить.

— Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.

Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушёл.

— А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, — скорее догадался, чем припомнил я.

...Вечером, возвращаясь в село, я все же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого Трохина, который в нашем детстве был едва ли не героической фигурой. Ему, сыну конюха, колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас нездешней ловкостью и лихостью.

У новых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин садился на дрожавший мотоцикл.

Когда я подошёл, Ленькина мать пояснила:

— Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хоть не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности — и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился... Колумб доморощенный. Вы бы хоть зашли как-нибудь к нам, поговорили с ним. Может, вас послушает, у моего терпенья уже не хватает.

Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственноручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным, когда-то задумавших добратся до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства — отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.

...Истоки... Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная беленая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи и с раскатами весеннего грома, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И — многое-многое другое...

Государственный человек

Случилось мне как-то, ещё мальчишкой, работать с мужиками в добровольной артели на заготовке дров для школы. Время было суровое, послевоенное, поэтому директор обратился за помощью к родителям.

Артель подобралась пестрая и разноголосая. Но мне сразу же приметился один старик, ладный, крепенький и удивительно добродушный. В школе у него никто не учился, но он настоял, чтобы его взяли. Потом я узнал, что зовут его деревенские мальчишки Курягой. Так у нас в деревне называли подсушенные на противне в печке сморщившиеся ломтики тыквы. Особое удовольствие было нам, ребятишкам, есть эти ломтики в тепле, в зимнее время, стосковавшись по овощам и фруктам. Отчего присохло это прозвище к нему, не сразу скажешь.

Мальчишка, я старался работать быстрее и лучше всех. Уже то, что я трудился вместе со взрослыми мужиками, не давало, по моим понятиям, права работать вполсилы. И мне сразу же не понравилась в Куряге какая-то особая медлительность и в то же время суетливость.

«Старик уже, — думал я, — а работать так и не научился или вовсе не хотел».

Разгадка пришла позже, когда все отправились на ночлег в ближайшую деревеньку. Мы шли рядом, до ближайших изб оставалось метров двести, он вдруг спросил:

— Что, до деревни-то далеко?

Я оторопел, мне показалось, что он меня разыгрывает, ведь деревня лежала перед нами как на ладони. И вдруг я понял —

он полуслепой, этот старик, работавший бок о бок со мной весь день.

— Да, зрение меня подвело, — словно отвечая на мои мысли, проговорил он.

Меня поразило то, что старик угадал, о чем я думаю.

— Но слышу я очень хорошо.

И он как-то по-особому посмотрел на меня.

Я вздрогнул, мне показалось, что Куряга слышал мои мысли о нем там, в лесу...

...Сегодня, возвращаясь сонной июльской улицей домой, вновь встретился с Курягой. Вел он себя как-то странно. Подойдя к стоявшему трактору, припал к работающему на малых оборотах двигателю, прислушался. Дрожащий «Беларусь» зачих. Я догнал старика, когда он бодрым шажком направлялся к совхозному грузовику. Старик молча погрозил кому-то в пространство кулаком:

— Один к девкам побежал, а другой за пивом стоит. Работнички. Вот и приходится сторожить.

Дрожащей рукой, дотянувшись, выключил зажигание. Дремавший в кабине парень, равнодушно зевнув, опустил фуражку ещё ниже, на самый подбородок.

— Добро на ветер летит. Хватит, на правлении ставлю вопрос ребром. Я так думаю, что судить таких надо. Ведь все горячее из неё, из землицы, добыто! Так что же? Для того буровые день и ночь вокруг села гудят, чтобы такие вот (махнул в сторону дремавшего парня) небо зазря коптели. Вон он и не ворохнулся, а я ему прошлый раз чуть не цельную лекцию прочитал. А сколько таких по стране? А? Не погосударственному это...

Скворцы

Самые дорогие мои воспоминания связаны с друзьями детства. Были среди них Мишка да Колька. С Колькой мы подружились не сразу. Если мы с Мишкой заводили голубей, то Колька их самым наглым образом крал. Если мы в самой непролазной чаще лесной делали землянку, Колька её находил. Он появлялся и исчезал всегда неожиданно. И не было предела его хитрости. Но особенно нас возмутила одна его выходка. На

наших глазах он с одного выстрела из рогатки сбил с Мишкиной скворечницы восторженного певца...

А сдружили нас те же скворцы. Умерла Колькина мать. За неимоверную худобу её, за большой рост, а может, за вечно тяжёлую, однообразную, обременённую нуждой и невзгодами жизнь прозвали её с чьей-то легкой руки Неделей. Мы боялись её. Было в ней что-то трагически мрачное. Стала ли она такой после того, как узнала, что война сделала её вдовой, или уже потом, когда с поля старшего сына привезли мертвого, изрезанного лемехами на пахоте, — неизвестно. Только и сама она после этого случая протянула недолго. Умерла быстро и безболезненно весной, перезимовав суровую зиму.

В этой истории нас с Мишкой, отец которого делал гроб Неделе, может быть, больше поразила не сама смерть и не покойница, которая лежала в передней, а глухая зияющая яма в полу, чуть поодаль от гроба. Едва переступив порог, я сразу заметил, как затравленно отвернулся от этой пропасти Мишка, почувствовал, как самому нечем стало дышать. Казалось, смерть пришла к хозяйке именно из этого мрака.

Неделя, Неделя, она не рассчитывала на свою смерть, не думала, где соседи будут брать доски на гроб, да ещё такой огромный. А их нашли быстро. И теперь прямо около гроба торчали сопревшие перерубы, так что и постоять-то желающим было негде.

Не знаю, по какому-то наитию или с твердой и ясной мыслью действовал Мишка, только на другой день после похорон повел он меня на Неделин двор. Вернулись мы с обрезками досок, тех самых, что пошли на гроб. Ещё через день над вечно угрюмым и пустым двором Недели на старой ветле появилась скворечница.

А наутро я, Мишка и Колька уже сидели на пороге сеней и сосредоточенно смотрели вверх. Мы ждали скворцов. Они обязательно должны были прилететь...

...Недавно я побывал на том месте, где стояла изба Недели. Места совсем не узнать. Избы нет. Только ветла цела. Умерла Неделя, остался в морфлоте после четырехлетней службы крепко заряженный на жизнь Колька, а ветла как стояла, так и стоит. Трудно определить, сколько ей лет, этой ветле. Все такая же.

С грустной и, в общем-то, не новой мыслью — вот, мол, все не вечно, все проходит — бродил я около земляной кучи с соломой, сдвинутой в сторону бульдозером — саманной избы Недели, когда вдруг услышал сначала робкий, но через минуту уверенный в своём праве на песню голос скворца. Несмело (не ослышался ли?) подошёл поближе и увидел в самой гуще листвы скворечницу, а под ногами — свежие обрезки пахучих сосновых досок.

Глядя на работающих молодых строителей, гадал: кто из них приютил певца? Тут же подумал: а не все ли равно, кто? Главное, что жива песня, что продолжается чье-то детство.

Совсем уже было собрался уходить, когда к самой ветле лихо подкатил бульдозер. «Неужели и ветлу?» — метнулась мысль. Но дверца кабины широко распахнулась, и оттуда вывалился широкоплечий парень в тельняшке.

— Колька! Ты ли это?

Через несколько минут мы уже сидели рядышком на бревнах. Я указал вопросительно на сдвинутую в сторону кучу самана.

— Я! И это — я, — Колька показал на скворечницу. — И это — я, — он ткнул себя в грудь. — Как с Морфлотом? — переспросил он. — А никак, потянуло домой — и все. А что потянуло — сразу не сказать. Спроси вон у них, — он опять кивнул в сторону скворечницы, — они не в первый раз вернулись...

Дедова хитрость

У поросшей лебедой завалинки деда Андрейки последнее время вечерами стали собираться старики. Сидят, не спеша о чем-то своём беседуют.

Раза два намеревался подойти, не получалось — опаздывал. Вот и сейчас, пока убирал удочки и умывался, разошлись старики. Один дед Андрейка сидит около своей баньки, бодро светится его беломорина. Подошёл к нему.

— Скучноватые, все о смерти калякают, а я о ней лет в сорок свои как передумал, так и точка. Теперь замечаю, если человек правильно свою жизнь прожил, то к старости спокойней говорит о смерти. Вон Коршунов Матвей злобствует, матерится на современную молодежь, а причина вся в том, что ему пора в

мир иной, а молодежи — веселиться. Пропил все своё времечко, опохмелился — поздно. А то, что беззаботная эта молодежь не видит того, что не хочется Матвею уходить, так ведь и мы такими были в молодости. Думали — молодым вечно жить, а старикам на покой. А оказалось, молодость не вечна. Я как представляю, что каждый день тыщи стариков уходят, уступая место под солнышком таким вот горластым пузанам, как Варькин, так собственная моя смерть становится понятной и законной. В природе все справедливо на этот счет. Делай своё дело хорошо — и в этом весь смысл. Вот к этому я пришел тогда, лет сорок назад. Ну, хватит об этом. Хотя ещё скажу: власть надо взять — и над собой, и над ней, безгубой, пусть знает, что не она хозяин жизни, а ты. Вот так-то. Взять все в свои руки...

— Как же это взять в свои руки?

— А хотя бы вот так! Пойдем покажу.

Идем. Я теряюсь в догадках.

Открыв ворота в сарай, дед Андрейка пропускает меня вперед. Сарай пуст, лишь дальний его угол за реденькой перегородкой занят предметом неопределенной формы, укрытым брезентом.

— Только ты никому ни гу-гу.

— Ну, разумеется.

Дед Андрейка торжественно, как на сцене фокусник, чуть замедленным движением руки берется за край брезента и враз срывает его.

Перед нами — добротный дубовый крест, окрашенный в бодрый зеленый цвет. Как и положено, на нижней крестовине металлическая пластина с чьим-то уверенным почерком:

ВЕТЛУГИН АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ

1915–19...

— Ловко, а?

— Что? — не сразу понимаю я.

— Костлявую обезоружил, осталась не у дел. Думала: придет, страху напустит, ан нет! С той поры, как памятник этот себе сделал, ни одна хворь не берет. Нет ли у тебя какого-нибудь подходящего научного объяснения этому, а?

И он засмеялся. Засмеялся совсем по-детски.

Когда я уходил, он собирался на ночное дежурство в контору вместо своего подгулявшего, вечно угрюмого зятя Василия.

Дорога на сенокос

Почти у каждого из нас есть своё дерево, озеро или речка, с которыми связаны воспоминания о родном крае. А у меня есть ещё степная дорога. И теперь, перебирая в памяти все дороги, по которым мне пришлось шагать, я чаще других припоминаю её.

Сколько помню, мой дед всегда работал конюхом. Каждое лето с двумя-тремя лошадьми, но обязательно с Карим, здоровенным больничным меринком, дед отправлялся на сенокос.

На этот раз было решено косить в степи. После долгих и тщательных сборов во второй половине дня наконец тронулись. Жить в степи приходилось неделями, поэтому ехали с постелью, с бочкой для воды, с дровами. Со стороны это было похоже, наверно, на передвижение цыганского табора.

Выехали за околицу. Я пристраиваюсь поудобнее в рыдване, поддерживая рукой дребезжащую бочку. Слушаю дедову песню. Песня про липу вековую. Сколько бы я ни слушал эту песню, всегда стараюсь представить: какая она — липа вековая. Наверное, огромная. Я ни разу не видел вековых лип. Но мне кажется сейчас, что я чувствую её медовый запах, такой же, как у молоденьких стройных лип, которые стоят у речки за селом.

Голос деда подрагивает на ухабах, и, когда лошади замедляют бег, он так же протяжно и напевно трогает их:

— Но-о, калеки!

Это у него ласкательное — «но, калеки».

И мы едем дальше, наматывая серое полотно дороги на колеса рыдвана, как наша бабка наматывает свою пряжу на монотонно повизгивающую прядку.

Я много ездил с мужиками по полям, но очень редко слышал, чтобы кто-то так пел. Дедушка же, едва взяв вожжи в руки, запевал песню. Видно, однообразный бег лошадей, стелющаяся дорога, покойная равнина действовали на него, как вечная старинная мелодия, и он, словно камертон, отзывался на звуки её. Он не пел, он подпевал. И, когда слова песни кончались, дедушка пребывал в каком-то упоительном забытии...

Время от времени я поддерживаю бочку, чтобы она на ухабах не перевернулась. Оглядываюсь на едущего следом в телеге Василича и шепчу в бочку:

— Порядок, ещё чуточку.

А из бочки:

— Папаня далеко?

— Тише ты, едет рядом!

— С кем это ты калякаешь один, садись ближе, чего поодаль причечился, — дедушка подозрительно смотрит в мою сторону.

— Не-е, я тут.

И снова, немного помолчав, в бочку:

— Говорил: замри!

В бочке — Генка. Замысел прост и дерзок: заехать как можно дальше, оставаясь незамеченным, а там не высадят, не погонят домой.

Генку, несмотря на все уговоры, Василич — его отец — с собой не взял — велел оставаться дома пасти гусей. Гусей на Генкином дворе, по словам Генки, прорва. И всю эту прорву надо исправно каждое утро гонять на озеро за село, а вечером встречать.

— Нюрка справится сама, а не справится — братаны помогут, — решил одним махом Генка. У него уже три взрослых брата. Все они когда-то гоняли гусей на озеро. Но ни одного из них скорая на прозвища наша улица не отметила, а Генку, он уже и не помнит с каких пор, все зовут Гусиным богом.

...Обнаруживают Генку в бочке внезапно. У последнего по пути колодца (а не на дальнем полевом стане, как предполагалось) делается остановка для того, чтобы набрать воды.

Понимая всю остроту момента, но не находя выхода из него, я стою в стороне, смотрю на скрипучий журавль и старательно готовлюсь сделать изумленное лицо при появлении Генки. Так условлено — я ничего не знаю.

Руки деда принимают бадью из колодца со студеной водой, подносят к бочке. Мгновение — и вода в бочке.

Отвернувшийся дедушка не видит происходящего за его спиной. А там перед ошеломленными Серёгой и Василичем выскакивает, как суслик из норы, мокрый мой приятель. Он чихает, крутит по сторонам головой и неловко прыгает на землю.

Размеренной походкой, прихрамывая, прямо на него идёт его отец. Подходит. И не успевает Генка втянуть голову в плечи, как получает оплеуху. Но не больно. Оплеуха звонкая и не обидная. И глаза Василича не злые, а весёлые.

— Хныкать будешь, с первой же подводой снаряжу домой. Тоже мне партизан.

Он уже откровенно смеется. Смеется и Серёга:

— Хоттабыч из бочки, курам на смех!

Серёга и Василич стоят рядом, оба сильные, загорелые. Серёга на голову выше кряжистого отца Генки. Серёгу мы оба любим и знаем его силу. Прошлым летом, когда ездили косить сено в Моховое — болотистую и травянистую низину, Серёга шутя взял здоровенными руками своими рыдван за задок и потянул. Кобылёнка встала как вкопанная...

Бочка наполнена, мы трогаемся с места.

— Ну, отошёл?

— Почему не предупредил, когда воду начали лить?

— Не успел. А ты зачем так долго сидел в бочке?

— Думал, сперва будут лошадей поить.

Генка молча чешет ушибленную голову, ладошкой пытается вытряхнуть воду из левого надорванного, неровно сросшегося уха.

Обезображенное ухо — результат падения в самый глубокий наш двенадцатиметровый колодец.

Темнеет. Не стало видно сусликов по обочинам дороги. Лишь в небе все чаще шелестят утки. Провожая их взглядом, Серёга говорит шёпотом:

— Теперь бы на зорьке посидеть.

И опять тишина. Только степь вокруг да дедова песня.

В сумерках кажется, что дорога стала ровней и податливей. Стук копыт приглушенней. Кажется, что не только мы с Генкой, а и сама дорога прислушивается к дедушкиной песне, песне про липу вековую..

Степной чай

Так уж повелось, что мой дед отродясь не брал с собой на сенокос «чай» — засушенные с прошлого лета ягоды шиповника. В лесу непременно заваривал чай из листьев вишни или смородины, и он нравился мне несказанно своим неожиданным ароматом. Только как же на этот раз? Кругом степь, ни единого кустика. Но знаю: чай обязательно будет.

Ещё задолго до ужина начинаю теревить деда. А тот, видя моё нетерпение, только заговорщически подмигивает: «Мол, знаем, сделаем».

Я жду с нетерпением. И вот он — чай! Желтовато-зеленый, он так пахуч и ароматен, что просто не верится, что заварен вот из этих темно-желтых, невзрачных курчавеньких стебельков. Они растут всюду, даже около нашего стана, прямо в моём изголовье под рыдваном.

— Как он называется?

— Не знаю, чай, как же ещё...

— Но ведь должен он как-то называться, — я хочу знать и смотрю на деда, не отрываясь. Но он молчит.

— А давай наберем целую охапку и привезем домой, на всю зиму хватит.

— Нет, Шур, этот чай только там пахуч, где родился, на воле. Значит, и пить его надо на воле. — Глаза деда весело щурятся: — Вот привезем домой сено, из омета наберешь сколько душе угодно и пей.

...Вскоре, намаевшись за трудовой день, все засыпают. Только мне не спится. Тишина. Лишь храп лошадей чуть поодаль да запах скошенной луговой травы в изголовье.

Перед глазами бездонное августовское небо с бесчисленным скопищем звезд. Прохладно. Нырять с головой под одеяло, становится душно, ворочаюсь и нахожу в одеяле дырки... одна, две. Приподнимаю одеяло на руках. Через крохотные отверстия виднеется небо. На темном поле одеяла эти кусочки неба кажутся звездами. Само одеяло уже представляется небом.

Одеяло похоже на небо, а небо на одеяло!

...Утром просыпаюсь рано. Необычно рыжее солнце показывается из-за горизонта. Словно раскаленное дедушкино точильное колесо, оно краем своим, врезаюсь в прохладную синь неба, высекает звонкие и колкие лучи.

Необъяснимое чувство восторга охватывает все моё мальчишеское существо. Я выскальзываю из-под одеяла и по прохладной траве босиком бегу навстречу солнцу, оставляя за собой изумрудную тропинку в сонной, разнеженной траве. Хочется петь, кричать, падать на траву, вскакивать и опять бежать по зеленой равнине без конца и края. Так вот она какая — степь!

Набегавшись, иду, притихший, к стану, уже дымящему утренним костром. Возвращаюсь, не сознавая наивным умом своим неповторимость всего происходящего. Не предполагая, что через два десятка лет в уютно обставленной городской квартире будут не давать мне спать по ночам эти воспомина-ния. И об этой поездке в степь, и о чае, вкуснее которого не было и не будет...

Мишкина песня

Выбраться за голавлями к дальнему мосту через Самарку было давнишней нашей мечтой. В тот раз мы всё-таки достиг-ли своей цели. Мы -это Колька, Мишка и я.

Солнце уже спряталось за гору. Духота спала. Над плесом легкий слоистый туман. Тишина. Лишь у Колькиных ног, у старой почерневшей сваи, бьется и ходит на длинном кукане красавец голавль. В тишине нет-нет да и ухнет у самого берега, словно обвалится круча, прижившийся в омуте сом. И вновь тишина. Но что это? На бугре, над самым спуском к мосту взметнулась песня. И через какую-то минуту по шаткому мо-сту уже двигалась колонна молодых, веселых, в запыленных гимнастерках солдат.

*Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли домой с войны советские солдаты...*

На нас нашло оцепенение. Поразила песня. Все в ней было верно. И то, что солнце скрылось за горою, и то, что туман над рекой, и что дорогой, пусть не степной, но шли солдаты, не с войны, но шли... Такую песню мы ещё ни разу не слышали. Солдаты уже были на другом берегу реки. Первым опомнил-ся Колька. Вскочив на середину моста, вспорол смыкающуюся после песни на речке тишину:

— Э-ге-гей!

И долго потом махал кепкой вслед затихающей песне. Уса-живаясь на толстое бревно, сказал восхищенно:

— Мировецкая песня! Чур будет моя!

— Мировецкая, — как эхо повторил Мишка, — только недо-писанная.

— Что? — ошарашено посмотрел на него Колька.

— Недописанная, говорю. Про то, как шли с войны есть, а как домой пришли — нет.

— Тоже критик, это же песня. Может быть, народная.

— Все равно, народная — это когда просто забывают, кто написал песню.

Но, видно, в Колькиной голове никак не может уложиться то, что такую песню кто-то взял и сочинил. Недовольно повозившись, он демонстративно пересаживается от Мишки, громко шлепнув удочкой по воде. Но, немного помолчав, не выдерживает и примирительно тянет:

— Миш, а кем твой отец был на войне?

Мишка отзывается не сразу. Глядит в одну точку на воде, потом кратко отвечает:

— В пехоте.

Мы с Мишкой соседи, и я знаю, что он никогда не донимает отца вопросами о войне. Не любит рассказывать дядька Степан о себе. Известно, что он около трех лет пробыл в плену, воевать довелось мало, и что освобожден он был вместе с другими в тот момент, когда немцы подожгли при отступлении соседний барак с пленными. После войны проболел около пяти лет — сказались лагерные побои, намаялся по госпиталям...

Сильнее всего врезалось в память последнее возвращение дядьки Степана из госпиталя. После двух операций вернулся он с укороченной ногой и негнущейся спиной в корсете. Сейчас этот кожаный со стальным каркасом корсет, отслужив свою службу, пылится на погребнице весь изрезанный вдоль и поперек — мы часто с Мишкой вырезали из него кожу для рогаток, хорошая была кожа, блестящая...

На конце каждого костыля дядьки Степана было вбито по гвоздю для надежной опоры. От прикосновения костыля на полу оставалась свежая ямка. За год, который проходил Мишкин отец на костылях, весь пол в избе стал как наперсток. Прошлым летом, когда дядька Степан стал ходить без костылей, доски заменили, но несколько штук в кухне да в Мишкиной спальне осталось. В спальне их перенесли на потолок. И теперь, когда Мишка ложится в кровать, они — перед глазами.

— Тебя отец часто бьет? — донимает Колька.

— Не, не бьет совсем. Он добрый, даже, когда скотину режут или там голову курице надо оттяпать, уходит, чтобы не видеть.

— Мели больше?!

— Точно, мамка говорит, что он после плена таким стал.

Помолчали.

Нас с Мишкой соединяет тайна.

В прошлое воскресенье, когда мы ночевали с ним в их приземистой мазанке, роясь в книжках на самодельной полке, я вдруг наткнулся на общую тетрадь с темно-синими плотными корками. Прежде, чем Мишка успел вырвать её из моих рук, я прочел надпись в середине первого листа. «Бои после победы» — было написано Мишкиным пляшущим почерком, а в самом верху листа стояло: «Михаил Вдовин».

То, что Мишка уже полгода пишет повесть о своём отце, меня ошеломило. Я перешел в шестой класс, много перечитал в нашей школьной библиотеке из того, что дают только старшекласникам, знаю, что книги пишут люди. Но эти люди для меня как боги. Живут они где-то далеко-далеко.

Прошлый год моя бабка, возвращаясь из леса, нашла оброненный кем-то на проселочной дороге сверток. Когда мы развернули его, то были очень удивлены. В свертке оказалось десять портретов русских писателей. Единственный, кого узнала моя бабка сразу, был Горький. Остальных она долго разглядывала, читая вслух фамилии по нескольку раз.

В тот же день, сварив клейстер, мы наклеили портреты на саманные беленые стены под самым потолком. Все на одной стене не умещались, пришлось клеить по пять штук с разных сторон от переднего угла с иконой.

Левый ряд от иконы начинался со Льва Толстого, правый — с Пушкина. Только с Достоевским у бабки вышла заминка. Если Пушкину и Толстому она сразу отвела место во главе каждого ряда, а остальных по-местила по известному только ей закону, то около портрета Достоевского бабка долго сидела задумавшись, неотрывно глядя на нервные сухие руки писателя. Она потом и приклеила его чуть поодаль ото всех...

Но как быть с Мишкой? Мне и верится, и не верится, что он пишет повесть. Я подолгу стою посреди избы, прицеливаясь в конец портретного ряда, представляю, как все будет выгля-

деть, если поместить туда и Мишку. Но ничего не получается. До обидного своим и понятным выглядит наш Мишка. Вот если бы борода была или хотя бы пенсне, тогда, может быть, другое дело, да и то его наши все сразу бы узнали.

С той самой ночи Мишка взял с меня клятву молчать.

Неразговорчивость дядьки Степана вошла давно в поговорку на нашей улице, поэтому каждый раз, когда дядька Степан выпьет, Мишка старается быть поближе к нему. Дядька Степан болеет «тракторной болезнью». Так говорит Мишкина тетка. Под хмельком дядька Степан, сразу начинает со всеми заводить разговоры про тракторы. У него не гнется спина и правая нога, оттого-то как раньше, до войны, работать на тракторе он не может. Поэтому и говорит так много про них. Мишка утверждает, что, будь его отец здоровым, они давно бы махнули поднимать «матушку-целину». И махнули бы.

Мишка уже кое-что знает про солдатскую жизнь отца. Записи в его тетрадке увеличиваются.

— Надо до сентября обязательно дописать, — говорит он. — И в первый же день покажем Виктору Петровичу.

Мишка говорит не «покажу», а «покажем», и я благодарен ему за это.

Теперь каждый вечер, когда все заснут, я выхожу потихоньку на улицу и смотрю через дорогу на Мишкину мазанку. Там в занавешенном оконце тускло, но настойчиво пробивается в настоенной на летних запахах тишине, свет. Мишка спешит. Скоро наступит срок.

— Ты пиши. Мишка, все опиши, — шепчу я в тишине, — пусть все знают, какой дядька Степан, как он вынес Миньку Сухова раненого из первого боя. Миня про это из госпиталя писал, а то бы мы никогда и не узнали. И, если можно, напиши немножко о моём отце. Только ты не напишешь. Я знаю — никому неизвестно, где мой отец. Но ты хоть напиши, что был такой человек — без вести пропавший — мой отец.

Я наверняка знаю, какую первую фразу скажет наш учитель русского языка Виктор Петрович.

Взяв в руки Мишкину синюю тетрадь. Он скажет:

— Опять ты Вдовин меня озадачил. — У него любимое слово: «озадачил». — Ведь я же давал тему для домашнего сочинения «Мои летние каникулы».

И долго будет потом задумчиво ходить меж рядов, подергивая обтянутыми гимнастеркой плечами, пока не заговорит горячо и торопливо, краснея лицом и размахивая в такт словам единственной уцелевшей на войне рукой.

Школьная уборщица тетя Даша говорит, что Виктор Петрович и мой отец очень похожи. Не знаю, я своего отца не видел никогда живым. Я родился после того, как он ушёл воевать. А на маленькой единственной школьной фотографии, которая висит в передней, он моложе меня, так что и сравнивать нельзя.

Память и... совесть

Дмитрий Трофимов, вопреки своему обычаю, в воскресенье на базар не пошёл, а проплотничал все утро на пустыре около Юрьевой горы. Правил ограду у памятника на месте расстрела первых организаторов Советской власти на селе.

Я подошёл, когда Федор Петрович, председатель сельсовета, мужчина небольшого роста, степенный и властный, принес десятку за труды. Трофимову загорелось выпить. Федор Петрович, несмотря на выходной день, был при исполнении обязанностей и Трофимов потянул меня пойти с ним:

— Можешь не пить, но из уважения посиди.

И мы пошли в столовую. «Заодно позвоню в райцентр старому знакомому», — подумал я.

За столиком в углу сидел Степан Коньков.

— Ну вот, есть с кем и помянуть, — угрюмовато произнёс мой спутник.

Мы, как у нас говорят, поздоровкались. Когда Трофимов поднял стакан и расправив широким жестом усы, провозгласил тост за советскую власть и его, Дмитрия Трофимова, солидный вклад в строительство нового «общества», Степан поставил стакан на стол и наотрез отказался пить:

— Я хоть, Митрич, и был мальцом, а помню, какие ты вклады делал. Вот тебе вложить горячих тогда некому было, это точно. Все у тебя кумовья да сваты. За что нашего Серого на третий день, как свели со двора, ухандокал?

Трофимов молчал.

Потом из отрывочных фраз я понял, что ему, очевидно, не трудно было вспомнить тот далекий первый год коллективи-

зации, когда в весеннюю ростепель, остаканившись с приятелями сивухой, вздумалось ему, новоиспеченному колхозному конюху, по синему ломкому льду Самарки перебраться на правый берег к своей зазнобе. Дмитрия вытащили из воды, а Серого не смогли — со всей упряжью пошёл под лед.

Глядя на седеющего грузного Степана, я видел его заплаканным лобастеньким мальчишкой в отцовской кубанке — таким, каким тот был, по его рассказам, в ту далекую пору. И уже не в первый сегодня раз удивился, а потом и ужаснулся быстротечности жизни. Опорожнив свой стакан, Трофимов встал из-за стола. Я попрощался со Степаном, и мы вышли. По пути домой Трофимов вслух зло рассуждал:

— Вот, бестия, помнит все. Не их уже меренок был — колхозный, а все равно зуб имеет. А оно хоть и верно, зазря меренок погиб, — запоздало покаялся он.

Что-то похожее, видимо, на угрызения совести проклюнулось в нем, но он тут же одернул себя:

— Степка — подкулачник проклятый! Как таких только земля держит..

Трофимов не привык быть виноватым.

Бабка Мариша

Я знаю её только старухой. Ей уже давно за восемьдесят. Живет она одна, все сыновья погибли на войнах. Муж в давние лихие годы уехал в чужую дальнюю сторону на заработки, да так и не вернулся. Возвратившиеся мужики рассказывали, что одолела его в пути какая-то страшная хвороба. Его и зарыли там, в чужой земле. Я его знаю только по желтенькой фотографии, которая висит неизменно на одном и том же месте. А рядом иконы. Много она перенесла горя и ни разу, как ей кажется, Всевышний не вмешался

— Прогневила чем-то.. Или не до нас ему?.. — тихо говорит она старушкам, которые навещают её и притворно сердчат на неё во время таких разговоров. И сама она качает головой, осуждая себя за такие слова.

Она часто думает о прошлом. Время неудержимо рвется вперед, а она чаще там — в прошлом, со своими заботами, их так много было у неё.

Маленькая, светящаяся изнутри необъяснимым, мудрым светом, она смотрит на мир своими добрыми глазами, выдавшими голод, смерть, и улыбается этому вечному миру, в котором по чьей-то забывчивости все ещё живет. И думается мне, когда я смотрю на неё, что к старости в человеке все мрачное и угрюмое пропадает и остается только то светлое, что было заложено при рождении и что встретилось ему в его долгой и такой мгновенной жизни.

Иногда мне хочется представить её молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая она, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали её такой светлой, желающей всем добра и счастья?

...Каким я приду к своей старости?

Выпь

Возвращался ночью с охоты. На болоте кричала выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.

Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.

— Удивительно! — говорил мне на следующее утро мой дядя, давний охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошные вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.

Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства...

Любка

У Горюшиных мяли глину. Стайка ребятишек сидела на бревнах рядом. Тут же Петька Сонюшкин, по-уличному — Карась. Поблескивая звонкими медалями на выцветшей и чи-

стенкой гимнастерке, а ещё больше своими весёлыми темными глазами, поглядывал на оголивших крепкие загорелые ноги горюшиных рослых девчат.

— Эх, кабы не мои болячки, станцевал бы я с тобой цыганочку, Варюха, в глиняном твоём кругу! — Петька осторожно, как маленького ребенка, обеими руками переложил забинтованную негнувшуюся правую ногу с подпиравшего её костыля на бревно, — вот отнячаю её, и первый вальс с тобой.

Затекли ноги, и мы с Любкой прыгнули с низенького плетня на землю, подошли к высокому окошку с играющим патефоном. В тот самый момент в распахнутые ворота вбежал десятилетний брат Варьки, Вовка:

— Ты тут, Любаха, прохлаждаешься, а твой отец с войны пришел, из госпиталя.

Уже на бегу, не поспевая за шумной стаей ребятни, я подумал, что отец Любки должен быть непременно красивее задаваки Караса и медалей у него должно быть никак не меньше.

Чтобы увидеть происходившее в избе, нам с Любкой понадобилось пробираться через столпившихся у порога ребятишек и взрослых. Когда же протиснулись к столу, она досадливо потупилась. За столом на коленях у огромного с бородой в военной форме человека сидела Танька, в руке у неё был кусок сахара.

— И сеструха меня обогнала, кругом не успела, — горько прошептала Любка.

— Любушка, что же ты, подойди к отцу, — мать легонько подтолкнула её в спину.

Любка сделала два шага вперед и тут же, подхваченная крепкой рукой, оказалась на коленях у отца.

— Ну вот, теперь весь мой женский батальон в сборе.

Я видел, Любке было неудобно сидеть на коленях отца, болела ещё, наверное, ушибленная о калитку нога, и она запросилась на лавку.

— Дичок ещё, Коля, привыкнет. Ведь она тебя и не помнит, было-то ей до войны всего три годочка, — улыбочиво говорила Любкина мать.

— Ну, ладно, Лексеич, значит, повидались, и хорошо. О делах поговорим потом. Денька через два-три приходи в правление. — Председатель колхоза Шульга мелкими шажками устремился к выходу.

— И чего он такой бородатый и пребольшущий, мой отец? Вон Карась какой, красивый, хоть и нога не ходит, — зашептала мне Любка, — а может, это и не мой отец, а так только все говорят?

— Тань, Тань, правда, что это наш отец? — Любка потянула сестренку за рукав, когда мы оказались за воротами на улице.

— Вот чудная какая, а кто же?

— А почему он с бородой?

— Ну почему, почему? Разве нельзя? Вон дед наш тоже с бородой был.

— А на фотографиях отец без бороды, — не сдаётся Любка.

— Ну тебя с твоими придумками. Мамка и отцу сказала, что ты у нас чудная.

— А почему он вам с мамкой платки привез, а мне нет? — вздохнув, спросила Любка. Но сестра ничего не ответила.

Прошла неделя, а Любка так и не решила свой главный вопрос.

— Ты почему не зовешь его папой, — больно щипнула Любку сестра, — вон мамка вчера Горюшиным жаловалась на тебя, какая ты непонятливая.

— Ах, так! Не буду и не буду. Вы все против меня! Ты зачем так щиплешься?

... — Люба, Любашка, иди-ка сюда!

Любка соскакивает с бревна и идёт к матери.

— Сбегай-ка за отцом на общий двор, позови обедать. Опять опаздывает.

Любка нехотя выходит на улицу.

...Отца её мы нашли на ферме. Поснимав рубахи, трое мужчин (два коренастых и загорелых и один худой и белый) ставили новый сруб в колодец. Чуть поодаль дядя Коля тесал подушку для телеги.

— Алексеич, подмога пришла.

Один из мужиков, ловко вонзив топор в бревно, скомандовал:

— Шабаш, чувствую, на обед пора, раз гонцы появились.

Подойдя ближе и глядя куда-то в пустоту, а не на отца, Любка скороговоркой выпалила:

— Мамка послала звать обедать, все уже на столе.

— Обедать, говоришь, ну-ка, дочка, подойди, нам поговорить надо.

Глянув в лицо отцу, Любка вдруг чего-то испугалась.

— Не-е, мне надо ещё к бабке заскочить, мать велела.

Насчет бабки Любка придумала на ходу.

— Что, солдат, не ладятся отношения с дочерью? — поинтересовался один из плотников, тот, который высокий и белый.

— Да, хвастаться нечем.

— А на что ж ремень солдатский? Аль не знаешь, как применить?

Николай Алексеевич вместо ответа только досадливо морщится, и, молча потянув из-под говорившего свою гимнастерку, встает, и идёт со двора.

... — А, а, внученька, дорогая, иди-ка сюда. Как ты поживаешь? — Бабка Степанида из-под руки смотрит на Любку, другой кормит кур.

— Хорошо, бабуля.

— А скажи-ка, зовешь своего отца-то как следует аль нет?

— Зову, — соврала Любка.

— А...а, какая умница стала. На-ка тебе за это конфетку.

Бабка Степанида долго шарит в подолах своих длинных юбок, находит наконец какой-то потайной карман и извлекает оттуда две карамельки. О подол вытирает их.

— Натe, нате, золотые мои.

Любка быстро отправляет конфету в рот и уже, приоткрыв калитку, на ходу сознается, сверкнув озорно глазами:

— Бабуля, а я никак его не зову.

И выбегает на улицу.

... — Ты бы хоть бороду сбрил, Коля, — говорит Любкина мать вечером после ужина, — а то так ребенок дикарем и растет.

— Сейчас дочь отцом не называет, а сбрую — жена смотреть не будет.

— Глупый ты у меня ещё, Коленька, — мать Любки подходит и обнимает дядю Колю, — у других ног нет, без рук возвращаются — так они без ума радешеньки, а ты целехонек весь. Ты свои шрамы на войне получил, а не в пьяной драке, понял, горяшко моё? Ты же у нас герой. Эти шрамы на теле. Понстрашнее те, которые в душе. Ты думаешь, она маленькая? Не переживает? Переживает. А за что ребенку такое?

— Война никого не щадит.

— Не щадит, Коля. Мама говорит, что мне надо уехать в Со-
сновку на недельку, а вам остаться. Пусть привыкает. Уехать,
Коленька?

— Не надо, ничего не надо. Не надо возню вокруг этого
разводить. Всему своё время. Она умная девчонка, сама гово-
ришь.

Мы с Любкой всё слышим. Дверь в избу открыта, и мы сто-
им в сенцах, затаившись за старым шкафом.

— Завтра буду звать его отцом, — говорит Любка, мне ведь
совсем не трудно.

...Через несколько минут мы уже бежим ловить бабочек на
поляну за Бесперстовой баней. Там в буйных зарослях коноп-
ли и лебеды мы храним в банках целую коллекцию засушен-
ных жуков, бабочек, растений всяких.

И никто об этом не знает.

Яблоко победы

Мой дядя Алексей вернулся с войны значительно позднее
мая 1945 года. Потому-то его возвращение и смогло задержать-
ся в моей памяти — к тому времени мне было около четырёх
лет.

Дядя был с товарищем.

Отчетливо помню, как разом стало тесно от серых шинелей
в нашей избе, как потом мы сидели все за столом в передней.
Помню себя, державшего в руках гостинец дяди — большое
красное яблоко.

Не знаю, когда я впервые услышал слово «победа». Может,
когда во все глаза глядел, держа обеими руками яблоко, на
этих людей, пришедших с войны, или позднее...

Но так уж получилось, что теперь слово «победа» я не могу
представить без непрерывающего волновать душу серого цвета
военных шинелей и того огромного красного яблока.

«Яблоко победы», — произнёс я однажды уже взрослым и
осекся. Каким же должно было быть дерево, которое вырасти-
ло его! С каким трудом досталось это яблоко! И какое же
оно красное...

Пронькин осокорь

Утром, пока я ладил новое вязовое окосиво, он ходил молча вдоль покосившегося плетня, исподволь наблюдая за мной. Когда же нехитрая моя работа была закончена, сказал, будто мы с ним говорили все утро:

— А что, не к Лушкиной ли поляне собрался?

— К ней, — отвечаю.

— А не возьмешь ли меня с собой?

— Могу, — торопливо соглашаюсь я, почему-то боясь обидеть старика отказом, а сам пытаюсь сообразить, для какой такой цели надо деду Проняю в его восемьдесят быть на Лушкиной поляне. Чудит, думаю, дед.

Уже садясь на мотоцикл, кричу ему на ухо, стараясь не столько пересилить тарахтенье мотора, сколько дедову глухоту:

— А что за забота в лесу?

— Забота у меня давнишняя.

Дорогой я пытался вспомнить, все, что знал о старике. И оказалось, что знаю-то совсем мало. Даже отчество не помню. Прон Репков — вот и все. И имя и фамилия для наших мест редкие. Вроде был женат.

Когда приехали, дед засуетившись, молча направился к речному обрыву, оставляя за собой глубокую тропинку в буйном разнотравье. Немного помедлив, последовал за ним и я.

Лушкина поляна метров двести длиной. Одним своим концом выходит из лесной чащи на речной обрывистый берег.

Проняй остановился около великана осокоря, стоявшего метрах в четырех от речного обрыва, и надолго замер, не обращая на меня никакого внимания.

...После того, как четверть поляны покрылась рядами скошенной травы, я подошёл к осокорю. Дед сидел, прислонив спину к могучему стволу дерева. Спал или делал вид, что спит.

Уже возвращаясь на поляну, я через плечо посмотрел на обрыв. Осокорь стоял молчаливо и раздумчиво. И тут меня поразила какая-то неуловимая связь между деревом и человеком. Это нельзя было передать словами, об этом нельзя было спросить. Надо было, очевидно, догадаться, что-то понять самому. Путаясь в догадках, но уже не сердясь на старика за его молчаливость, вернулся к своей работе.

Домой по-прежнему ехали молча.

Все это сразу бы и забылось, если б не случайный разговор, осветивший иным светом и сделавший понятным поведение Прона Репкова.

Единственный оставшийся в живых свидетель давней истории, одногодок Репкова Матвей Качимов рассказывал:

— Не скрою, завидовал я Прону, счастливей меня оказался. Его Улька полюбила, а не меня. Я и петь, и танцевать всегда первый был, а Прон — молчун молчуном, а заговорит, то все про лес да птиц и зверье разное. Вот обида меня и мучила.

Но не суждено им было свадьбу сыграть. В восемнадцатом году, когда пришли белочехи, попалась Уля на глаза трем солдатам — подкараулили они её в леске... Ну, и ясное дело. Утопилась Ульяна в тот же вечер, не пережив позора.

— А Прон что?

— На том месте, где утопилась Ульяна, посадил Прон осокорь, в память о ней.

Словно бы затмение нашло на Прона. Едешь ли, идешь ли мимо — он сидит около своего деревца, лицом к воде, неподвижно, словно статуя какая. Так и прозвали люди осокорь Пронькиным.

Так вот жизнь и потекла. Войны Прона не тронули, вернулся невредимым. Когда за сорок перевалило, уже после Отечественной, женился он тут на одной, но через год она умерла. Доживает один. А осокорь растет себе на здоровье. В сороковых годах, когда здесь была сельсоветская делянка, чуть было не спилили его. Прон отбил. Поставил леснику Митрию Жучкову литр самогону, и делу конец. А теперь осокорь никакой пилой не возьмешь. Но и ему недолго осталось жить. Один год, лет эдак десять назад, смыло в половодье громадную кручу. После этого каждый год речной обрыв приближается к дереву метров на пять. С того года на Прона нашло опять навроде затмения. Придет на кручу, сядет — да так и просидит до сумерек. Каждую весну первым делом спешит к осокорю — узнать сколько до него осталось. Помяни моё слово: они и умрут в одно время...

Старик Репков умер в конце апреля...

...Не дожидаясь, когда спадет полая вода на плоскодонке добрался я по пустынной широкой водной глади до Лушкиной поляны. Рискуя быть перевернутым взъерошенным, свинцово-темным потоком потерявшей русло реки, направился к тому месту, где должен быть осокорь. Подгоняемый желанием узнать, увидеть, что старик Качимов ошибся — бросил я своё утлое суденышко в пасть потоку, рвущемуся с Лушкиной поляны к реке. Осокоря на месте не было. Там, где когда-то он стоял, утробно картавили водяные воронки. Везде, куда доставал глаз, куда несло течением потерявшую управление мою лодку, было одно лишь седое кипение воды...

Старик Репков и дерево умерли в одну и ту же пору, весной, когда щедрая от весенних талых вод река Самара далеко окрест несла, как бы впрок, животворную влагу высыхающим к середине лета старицам и бесчисленным, зацветающим в иной безводный год, безымянным озерам.

Журавли

Сумрачно и тихо. Лишь у крайней избы грудной ласкающий голос мерно разрезает податливый вечерний воздух. Зовут чью-то запропавшую Звездочку. Но и этот голос смолк.

Проскрипели неподалеку на ферме выдавшие виды ворота, и все на некоторое время смолкло.

В селе, до которого от степного ильменька всего каких-то метров триста, текла своя вечерняя жизнь.

Заря кончалась, а уток не было.

И вдруг с вышины, где безраздельно властвовал один только звездный, холодный свет, донесся тревожный, тоскливый и удивительный звук. Казалось, кто-то на незнакомом языке кого-то звал за собой и в то же время прощался навсегда. И этот кто-то приближался ко мне. Завораживающий голос был уже, кажется, совсем рядом. Вот он, почти над головой! Там, где только что была одна Большая Медведица, распластался трепещущий клин.

Журавли! Конечно же, журавли! — упивался я своим открытием, забыв о ружье и махая им, как палкой.

Журавли сделали плавный полукруг над болотом, выровнялись и величаво потянулись в сторону угрюмо темнеющего леса.

Какая-то сила сорвала меня с болотной кочки. Они улетали! Я побежал за ними, замороженный сказочной, не перестающей литься с неба, мелодией. Потом, будто устыдившись чего-то, остановился. Вернулся к ружью, забытому на болотной кочке, и долго стоял, потрясенный. Я что-то потерял. Минуту назад я был богаче. С журавлями от меня оторвалось и улетело что-то большое и светлое, но что именно, мне мальчишке, понять было трудно.

С болота я ушёл поздно. Дома никому ничего не сказал и в саду под старой скрипучей яблоней долго пытался уснуть...

Много после этого провел я утренних и вечерних зорь на воде, но журавли не прилетали.

Позднее, став взрослым, я где-то прочитал, что журавли — это символ неуловимости человеческого счастья. Как верно!

Вот она, разгадка! Значит, с тем, кто так сказал, было, может, то же самое, что и со мной в моём далеком детстве. Только он сумел выразить это словами.

1985 г.

Философ

По одной тропинке ходить

Виктор Ключев начал работать в ремонтно-механическом цехе восемь месяцев назад после службы в армии. Благодаря природной расторопности он быстро освоил необходимые навыки и получил четвертый разряд. После чего решил твердо: в деревню его палкой не загнать. Лишь изредка вспоминался ему неполучившийся разговор с отцом перед самым отъездом. Убедившись, что сын твердо решил дома не жить, отец сдался:

— Ну смотри, Виктор, я тебе не враг, задерживать не стану, не пожалел бы потом.

Так и разошлись — холодно и неопределенно.

* * *

В обеденные перерывы теперь забежал Виктор к плотнику Фадеичу. В его столярке пахло теплым деревом. От свежих стружек, взгляда на ножовки, стамески веселило душу.

— А что, Фадеич, — говорил он, заглянув накануне в столярку, — возьмешь к себе в напарники? Лях с ним, с железом, мертвое оно. Иное дело дерево — живое и теплое. Зов предков, а?

Сначала и самому Виктору казалось, что он заходит в столярку просто так, потреться с Фадеичем. Потом стал замечать, что тянет его туда нечто иное. И однажды он понял: Фадеич похож на отца Галки — Ивана Макаровича, или просто Макарыча — как звал его Виктор. Такой же малоразговорчивый, но приветливый, пахнувший сосновыми стружками и махоркой. Там, в далекой Вязовке, их дома стояли друг против друга на одной улице, и Виктор привык бывать в его мастерской.

Повзрослев, он стал стесняться приходить просто так к Макарычу, и виной тому была Галка. Уже перед самым призывом в армию, когда их семьи открыто как бы породнились и отцы стали называть друг друга сватами, они с Галкой не раз посмеивались над неловкостью Виктора.

Каждый раз теперь, когда ему вспоминались те далекие звонкие дни, связывающие его, как тогда казалось, с Галкой навсегда, он гнал воспоминания прочь.

...Это случилось в один из рабочих дней. Возвращаясь из столовой, Виктор увидел золотой копошащийся комок на нижней полке цеховой эстакады с трубопроводами.

Подойдя ближе, он замер от удивления: это был пчелиный рой.

Через минуту он уже знал, что делать. С Фадеичем они вместе сбили ящик и накрыли его белой тряпкой.

Играючи, зная, что за ним следит добрый десяток глаз, радуясь своей сноровке, Виктор по лестнице поднялся на эстакаду. Надеть маску от противогаса — минутное дело. Приблизившись к гудящей массе почти вплотную, стал легонько щёткой сгребать пчел в ящик.

— Чё так долго возишься? — Мишка Кривов, электросварщик, осмелев, подошёл прямо к стойке. — Давай я те всю полку газом вмиг срежу в ящик, а?

— Иди ты!.. — Виктор, стягивая с лица влажную резиновую маску, посмотрел сверху вниз.

Михаил был на пять лет старше его и вообще виртуоз в работе, и Виктор относился к нему с уважением, но сейчас он был хозяином положения. И мог позволить, как ему казалось, грубость. Он даже в сердцах хотел сверху вниз ругнуться покрепче для порядка, но постеснялся. Рядом почти, внизу стояла цеховая табельщица Любка.

От шевелящегося слитка пахло медом и летом. Среди железа и бетона сказочно пахло родной Вязовкой. Когда Виктор поставил в столярке ящик на верстак, облегченно вздохнул:

— Ну, Фадеич, бери рой себе, подарок. Конечно, не прочь было обмыть это дело.

Ножовка в руках Фадеича споткнулась:

— Ишь ты, на кой он мне? На балконе пасеку разводить? Пчела — насекомое деликатное, с ней обращаться надо умеючи.

— Деликатное, — со вздохом подтвердил Виктор и тут же, как бы для порядка, возразил: — Но ведь сейчас горожане курей, свиней и даже коз держат на балконах. Перестройка.

— Голь на выдумку хитра.

Тут-то Виктор и пожалел, что мало, да что там мало, совсем не вникал в отцовские ремесла. Ни сети вязать не научился, ни с пчелами, как надо, не умеет действовать. Так, по догадке все, почти так же, как и цеховые ребята, не имевшие никогда близкого отношения к пчелам. Но он-то сын колхозного пчеловода Петра Ключева. «Дилетант деревенский, вот ты кто», — в сердцах ругнул он себя.

— Постой, а ведь ты про пасеку у вас в колхозе мне рассказывал, это же в самый раз.

— Идея, Фадеич! — Виктор вскочил с топчана.

«Идея!» — ликовало все в нем. Он обрадовался тому, что явится к отцу, наконец-то увидит его, и не просто так, как вроде бы соскучившись и сдавшись в их затянувшейся молчанке, а по-деловому — привезет целый рой пчел...

* * *

С попуткой Виктору повезло. Едва он сошел в пригороде с рейсового автобуса и добежал до единственного стоявшего у обочины, газика, как все устроилось. ГАЗ-69 шёл через Вязовку. И этот факт сам по себе не удивил Виктора. «Так и должно быть, когда человек едет домой», — рассуждал он про себя, вспоминая и ту легкость, с которой мастер отпустил его на два дня в отгулы.

Газик по асфальту шёл ходко, кроме Виктора пассажиров не было, и, устав вытягивать из шофера слова, словно клещами гвозди из дубовых досок («Сундук с глазами», — беззлобно про себя ругнулся Виктор старенькой присказкой своего армейского старшины), он ткнулся в окошко лбом и стал смотреть на бесконечные стройные ряды ометов, убегающих за горизонт. «Как слоны», — невольно вспомнилось Галкино сравнение.

Вокруг лежал необъятный простор. Глаза, соскучившиеся по родному, искали приметы детства. Вспомнились проводы в армию, Галкины жадные горячие губы, когда она, требовательно взяв его за руку перед самым отъездом (на людях нельзя будет проститься как надо), увела в дальний угол сада. «Галка, Галка! Что ты, как ты сейчас?..»

Из задумчивости его вывел визг тормозов. По проселку, метрах в двадцати, к машине бежала бывшая одноклассница Варька, а чуть дальше стоял его, Виктора, «газон» До армии на этом самом «газоне» он начинал работать в колхозе. Машина засела крепко. Около заднего колеса лопатой орудовал узкоплечий высокий парень.

— Кто это? — на ходу спросил Виктор.

— Студент, прислали на картошку к нам. Их у нас двадцать штук, веселые, черти.

— А ты что же делаешь?

— Я-то? Я эту самую картошку и вожу.

— Кто же тебе машину доверил?

— А тут и доверять нечего, то есть некому больше. Мужики все вышли.

Втроем они притащили по охапке соломы. Виктор сел за руль, и вскоре они ехали по проселку к Вязовке. Прощаясь с Барюхой, слегка хлопнул по плечу:

— Молодец, жми на педаль!

* * *

Отца дома не было. Привычно заложил палец за наличник и достал ключ. В избе было все по-старому. Скрипнув половицей в горнице, подошёл к столу, сел. Во всем был, как и прежде, образцовый порядок. Одно сразу бросилось Виктору в глаза — фотография матери 9х12, сделанная за год до её смерти, не висела в простенке, как прежде, а стояла на тумбочке у кровати отца.

Становилось не по себе от гулкой тишины.

Встал.

Выйдя на крыльцо, закурил.

«Все: и рой, и старенький «газон», и одиночество отца, все как укор за слишком долгое отсутствие. Все — даже этот клен у Галкиных ворот».

Знакомые до боли, доверчиво распахнутые окна Галкиного дома в густой темноте, сияли огнем. В передней заскользили за занавесками еле уловимые тени. И вдруг в окне, в левой половине дома, появился знакомый силуэт, а через минуту другой — мужской. Окно раскрыли ещё шире, и родной смеющийся голос Галки возбужденно произнёс:

— Геночка, смотри, луна сегодня рыжее тебя! И теперь она каждый вечер только наша, навсегда!

В глубине комнаты низкий голос что-то ответил, но что, слышно не было. Легкая фигурка скользнула от подоконника в глубь комнаты, и тут же погас свет. В доме напротив готовились ко сну.

Широкая ладонь легла на плечо Виктора:

— Ничего, сын, все обойдется. Я тебя теперь понимаю. Вижу: горько. Пройдет, поверь. Погорячился с городом, и хватит.

Виктор молчал.

— Я как-то с председателем нашим разговорился у сельпо. Вот-вот придут две новые машины, кому как не тебе одна, а?

— Они что, решили вернуться из Тольятти назад, к себе в село? — думая о своем, произнес Виктор.

— Решили. Сейчас многие к земле возвращаются. Пока они на автозаводе на конвейере работали, я был уверен: пройдет время, ты повзрослеешь и когда-нибудь, вот как сегодня, приедешь и останешься. Теперь не знаю, что думать.

Отец присел с краю на крыльцо.

— Если они останутся, как же ты будешь жить тут, по одной тропинке за водой ходить? Ведь не смог же, как с армии вернуться?

— Не надо, папа, — Виктор запнулся, поймав себя на том, что от волнения назвал отца, как в детстве, — это все моё. Прости, но моё.

— Я понимаю.

Выйдя за ворота, Виктор постоял у палисадника. В дальнем конце села кому-то помогал страдать баян, через два двора, у Никитиных, хрипло прокричал, пробуя голос, молоденький петух. Все было как прежде. Словно и не уезжал.

Становилось прохладно и звездно. Дойдя до Варькиных ворот, лицом к лицу оказался со своим «газоном». Тот, поймав лунный свет в лобовое стекло, прицелившись, не мигая глядел на Виктора. Как будто ждал ответа на свой давнишний вопрос.

1987 г.

Философ

— Ты, философ, на все вопросы отвечаешь теоретически правильно, потому что проверить твою говорильню на практике невозможно. А вот ты мне скажи, скажи, только конкретно, как другу, что мне всё-таки делать с ваучером? Кто он такой и зачем? А?

Я сижу в зале ожидания Казанского вокзала в Москве, приутилизившись в покосившемся кресле, и невольно, отряхнувшись от дремоты, слышу разговор двух собеседников. Они появились внезапно и устроились сзади меня на скрипучих сиденьях.

Очевидно, диалог их начат где-то там ещё в пути, а тут он уже затихает, но тем не менее, тот, что постарше и под хмельком, говорит с напором:

— Ты знаешь, на него, на этот ваучер, курс установился сам по себе, и не сезонный, а по времени суток.

— Как так?

— А вот так. Вчера в одиннадцать вечера я продал свой чек не за пять или восемь тысяч, а за бутылочку водки, где её, ма-тушку, в такую позднину найдешь, а так — пожалуйста.

— И не жалко?

— Нет. Я скомпенсирую. Вот сейчас, днем, я продам чек уже за две бутылки, поскольку магазины работают, тут свой резон.

Ты должен понимать — коммерция, она штука гибкая. У меня ещё три ваучера, а вот четвертый Зинка-сноха продала, блин, в троллейбусе.

— Почему в троллейбусе?

— Да, тут целая история вышла. Она, видишь ли, у нас стеснительная. Никогда ничего не продавала и заявила, что продавать не будет. Первая-то сноха, с которой мой Колюнчик развелся, торгашка была. Баба — гром, а эта — ни то ни се. Так вот, слушай, Зинаида всем подружкам в палате своей, она работает медицинской сестрой в роддоме, рассказала, какая она застенчивая, но денег нет и что-то надо делать с этими квитанциями... А те, со скуки, ради смеха, слышь-ка, когда она уходила домой, нацепили ей сзади на пальто листок с объявлением: «Продаю ваучер, недорого!» Она и не знала, что с этим транспарантом шагала по улице до остановки. А в троллейбусе к ней подошёл мужчина и предложил пять тысяч за ваучер. Она удивилась

вслух: «Что, у меня на лице написано, что я хотела бы продать чек?» — «Нет, — невозмутимо ответил покупатель, — у вас об этом написано на спине».

Так и наша Зинаида стала коммерсанткой.

Наступило недолгое молчание. Я посмотрел на собеседников. Обоим лет по сорок пять — пятьдесят. Очевидно, они из одного небольшого городка, либо поселка.

«Коммерсант» — это, видно сразу, мужик не простой, а из тех, кто любит подурочить людей, зная наперед свой ответ на свою же загадку, а другой — из тех степенных рассудительных крепких русских мужиков из глубинки, которых не сразу собьешь с толку, у них свой стержень.

— Однако ж, молчишь. Я тебе наводящие вопросы всякие и истории, ты же молчок! А ещё три газеты выписываешь, как профессор какой, слабо?

— Федор, у тебя сколько детей, я уж забыл?

— Трое, а что? — недоуменно и выжидательно ответил «коммерсант» Федор.

— Горластые были? По ночам кричали?

— Ха, не горластые, а жуть с ружьем какая-то. И не по ночам, а круглые сутки Колюнчик нам жару поддавал, я таких потом ни у кого не видел.

— А резиновую соску, пустышку, ты ему давал, чтобы замолчал?

— Эх ма, дак только этой соской и спасался. Суну ему, верзиле, это я так его звал, он родился на пять килограммов весу, суну её, он и замолчит враз. Ненадолго, но замолчит, а потом по новой реветь, когда она выпадет. Я ему опять резинку в рот — так и забавлялись.

— Так, вот ты и ответил, что такое ваучер.

— А что такое — ваучер? — дурашливо переспросил Федор.

— Так вот, та соска резиновая.

— Да... — притворно-восхищенно и радостно выдохнул Федор. — Вот это ответ! Уважил. Знать теперь буду. Помолчал, затем подытожил:

— Как просто все, когда философия в голове! — И, выдержав паузу, всё-таки оставил и за собой право на истину:

— Обманом пахнет в этих фокусах, чувствую...

1992 г.

Что делать?

— «...и в такое время, когда каждый член коллектива завода, забыв о личных заботах, трудится как один в едином порыве на благо общества, наш секретарь парткома завода Баринов Геннадий Алексеевич со своей развратной любвеобильной секретаршей-машинисткой Лидией Андреевной Голубцовой предается любовным утехам на берегах красавицы Волги, причем в рабочее время и допоздна.

Если Вы, товарищ Первый секретарь, не уберете его с завода, то мы напишем дальше и вся эта история и Ваша, такая вот, работа с кадрами станет известна всей области.

Требуем принять меры в течение месяца.

Копию мы послали в обком профсоюза.

Группа товарищей».

Первый, закончив читать, очень бережно, как тонкое хрустальное стекло, положил анонимку перед Геннадием Алексеевичем. Наступила пауза. И закончилась она фразой, которую не трудно было угадать.

— Что будем делать? — почти торжественно и как бы дружелюбно произнёс Первый.

«Все кончено, — подумал Геннадий Алексеевич. — Съели. Разыграно как по нотам». И текст, который, может быть, даже написан с ведома Первого, и его интонации не оставляли надежд.

Время было, конечно, уже не то. На анонимку можно было Первому резко не реагировать, но секретарь партбюро знал: с ним давно готовятся свести счеты, но не было случая. А теперь сам бог велел.

— Молчим? — почти по-свойски обронил его собеседник, — да, брат, вляпался ты крепко. Ну, с кем не бывает. Молодость берет своё. Но не паникуй, покажешь себя на другой работе, восстановим.

— А если я чист?

— А где доказательства? У тебя же их нет! И не будет!

— А если будут? — безотчетно и не понимая, откуда могут быть какие-то доказательства, погорячился с ответом Геннадий Алексеевич. — Ведь это клевета!

— Ну, вот видишь, ты всегда необдуманно лез напролом, и сейчас тоже. Молод, горяч, себя сильно любишь... Ты поезжай

на завод, поработай пока. Но в долгий ящик это откладывать нельзя, сам понимаешь. Да и народ требует.

Лучше, если сам напишешь заявление. Найди убедительную причину.

...Прошло три дня, а Геннадий Алексеевич, не видя выхода, маялся со своим глупым положением. Все более и более тоскиливо думал о «свинцовых мерзостях» жизни. Работы он не боялся никакой, за должность не держался — не хотелось уходить, уступив наглому натиску. В нем действительно было ещё много молодого спортивного задора.

Кто-то уже позаботился об утечке информации, и теперь чувствовалось, что многие знают о письме в горком партии. Некоторые откровенно криво усмехались, другие старались не глядеть ему в лицо. Сценарий был известен, действие происходило для него знакомое.

Неожиданное случилось чуть позже.

Вечером в кабинет к Геннадию Алексеевичу с пунцово-красным лицом вошла машинистка Лидочка и, не глядя на хозяина кабинета, обрывками-фразами проговорила:

— Геннадий Алексеевич, перестаньте убиваться... Не надо так... Так можно дойти бог знает.. Да, что я говорю!.. Вот Вы молчите, а я все знаю и понимаю. Я приняла решение, ведь это касается и меня... Я...

— Какое ещё решение?

Он поднялся из-за стола и в упор посмотрел на Лидочку.

Она ему нравилась давно, он от себя этого уже и не скрывал. В его холостяцкой жизни произошел перелом, когда впервые её увидел в парткоме в качестве машинистки. Но от того, что это прошло через сердце и было серьезно для него, он её стеснялся по-ребячески и чувствовал в её присутствии себя всегда неуклюже.

Очевидно, она догадывалась об этом. И потому-то терялась часто, старалась быть подчеркнута официально и деловита...

Они ещё оба не знали, что делать со своими чувствами, едва проклюнувшимися, и таили их друг от друга. Но жизнь не ждала.

— Завтра узнаете, что я решила.

Не дав ему времени на следующий вопрос, она выскользнула из кабинета.

Наутро сухо, сказав как обычно: «Утро доброе», подошла к столу и положила перед Геннадием Алексеевичем две бумаги.

— Вот, подлинник для вашего высокого начальника, а эта ксерокопия для нашего любимого обкома профсоюза.

— Что это? — не торопясь прочитать, спросил Геннадий Алексеевич.

— Это... это... — Лидочка на минуту запнулась. Но затем выговорила четко и как-то даже звонко: — Это медицинская справка о том, что я девственница, вот и все!

— Лидия Петровна, как это?.. — он не находил слов.

— Что, не верите? В мои двадцать пять такого не может быть? Может, — утвердительно повторила она.

— Ради бога, прости. Из-за меня такое вершить... Не стоит ведь и потом... — он не успел договорить.

Так же быстро и бесшумно, как и вчера, она выскользнула из кабинета.

1987 г.

Предприниматели

Перестройка заставила шевелиться многих. Вот и мы втроем: я, Дмитрий Петрович и Анатолий завели двух поросят в деревне. Нам удобно: с Анатолием работаем вместе, он мой коллега — учитель физкультуры, а Петрович — сосед, пенсионер, постоянный партнер по шахматам.

Сговорились с бабой Настей — дальней родственницей Анатолия, что она выращивает двух поросят. Одного нам, другого — себе. Дробленку достает для корма она, мы же для этого поставляем ей водку. Договор дороже денег. Так многие делают. И вот ситуация: под Октябрьские праздники привет от бабки Насти, письменный: «Приезжайте, с дробленкой худо, председатель навел порядок. Хорошо, что на дворе холода уже, оттого можно резать скотину и забирать свою долю».

Собрались мы на летучку вечером у нашего подъезда.

— Ехать надо в субботу, — говорит Анатолий, — чего тянуть. Закономерный финиш.

— А как резать будем? — спрашиваю.

Оказалось, что с этим делом никто не знаком, так, понаслышке кое-что знаем. Я предлагаю:

— Берем ружье, жикан и стреляем в ухо или чуть левее — это наверняка, также берем с собой баллон с пропаном и резак. Пропаном мы быстро опалим тушу.

— Не суетитесь, ружье, баллон. Миномет с собой возьмите — может, надежней будет. Венька Яшунин — академик в этом деле, я сбегаю к нему и все дела. Прошлый раз я ему бутылку дал — он обещал все сделать, — уверенно заявил Анатолий.

У него подход к сельскому труженику проверенный. На том и решили.

Субботнее утро. Красота кругом. Ночью подморозило, но с утра дорогу уже подразвезло, поэтому едем на «Москвиче» Анатолия осторожно. Разговариваем о том, о сем, обо всем по-маленьку.

— Дмитрий Петрович, — Анатолий с веселым прищуром глядит на собеседника, — расскажи хоть, а то скучновато, как воевал, ну как вообще на войне... мне твоя старуха говорит, что ты крови видеть не можешь? На прошлые Октябрьские праздники был весь в орденах, а в этот раз наденешь, а?

Петрович тусклым взглядом посмотрел на говорившего и не спеша отреагировал:

— Тебе сразу на все вопросы отвечать или по порядку, как от микрофона на съезде?

— Давай, Петрович, без регламента, на все сразу.

— Если на все сразу, то скажу: война — это не человеческое дело, а дьявольское. Я когда на фронт попал — мне было всего семнадцать лет... Так вот, идет уже бой, мой первый. А я все не верю, что буду в другого человека стрелять. Не верю и все тут! И книги читал про войну, и в нормальной жизни я, вроде, все понимаю, а представить не могу.

— Ну и как, стрелял?

— Стрелял, несколько раз бесприцельно, а в человека — не довелось. И не знаю, смог бы я или нет. Я действительно кровь не выношу.

Он помолчал и виновато сказал:

— Вы уж тут, ребята, как-нибудь без меня... того, с поросенком. Я потом, когда палить, помогу...

— Ну, ты, Петрович, даешь, а с виду молоток. Откуда медали тогда?

Петрович, несколько не обидевшись, ответил не спеша:

— Так сколько потом праздников было, вот набралось.

Я впервые слышал от Петровича слова о войне, да ещё такие. Мы уже года два знали друг друга, когда-то съехались в один подъезд нового дома. Общались так: то в картишки перебросимся, то в шахматы. Никогда серьезно ни о чем и не говорили. Не знаю, как кому, а мне всегда казалось, что так легче общаться с соседями. Зачем в душу лезть?

Но Анатолий не может так. Он о самом сложном и больном готов напропалую, в упор, спросить и ждать ответа. Гвоздодер — это его в 5-а как называли, так теперь вся школа и зовет.

— Ну, а кто же воевал? Не все же такие? — продолжал «дергать гвозди» физрук.

— Не все, были люди геройские.

— Были, — подхватил Анатолий, — были, но их давно нет. Они и погибали потому, что геройские.

— Может, так, но мой дружок Николай Манохин — герой и жив-здоров.

— Расскажи о нем.

— Нет, Анатолий, о нем долгий разговор, человек прошел на войне все, а после войны ещё и лагеря. Ворошить походя не хочется, вон уже и поворот на грунтовку.

Действительно, мы подъезжали к селу. Тут уже мне захотелось продолжить разговор:

— Дмитрий Петрович, если можно, о Манохине, коротко?

— Коротко? — переспросил наш собеседник. — Если коротко, то Николай — мой земляк, из Кинеля, вот он ничего не боялся. В начале 44-го года получил Героя Советского Союза, а через неделю гвардии рядовой Николай Манохин снял звезду Героя и положил на стол командиру полка.

— Добровольно?

— Нет, конечно. Наделал он шуму, будь здоров. Прошил автоматной очередью в упор в окопе своего старшину.

— Как так? — удивился Анатолий.

— А вот так, сволочь этот старшина был хорошая, измывался над ребятами. Те молчали до времени. Нарвался старшина на Николая. А на передовой свои законы. Ну, донесли сразу, нашелся такой среди нас. Манохин и не собирался оправдываться, хотя знал, что за это грозит вышка — командира своего застрелил. Но спасло то, что он Герой. Поснимали все награ-

ды — и на передовую. А ему, как черту, это и надо будто. Ничего не боялся.

— Сейчас где?

— После войны вновь набедокурил в своём тресте с начальством. Припомнили сразу все. Теперь после гулаговской жизни чахнет потихоньку. О войне всего не скажешь. В душе многое поменялось.

Приехали.

И началась проза сельской жизни. Все наши надежды на Веньку Яшунина лопнули, едва мы ступили на порог. У Веньки оказался очередной запой-загул, и он третий день «лежал в лежку».

— Да что вы, в самделе, здоровенные мужики, — дивилась баба Настя, — и не сможете одолеть хряка, диво эко... ей-бо, — и она, укоризненно оглядывая нас, добавила: — Как вас жены ваши терпят, нагольная интеллигенция... связалась с вами... К жизни неспособные оказались...

Нам не хотелось выглядеть «неспособными к жизни» в глазах бабы Насти, и мы деловито перебирали уже в который раз все варианты наших действий. Но баба Настя нас осчастливила:

— Т-п-ру, блудница, потерпи маленько, ишо напужаешь моих городских.

Мы застыли в недоумении: она въехала во двор, сидя в фургоне, запряженном старой, очевидно, чуть моложе бабки Насти, буланой флегматичной кобылой, к которой бабкино обращение «блудница» явно показалось нам преувеличением. Мы почувствовали себя ещё более неудобно и не к месту в районе разворачивающихся событий.

Настасья Ильинична пояснила:

— Венька маленько очухался и сказал, что за поллитровку все спворит, но токмо у себя во дворе. Никуда он не пойдет, если надо, везите порося к нему.

— Ну конечно, какой академик будет ходить по дворам с ножичком? Извольте подсуетиться, господа, — съязвил Анатолий.

Петрович флегматично посапывал над разобранным сепаратором на верандочке. Мне показалось, что он тем самым увиливает от наших хлопот.

Наш главнокомандующий уже действовала.

— Тебе на вот, Анатолий, веревку, готовься.

— К чему? — дурашливо спросил тот и накинул веревку себе на шею.

— Ребята, репортаж с петлей на шее. Вас устраивает?

— Как только я выманю из клетки Борьку чашкой с дробленкой, не плошайте, мужики, вяжите его — и в фургон. — Баба Настя, казалось, начала сердиться на нас всерьёз.

Не буду говорить, что мы оправдали доверие бабы Насти своей сноровкой, но как-никак операцию «захват» исполнили. Правда, она стоила Анатолию заграничных брюк фирмы «Лемонти» — одна штанина снизу доверху была по шву разодрана, и теперь, когда Анатолий широко и воинственно шагал рядом с фургоном, эта штанина, как красно-зеленый флаг, развевалась за ним на осеннем ветру. Но Анатолия это не смущало, ведь мы все были приобщены к совершенно конкретному, хотя и непривычному делу. Это подтягивало нас. Из фургона доносилось похрюкивание Борьки, и нельзя было точно установить — было оно умиротворенное или угрожающее. Все — непривычно, и можно было ожидать всякой внезапности, поэтому мы не расслаблялись.

Ворота, которые, очевидно, не открывали с времён Второй мировой, когда мы вынули железный мощный засов, осели и, оказавшись непомерно тяжелыми, оставляя жирный след в сырой земле, как циркуль, выписывали полукруг под нажимом двух довольно дюжих умельцев. Въехали во двор. Он был пустым. Цепь на двери в избу была наброшена на большое ржавое кольцо без замка, но весьма убедительно.

«Академик» появился из подвала. На Веньке была телогрейка, надетая прямо на синюю майку. Из кармана военных галифе торчала бутылка водки, заткнутая бумажной самодельной пробкой.

Во всем облике Веньки не было ничего необычного. Разве ж глаза — светло-голубые, ясные и как бы невидящие, обращенные в никуда. Странные глаза. Но к ним, наверное, здешние все привыкли уже.

— Давайте, ребята, вон туда, на ровненькое место сгружайте, я сейчас.

Мы, откинув задний борт, начали двигать вальжного Борьку к краю. И тут произошло то, чего никак все мы, очевидно, и баба Настя, не ожидали.

Борька вдруг взвизгнул и стал судорожно биться в наших руках. Зафонтировала кровь. Это тихонький и светленький наш Венька, невесть как оказавшийся в сутолоке у задка фургона, среди нас, неожиданно проворно, ловким коротким движением вогнал поросенку огромный нож под левую переднюю ногу и вращал его слева направо. Упавшая туша крепко придавила мне ногу, и я не сразу отозвался на вскрик бабки Насти, когда же оглянулся вправо, увидел обмякшего Петровича, лежащего на голой земле с совершенно отрешенным лицом, обращенным в небо; левая рука его была вся в крови.

— Боже, его-то за что? — мелькнула несуразная мысль в тот момент событий, слипшихся в сознании воедино, когда захрипела кобыла и рванула упряжь на себя, когда Анатолий с перекошенным лицом бросился хватать её под уздцы, чтобы вывести на улицу.

— Нюра, Нюра, нашатырь давай, быстрее, обморок у мужика, — бабка Настя кричала соседке, смотревшей через низкий забор это бесплатное кино, а сама уже брызгала проворно большой и темной ладонью воду из ведра Петровичу в лицо.

— Я же говорил, ребята, что не могу видеть кровь, — это были первые слова, которые произнёс виновато Петрович, чуть позже пришедший в себя.

Его повели к соседке Нюре отлеживаться, и на одно действующее лицо во дворе стало меньше.

— Ты что же не предупредил всех, начал резать без подготовки, спяну, что ли? — Анатолий вцепился взглядом в Веньку.

— Дык ты что? Вы же сами просили, бабка Настя приходила раза два, — он деловито обтер травой нож и бросил его тут же на скамейку, достал поллитровку, зубами вынул пробку и сделал два глотка.

— Не предупредил, без подготовки? — странные вопросы. Мне что, артподготовку надо было организовать, что ли? Мужики, это же поросенок, а не боевая точка противника.

— Венька, ты хулиган! — твердо и внятно произнёс Гвоздодер, распрямившись и встав во весь рост на своих пружинистых ногах.

Я понял, что в воздухе запахло горячим, и поторопился остудить атмосферу:

— Мужики, где же солону брать?

— Да вон у фермы она. Идите и берите, сколько надо. Когда опалите поросенка, позовите меня, — великодушно простил нас Венька. Махнув вяло рукой, растворилось в акациях на улице.

До фермы было километра полтора, и это обстоятельство меня всерьез удручало.

Но вернулась баба Настя, сказав, что Петрович пьет чай у соседки. Потихоньку разговаривает. На душе полегчало.

А, когда она скомандовала Анатолию садиться в фургон и ехать за соломой, чтоб враз привезти, сколько надо, все как-то встало на свои места.

От её зычного, крепкого голоса флегматичная кобылка пошла ходко, повинувшись волевой хозяйке, и вскоре они скрылись в дальнем переулке.

Я сидел на бревне около большой белой туши и, то ли в оправдание своё, то ли — всей нашей безалаберно устроенной жизни, думал о том времени, когда каждый человек будет делать своё дело, и это каждое дело будет, может быть, организовано как-то лучше, умнее, грамотнее, просто цивилизованнее, а не так глупо и бездарно, как сейчас. Может, мы все же перестроимся хоть когда-нибудь, чтобы делать все по-человечески, а?

1988 г.

Грушенька

Так хотелось, чтобы в моём саду росли груши. И вот наконец-то я посадил две красавицы. Трехлетки. Крепенькие и стройные такие. Одна из них — Куйбышевская золотистая. Сорт другой до сих пор не знаю. Её подарил приятель, которого сорт мало интересовал. Хотелось сделать подарок, он и сделал. Мы стали звать второе деревце Грушенькой.

Было это лет десять тому назад. Теперь та, которую приобрел я, стала большим раскидистым деревом, со свисающими ветвями. Она плодовита. Её удлиненных, бутылочной формы, желтых с небольшим румянцем плодов так много, что кажется, их больше, чем листья. Ветви её свисают над головой, образуя зеленый навес. Под этим навесом мы поставили круглый столик и шесть стульев. Моим домашним нравится собираться здесь. На свежем воздухе да в надежном тенечке — что может быть лучше?

А у Грушеньки судьба сложилась по-иному. Уже через два года она была выше меня. И немудрено. Близость Волги, обилие света, благодатная почва и своевременный полив вершили своё. Обрезая ветки, я старался, чтобы она, в отличие от своей соседки, была стройной, не развесистой. Так мне захотелось. И деревце тянулось, отзываясь на такое моё желание.

Все ждал, когда деревца зацветут. Я в то время напряженно работал на заводе и вечерами, вырываясь на свою дачку, оттаивал в кругу своих зеленых подружек, в числе которых, кроме груши, были и яблоньки, и сливы.

Сильно начало тянуть к земле!

А вскоре случилась беда.

Однажды я обнаружил у Грушеньки, на совсем небольшом расстоянии от земли, врезавшуюся в ствол синтетическую тонкую бечевку. Когда-то, сажая маленькое деревце, я привязал его к кольшкку. Кольшек я потом убрал, а колечко из бечевки осталось. Груша продолжала расти, бечевка, окольцевав ствол, оказалась в её теле. Чуть припухшая в этом месте кора скрыла её от глаз. Петля, как острая пила, по окружности подрезала молодое тело.

Грушенька с самого начала её жизни в моём саду была обречена. И виновным в этой беде оказался я. Выдернуть бечевку я не смог, она глубоко сидела в древесном теле. Будь петля не из синтетического материала, она бы просто сгнила. Эта же оказалась смертоносной для дерева. Чем ствол становился толще и ветвистей выше петли, тем острее была опасность того, что деревце будет перерезано и та часть его, которая выше петли, рухнет.

Я будто оказался около пораженного неизлечимой смертельной болезнью больного, готовый перенять у него боль и страдания. И не способный сделать это. Я не заметил, как стал, сидя рядом на скамейке, разговаривать с Грушенькой. Кого я утешал больше в такие минуты: себя или её? Сразу и не скажешь.

Страшное различие в диаметрах ствола деревца ниже удавки и выше неё за лето сильно усилилось. Сужение в месте перехвата становилось препятствием для роста Грушеньки. Ей не доставало соков земли. Я взял стамеску и в двух местах, углубившись в кору, перерезал бечеву, но результата это не дало.

В августе она начала желтеть и вскоре надломилась ровно по кольцевой канавке, очерченной бечевой. Все случилось так, как я в тихом отчаянии и предполагал.

Не трогая веток, не обрубая их, я целиком отнес деревце на кучу валежника в недалеком леске. Там Грушенька пролежала на виду до самого снега. Проходя мимо, я не мог спокойно смотреть на неё. Её стройное тело было видно издали. На темной куче валежника она странно мерцала матово-желтым неживым светом. Потом её занесло снегом.

Зимой я часто вспоминал Грушеньку, винил себя за досадную промашку.

А весной случилось чудо.

Из единственной почки на оставшемся невзрачном пенёчке развился побег.

Я возрадовался! Появление побега было как бы моим неким оправданием и надеждой, что деревце все же вырастет, что я не загубил хрупкую жизнь. Не пресеклась веточка жизни...

За счет крепких родительских корней побег развивался бурно. Я усердно следил за кроной, едва успевая делать обрезку. Даже летом обрезал ветки, настолько Грушенька торопилась в росте.

Сильно меня беспокоило место сочленения старого ствола и нового. Была некая, по моему разумению, опасность в этом разветвлении. Ветром могло расщепить его.

Все образовалось само собой. Новый ствол так быстро рос, что на четвертый год пенечек пропал в крепком теле молодой груши. Оно его вобрало в себя. И в этом мне увиделся особый смысл.

В мае Грушенька зацвела.

Впереди было лето, и я задумал поменять трубу у баньки. Один из помогавших мне приятелей оступился на крыше и не удержал скользнувшую вниз металлическую лестницу. Она со всего маху обрушилась на Грушеньку.

Приятель тоже упал. Ему повезло: получил ушиб колена и легкий испуг. Грушеньку тяжелая лестница расщепила пополам. Половинки дерева повалились в разные стороны.

Когда я пришел в себя, ничего не оставалось делать, как спилить её, чуть ниже того места, где она раздвоилась. Место спила, большой такой белый пятак, замазал, как положено, садовым варом.

Я все надеялся, что будут побеги. Лето ещё впереди! Подходил к пеньку, на метр торчавшему из земли, и все высматривал: не появились ли? Мне так хотелось, чтобы именно Грушенька возродилась на этом месте. Другое дерево посадить? Я об этом не думал.

Но побегов так и не было.

Потом приехал мой внук. Осенью мы сделали из сосновых желтеньких досочек в виде домика веселую кормушку для птиц. Поставили её на оставшийся от груши пенёк и прибили гвоздем. Получилось замечательно.

Прилетали в наш трактирчик подкрепиться и воробьи, и синицы, и даже прикочевавшие издалека, гонимые холодом, красивые свиристели. Радоваться бы! Внук и радовался! И не догадывался спросить: что это за пенёк, на котором так ладненько расположился птичий трактирчик?..

Не знал, что это груша. Он её никогда не видел. А я и на следующую весну все надеялся, что появятся побеги. Но этого не случилось.

Теперь, став с годами суеверным, я думаю: может зря мы приспособили кормушку на Грушеньке? Не поверили ей. В её возрождении усомнились. Лишив своей поддержки и веры — лишили её жизни. Все как у людей?!..

Или это у меня старческое?

2005 г.

Сомятник

Едва я отошел от костра к воде, чтобы умыться, увидел рыбачка. Сидит себе на бревне у самого края завала посреди речки маленький круглолицый мужичок лет сорока. В соломенной шляпе, аккуратный такой. У ног его две удочки. А ниже — большой омут, который мы ночью не видели. Сидит тихо. Место уж больно привлекательное. Только приглушенно урчат большие воронки, выдавая глубину.

Взяв спиннинг, стараясь не шуметь и не оступить на скользких бревнах, подошёл к нему.

Не успел я заговорить, как довольно толстый конец одной из его удочек ушёл под воду.

Не торопясь, рыбачок подсек. Не опасаясь обрыва, дотянулся до лесы и стал, как на мотовило, наматывать её на руку. Руки его были в кожаных потрепанных перчатках.

— Леска у меня один миллиметр толщиной, Ему не обрывать, — пояснил деловито.

Он подвел под рыбину большой самодельный черпак.

— Ловко вы его, — не удержался я. — Кэгэ на три будет.

— Будет, — прозвучал ответ.

Оказалось, что таких сомят у него в мешке, прижатом бревном, уже два.

— На вот, — он протянул несколько дождевых червей. — Насаживай прямо на тройник у блесны и бросай.

Я соорудил насадку и попробовал укрепить удилица меж бревен.

— Надёжнее воткни, утащит, — вполголоса посоветовал рыбак. Я послушался его.

Мы поймали по одному соменку. Он — такого же, как и предыдущий. Я — чуть меньше и рад был беспредельно.

Глубина ямы здесь, по его словам, до девяти метров. Приехал сюда на рыбалку Андрей на велосипеде из Сорочинска, где гостит у матери. Живет и работает в Оренбурге. По профессии — сварщик.

— Не могу летом без Самарки, к матери и к Самарке каждый выходной почти приезжаю. Эти места мои, с детства.

Вскоре он стал собираться.

— Хватит. Клева больше не будет, я с пяти часов здесь.

Подошёл Юрий, с которым мы сплаваемся по реке в резиновых лодках.

— Рыбка-то есть? — спросил он, поигрывая красивым и, по моему, не опробованным ещё спиннингом.

Лицо его, заросшее густой рыжей щетиной, сейчас было самым примечательным в нем. Походил он на какого-то сказочного персонажа. Будто специально придумано неким художником и собранно воедино: тельняшка, ладненькая куртка, брюки защитного цвета и большие, явно великоватые кроссовки. Глаза — синие, большие, широко открытые. Они поражают своим детским светом.

Рыбачок, видимо, уже освоился, понял, что мы не опасны. Повернув голову от полиэтиленового шевелящегося мешка с

рыбой, который он собирался завязывать, поинтересовался, будто не слышал вопроса

— Лицо... того... красное какое... ошпарил, что ли?

— Да видишь, — доверительно признался Юрий, — не было со мной такого раньше: комары и занозы полюбили меня. Пухнет лицо от укусов. Не бреюсь, все равно жалят. Голова от укусов страшно болеть начала.

— А мазь? — спросил Андрей.

— А что — мазь? Они к ней привыкли, зверюги!

— Попы поют над мертвыми, а комары — над живыми, — утешил Андрей.

Увидев мою добычу, которую я, держа на кукуане, прятал за спиной, Юрий сделал круглые глаза:

— Ты поймал соменка?

— Да, вот сейчас.

Он уперся взглядом в шевелящийся мешок с рыбой.

— Ну, вы, мужики, даете!

Отложив в сторону спиннинг, он левой рукой поддерживал край мешка, правой тронул за ус одну из рыбин.

— На червя? — деловито спросил он.

Андрей не спеша ответил:

— На пучок дождевых, штуки три-четыре на двойник сажаю и — хорош! Первый раз, что ли, видишь сома так близко?

— Э-э-э, ошибаешься, молодой человек, — сказал Юрий и выпрямился, передав край мешка Андрею. — Я на Волге вырос! Обижает!

— Ну и что? Видел я некоторых. На Волге живут, а червяка на крючок не могут насадить. Один разок у моей мамы такой квартировал, только молоко козье пил да книжки читал. Шкет такой...

— На квок сома можешь ловить? — небрежно спросил Юрий.

— Слышал, но не довелось.

— А на воде живешь ещё. Деревня.

Парень не обиделся.

— Посмотреть бы, тогда оно, конечно...

— А зачем тебе, — вступил я. — У тебя и так все отработано. Без добычи, как я понял, не бываешь?

— Не-не, — возразил рыбачок, — сам процесс тоже очень важен.

— Процесс вот какой, слушай... — Юрий, нащупав в разговоре особое своё место, преобразился с полуоборота: — Квок — это такая штука, которой лупят по воде для привлечения сома. Он думает, что его так зовут к завтраку его сородичи. А возможно, кумекает что-то другое — наукой не установлено. Но факт: идёт он на этот звук! Лодка должна быть деревянная, другие, резонируя, издают непривычные звуки, и сом пугается. Лупить надо так, чтобы лодка тряслась.

— А как квок сделать? — поинтересовался Андрей, закуривая и присаживаясь на лесину.

— Квок? — переспросил Юрий и молча потянула руку за сигаретой к Андрею.

Тот с готовностью подал курево. Потом ловко кинул коробку спичек, и Юрий так же ловко её поймал.

— Квок лучше купить, их сейчас продают. Конечно, «сомовку» можно сделать из чего угодно, хотя бы из надвое разрезанной пластиковой бутылки или стакана. Но самому сложно попасть на удачную конструкцию. Это что-то наподобие «ноу-хау».

— Сам-то рыбачил? — поинтересовался я осторожно.

— Мои деды так рыбачили. Отец рассказывал, и я рыбачил.

Рыбалки лучше, чем в дельте Волги, нет. Там водится до шестидесяти видов рыб. Некоторым везет. Я видел: на квок ловят сомов до десяти пудов весом.

Мы слушали. Он продолжал смаковать:

— Звук образуется при выходе квока из воды. Длина ножа квока должна быть не менее двухсот двадцати миллиметров, ширина — от двух до шести миллиметров, смотря из какого материала: дюраль или дерево.

— Ловить-то на наживку? — уточнил Андрей.

— Конечно, — подтвердил Юрий неторопливо. — Он же хватает все: от утят до червей, ты знаешь.

— И лягушек, — подсказал я.

— Во! Лягушка для него — лучше всего.

— Я попробую обязательно в этой яме на квок, — загорелся наш новый знакомый. — Нож у квока делать деревянный или металлический? — уточнял он, обращаясь к Юрию.

Основательность ответов Юрия меня изумляла.

— Если металлический, то лучше брать титан, а деревянный — березу.

— Юрий, — не утерпел я, — ты так много наговорил, а я не понял, как устроен квок.

— У костра за чаем растолкую, малограмотным, — пообещал новоявленный сомятник.

«Странно, — думал я, когда мы, расставшись с Андреем, возвращались к костру. — Юрий так много знает, но порой обнаруживает удивительную непрактичность».

Вчера, вручая мне вентерь, который купил года два назад, он прочел мне целую лекцию о том, как его ставить.

Я спросил тогда:

— Юра, ты когда-нибудь сам это делал?

— Ты знаешь, — нисколько не смутившись, ответил он, — ни разу в жизни. Руки не доходили, но так попробовать хочется.

2007 г.

Косуля на красном снегу

Оказался я в этой рыбацкой компании, можно сказать, случайно. И, скорее всего, эта история не была бы рассказана, но мой приятель Алексей, пригласивший меня порыбачить, пустил среди своих друзей по кругу с месяц назад мою тоненькую книжку рассказов. И теперь я чувствовал интерес ко мне. Не каждый день с писателем на рыбалку ходят.

Высоченный, со спокойными манерами, пенсионер Андрей Павлович пару раз терпеливо помогал распутывать мне «бороду». И каждый раз жалел, что не взял второй свой спиннинг с безынерционной катушкой. Стодился бы для меня. Мою приверженность к старой инерционной он раскритиковал, но деликатно так, когда мы были одни. При этом называл меня только по отчеству, без имени. Он-то и начал, когда мы уселись вокруг котелка с наваристой ухой, свой рассказ.

— Владимир, мой сосед по даче, давно приглашал меня поохотиться на кабана. Я все отнекивался.

— Правильно! — подал голос самый молодой из нашей компании, Геннадий, и добавил смешливо, — мово друга, одно-ва чуть не поддел хряк за одно место. Увернулся. Откажешься, пожалуй.

Все промолчали.

Умолк и Геннадий.

Андрей Павлович продолжил:

— Не очень-то мне нравилась его компании. У них какие-то свои дела с районными властями. Там бывшие заводские охотугодья огромнейшие. Теперь все распалось, но дичь и зверье есть. Друзья его молодые, азартные, а охотники никудышные. Никогда не занимались охотой. А теперь это как поветрие.

Накупили новые ружья. Владимир купил пятизарядную «вертикалку».

А я лет двадцать уже на охоту не хожу. Но ружье держу. Старенькая тулка двенадцатого калибра. Когда-то был страстный охотник. От запаха паленого пыжа и сейчас шалею.

Когда после сорока зрение стало садиться, уже не то стало. Какой стрелок, если мушки не видишь? В очках не привык никак. То потеют, то слетают.

Кое-что рассказывал Владимиру про охоту, он и привязался: поехали да поехали. А я, наверное, постарел изрядно. Не только из-за плохого зрения забросил охоту. Стыдно стало. Противоестественно выходить на живое с ружьем, да ещё многозарядным.

Ладно бы в голодный год, есть нечего, а то просто для забавы убивать...

— Зачем же, спрашивает, ружье держишь, если не ходишь на охоту?

— Так, чтобы было, — отвечаю, — я и оформил его без права ношения, только — хранения. Охотиться с ним не могу.

— Ладно, — смеется. — Кто нас проверять-то будет? Там в районе у нас все схвачено. Поехали, а то можно подумать, что кабана боишься.

Ну и загорелось во мне прежнее. Никогда на кабана не охотился. Зуд нашел.

Рассказчик встал, степенно прошелся к общей куче с рюкзаками. Начал рыться в своём. Вернулся с сигаретами.

Все выжидательно молчали.

Андрей Павлович уселся, не спеша, на прежнее место. Разговор продолжать не торопился. Было видно, что рассказывает не из желания удивить слушателей. Заново переживал случившееся.

— Ну, поехали с ними? — не выдержав, спросил Геннадий.

— Поехал, — отозвался рассказчик. — Добрались до домика егеря. Рядом два вагончика стоят. Из одного дым коромыслом. Рядом — снегоходы, сани. Лошади фыркают. Все основательно так.

Сразу у них не заладилось. Отложили охоту на следующий день. Выяснилось, что лицензии на кабанов нет, завтра привезут на косуль. Мне стало не по себе. В косулю я стрелять не хотел. Ладно, думаю, как-нибудь от выстрела уклонюсь.

— Андрей Павлович, зачем же вообще ехали на охоту?

— Я же говорю: кабан не косуля. Сильный противник. Азарт возникает! Сила на силу!

— Да ладно вам! Какая сила? Вы с ружьем, а у него одни клыки... Не на равных...

— Оно, конечно, — стушевался рассказчик.

— Генка, не мешай, — урезонил его розовощекий Василий, — что ты как осенняя муха.

Андрей Павлович продолжил:

— Значит, отложили охоту на завтра, а что делать сегодня? Решено было посидеть, хорошенько поужинать. А до того пострелять. Говорят, у всех ружья новые, надо привыкать к ним.

Для меня было дико, когда начали палить по бутылкам. Видно стало окончательно, что за охотнички собрались. Тут-то я и пожалел, что согласился на поездку.

Влет ни в одну бутылку из них никто не попал. Привязались ко мне, что есть сил. Суют ружья. Сходил в вагончик за тулкой своей. Нельзя, думаю, опростоволоситься. Буду стрелять навскидку, как в чирков.

Ну, сшиб я подкинутые вверх одну за другой две поллитровки. Всеобщее ликование. Пошли в тепло пить за моё здоровье. Как ребятишки. Вырвались на волю...

На следующий день кто на снегоходах, кто с загонщиками на санях двинули в дальний березняк. Развели по номерам.

Слева от меня, метрах в двадцати, совсем молоденький, но шустрый сынишка егеря, справа — Владимир. Меня поставили меж ними явно в надежде, что, если зверь выйдет здесь, я-то уж не подведу.

Начали гнать. Я снял предохранитель. Шум, гам, треск веток — загонщики приближались. Смотрю внимательно на отрывающуюся передо мной небольшую прогалину.

— Андрей Павлович, вы здесь? — послышался голос Владимира.

— А где же я должен быть? — отвечаю приглушенно.

— Что-то ничего нет.

— Жди, — отозвался. Чувствую, волнуется охотничек.

Загонщики, забирая левее, пошли мимо нас. Скоро их голоса стали еле слышны. Правая моя рука без перчатки замерзла. Я сунул её в карман куртки, оставив ружье в левой. Это заняло у меня доли минуты.

Только я это проделал, как хрустнула ветка. Мгновенно поднял лицо. Взрослая, прогонистая, удивительно грациозная самка легко, как при замедленной съемке, вальяжно в плавном прыжке появилась на самом краю поляны. Косуля от меня была метрах в пятнадцати. Даже не верилось. Она двигалась слева направо. Недоуменно, повернув голову, приостановилась и взглянула на меня. Я увидел её взгляд: доверчивый и невинный.

Не знаю, как все произошло. Охотничий инстинкт сработал: я прицелился чуть правее лопатки и нажал спусковой крючок. Как я потом благодарил судьбу! Моё ружье дало осечку. О втором выстреле я и не подумал.

Услышав щелчок, косуля так же, как и до того, словно это было домашнее существо, безбоязненно плавно скользнуло вправо.

Я опомнился от азарта и радостно смотрел на лесное чудо.

И тут прогремели один за другим два выстрела. Стрелял Владимир. Косуля рухнула на снег. Из разорванного горла била кровь. Голова её оказалась в красном снегу.

Я стоял, не двигаясь.

И к Владимиру пошёл не сразу. Дождался, когда у меня перестанут идти слезы.

Что-то уж очень долго стрелок не выходил к своей добычке. Когда я подошёл, он стоял, обняв обеими руками березу. Его сильно рвало. Ружье, ткнувшись дулом в рыхлый снег, лежало поодаль.

Я не успел с ним заговорить. На выстрел явились с большими санками помощники. Косулю погрузили. Повезли её, вольноч головою по дороге к нашему стану. Кровавая дорожка на белом снегу вначале резала глаза, потом пропала.

Владимир, не заходя в будку егеря, не поужинав, отправился один в село. Оттуда с оказией уехал домой.

Я потом узнал: охоту он забросил. Ружье продал.

— А вы, Андрей Павлович? — не удержался я.

— Что я? Отвез своё с дачи в городскую квартиру, закрыл в металлический ящик, как это положено по условиям хранения, и... все. — Он махнул рукой.

— Завязал — так завязал, чего жалеть-то? Я вот ни разу не стрелял ни в кого, — сказал Геннадий. И замолчал.

Нарушил тишину все тот же Андрей Павлович. Задумчиво обхватив обеими руками алюминиевую кружку с чаем, произнёс:

— У моего рассказа есть продолжение: после того случая я не мог забыть косулю. И тот красный снег на поляне... По ночам она мне начала сниться, сердешная. Взгляд её не мог забыть. Будто в кого из близких стрелял. Один раз проснулся в поту весь. Приснилось, что в себя ружье наставил. Будто не в неё стрелял: в себя. Мы в себя стреляем, понимаете? И косуля, и я, и вы — часть одной природы. Мы все имеем право на жизнь.

Геннадий внимательно, как школьник, смотрел на говорившего.

Опередил Геннадия все больше молчавший Василий:

— Ну ты, брат, даешь! Придумал. Надо же: «в себя стреляем»! Философия! Для писателя, — он мотнул чубатой головой в мою сторону, — что ли, стараешься? Сочиняешь! Если так начнет думать каждый, что будет? С голоду помрем!

— Да ну вас, я доверился, а вы... — Андрей Павлович встал, глухо обронил: — Дровишек пойду посмотрю...

И он пошёл к реке. Там замер у воды. Его высокая сутулая фигура показалась похожей мне на большое дерево с сухой вершиной, которое стоит в затоне, недалеко от моего дачного домика. Это дерево одно на всю округу подпирает гнездо чуткой серой цапли. Я часто в бинокль наблюдаю, что и как там.

— Как начнет русский человек философствовать, — произнёс Василий, так хоть помирай... — А надо жить! — Он посмотрел сразу на всех, заранее уверенный в правоте своих слов, в нашей поддержке, — верно ведь?

Мы молчали.

2007 г.

Случай в супермаркете

Алексей Марковников проснулся рано. Был будний день, а у него — выходной. Он давно мечтал о таком графике работы, ещё до перестройки, когда был молодым инженером. Теперь он уже не молодой, но тогда...

* * *

Марковников долго не знал, для чего живет. В чем смысл жизни? Удивлялся, как могут многие жить, не думая о самом главном. И однажды, усиленно размышляя, решил: раз при рождении, кроме даты, имени и фамилии не вписывают в документы, для чего родился, значит надо решить самому этот вопрос. Надо ставить себе цели. И выполнять одну за другой! Потом это все суммируется, вот и получится смысл жизни. А искать всю жизнь смысл жизни и считать это смыслом и быть от этого счастливым? Извините, это... этому не найдешь и точного названия.

Не сразу он пришел к такой своей главной цели. Но, перепробовав многое, он наконец-то наткнулся на неё. Он был не только увлекающийся, но и упорный. Мог не только идти, но и карабкаться, если надо. Он знал про себя такое и действовал.

Ему страсть как захотелось стать писателем. Он и не женился из-за этой своей страсти. А скоро и работать расхотелось. Некогда стало.

«Хоть бы руку чем поранило крепко или другое что, но так, чтобы с головой было нормально. Получил бы инвалидность и на законном основании не ходил на работу — писал. Глядишь, к тридцати первую книжку выпустил бы. А так попробуй не работать! Быстро объявят тунеядцем. Это хуже, чем диссидент. И отправят куда положено», — такие унылые мысли приходили ему тогда в голову часто.

Потом не стало матери с отцом. Двухкомнатная квартира осталась за ним. В разгар перестройки завод рухнул, как огромный колосс на глиняных ногах. Он ушёл в охранники. Самое что надо! Раньше о таком можно было только мечтать. Отбарабанил сутки и трое гуляй. Теперь таких бездельников тысячи. «Но у меня-то цель», — бодрил себя Алексей.

Наконец-то у него вышла первая книга. Но одну, первую, о своей жизни, может написать едва ли не каждый. Это известно.

А вот вторая книга? Она не давалась. Пока, как он считал... Надо было наткнуться на стоящий сюжет, на тему, которая бы вывела на цикл рассказов или на повесть.

Он начал писать роман, но что-то не давало двигаться свободно. Отложил. Ждал своего часа.

Кругом бурлила перестройка. Народ шумел на митингах, а ему этого было не надо. Хотелось затронуть не суетное, вечное...

* * *

Сегодня с утра он сел было за стол. Положил перед собой чистый лист бумаги. И задумался.

Ему не давал покоя сон, который приснился прошедшей ночью. Снилось что-то непонятное. Будто его несправедливо осудили за какое-то преступление. Он невиновен, но это не доказуемо. В каком-то большом вагоне, похожем на те, из которых он когда-то ещё студентом выгружал картошку, его вместе с кучей осужденных везут к месту отбывания наказания. И тут вагон летит под откос. Визг, грохот. Охрана мертва. Большая часть преступников — по кустам. Вот она: свобода! Появляются незнакомые люди с решительными лицами, вооруженные автоматами. Он отказывается от помощи.

У него установка: раз осужден, должен прибыть до места назначения. Там начать просить, доказывать, что осужден невиновно. «Иначе черт-те что получается. Мы же в цивилизованном мире живем!»

И начались мытарства: он стал сам добираться туда, куда сослан. Но кругом степь, одна железка под ногами, и ни одного человека рядом. Один-одинешенек. Такой законопослушный и честный.

«Из этого что-то может получиться! Может, наконец, я вырвусь из мелкотемья. Дотянусь, дотронусь до чего-то... стоящего. Вот Островский Николай, например. Хотя все низвергнуто, но судьба человеческая? Или Ярослав Гашек. Другое? Да! Но как все заразительно. Надо додумать ночной этот кошмар, в нем что-то есть. Конфликт есть! Это самое главное. Два полюса: свобода и тюрьма! Нет: закон и личность. Надо будить воображение. Надо быть изобретательным. Придумывать интригу. Жизнь скупа на это».

Он встал из-за стола. Лист бумаги остался нетронутым.

«Надо сварить супчик. Четвертинка курочки у нас есть! — рассуждал он. — Нет чего? Морковки и капусты. Придется идти в магазин. Можно ещё булку хлеба взять. Чтоб эти дни больше не бегать».

* * *

В супермаркет, который был совсем рядом от дома, он шёл в бодром состоянии духа. Чувствовал, что сегодня может что-то написать.

Ему нравился этот магазин. Просторный, но уютный. Не то, что в доперестроечное время.

И обслуживание нравилось.

Трудно было в советское время и представить такое. Все вежливы. Благодарят за покупку. Вот что значит личный интерес.

Он взял в отдельном киосочке внутри магазина хлеба и пошёл за морковью и капустой.

Чернявая, лет двадцати, кассир подняла карие диковатые глаза, когда он подал ей пятисотрублевую купюру.

— Мы же всего как пять минут открылись. Чем сдавать?

— А я только вчера получил получку. Больше, извините, меньше ничего нет, — смешался Марковников.

— Идите, попробуйте разменять. Я пробила уже.

— Куда?

Она слегка улыбнулась:

— Ну, куда? Магазин в четыре этажа...

«Новенькая, раньше её тут не было», — отметил Марковников, шагая по ступенькам.

Он обежал два этажа, ткнулся и там, и там. Бесполезно. Вернулся к кассе.

— Дайте мне ваши деньги! — миндалевидные глаза её были красивы. Он почувствовал, что волнуется.

«Не нужна мне морковь, я пошёл», — хотел было он сказать. Но она быстро дернула из его рук купюру и легко выскользнула из отдела. Он невольно проводил её взглядом.

Она вернулась ни с чем, явно сочувствующая ему. Марковникову стало ещё более неловко. Но втянувшись в некий кру-

говорот, сказал вполне механически. И как показалось ему, негромко:

— Но что-нибудь можно сделать?

— Все вы командовать только! Понимаете: нет ещё денег! Нет! — громко из дальнего угла громыхнула полнотелая, с лицом, полным собственного достоинства, женщина. Она была постарше всех. И, очевидно, их начальница.

— Почему вы издали так кричите? — миролюбиво, но чтобы не терять и собственного лица, — отреагировал Алексей.

Женщина встала и подчеркнуто плавно направилась к выходу. Она словно освобождала себя от него. Молча, как от налипших водорослей.

«За деньгами или убывает, чтобы разрядить обстановку?» — соображал Марковников.

Чернявая с карими глазами убежала вновь. Вернулась с сотенными.

— Понимаете, утро! Вечером все деньги сдают, — вежливо начала она, — человеческий фактор.

Она начала ему явно нравиться. Полнотелая молча вернулась, величаво, заняв своё место.

— Тут не человеческий фактор, а отсутствие управленческого решения. Такое, наверное, не в первый раз. Не я один... Надо руководству вашему...

Он не договорил. Вернее, ему не дали договорить.

Рыжая дамочка с соседней кассы не выдержала:

— Вера! Ну что ты этому зануде объясняешь. Он же ничего не понимает! Нудист какой-то, каменный...

«Вера, — эхом отозвалось в нём. — Имя ей подходит».

— Ну, во-первых, я не нудист. Тем более — каменный. Я даже не морж, — отозвался Алексей. И пожалел, что так сказал.

— Послушайте, что он несет! Про каких-то моржей. Пурга какая! Нас тут пятеро, и он всем морочит бóшку, — возмутилась рыжая.

— Вам что, надоело здесь работать? — не выдержал Морковников.

— Ну да! Попугайте! А я не из путливых. Что вы сделаете со мной?

— Я знаю, какие кнопки нажимать.

— Вот ещё один нажимальщик нашелся. Сексуально озабоченный, что ли? Не мешайте работать, народ задерживаете!

Кроме Алексея из покупателей в просторном помещении была всего одна старушка, внимательно разглядывающая ценник под апельсинами.

Он открыто улыбнулся при этих её словах.

— Вот, теперь лыбится! Делать нечего!

Марковников забрал протянутые маленькой изящной ручкой с крохотным перстечком деньги и вышел из отдела.

«Хамство вечно! Вот где материал-то. Неисчерпаемый! Зоценко или Чехова бы на них. Не меня. Мне скучно об этом писать, потому не сумею».

Он прибавил шагу, ему хотелось скорее быть в своём кабинете. Хотелось вновь попасть на ту волну, которая вот-вот должна была вынести его куда ему надо. Но не прошел он и полпути, мысли его опять вернулись к магазину, и он, не доверяя ещё самому себе, с давно позабытой истомой подумал:

«Интересно, если Вера узнает, кто я, что пишу и иным, понятным для других делом не занимаюсь, как отнесется ко мне... Перстечек есть, а колечка нет! Она не замужем?»

Почему она оказалась за кассой? Там ли ей быть?!

«Извините», — она сказала это так, будто знала, что я писатель. Настоящий. С будущим.

Ему вспомнились необычные её, удлинённые глаза и легкая походка. Как у балерины!

«Как это у Сергея? — вспоминал он:

Твой иконный старинный лик

По часовням висел в рязанях».

— Как так можно сказать! — теперь он уже думал о поэте. — В самую точку! Неужто я бездарь? Я никогда так не смогу. Я не поэт. Я нудный прозаик. Написал Есенин это о Миклашевской, артистке! А что артистка? Посмотреть бы, какая она была?.. Такая ли, как сказал? Или ему показалось?..»

Он продолжал чувствовать, что с ним что-то произойдет, пусть не сегодня, завтра...

«А может, уже происходит? — спохватился он. — У Есенина была Рязань, простор в душе и синь в глазах. А у меня? Офис, который охраняю, и холостяцкая конура... Нет, не об этом я... Не так думаю...»

Мысли его путались:

— Нет, всё-таки вечно не хамство, нечто другое... — произнёс он вслух. — Об этом и писать надо.

Однако чувство объективности и справедливости, которые он в себе культивировал и ценил, не позволяли ему быть категоричным:

«Но и хамство! Оно живуче...»

Подумал так, но эту мысль и все остальные, теснившиеся беспорядочно в голове, заслонила другая, у которой, видимо, было больше права на него:

«Как они работают? Когда у Веры выходной? Надо узнать».

Когда, наконец, он сел за письменный стол и придвинул к себе чистый лист бумаги, вывел вверху:

«Встреча в супермаркете».

* * *

А Вера?

Поздно вечером того же дня в одной беленькой ночной сорочке сидела она в кровати, подтянув колени под подбородок.

Пока, как обычно, добралась с работы из центра города на окраину пригорода, где у неё в старом одноэтажном доме была комнатка, она сильно устала.

Не спалось.

Жёлтый фонарь, торчавший над потемневшим забором из горбылей, тупо освещал комнату.

Напротив Веры посапывала на диванчике во сне двухлетняя дочка. Рядом у её ног в уютной кровати, положив на две шаткие табуретки, как не свою, парализованную правую ногу, всхрапывала мать Веры, чудаковатая Варвара Ильинична.

«Ах, Володечка, Володечка, муженёк мой родненький, если б не твоё внеплановое дежурство в ту ночь... Тот, который стрелял, ходит по земле где-то, наверное, и сейчас. Разве это справедливо?» — так вела Вера свой, обессиливающий её монолог, тускло глядя сухими глазами то перед собой, то туда, где у двери на серой стене сиротливо висела совсем новенькая милицмейская фуражка мужа.

— Прости меня, — произнесла она еле слышно, — у меня, кажется, нет другого выхода.

Её глаза блеснули. Рот некрасиво покривила, будто не её, полуулыбка. Она решила в этот вечер начать подрабатывать проституткой, как бывшая её одноклассница Надька.

«Ну как тебе набрать денег, как ты задумала, на хотя бы однокомнатную нормальную городскую квартиру? Матери скоро не будет. Помощи от неё — кот наплакал, но без неё в этом нужнике ты пропадёшь совсем. Действовать надо!»

Надька, кажется, и сама верила, что хочет помочь подруге от чистого сердца.

За стеной что-то тяжело грохнуло. Заскрипели половицы и последовал плач.

«Опять Колян напился. Сам гонит, сам пьёт. Надегустировался видно, как два дня назад, — вяло отметила Вера. — Нет уж, сегодня разбирайтесь сами».

Она продолжала неподвижно сидеть.

Вновь для неё зазвучал голос Надьки:

— Подкину своих тысяч триста, — говорила та сегодня, встретившись по дороге домой, — если послушаешься. Решайся на годик. Везде есть шанс. Вон одна наша новенькая даже муженька себе среди клиентов нашла сходу.

Не забудет тебя. Доверься мне...

Доверять-то Надьке Вера, кажется, доверяла. Только вот ухмылка, проскальзывающая на лице подруги, плутоватая такая, настораживала...

* * *

Рассказ у Алексея не получался.

Весь день прошёл кувырком.

Два раза садился за рукопись, полгода назад начатого романа. Но каждый раз, поморщившись, откладывал её на край стола. Снова возвращался к встрече с Верой.

Уже за полночь, когда она спала, он перестал мучить листок с планом недавневшегося ему рассказа. Мимолётные ощущения и волнение, возникшие в магазине, куда-то, как лёгкие пары, улетучились и писать, казалось, было уже не о чем.

«Как жаль, что я ничего не знаю о Vere. Подробностей нет. Скорее всего, у неё благополучная однообразная жизнь при родителях. Такая она ухоженная. Дом — работа, работа — дом. Ни шагу влево, вправо. Полная уравновешенность. Могло ли

быть у неё в жизни что-либо исключительное. Скорее всего, тепличное растение» — уныло думал он.

«Ты же писатель! — спохватился он. — Придумай конфликт. Ведь сказано давно: соври, но чтоб красиво было! Где твоё воображение? Иначе ничего так и не напишешь, если будешь цепляться только за голую правду».

— Интересно, какие были глаза у Миклашевской? — встряхнулся он.

Как будто в ответе на этот вопрос заключалось что-то для него очень важное сейчас.

Он вновь потянулся к листочку с планом рассказа, но вскоре, взлохматив шевелюру, махнул рукой и лёг спать, не веря, что может что-нибудь придумать стоящее. И, вообще, написать.

* * *

Откуда Алексею было знать, что уже через несколько дней начнётся у него главный в его жизни роман, который отодвинет всё остальное на второй план.

Возникнет роман с Верой, который им обоим предстоит мучительно и радостно прожить, кажется, по чьему-то невообразимому до того сценарию. И набело.

Безо всяких собственных предварительных планов.

А ему потом и написать его.

2008 г.

Окошко с геранью

Стихи

А путь далёк

Уж близится рассвет...
В пыли дорожной
Шагать босому мне не привыкать.
Ещё вокруг темным-темно,
Но можно
Вдали полоску леса угадать.

А путь далёк.
И лес уж за спиною.
И робости в открытом сердце нет.
Пусть жизнь меня одарит новизною
И утренний мне улыбнётся свет.

* * *

В шорохе шагов лосиных,
Вдалеке от суеты,
Меж трепещущих осинок
Всюду виделась мне
Ты.

Шёл к твоей
Лесной сторожке,
К говорливому ручью.
Шёл, тебя боясь немножко,
Не мою,
Но и ничью.

* * *

Я тебя ревную даже к солнцу.
Я таким ещё ни разу не был.
Распахнув весёлое оконце,
Ловишь нежность, льющуюся с неба.

Что бы там друзья ни говорили,
Как бы ни лукавила родня,
Нежно улыбаешься светилу,
А украдкой смотришь на меня.

* * *

Хоть ты со мной и весела
И даришь мне цветы,
Но знает, знает полсела:
Другого любишь ты.

Хоть сердце болью поросло
И часто я грублю,
Но знает, знает всё село:
Тебя одну люблю.

* * *

Я был рабом в любви своей,
И был царём, и был гонцом.
Был мудрецом и был юнцом —
Татарником среди полей.

Я так любил, что землю с небом
Благодарил за дар любить.
Каким я был, тебе судить,
Но я тобой любимым не был.

Затворник

Затворником прожил я две недели.
Писал стихи. Но дни летели.
И одиночества прекрасные плоды
Уж стали ни к чему. Мне ты,
Лишь ты нужна была. И мне
В моей весенней стороне
Наскучило сидеть под крышей,
Я отложил стихи и в рощу вышел.
В шумевших зеленью лесах,
В необозримых небесах,
В былинке серой у дороги,
В осинке тонкой — недотроге —
Всё пело о тебе одной —
Всё было песней молодой.

* * *

Какие это радостные дни —
Кругом столпотворенье, мы — одни.

Под окнами, на площади, где смех,
Искрится новогодний первый снег.

Как в заговоре мы соединились —
В обители твоей уединились.

Ты, смелая, сама сожгла мосты.
Весь мир огромный мой сегодня — ты.

Всю ночь на площади цветут огни —
Кругом столпотворенье, мы — одни.

* * *

Суров мой быт. В нём горечи немало.
Но разве ж в горечи вся суть?
Досталось сердцу средь любви обвала,
Но ты внимательнее будь.

И ты увидишь будто внове,
Сквозь недосказ и суету,
Во вздохе каждом, в каждом слове
И боль, и дерзкую мечту!

* * *

Мысли мои все о нашем свидании.
Выйду ли в поле, лесами иду ли,
Ветры какие б в лицо мне ни дули —
Мысли мои все о нашем свидании.

Мысли мои все о нашем свидании.
Видится мне оно в летнюю пору.
Знаю: не быть ему лёгким и скорым,
Мысли мои все о нашем свидании.

Мысли мои все о нашем свидании.
Помнишь ли так вот и ты обо мне?..
...День отгорел — и угас в тишине,
Мысли мои — все о нашем свидании.

* * *

Отколобродил дождь. И враз отмылись,
Почистились окрестные дворы.
И в светлых лужах выси отразились.
И огласились смехом детворы.

И так на солнце лица засияли.
Так были дети в выдумках щедры!
Что я забыл про все свои печали
И все стихи забросил...

До поры.

Песенка

Ночью выпавший зазимок
Изменил всё на пруду.
Что же: жизнь неумолима,
Срок придёт — и я уйду.

Как следы мои в порошу,
Я исчезну, не вернуть.
Дорогой моей, хорошей
Кто облегчит трудный путь?

Дорогой моей, хорошей
Кто расскажет о весне?
Что в пути согреет? Может,
Может, память обо мне?

* * *

Когда замёрзшая дубрава
Стряхнула лист последний свой,
Стоял ноябрь, и берег правый
Покрыт был коркой ледяной.

А левый берег речки нашей
Распахан был, и у села —
На краешке темневшей пашни —
Стояла старая ветла.

И лист, на тонкий лёд упавший,
Скользнул к задумчивой ветле.
И стих, припав к замёрзшей пашне,
Как странник ко Святой Земле...

* * *

Я по характеру, запойный пьяница:
Строку лишь только пригублю,
Рука к перу с бумагой тянется,
Я вновь тоскую и люблю.

И вновь я мыслю, как о чуде,
Всю ночь под крики петухов,
Что скоро мы с тобою будем
Вдвоем!
...И никаких стихов!

Ищу слова простые...

Всё о деревне,
о деревне,
В лучах закатных
меж деревьев:
Всё о раздумье
дальних плёсов,
О новом дне,
зачатом в росах,
О боли в сердце —
о России
Шепчу слова,
слова простые.

Но этот стон берёзки тонкой...

Твердят с усердием: «Не кайся
В грехах чужих, ведь их не счесть!
Спокойней быть во всём старайся,
Мир принимай таким, как есть!»

Но этот стон берёзки тонкой,
Которую гроза сломила...
Как мне помочь ей, такой ломкой,
Вновь обрести былую силу?..

А слёзы матери о сыне,
Забывшем мать в чужом селенье?..
Кто право у меня отнимет
Сказать ей слово в утешенье?..

Так пусть же радость в сердце льётся
И вдаль летит, за зеленыя!
И пусть счастливее живётся
Живущим около меня!

* * *

Что ж ты, красивая, голову клонишь,
Что же ломаешь упрямую бровь?
Сердцу так хочется вымолвить: «Помнишь,
Помнишь ли нашу с тобою любовь?»

...Только молчу я теперь, понимая,
Как неуместен подобный вопрос:
Вон как рука твоя крепко сжимает
Пачку, забытую мной, папирос.

Всё без обиды, как есть принимая.
Снова сегодня я мучим одним —
Больно за нас мне, моя дорогая:
Любим друг друга, и оба молчим...

* * *

Вокруг все ринулись в коммерцию,
Презрев все тяжкие грехи.
А я, наверно, по инерции
Пишу негромкие стихи.

А мне закат над ближней рощицей
Теперь дороже, и милей.
Россия! Русь! Как сердце просится
В просторы милые полей!

Чтоб не видать там инородца,
Готового продать полмира.
И там, у дальнего колодца,
Вдруг выдохнуть: «О, Русь, ты сира!»

* * *

Мне и раньше часто приходилось
Горестно поплакать наяву,
А сегодня ночью мне приснилось,
Что на небе синем я живу.

Что меня к себе позвали боги,
И кругом такая благодать...
...Не могу я без степной дороги,
Без тебя, моя седая мать!

Пусть светло на небе и привольно,
Но душа моя сейчас кричит:
Без земного здесь ей очень больно,
Без земного маюсь я в ночи.

Рад

Вот и дом мой саманный —
Шесть окон и все в сад.
Я всегда здесь желанный,
Я здесь каждому рад.

Рад тесовой завалинке,
Рад сестрёнке беспечной.
Сброшу мокрые валенки,
Посижу возле печки.

В этой горнице чистой,
В древних ликах икон
Тихим светом лучится
Доброта испокон.

Жизнь

Какая синева над Волгой!
И как спокойны облака!
Мне б жизнь прожить хотелось долгую,
Как эта древняя река.

Чтоб встречи были бы сердечные,
Чтоб песнь была в душе проста,
Как эти дали бесконечные,
Как наши русские места.

* * *

Пёс пролаял в саду,
На уснувшем пруду
Отозвалось гулкое эхо.

Тронув дверь наугад,
Я вошёл в тёмный сад
И услышал:
«Мой милый приехал!...»

Вечность

Мы шли к селу. Далёкий скрип тележный
Мне душу бережил. А на границе
Большого леса и небес — неспешно
Садилось солнце огненной птицей.

Смеркалось, когда дороги млечной
Над нами засветилась полоса.
И показалось мне, что мы с тобою вечны,
Как эта даль и эти небеса...

* * *

...Поговори со мной чуть слышно.
Я рад врачующей печали.
Мы уж довольно покричали.
Поговори, коль с болью вышла
Из нас дурная глухота...

Пусть не пугает простота.
Ведь вместе с ней — уменье слушать
Вновь обретают наши души...

Поговори со мной чуть слышно,
Мне голос твой сейчас так мил.
...Я рад: услышал нас Всевышний
И потихоньку вразумил.

* * *

Ах, вот он, комочек Отчизны —
Поющая в зелени птаха!
Я знаю: умру не на плахе,
Умру — от любви к этой жизни!

С рожденья дано нам так много!
Я чувствую сердцем такое,
Что нету мне в жизни покоя,
Во мне постоянно — тревога.

За всё, что живёт и ликует,
За всё, что страдает и плачет.
Не знаю, как жить мне иначе,
Как выдержу ношу такую!..

Мой двигатель

И мне бы жизнь осточертела,
Была ненужной, как и вам.
Когда б меня Любовь и Дело
Не поднимали по утрам.

Они — мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
Любое зло, любые тучи
Я с ними одолеть готов.

* * *

Любил девчонку в юности:
— Тамарка, —
Твердили губы, но тайком
К речушке с именем
Самарка
Ночами бегал
Босиком.
И песни там,
Ещё не спетые,
Шептал,
И тихая листва
Дарила мне
Печали светлые
И задушевные слова.
С тех пор прошло
Ночей так много...
И мне ручей
Шумит вослед:
— Ты к речке
Вытоптал дорогу,
А вот тропинку
К милой —
Нет.

Берёза

Г-ну Меддоку

Мы сюда приехали по делу
И проделали путь не близкий.
В России зовут берёзу белой,
В ваших штатах — серебристой.

Я характером нетерпеливый,
Вы, очевидно, достаточно истовы.
Ваше название красивое,
Пусть будет берёза и серебристой!

США, Блумфельд, 1987 г.

Америка

Как хлебную корку,
В далёком Нью-Йорке
Я память о нашей Утёвке храню.
И, наши просёлки
Припомнив в Нью-Йорке,
На импортный лад я зову «авеню».

Как будто сугробы,
Стоят небоскрёбы —
За ними увидеть рассвет тяжело.
Но душную ночью
Во сне, как воочию,
Я вижу далёкое наше село...

...Я гостем желанным
В домишко саманный
Приеду и будет, о чём рассказать.
А нынче — не скрою,
Я через чужое
Намного стал больше своё понимать.

Нью-Йорк, 1987 г.

* * *

Чуть истину затронуть. Слегка обжечь любовью —
Не в омут тёмный головой, а так — лишь для игры.
Не жечь себя на людях, не обливаться кровью,
Коль надо — отступить. И молча ждать своей поры.

Жизнь не торопить. Ум оставлять свободным,
И тайный смысл во взгляде больше не искать.
Что это? Трусость или инстинкт природный,
Чтоб выжить? Я не знаю, я боюсь солгать.

* * *

У меня такое чувство,
Будто я не жил.
И не я — другой когда-то
Песнь мою сложил.

Будто ни одну из женщин
Я не целовал.
На пути своём нелёгком
Горечи не знал.

И на праздниках весёлых
Наших юных дней
Для тебя другие пели
О любви моей.

Всё смотрел в твоё лицо бы,
Глаз не отрывал.
Ни о чём и никогда бы
Я не горевал.

Я бывшее раньше вспоминать любил,
А теперь такое чувство, будто и не жил.

СНЫ МОИ

Валерию Ерицеву

Знаешь, мой друг, мне часто так снятся
Наши поля, перелески, жнивья.
Надо бы, что ли, почаще встречаться,
Как-то не так мы, наверно, живём.

То нас потоком несёт на стремнину
Мимо отеческих тёмных ворот,
То попадаем в богемную тину,
То суета нас берёт в оборот.

Я ведь о чём загрустил ненароком,
Тихо травинку в зубах теребя:
Наше ли это и будет ли впрок нам,
Что забываем порой про себя?

Спой мне про степь да про Волгу про нашу,
Много ль осталось нам радостных дней!
Я ж — помолчу, я послушаю, ставший
С песней твоей и мудрей, и светлей.

Знаю, мой друг, нам с тобою не часто
Тихо попеть удаётся вдвоём.
Надо бы, надо почаще встречаться,
Как-то не так мы, не так мы живём...

Свобода

...Бывший лётчик торгует конфетами,
Рядом бывший танкист — сигаретами,
Чуть поодаль, с «бычком» на губе,
Некто — «корочками» КГБ...
И вот это — итог обещаний?
Бесконечна шкала обнищаний.
Лишь мечта о нездешней свободе
Всё никак не угаснет в народе...
«Мы ещё поживём! Только б — выжить
Средь воря да финансовых выжиг...»
...Затонувшей страны ветераны —
Совести нашей рваные раны.

1989 г.

* * *

Звонят колокола в соборе Троицком,
Птичий грай на краю моего села.
Жизнь наладится, наша жизнь устроится,
Только б с рельсов она совсем не сошла.

Только б она с металлическим лязгом
Не прошлась колесом по больной груди.
Что дадут нам политические дрызги?
Там ли ищем спасительные пути?

На магистралях чужих не устроиться,
Своих не имея. Напрасно пенять.
Звонят колокола в соборе Троицком,
Впереди бессонная ночь у меня.

Мой Дунай

«Дунай, Дунай, Дунай — такой голубой» —
Наверно, так было бы, будь ты со мной.

Горы, вода — всё зелёного цвета.
Где же ты, с кем же ты? Нет мне ответа.

Как тяжела мне зелёная скука —
Невыносима с тобою разлука.

Вена, 1990 г.

Письмо

Занедужил белый свет —
И виновных будто нет.

Исподлобья люд глядит —
Мир бездушием смердит.

С простодушием былым
Я теперь кажусь чудным.

Засвети моё лицо —
Напиши мне письмецо!

Пусть хоть в маленьком письме
Лучик светится во тьме.

Я отвечу не спеша —
Ещё теплится душа.

Колодец

Знаешь, мама, наш колодец обвалился —
Я пошёл воды попить и не напился.

Сруб ветловый, что с тобою мы срубили,
Утащили и давно уже пропили...

Что же делают у нас-то на селе?
Каждый третий тут с утра навеселе.

И никто венец поправить не поможет.
Невиновному, вина мне сердце гложет.

Страна Гефион¹

Виктор Гюго был прав в утвержденьи своём
без сомненья:
Величие нации не в количестве населения.

Об этом я думал, покидая Данию.
Увидел здесь много я, сверх ожидания.

Чуть больше Самарской губернии, Дания
Являет отрадный пример созидания.

Цвети, Кёбенхавн, — в тебя я влюблён —
Столица великой в труде Гефион.

«Обрывки жемчужных нитей» —
вот ведь какая ты, Дания.
До свидания, до желанного скорого свидания!
Копенгаген, 1991 г.

¹ Гефион — дочь скандинавских богов Асов, богиня плодородия, получившая от шведского короля Гюльфи земли Дании.

Самарский политехнический

Есть у каждого свой и удел, и предел,
Но ни разу я в жизни своей не жалел —
Будь то горечь обид или бурный успех —
Не жалел, что окончил я наш политех.

Жизнь одна, как любовь, ах, я помню всех тех,
Кто со мною закончили наш политех.
Потрепала нас жизнь и попортила кровь,
Он, как мудрый отец, собирает нас вновь...

Да, ему, как и нам, кое-что удалось.
Но ему, видно, тоже не сладко жилось.
Он о нас свою память упорно хранит
И не зря высоко так над Волгой стоит.

Я не громок и славой своей не горжусь,
Может, чем-то ему помогу, пригожусь.
Как у Пушкина был Царскосельский лицей,
Так и мой институт для меня и друзей.

* * *

Она на внешность вроде бы — не очень,
Подростку угловатому сродни.
Но шла тропой меж золотистых сосен —
И вся светилась так же, как они!

Деревья были счастливы не меньше,
Когда она сюда явилась вдруг.
Её — одну! — из всех курортных женщин
Они впустили в свой заветный круг

И волшебство их светлого общения
Не в силах было словом объяснить.
Знать, что-то сверху ей дано с рожденья,
Чтобы на радость на земле прожить...

Молитва

Я смотреть не могу без боли
На раздраз в моей стороне.
Послушайте, отец Анатолий,
Сотворите молитву мне.

Так случилось: давно я покинул
Отчий край с ветлой на юру.
Но — без вашей молитвы я сгину,
Без любви моей я умру.

Я в стихах своих не умею
Всё сказать о любви своей.
Мне с любовью такой моею
Места нету среди друзей.

Я и сам ироничен довольно:
Архаичен в своей я любви.
Но мне видеть сегодня так больно
Сирой Русь! Что молитвы мои?

Может, ваши теперь что-то стоят?
Помолитесь за нас в этот час.
Не могу сейчас видеть такую
Нашу Родину. Да и всех нас.

3 октября 1993 г.

Признание

Я в круизах бывал, много рек повидал,
Но в плену я у них был не долго.
И скажу, мужики, лучше нету реки,
Чем красавица матушка-Волга.

Вы простите признание в любви ей моё,
О любви столько песен уж спето!
Но глаза отдыхают и сердце поёт
Только здесь, на бескрайности этой.

Я — волжанин душой, ну, и кто мы с тобой
Вот без этой могучей равнины?
Где в ночи костерки, где дыханье реки
И куда я вернулся с повинной.

Чтоб покаяться снова. И, сбросив оковы
Восхищенья пред миром не нашим,
На пороге у дома понять по-другому
Всё, что видел и знал я — вчерашний.

Вы простите признание в любви ей моё,
О любви столько песен уж спето!
Но глаза отдыхают и сердце поёт
Только здесь, на бескрайности этой...

Малая родина

Движение — всему начало,
Земля уменьшена до глобуса.
О, как Утёвка заскучала
Без ежедневного автобуса.

Без этих грустных провожаний
И добродушно-строгих глаз.
Мои сельчане-горожане,
Я часто думаю о нас.

О том, что в город наше бегство
Нельзя предательством назвать.
Чем дальше светлый берег детства,
Тем всё труднее уезжать.

Всё верится, что по-иному
Жизнь зашумит. И, может статься,
Вернуть престиж родному дому
Всемирно всё-таки удастся.

Задача

Я много разных женщин видел,
Красивых, добрых и дурных,
Но ни одну б я не обидел,
Сказав: «Ты — ангел среди них».

И мне теперь иного сорта
Задачку предстоит решить:
Как ты меня, такого чёрта,
Сумела всё же полюбить?

Берёзовые колки

Актёру Ивану Морозову

Взять бы рюкзак иль какое лукошко,
Хлеба ржаного, бутылку вина,
Да потихоньку отправиться в Кошки —
Манит родная твоя сторона.

Не замечая бензиновой гари,
По большаку, а потом и просёлком
Дальше уйти от галдящей Самары
И затеряться в берёзовых колках.

У родничка бы, глядишь, посидели,
Около пня, в окруженьи опят,
И помолчали б, а может, попели,
В небо взглянули б, а может — в себя:

Много увидели б, много узнали,
Чувствуя рядом друг друга плечо.
Потолковали б и повздыхали.
Спросят, о чём? Враз не скажешь, о чём...

Золотистый зной

Как много женственности в лете.
В спокойных летних вечерах.
В туманной дымке на рассвете,
В ржаных разнеженных полях.

Нет в небесах ни облачка, ни тени,
Лишь золотистый зной течёт,
Когда нас лето в плен берёт
Раскованностью мыслей и движений.

Желанная, люблю я лето.
У вас с ним общие черты.
В нём та же нежность, бездна света.
И нет весенней маяты.

На могиле Бунина

Я давно мечтал об этой встрече
На земле чужой пусть, но не там —
В небесах, где не звучат уж речи,
Где безмолвьем замкнуты уста.

Но боясь неосторожным словом
Невзначай нарушить тишину,
Плачу я. И снова, снова, снова
Стыдно мне и горько за страну.

Окаянным дням уж нету счёта,
Новый вышел яростный виток.
Дьявол правит по своим расчётам,
Рвётся мутный, бешеный поток...

Октябрь 1994 г.

Париж, Сент-Женевьев-де-Буа.

Прощание

Я не знаю, кто из нас в ответе,
Мне ль судить, что сделано тобой...
Наш разрыв так жизнь мою отметил,
Что я долго жил как бы глухой.

Нам теперь дорогою песчаной
Вдоль озёр притихших не бродить...
Кажется мне всё чужим и странным,
Всё хочу быстрее позабыть...

Я теперь, как раньше, тонко слышу,
И по-прежнему мой взгляд остёр.
Болен был я. Разлюбил — и выжил,
И душа стремится на простор.

Окошко с геранью

С.Н. Афанасьеву

Матица с крюком над зыбкой скрипела,
Матушка песни сердечные пела.

Детство давно уж моё отзвенело,
Матица в доме своё отскрипела.

Выпорхнул, встал на крыло и умчался,
Шарик земной небольшим оказался.

Всё-то мне кажется раннею ранью,
Матушка смотрит в окошке с геранью:

Где я, какой я и песни какие
Нынче пою, в наши годы лихие?

Матица с крюком над зыбкой скрипела,
Матушка песни сердечные пела...

Мама

Я стал всё чаще вспоминать,
Как выходила ты встречать,
Когда я шёл тебе навстречу,
На день примчавшись издалече.

Наверно, было б так всегда,
Когда б не старость, не года,
Не сон на час, не боль за нас...
Вот уголёчек и погас.

Я сам — уж в очередь встаю!
(Стою, считай, что — на краю).

Я — старший из детей твоих,
Таких всех разных, четверых...

Увы! Мы были непослушны.
Но наши души, наши души —
И ныне тянутся друг к другу
В любую слякоть, дождь и вьюгу.

Им не дано разъединиться!
...Мне часто сон счастливый снится:
Я прихожу в твоё далёко —
И ты уже не одинока.

И грудь сжимается в надежде,
Что встретишь ты меня, как прежде,
И у ворот, ведущих в вечность,
Поговорим с тобой сердечно...

Но беспокойно просыпаюсь
И наяву тревожно маюсь:
Вдруг — всё не так, вдруг — не замечу,
У тех ворот тебя не встречу?

Пройду вблизи, словно слепой,
Тебя не видя за толпой...
И боль твоя — моей больней —
На сердце ляжет мне сильней.

И как мне быть, и что мне делать?
С моей-то головою белой
Я вновь беспомощный, как в детстве,
И никуда от слёз не деться...

Нефтегорск

Да, я бывал в Нефтегорске не часто,
Много на свете других городов.
Что же теперь меня манит так властно
Город моих дорогих земляков?

Видно, успел я понять запоздало,
Вырвавшись, словно из тягостных пут,
Мчимся туда мы во что бы ни стало,
Где нас улыбчиво, с радостью ждут.

Ах, я готов отовсюду примчаться,
Только б увидеть знакомый мне взгляд.
«Надо встречаться нам, чаще встречаться», —
Губы твои неустанно твердят.

Знаю: придётся нам завтра расстаться,
Будет осеннее небо грустить.
Чтоб не расстаться, мне надо остаться
И о других городах позабыть.

Тайна

Скажи, кого берёзка молодая
Ждёт, замерев девицей, на юру?
Её листочки, в золоте купая,
Ласкает солнце нежно ввечеру.

А ей, похоже, этого не надо.
А ей куда-то хочется бежать.
Знать, и у ней есть тайная отрада,
И мне её нетрудно угадать....

Ведь я и сам когда-то бегал тайно
К девчонке, самой радостной из всех.
А вот теперь печалюсь не случайно
Я под чужой и беззаботный смех...

Заводские встречи

День осенний светом полнится.
У центральной проходной
Снова мне сейчас припомнился
Первый день мой заводской.

Но грустить теперь нам надо ли?
Возраст многое унёс.
Помню я, как листья падали
С наших заводских берёз.

К проходной походкой скорою
Мы не раз ещё придём.
Нам завод, как дом, не скрою я,
Дом, в котором мы живём.

С первых дней своей громадиной
Покорил завод, позвал:
Пети, Коли, Любы, Нади!
Рад, что вас я повстречал.

И теперь своей громадиной
Мне завод дороже стал.
Пети, Коли, Любы, Нади —
Где вы все, кого я знал?

Много мне вопросов задали,
Я задам один вопрос:
Помнишь ли, как листья падали
С наших тоненьких берёз?

Грачиные свадьбы

Ах, грачиные шумные свадьбы!
Растревожили сердце вы мне.
Сколько я ещё мог рассказать бы
О родимой моей стороне.

О любви моей к старым просёлкам,
О реке, что светла и легка,
О полях, над которыми долго
Кучевые плывут облака.

Я, как облако: был — и растаял,
Запоздало прозренье моё.
Грает в небе грачиная стая,
А мне кажется — то вороньё.

И как будто под крик их тревожный
Прямо в небо уходит стезя.
И ничто изменить невозможно,
И позвать никого мне нельзя...

* * *

Благостно вам, отец Анатолий,
Перед иконой молитву творить.
Мне бы постричься в монахи, что ли,
Чтоб в ладу свою жизнь прожить.

Чтобы уйти от мирской заботы,
Тихому голосу сверху внимать.
Ведь адова эта же работа:
Жабу с розой в саду повенчать.

Я пропащей жизнь не считаю
Ни свою, ни вашу. Ничуть.
Но я честно скажу, я не знаю,
Не знаю, где — истинный путь.

Горлицы

А. Плаксину

Как пустынно вокруг, только горлицы быстрые
В небе светлом летят, пропадая вдали.
Только облачко вдруг прозвучавшего выстрела
Над колючей стерней поднялось от земли.

И такая сквозная во всём отрешённость,
И такая печаль по окрестным полям,
Будто знают они, что моя в них влюблённость
С дымной горечью давней живёт пополам.

Будто знают они, эти горлицы быстрые,
Пропадая вдали, как по нитке скользя,
Что в години лихие дано нам всё ж выстоять,
Но ценою такой, что смириться нельзя...

Желание

Ларисе

Помнит сердце все наши свиданья,
Помнит каждый миг и каждый час.
У меня теперь одно желанье,
Чтоб ничто не разлучало нас.

Я живу с весёлыми глазами,
Отчего же — непонятно мне,
Светлыми июльскими ночами
Ни о чём печалюсь в тишине?

То ли сердце чувствует разлуку,
То ли вижу жизни скорбный край?
Дай твою с изгибом нежным руку,
Наглядеться на тебя мне дай!

Я любить не устану

Я любить не устану,
Много сердцу дано.
На ночном полустанке
Приоткрою окно.

В лунном свете неровном
Слышен с белых полей
За сугробом дородным
Скрип далёких саней.

Сколько жил я, не помню,
И считать не берусь,
Весь тобою заполнен,
Моя матушка-Русь.

...Век настал окаянный
Зло сильней и сильней.
Давит дух чужестранный
Всё больнее и злей...

Сколько ж надобно силы,
Чтоб тебя сохранить:
До конца, до могилы
Чтобы вечно любить...

Несмотря на потери,
Негасима стезя.
Я в тебя свято верю —
Мне иначе нельзя.

Нету песни красивей...

Василию Першину

Говорят, устарели
И гармонь, и баян.
Что все песни уж спели,
Только это обман.

Коль душа молодая
И в ней — русский огонь,
Ей нужна удалая
С бубенцами гармонь.

Под гармонь мы и спляшем,
И споём на ветру:
Вспомним прадедов наших
На честном на миру.

Пой, баян! Ты не в споре
С голосистой сестрой,
Мелодичным узором
Помогай ей, родной!

Чтоб душа, ахнув, разом
Вся зашлась. И без слов
Догадалась бы сразу:
«Про неё, про любовь!».

Утренний свет

Колки мои и моё перелесье,
Лики моих земляков в поднебесье,

Лица живых земляков! И поньне
В сердце моём к вам любовь не остынет.

Зной над равниной и тень чернолесья —
Всё уместилось в сердечную песню.

Русичи, где мы?! Какими мы стали,
Колки мои и равнины устали

Ждать возвращенья бывшего усердья,
Вялость душевная хуже нам смерти.

Дух наш восстанет, я верую свято:
Будут поля и просёлки опрятны.

Будет в душе не раздрай, не смятенье,
Снова придут к нам и лад, и уменье.

Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тьму побеждает

Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум былинный

Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики.

* * *

Ахматовский царственный профиль
И взгляд, словно лезвие, острый.
Легко ли вам быть нынче «профи»?
Легко ли быть женщиной просто?

Притихну, прислушавшись к сердцу —
Ну, что с ним творится такое?
Как будто открылась вдруг дверца
В несбыточное, неземное...

Открытое небо

Шара земного малая горстка —
Село моё светится под Нефтегорском.

Городу так и не сдавшись на милость,
Утёвка к реке навсегда притулилась.

С детства судьба одарила улыбкой —
Стала мне сельщина мягкою зыбкой.

...Шарик земной мне навстречу вращался,
Путь мой не скорым домой оказался.

Закончу его, со слезой не спешите,
Степь в изголовье моё положите,

Пару озёр, да берёзовый колок,
Да золотистый песчаный просёлок.

...Не надо вина уже будет и хлеба,
Отрада навеки — открытое небо!

Зиночка

Иду деревенькою
Почти заброшенной,
Люблю давненько я
Баян с гармошкою.

А тут мальчоночке
Да на завалинке
Поёт девчоночка
Про стары валенки.

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

Теперь я городской,
Уж позабыл, что мог,
Но кто я есть такой
Без этих валенок?!

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

Я не жалеть готов
Свои ботиночки,
Мне дорога любовь
Весёлой Зиночки.

«Валенки, да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки».

* * *

Евгению Семичеву

Времена наступили не лучшие,
Помнишь, как мы с тобой начинали?
Моих ранних стихов простодушие
Меня лечит теперь от печали.

Почитай мою книжечку первую,
Что когда-то дарил я тебе.
Как надеюсь сейчас и как верую,
Что останусь я верен себе.

Что не сдамся я веку циничному,
Хотя голос звучит мой не звонко.
В золотеющем поле пшеничном
Мне спасение — песнь жаворонка.

Его голос простой и негромкий,
Но мертво это поле без птицы.
Ты на небушке меж жаворонков
Стал своим в ярко-красной рубахе.

Твои песни светлы. Непривычно:
Ведь мои-то теперь, как стерня.
Ах, ты, поле моё, пшеничное —
Ты отрада всегда для меня.

Новогоднее

Я не смею грустить в Новый год,
Вместе с вами весёлым я буду.
В вихре праздничных добрых забот
Растворюсь. И про возраст забуду.

Веселитесь. Пришёл ваш черёд.
Жизнь, как миг — этот миг не прервётся.
Не грустите вы в ней наперёд:
Всё придёт, всё пройдёт, всё вернётся...

Как причудлив снежинок полёт,
Как прекрасен ваш смех у рояля...
...Свой свершает обряд Новый год —
Словно звуки снежинки роняя...

...Всё плохое былльём поросло.
Новым светом нас утро встречает.
И не зря в небесах так светло,
И не зря наши лица сияют!

* * *

Много ли проку в этакой жизни,
Из сил последних держась на плаву,
В дарованной судьбою Отчизне
Я, верный сын, в унынии живу.

А тем, кому неведома сыновья
Обида за страну, губителен успех.
Не видя будто доли её вдовьей,
Они резвятся на глазах у всех.

Родине

Только тронул веточку смородины —
Словно в детство давнее попал.
Светлая и солнечная родина!
Я тебе не всё ещё сказал.

И навряд ли высказать успею
Всё, что сердце чувствует теперь.
От печали часто я немею —
Слишком много горестных потерь...

Дальний огонёк

Юнцом я верил: истина мне по плечу.
Всегда себе твердил: «Я ясно знать хочу,
Что движет мной, что движет всеми нами,
Всей жизнью нашей: во дворцах, в вигваме.

На чём всё держится, весь белый свет?
Отгадка есть иль вовсе её нет?».

Мой ангел закрывал меня крылами
От горьких бед, баюкая в тиши словами:

«Живи пока! Какие твои сроки,
Зачем тебе людские знать пороки?»

Создателя усмешку знать или его промашку,
Кем числят наверху тебя: гигантом иль букашкой».

А я, как путник вечный, рвусь на дальний огонёк,
Где обожгусь и, может быть, сгорю, как мотылёк.

* * *

Теперь уж больше не услышать
Весёлый смех в высокой ржи.
Так не хотели, но так вышло —
Теперь вокруг нас море лжи.

Умом понять едва ли можно,
Всё, что свершилось, сердцу не принять.
Что было правдой — стало ложью,
Что ложью — нынче правдой стали звать.

* * *

С берёзами в лесу всегда светлей,
Как мне светлей с тобою рядом.
Как много женских лиц. Но взгляда
Мне твоего не повстречать милей.

Как будто бы от мамы ты пришла,
Заветы добрые усвоив.
И жизнь моя, светлея, потекла
На радость и любовь обоих.

Теперь, когда бываю я вдали
От глаз твоих и от родной земли,
Я рвусь скорее возвратиться.
И свет берёзовый мне снится...

Русские

Не будет нас, но речь останется.
Кому служить будет она?
Кто прочитает наши письма?
Кем заселена будет страна?
...Кому бесценный дар достанется?

* * *

Выйду в поле: вокруг нет ни колоса
И ни голоса. Тишина и покой.
Паутины, как мамины волосы,
Тихо рядом плывут надо мной.

Неприкаянность стала нормою,
Чья здесь больше и горше вина?
Это всё называют реформою?
Вот зверюга — страшней, чем война.

* * *

Двадцатый лицемерный век
Народ мой бросил меж двух веж.

Калинычей тургеневских не стало. Хори —
Мы все теперь среди российской хвори.

От выживания до жизни путь не прост,
И россиянину подняться во весь рост

Едва ль удастся скоро. Но надежда —
Она источник силы. И как прежде

Он из неё, измученный, энергию берёт,
Мой бедный, мой оболганный —
великий мой народ!

Мои отцы

Два светлых имени, два моих отца —
Войною соединённых два кольца.

Отечеству по-своему служили
И мне в безвременье оплотом были.

А матушка в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,

С руками лёгкими, как два крыла,
Она мне родину мою дала.

До боли в сердце и до песни звонкой
Люблю тебя, родимая сторонка!

Люблю и мучаюсь порой при этом:
Боюсь казаться странною кометой —

Мелькнувшим лишь на миг во тьме
крошечной,
С фамилией красивой
и незнакомой...

* * *

Чем ближе к итогу земному,
Тем чаще гляжу в небеса.
...Я к берегу будто иному
Плыву. И вдали голоса

Отчётливо слышу. И машут,
Мне машут зазывно рукой...
Как будто бы знают: не страшно
Мне берег покинуть земной...

* * *

Любовь в душе сменилась болью,
Таков итог моих потерь.
Ни труд до пота, ни застолье
Не радуют меня теперь.

Итог быть может ещё хуже,
Я сам его не тороплю.
Кому теперь такой я нужен,
Коль никого уж не люблю.

Мы и к дурному привыкаем,
Таков уж дьявольский закон.
И в одиночку вымираем
Со скоростью — в год миллион.

И всё ж так хочется, порою,
Под куполами голубыми,
Чтоб вспоминали нас с любовью,
И мы когда-то ведь любили...

* * *

Я знаю, сколько мне осталось жить:
Сколько и тебе. Не больше и не меньше.
Тебя одну из всех на свете женщин
Мне небом суждено было любить.
И там, где свет иной, иная вязь,
Хотел бы я, согласья не нарушив,
Чтоб наши вдруг не разлучились души
И в вечность бы ушли, соединясь...
А на Земле, у горестной черты,
Пусть нас с тобой не сильно и жалеют...
Любовь прекрасна! И порой пред нею
Земные меркнут навсегда цветы...

Отчий дом

Николаю Дорошенко

Как давно я дома не был,
В бывшем радостном краю...
...Крыша дома — купол неба,
Я тебя не узнаю.

Посерела, почернела —
Незавидная судьба.
А когда-то так звенела
Наша ладная изба...

— Предал, предал. Всех нас предал... —
Слышу голос изнутри, —
И отца, и мать, и деда
Предал, что ни говори...

Как отвечу перед небом,
Да и что мне говорить?
Бог простит меня. А мне бы
Самого себя простить!

* * *

Пригорюнилась моя страна,
Если только бы она одна.
Страны — бывшие её сестрицы —
Многие успели прослезиться.

Шанс для русских невелик...
Но остался наш язык!
...Да и он ведь занедужит:
Он кому без русских нужен?..

Полёт во сне

Над мерцанием родимых холмов и озёр
Я широкие крылья в полёте простёр.

И летел я, не чувствуя тела,
И душа моя пела и пела.

И всё выше летел я, всё мимо,
Неудержимо, неповторимо...

Вдали оставались озёра и колки,
И речка Самара — как нитка в иголке.

Покровка, Утёвка и Баринов дом —
...Всё угасало под резвым крылом.

...Но вдруг я хватился: в высоком зените
Рвутся все нити, рвутся все нити...

...Какая-то сила, сильнее моей
Меня повернула от дальних морей.

К озёрам родимым, к лазоревым плёсам,
К самарским песчаным откосам...

...И сердцем я милую Отчину слушал,
И песней она пролилась в мою душу.

И жадно искал я клочочек землицы,
Где суждено навсегда притулиться...

Сестре Любе

Приеду, поплачу и снова уеду,
Всё отложив, все дела — на потом.
Так не хватает мне тихой беседы
С мамою нашей за круглым столом.

Тыквенных семечек прелесть домашняя
И молока запах, в печке топлённого.
Сельский мальчишка, я в детстве вынашивал
Мысль о карьере большого учёного...

...Стал я профессором и академиком,
Не ожидая совсем, что однажды
Я отряхну в сенцах стареньким веником
Вместе со снегом всю свою важность.

Я ведь и домик-то маленький ставлю
Около баньки, что стала темнеть,
Чтоб у голубеньких светленьких ставень
Мог я с любимым вечерком посидеть.

Чтобы, как мама, сумел между делом
Гостю любому в ответ улыбнуться.
Как ведь желала она и хотела,
Чтоб я домой решился вернуться.

...К маме схожу на могилку и к деду,
Вроде б себя ни за что не виня...
Там посижу, помолчу и уеду,
Вот ведь какие дела у меня.

* * *

В.Н. Крутину

Как мне порою тяжело,
Себе признаться не решусь.
Вот ночь опять прошла. Светло
За окнами. Я не ложусь...

В душе светает. Грусти не тая,
Живу в предчувствии итога.
...Жизнь, на земле прошедшая моя,
Была моей дорогой к Богу.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Неожиданные раздумья о В.В. Маяковском

История примет свои резолюции.
Писали бы лучше о любви стихи.
А Вы отдали талант революции,
Её бездарнейшей слепой стихии.

Вам нужен во всём масштаб был,
Вы не вмещались
В быт простой российский,
В его отношения,
А потому Вы взяли враз
И распрощались
С реальной жизнью
Своего поколения.

Вроде бы Вас очень и очень
Ценил Сталин.
Смыта грань между мудростью и цинизмом.
Могильным камнем тогда для многих
Стал ведь
«Построенный в боях социализм».

1989 г.

США, Бруклинский мост

Лето

Вечер задумчив, костром у откоса
Берег дымит над синеющим плёсом.

Листик последний храня бережливо,
Вышла на берег обрывистый ива.

Тополь плечистый пришёл к берегам —
Машет ветвями вослед журавлям.

Лето — прекрасная, чудная женщина,
Время настало — ушла беззастенчиво.

В юности

— Постой, поэт, не суесловь
Над книгой жизни бесконечной.
Любовь, она и есть любовь —
Что ты добавишь к теме вечной.

Так голос разума во мне
Настойчиво шептал.
Но я в весенней стороне
Опять стихи слагал.

— Постой, поэт, не суесловь.
Немало встреч на свете будет.
Ну что же это за любовь,
Когда тебя не любят.

Так мне мой друг, меня жалея,
В усердии твердил.
Но с каждым днём я всё сильнее
И всё угрюмее любил.

* * *

Мне и живётся легче. И верится
В дух российский, в обновление сил.
Есть такой певец — Валерий Еринцев,
Он своей песней мой дух возбудил.

Пусть волна за бортом яро пенится.
Даль речная вся в водной пурге.
Спой для души мне, Валерий Еринцев,
О кострах в голубой ночной тайге.

Вспомним в вальсе немножко наивном
Струковский парк и оркестр духовой,
Цирк Шапито — наш любимец старинный
И вечера над притихшей рекой.

Наши радости детские канули,
Словно звёзды в притихшем пруду.
Но сдаваться с тобой нам не рано ли?
Детскость сердца пророчит судьбу!

Пой, друг, коли сердцу поётся!
Не судите, друзья, слишком уж строго.
Нам сегодня ведь всем неймётся
Оттого, что ушло слишком многое.

И друзей потеряли мы много,
И судьбу обрели непростую.
За умение душу растрогать
Дай, Валерий, тебя расцелую.

В Утёвской школе

Я со своей фамилией красивой
Чуточку на родине чужой.
Коль сейчас вы в лоб меня спросили,
Я отвечу, кто я есть такой.

Я, как вы, вот в эту школу бегал,
Да и разве ж я один?
Детство моё все в сугробах снега,
Всё в ядрёном запахе овчин.

Дом крестьянский мне не просто дорог:
Без него я скушен и безлик.
Путь мой к истинному очень долог,
Но теперь я кое-что постиг.

Я теперь по каплям собираю
Жизни прежней несказанный свет.
Вы спросили, кто я, — я не знаю,
Не готов я дать сейчас ответ.

* * *

Опять весна — бурёнка пегая
Бежит селом издалека.
И проталин рыжие бока
Сменяют серые лохматые снега.

Опять поправ обет свой древний:
— Ни строчки больше, к чёрту муки! —
Пишу стихи, и на поруки
Меня берёт моя деревня.

* * *

Моему другу Себастьяну

Тебе, мой Басик, в жизни повезло!
Ты можешь быть весёлым и беспечным,
Как бы планету нашу не трясло,
Тебе уют собачий обеспечен!

В квартире вашей часто слышен звонкий смех.
Давай с тобой не будем мы лукавить:
Хозяюшку свою ты любишь больше всех,
И тут уж ни убавить, ни прибавить!..

С тобой хозяин на охоте преуспел,
В тебе он ценит и усердье, и породу!
Как тяжело тебе, бедняге, не у дел
Подолгу ждать его с работы у порога.

Себя увидел я в твоей судьбе.
Ведь я был тоже смел и изворотлив,
Вмещавший некогда весь мир в себя,
Я вынужден ютиться в подворотне.

Я с детством распрощался так давно,
Живу себе, не радуясь. Не плача.
И тронут тем, что быть мне суждено
Свидетелем судьбы твоей удачной.

Зависть

Всем едущим завидую
И всем идущим.
Завидую губам твоим нелгуцим.
Завидую садовнику, чей сад цветущий
Даёт пчеле, нектар несущей,
Огромный мир, заботы множа.
И не завидую прохожим.

* * *

...«Поэты ходят среди нас».
А я вот не хожу.
Лежу, забравшись на лабаз,
И не пишу.
Кто вам сказал, что я поэт,
Кто смел нахвастать?
Три дня назад я дал обет:
Ни строчки больше,
Баста.
Я трезвым стал,
Я бодрым стал.
Я сам собою гордый.
Уже четвёртый день настал —
Мне б выдержать —
Четвёртый.

* * *

Любовь моя — помощник верный,
С тобою боль любую пересилю.
Ты началась с моей деревни,
А разрослась в мою Россию.

И как же я её посмею,
Россию, сердцем не любить.
Я жить иначе не сумею,
Коль ей не быть и мне не быть.

Изба деда

Есть у изб свои лица:
Та вон смотрит в плетень,
А вот эта глядится
Дни и ночи в Ильмень.

И приветным оконцем
Средь полей между туч
Восходящего солнца
Ловит радостный луч.

Будь весна, будь то осень,
Будь то сушь иль гроза,
Неба русского просинь
Звонко льётся в глаза.

Не могу не глядеться
Утром в росный простор.
Принимаю всё к сердцу
С детских радостных пор.

Потому и хозяин
Светел с внуком-юнцом:
Нет в России окраин,
Коль в Россию лицом.

Родное

Ветер спит на омёте ухабистом
И солому во сне шевелит.
Месяц светлый, парнишка покладистый,
Стадо звёзд над ветлой сторожит.

Рассветает, но всё ещё в дрёме
И леса, и покосы, и гать.
Только ветер, проснувшись в соломе,
Сшиб с омёта грачиную рать.

Осеннее

Липа последний свой лист уронила.
Стебли осоки упали, звеня.
Осень в хоромы свои заманила
И подкупает меня.

Только мне золота вовсе не надо.
Снова вернулся в родимый я дом.
Здравствуйте, лес, здравствуй, речка-отрада,
Я и без золота ваш целиком.

Просёлок

Вся прелесть песчаных российских дорог —
Шагать по ним, тёплым, босыми ногами.
Чтоб сердце, уставший подранок-чирок,
В груди, ставшей тесной, забило крылами.

И чтобы осинки опять и опять
Шептали тебе о своём без умолку.
Чтоб заново мог ты себя осознать,
Домой возвращаясь родимым просёлком.

* * *

Берег осенний, прошитый стрижами,
Глядится задумчиво в воду.
Как грустно теперь мне чужими стихами
Лечиться в гнилую погоду.

Ведь песни мои, как стрижи те со звоном,
Покинули сердце, умчась за тобой.
Прошитое сердце упало со стоном,
Как берег упал над осенней водой.

* * *

Я так люблю тебя,
Что женщины другие
Мне кажутся чудовищно пустыми.
А ты же делаешь меня счастливым,
Ты сделала меня красивым.
И сильным сделала меня.
Сама ж осталась хрупкой и пугливой,
Боящейся вечерней темноты.
Скажи же мне, какою силой
Ты сделала меня красивым.
И сильным сделала,
И делаешь сильнее
Неужто добротой своею?

* * *

Люблю я смотреть, как над лесом
Свет лунный течёт в коноплю.
Но только беспечным повесой
Мне некогда жить: я люблю.

Люблю навсегда, до кончины
Озёрную гладь и реку,
Седую, родную равнину
И вётлы, что тишь стерегут.

Частицей себя ощущая
Родимой лесной стороны,
Я песни пою в своём крае,
Коль голос и сердце даны.

Какие б ни были морозы
И где бы ни мял я траву,
В несчастье, в ненастье и грозы
Я любящий только живу.

В метель

Всё степь да степь, как в песне давней,
Берущей с детства в радостный полон.
Ан деревушка вдруг. Закрыты ставни,
Журавль колодезный не бьёт поклон.

Кто здесь живёт, какие люди?
Что за часовенка на взгорке?
Мотор простуженный — и тот не будит
Собак в темнеющих задворках.

Село проехали. В равнине голой
Пытаемся большак найти.
Шофёра вздрагивающий голос
Поёт про ямщика в степи.

Не позволяй, человек!

Светом утренним трогает
Колкий луч рыхлый снег.
Заболел я тревогою
За тревожный наш век.

С каждым днём и светлее,
И тревожнее втрое
Во мне всё холодеет,
Снова слышу я «СОИ»,

Снова средь краснотала,
Где ручей взял разбег,
Мне ветла прошептала:
— Не позволяй, человек.

Я остров

Я остров заросший, никем не открытый.
Дрейфую в житейской, обыденной глади.
И лоб мой горячий, ветрами омытый,
Укрыли собою дремучие пряди.

А сколько ведь песен во мне накопилось.
И каждой из них нужен выход наружу.
Сильней и вернее бы сердце забилося,
Когда бы я знал: меня ждут, и я нужен.

Утро в посёлке Красная Самарка

В косых лучах поднявшегося солнца,
В лучах его, и тёплых, и весёлых,
Проснулись избы и свои оконца
Таращат на другие сёла.

А те, раскинувшись в низине,
Столбами дыма держат облака.
Дымится речка, в луговине
Дымит костёр ночного рыбака.

Всё тыщу раз уж виденное мною,
Но вновь открылся простенький секрет:
Всё, что зову родимой стороною,
Любимей, но обычной нет.

* * *

Со всем родным побыть спеша,
Иду. И в небе знойном вижу,
Как ласточек со звоном нижут
Тугие провода. И чуть дыша,
Лежу в траве — и всё мерещится:
Прохладою нездешней веет,
Не травы ходят — море плещется.
И айсбергом омет белеет.

* * *

Неужто кто за баловство сочтёт
Мой звонкий, вдохновенный труд.
И ничего в них не поймёт,
В тех песнях, что мне губы жгут.

Боясь обжечься, бойся и любить.
Любовь всевластней, чем в степи пожар.
Огонь потушат. Будет вечно жить
Любовь-несчастье или могучий дар.

* * *

Был я красивым и ловким.
Были руки мои сильны.
Только ведь в нашей Утёвке
Все и смелы, и стройны.

Пел свои песни я пашням,
Пел под улыбки женщин.
Только в село-то ведь наше
Каждый влюблён не меньше.

* * *

Нервный гул проводов над дорогою
Тишину по полям тормозит.
За поющими жалобно дрогами
Жеребёнок в село семенит.

Эту даль, эту песню тележную
И степную напевную грусть,
Что во мне и что в дали безбрежной,
Я зову одним именем — Русь.

Перед отъездом

«Неужто не нашлось серьёзнее причины,
Чем та, что отпуску конец?» —
Так мне шептали робкие осины,
Так дуб шептал, задумчив, как отец.

Стоит ноябрь. Так заметелит скоро,
Что не отыщешь больше звонких троп.
И под моим воспетым косогором
Зима большущий наметёт сутроб.

И я грущу, влюблённым сердцем зная,
Что нет мне уголка светлее и милей,
Чем тот, где я бродил, себя пытая
На радостном огне строки своей.

Обновление

Куда ни посмотрю: цветной прилив ромашек.
Боюсь память нечаянно, боюсь ступить ногой.
Поверх цветов татарник величаво машет
Седеющей и гордой головой.

Прошли дожди, на ниве обновлённой
Иная жизнь цветёт, иная быль в краю,
Где я любил, был нелюбим и был влюблённым,
Но кто теперь я и какую песнь спою?

Стихи, они ведь не мешок заплечный —
Рванул с плеча и бросил на песок.
Одно лишь знаю: сохраню навечно
Любовь к земле родной — моей поэзии исток.

**А я такое бы
сказал**

* * *

Осколком зеркальца азартно внук играет,
Как я играл в своём полузабытом детстве.
И светлый лучик на моём лице сияет,
И никуда от этого сейчас не деться!

* * *

Всё выше стремится под солнышко
Цветок золотистый подсолнушка.
А корни в холодной земле
Всё глубже блуждают во мгле.

* * *

Ты мне на улице могла бы повстречаться...
Один иду. Вокруг светло и людно.
Как любящим легко казаться
И как любимым притвориться трудно.

Колодец

Он не берёт в глубинных жилах
Воды прохладной. И однажды
Отдал последнее, что было.
И высох сам от лютой жажды.

* * *

Коль мог бы я сто раз на свет родиться —
Сто раз хотел бы я не повториться.
Учёным стать, пожарником, певицей...
И жизни новой снова удивиться!

* * *

На мужике всё держится, на мужике.
И роль его нисколько не уменьшим мы.
Силён он — и когда висит на волоске.
...Коли его поддерживает женщина!

* * *

Успех в карьере!
Звёздный, долгожданный час!
А поглядел:
друзей старинных нет вокруг.
Пока раздумывал, кто виноват из нас,
И новые мои друзья пропали вдруг.

Современнику

В тебе достоинств в изобилии.
Есть и терпение, и сила.
Но главное в твоём двужилии —
Демагогическая жила.

* * *

Мой внук,
мы все на этом коромысле:
И ты, и я, и шумные друзья,
Где с двух концов
над бездною повисли
«Я так хочу!» и твёрдое «Нельзя!»

* * *

Да! Да! Колосс на глиняных ногах
Улыбку вызывает на устах.
Но что творят порою с нами
Колоссы с глиняными головами?!

* * *

Пока тебе трудно со мной
согласиться.
И всё же придёт этот миг:
Поймёшь для себя
неизбежность учиться
У жизни самой, не у книг.

* * *

Я вас ни в чём не обвиняю,
Моя же в том, должно, вина,
Что больше чувствую, чем знаю.
И в этом вся штука-
ко-
ви-
на.

* * *

Ты обиды в себе не копи.
И насмешки в словах не лови.
Быть любимым желаешь — люби!
Только так преуспеешь в любви.

* * *

Течёт ручей. Течёт, почти не слышный.
Полметра вширь, и только-то всего.
Но этот куст черёмухи душистой
Растёт не где-нибудь, а около него!

* * *

Всегда и всех неистово учил всему.
И так усердно, бедный, лез из кожи,
Что было некогда учиться самому.
Так неучем всю жизнь свою и прожил.

* * *

Зря ты твердишь, что проиграл,
Что с поражением смирился.
Вот, если б ум свой потерял,
Тогда бы ты всего лишился.

* * *

Замаливаю прежние грехи —
Пищу стихи. И, как всегда, опаздываю.
А может, просто жизнь свою оправдываю
И совершаю новые грехи.

* * *

От дня рождения и до последних дней
Всего лишь миг. И радостный, и жуткий.
Попробуй, мудрым стать успеи
Вот в этом кратком промежутке.

* * *

Чтоб я на свете ни делал,
Всё же усвоил отлично:
Мудрость имеет пределы,
Глупость порой безгранична.

* * *

Мой друг! Есть истина одна.
Нам от неё с тобой не отвертеться:
Чтоб дурака понять сполна,
К себе внимательнее
стоит приглядеться.

* * *

«Я это дело понимаю так, —
Отец мне говорил неторопливо, —
Плохое дело, если друг — дурак,
Но хуже, если с инициативой».

* * *

Тут победили и дальше рванулись,
Чтоб покорить, побороть. Оглянулись:
Разум теряем в страстях бесконечных.
...Может, хоть лень
остановит нас, грешных?

* * *

На все вопросы знаешь ты ответы.
Во всех ответах так себе ты люб!
Ну, что ж, люби. Беда-то ведь не в этом:
Скорей всего, увы, ты просто глуп.

* * *

Я всё чаще стою у икон,
С каждым разом всё дольше и дольше.
Жизнь моя уж пошла под уклон,
А желаний не меньше, а больше.

* * *

Добрых всё меньше теперь,
То дельцы всё вокруг, то пройдохи.
Сколько же диких потерь
У моей очумелой эпохи.

* * *

Страсть выведаль у недруга. И червячок
Подкинул с ловкостью под эту страсть.
В себе уверенный, он тут же шасть —
Попался сам на собственный крючок.

* * *

Мне мудрости не надо никакой.
Душе от глупостей твоих вольней —
Вино, налитое твоей рукой,
Пьянит всего желанней и сильней!

* * *

Не печалься, что жизнь пролетела.
Все диагнозы в ней — дребедень.
Может, самое важное дело
Ты исполнишь в последний свой день.

* * *

Я к мысли однажды пришёл неудобной:
Умелостью нашей ежеминутной
Не стоит, быть может, кичиться нам шибко?
И опыт порою бывает ошибкой.

* * *

Он промолчал,
он не спешил с ответом.
Ни словом, ни ударом не грозил при этом.
Ты победил сейчас его, но не ленись,
На всякий случай оглянись и —
берегись!

* * *

— Меж селом и городом стирали грань.
И так в своём усердьи пёрли,
Что, Мань, ты обожди, ты глянь:
С лица земли деревни стёрли.

* * *

Итог наблюдений моих таков,
Прими его в память о наших беседах:
Хочешь нажить себе больше врагов —
Рассказывай чаще друзьям о победах.

* * *

То горделивы, то идём с повинной.
То пьём взахлёб, то струйкой цедим.
Мы не умеем жить, и в том причина,
Что жизнь свою не очень ценим.

* * *

Сверкает солнце ли, грозит ненастье,
Один идёшь, иль строем на параде.
Коль ты с самим собою не в согласье,
То и с друзьями быть тебе в разладе.

* * *

Есть нудный отрезвляющий пассаж:
«Умеренность —
вот верный жизни страж!».
Я много раз противился ему —
И нёс беду себе же самому.

* * *

Не торопись, но помни при том:
Не спеша, ты рискуешь всем.
Жизнь откладывая на потом,
Можешь вовсе остаться ни с чем.

* * *

Неудержимо бурное течение.
Не убегай от собственного мнения.
Какой бы ни давил авторитет,
Над истиной пока начальства нет.

* * *

Уж, коль постиг ты трудное искусство
И можешь мысль по сути оценить,
Не торопись пророком быть,
Учись ценить простые чувства.

* * *

Чтоб гениальное вершить,
Нам надо гениями быть.
Но иногда, чтоб глупость одолеть,
Сверхгениальность надобно иметь.

* * *

Ты далека, так далека, что даже песней
Своей я до тебя теперь не дотянусь.
И я, создать сумевший мир в себе чудесный,
Один с сокровищем ненужным остаюсь.

* * *

Вас собеседники обходят стороной?
Есть выход — он на удивление простой:
Попробуйте в себе вы заронить
Желание поменьше говорить.

* * *

Себе порой в тиши шепчу: не лги,
Ты чувствами своими не обманут.
Умрёшь — и тут же многие враги
Посмертными приятелями станут.

* * *

Клянём свой век нелёгкий, непростой.
Порою в этом не жалеем сил.
Всё верно, друг, но погоди, постой!
А кто своим доволен веком был?

* * *

Порой заявленное дело
Всех без сомненья рассмешит.
Ленивые мечтают смело,
А труженик дела вершит.

* * *

Конечно, ты в танцах многих сильнее!
Свои наблюдения я с грустью итожу:
Ноги твои намного тебя моложе,
К тому же, пожалуй, ещё и умней.

* * *

Страстный от безумств не застрахован.
От чудачеств вовсе не свободен.
Но бесстрастный равнодушьем скован,
И в итоге он, увы, бесплоден.

* * *

Внуку Саше

Ум знаньями, понятно, не заменишь.
И эту истину уж никуда не денешь.
Но ум острее во сто крат,
Коль он познаньями богат.

* * *

Ты хочешь многих удивить!
И победить! И не иначе?
Старайся меньше говорить,
Иначе не видать удачи.

* * *

Пред ней ты чуть ли не злодей?
Хоть в переплавку заново, ей-ей!
Страсть переделывать людей —
Что может в жизни быть глупей?

* * *

Сегодня Вы, шутя, спросили:
Что делать? Стала я седою.
Отвечу: мудрые порою
Бывают с возрастом красивей.

* * *

Каждый проявляет свою прыть!
Порою остаётся только ахать.
Тот стремится истину открыть,
Этот — поскорей её упрятать.

* * *

А было всегда так: век от века
Рыщет по свету зловещий вампир:
Смерть отбирает у человека
Не только жизнь его, но целый мир.

* * *

Любимая — и та уж любит по-другому,
Когда твоих друзей убавится кругом вдруг,
А деньги кончатся — забот наступит тьма.
Но коль здоровья нет — свободы нет:
тюрьма.

* * *

Он непреклонен и непобедим?
Стоит на принципах, как в землю врос?
Не трогайте пока его. Бог с ним.
Какие принципы? Вот в чём вопрос!

* * *

Природа порою бывает скупа,
Порою расчётливо бережлива.
Увы, как плохо, милая, что ты глупа,
При этом хорошо, что ты ленива.

* * *

Блажен, кто не испытывал сомненья.
Я ж маюсь от бессилья своего.
Бог разум дал нам, но не дал уменья
Понять, кто в жизни мы и для чего.

* * *

Если порочные люди помрут:
Сгинет и лжец, и завистливый плут?
Скука какая вокруг воцарится.
Ну, и куда это дело годится?

* * *

Я уяснил одну примету.
Не раз я убеждался в этом:
Где суета одолевает,
Глубоких мыслей не бывает!

* * *

Я умолкаю часто в разговоре с внуком.
Ему по-своему всё видится. А, ну-ка,
Ответь, попробуй, что такое «небо»?!
Собьёшься враз,
каким бы умным ни был.

* * *

— Не торопись и жизнь смакуй! —
Меня мой друг, любя, учил.
А сам, бедняжка,
Как из фляжки,
Шальную жизнь глотками пил.

* * *

...И я грущу, влюблённым сердцем зная,
Что нет мне в мире уголка светлей,
Чем тот, где я бродил, себя сжигая,
На радостном огне строки своей.

* * *

Эта мысль пришла мне на бегу.
Ты её бери, коли берётся:
Не давай советов дураку —
Дорого тебе ж и обойдётся.

* * *

Мысль моя и не моя,
Будет пусть теперь твоя:
Можно ведь и при короне
Протирать штаны на троне.

* * *

В чём жизни смысл?
Он есть или его нет?
Какие б мудрецы ни спорили вовек,
На споры долгие один ответ:
Смысл жизни задаёт сам человек.

* * *

Дверь ворчливо скрежетала:
Мол, имею голос свой.
Смазал петли — перестала.
Был секрет, увы, простой.

* * *

А я такое бы сказал,
Рискуя быть не понятым, ей-ей:
Блажен, кто истину познал,
И трижды — кто не ведаёт о ней.

* * *

Как одиночество гнетёт,
Какую боль оно несёт!
Но лучше одиночества недуг,
Чем лживый и случайный друг.

* * *

Как творчество без вдохновенья,
Так злая верность без любви.
Всё тягостно, одно томленье,
Одно смятение в крови.

* * *

Разговоры с тобой, как игра на бильярде.
Слово каждое, будто кручёный удар.
Но в словесном своём неуёмном азарте
Не теряй понапрасну душевный свой дар.

* * *

Порой иному мудрецу,
Чем мудростью гордиться,
Неплохо бы пойти к глупцу
И делу поучиться.

* * *

Его всерьёз не принимали,
А он тихонько землю рыл.
Прорыл на свет и в небо взмыл,
Покуда вы всю дремали.

* * *

Пусть это не так.
Да и то не сложилось.
Но вы не спешите
сдаваться на милость.
Не падайте духом.
На жизнь не ропщите.
Ищите причину!
Причину ищите!

* * *

О прошлом можно пожалеть
С годами, между прочим.
Но быть моложе своих лет?
Нет, это глупо очень.

* * *

Мудрец сказал, толпой гоним:
«Твори — и ты непобедим!»
Девиз и прост, и ясен.
Я с ним вполне согласен!

* * *

Увы, сегодня в изобилии
Разнообразные фамилии.
Имён достойных, не секрет,
Давно уж, к сожаленью, нет.

* * *

Вот светлячок.
Он светит, но не греет.
Но ты его не осуждай за это!
Уставшая душа моя теплеет
От этого особенного света.

* * *

Зачем казнишь себя тревогой вечною,
Когда иду я вдоль твоей завалинки?
Ведь опасение твоё быть незамеченной,
Как детская боязнь остаться маленькой.

* * *

Труд отличает мудреца,
Пусть скромн результат и мал.
Я помню своего отца,
Он раньше всех в семье вставал.

* * *

Вы так гневились на меня,
Меня в презрении виня.
Умерьте пыл, мои друзья:
Всем сразу нравиться нельзя!

Учёному мудрецу

С самую сутью не переча,
Дадите ценный вы совет.
Но теплоты в вас человечьей
Как будто не было и нет.

* * *

Что мне ответить тебе в утешенье?
Зря не терзай ни меня, ни себя.
Истинно тут для меня без сомненья:
Ангел мой, дьявол попутал тебя!

* * *

Умей то светлое хранить,
Что издавна любовью называют.
Умей делами воплотить
Свою любовь к родному краю.

* * *

Любить доступное. Я мудрость эту
Не сразу принял. А сейчас
Иным наполнено всё светом
И всё мне будто в первый раз.

* * *

Немало в голову идёт сравнений,
Но все сравнения напрасны:
В неуловимой смене выражений
Твоё лицо — прекрасно!

* * *

Негодуете, что вам соврали?
На это есть приём давнишний,
Его запомнить вам нелишне:
Поменьше бы вопросов задавали.

* * *

Жизнь потребует за всё оплату.
Всяк в свой срок того коснулся:
Только к жизни интерес проснулся,
А она уже пошла к закату.

* * *

Не мной одним замечено однажды
И с этим согласится чуть не каждый:
Насколько в одиночку мы добрее,
Настолько мы в толпе бываем злее.

* * *

Чужие города и веси
Не принесут мне в душу песни.
Лишь там, где отчие края,
Звучит простая песенка моя.

Судьба

Тело досталось непрочное,
Душа оказалась порочною.
Жизнь получилась морочною,
Смерть наступила досрочная.

В разлуке

Я мыслю теперь рационально,
Вина в моём разочарованье.
Любовь твоя и расстоянье
Обратно пропорциональны.

* * *

Увязли в разговоре,
Собачились в сердцах.
Нелепо видеть в споре
Глушца и мудреца.

* * *

Подставилась доверчиво душа,
Как под пудовую кувалду.
Народ почувствовал неправду,
На ощупь к правде путь верша.

Мимолётное

Женева потрясающий пейзаж
Изыскан, будто макияж.
... Сюда бы жёлтенький песочек
Да неба волжского кусочек.

* * *

Космополиты и замполиты наши
Морочат и морочили мозги.
Безмолвствует народ, вконец уставший,
И в будущем нам не видать ни зги.

* * *

Что наша жизнь? Политики, как на эстраде,
Терпение толпы для них — награда.
... Но это ведь кому-то надо,
Чтоб смахивала жизнь на клоунаду.

Герой гражданской войны

Вся грудь в орденах. Герой на века
И нету границы всеобщей любви.
А руки? Где руки? На свет покажи!
... Должно быть, по локоть в крови.

* * *

Я к выводу весьма архинаучному пришёл:
Какая б ни была эпоха,
Никогда так не бывает с деньгами хорошо,
Как без денег — плохо!

* * *

Привычки наши неодолимы,
Вся жизнь — сплошная маята.
Духовной жаждою томимы,
Мы не проносим мимо рта.

* * *

Умный всегда уступает
В конце-то концов.
Не от того ли бывает
Засилье кругом дураков?

Голос в толпе

Болтливых классиков тома
Нам заменила жизнь сама.
Итог: подобное ученье
Нам сохранило ум и зреньё.

* * *

Устал я вталкивать себя в обычное,
Где кровь стоит и чувства не спешат.
Ах, это горе-горемычное —
Моя неугомонная душа.

Новогоднее

Лицо родившегося века
Гримасой страшною свело.
Толкает в ужас человека
Всё прогрессирующее зло.

* * *

Хоть Пушкиным, хоть Лермонтовым стань,
В любой из тысячи берёзовых рязань
Есениным родись с золотокудрой головой...
...Нынче нужен ты кому такой?

* * *

Ошибок в жизни я наделал много,
Прожив её вдали от Бога.
Теперь вот с горечью казнь
Себя за мелкую возню.

* * *

В этом простая разгадка:
Если вы долго и строго
Ищете в нём недостатки,
Знать в нём хорошего много.

* * *

Хлопнут вдруг там, в небесах, творилом
И во тьме беспомощному, скопом,
Человечеству противиться не в силах —
Мы живём под чьим-то микроскопом...

* * *

Веками человечество пыталось
Понять, как жить и для чего?
И что ж? В наследство мне досталось
Великое незнание его?!

* * *

От истоков своих приближаюсь я к устью.
Себя не узнать мне. Так изменился:
Ум мой с тревогой давно уж сроднился,
А мудрость и вовсе расплавилась в грусти.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Нашему старосте А.С. Дутову

Наш староста был самых честных правил.
Нередко в спорах был он прав.
Он так усердно группой правил,
Что часто оставался сам без прав.

На печке

Бывало заберёшься с вечера на печь
И всё твердишь: «В трубе лишь ветер, а не бес».
Проснёшься утром, мать — олады печь.
А из трубы столб дыма до небес.

Ночи

Как ночи здешние светлы —
Проснёшься и не поймёшь со сна:
То ль вечер смотрится с ветлы,
То ль утру улыбается сосна.

* * *

«Только вперёд, отступления шаг
Не в наших обычаях», — вымолвил рак.

* * *

«Я и без хозяина уйти смогу», —
Башмак хвалился башмаку.

* * *

Хотя бы обронила: нет ли, да ли.
Уже смеркается, но не хочу я сна.
Уйду с утра в сиреневые дали,
Где просто всё, где жизнь ясна.

Моим двум знакомым

Походкой важной, как у пав,
Гордиться вам не вредно, право.
Но я смеюсь, в траву упав,
У каждого своё ведь право.

* * *

Чёрная ль работа, белая —
Глаза боятся, руки делают.

Два взгляда

Коза:
«Такой малюсенький, с усами,
Какое постненькое личико?!»
«Фи, — пожал косой плечами, —
Такая взрослая — без лифчика!»

* * *

*Ещё поплаваем! Ещё мы
В такие дали заплывём,
Что в бороде утопим щёки
И в небо лысиной стрельнём.*

Ю. Шаньков

Мой друг давно уже стреляет,
Позволив бритве черепом пройти,
Теперь сидит недоумеваает:
«Чего там ждать, побрился и свети».

* * *

Зачем казнишь себя тревогой вечною,
Когда иду вдоль вашей я завалинки?
Ведь опасение твоё стать вдруг незамеченной —
Как детская боязнь остаться маленькой.

На жалобу

Плохую память ты в себе клянёшь,
Прося прощения с улыбкой кроткой.
Что удивительного: в мире не найдёшь
Того, кто жаловался бы на ум короткий.

* * *

*Бездетному Степану,
всю жизнь шkodившему соседям*

За все дела, свершённые тобой в твой век,
Могу сказать уверенно и просто:
Какой же маленький ты человек,
Хоть и саженого ты роста.

Куйбышевский этюд (дружеский пасквиль)

Дауговский этюд

*Зачем я здесь? Не знаю, право.
Внизу несётся Даугава.
Смотрю на быстрый плеск воды,
На волны, что играют радужно,
И от какой такой беды
Тревожно на сердце и радостно?
А ветер Райниса крылом
Опять лица и губ касается...
И я хочу сказать о нём,
Но ничего не получается...
А на приколе судно бьётся,
Должно быть, быстрое оно,
И небо сизое сквозь пальцы льётся
И выстилает молча дно.*

Владимир Лучик

Газета «Неделя» 6 октября 1968 г.

Зачем я здесь? Я думал долго.
У ног моих буянит Волга.
Смотрю на быстрый бег щепы
Спокойненько и тихо.
И неизвестное ЧП
Мне радость обещает с лихом.
А ветер Разина крылом
Опять на плечи мне ложится.
Хотелось написать о нём,
Да вот никак, могу хоть побожиться.
Перо ли, что ли, не того,
Как говорят, заело.
А было быстрое оно
И, как сегодня, не скрипело.

* * *

Тянусь рукой к бумаге снова
Стих записать. Но для чего?
Ведь ни одно мной сказанное слово
Меня не выразит всего.

Любителю учить

Всегда и всех учил всему.
И так усердно лез из кожи,
Что было некогда учиться самому —
Так неучем и прожил.

* * *

В толпе не затеряешься, ты ведь не безлик.
И не стучуешься в учёном споре.
Тебе при жизни б памятники ставить впору,
Ведь как глупец ты так велик.

* * *

То я на пальчики твои холёные смотрю,
То вдруг кулак рассматриваю свой грузный.
Всё думаю. Но, видно, не пойму,
На что пригоден ум твой заскорузлый.

* * *

Вот поживу, наплачусь, налюблюсь
И доучусь я пенью,
А уж тогда, тогда и возвращусь
К неоконченному стихотворенью.

* * *

Зачем мудрить над рифмой, право.
Негромок шаг мой, голос тих.
Слова растут, как сочная отравка,
Я с простотой родню свой стих.

* * *

Как много на селе родни моей живёт.
И я родства того уж не нарушу.
Но мысль порой покоя не даёт:
Найду ли родственную душу?

О себе, читающем чужие стихи другим

Пускай я не сад, а калитка у сада.
Хоть должность такая на вид и проста.
Но большего мне ничего и не надо:
Была бы открытой всегда красота.

* * *

Я эту книгу не писал.
Стихи в ней сами написались.
Любовь свою я потерял,
А вот стихи, стихи остались.

* * *

Могу прожить я ночь без крова.
И сенокосный день без кваса.
Могу прожить я, но без слова,
Но без поэзии — ни часа.

* * *

Объяснить не сумеет птица
Свою же способность летать.
— Как стих этот смог сочиниться?
— Видно просто сумел написать.

На упрёк

...«Кончить писанье» стихов я тебе
не обещаюсь.
Я ведь с моею любовью в себе
не умечаюсь.

* * *

Мне не привыкнуть к этой сини.
Куда б меня ни занесло,
Пешком пройду по всей России
И возвращусь в своё село.

Надпись на пластинке с голосом Ф.И. Шаляпина

В нём русский дух с такою силой
Сам о себе заговорил,
Что после матушки России
Весь мир собою покорил.

Другие ныне славят землю,
Ту, на которой мы живём.
Я знаю их, я их приемлю,
Но чаще думаю о нём.

Планета любви

Английский язык в нашем седьмом классе преподавал Петр Петрович Саушкин. Вообще-то он был учителем немецкого языка, который постиг, как мог, на фронте. Пригодилось. Кроме Петра Петровича учителей иностранного языка в школе не было.

Говорили, что английский выучил он после ранения, когда лежал в госпитале. Еще говорили, что служил Саушкин в разведке и имел контузию. То, что учитель контужен, видно было сразу. У Петра Петровича постоянно тряслись руки.

Часы с цепочкой он носил то в кармане пиджака, то в кармане светлой рубашки. И доставая их нетвердой рукой, всегда рисковал уронить. Все бы ничего, но он временами забывал, на каком языке говорит.

Так случилось и в этот раз. Учитель заговорил по-немецки, который половина из нас раньше учили. Но был-то урок английского.

Первым не выдержал Колька Ракитин.

— Во, дядь Петя шпрехает! — громко, нисколько не стесняясь, удивился он. — А на каком языке говорить нам?

Учитель, не закончив фразу, перешел на русский:

— Ракитин, не мешай работать остальным, если тебе не интересно.

— Не... Не интересно! — звонко согласился Ракитин. — Зачем нам немецкий? Гитлер капут!

И тут учитель, не вполне оценив характер Кольки, как мог строго сказал, мотнув не совсем послушной рукой:

— Тогда марш из класса! Чтоб я тебя через минуту не видел! Фигляр!

Лучше бы учитель не говорил последнего слова «фигляр». Да еще так презрительно.

Кольку оно задело, и очень. Он завелся. Сначала дернулся, но тут же, овладев собой, вежливо так поинтересовался:

— Какой футляр?

Раздался смех. Кажется, учитель не расслышал, что сказал Колька. Но требовательности в голосе прибавил:

— Немедленно, вон из класса!

— Ага, сей момент. Ван минитс, так сказать. Только засеку времечко!

Сказав так, Колька, поднявшись за партой, стал изображать, как Петр Петрович достает часы. Медленно, подергивая кистью, занес он правую руку так, как это зачем-то делал учитель, над головой, как бы приветствуя кого-то. Потом медленно и судорожно опустив ее к подбородку, выровнял движение горизонтально и, быстро двинув вперед, согнул кисть и тотчас два пальца упали в оттопыренный карман рубашки. Оттуда пальцы его вернулись быстро и, расправившись перед самым носом их хозяина, явили воображаемые часы.

В классе неуверенно захихикали, озираясь то на Кольку, то на учителя.

— А где футляр? — невинным голосом спросил Ракитин, озираясь.

Артистичен Колька, но уж больно беспощаден. Петр Петрович, побледнев, бросился к ученику. А тот, будто ожидая того, легко перескочил на другой ряд парт.

— Выйди, я сказал! — визгливо пронеслось уже на заднем ряду.

Кольке не хотелось выходить. Но куда деваться. Он уже прыгал по пустым партам вдоль стены к раскрытому окну около учительского стола.

— Догоню, по стене размажу! — неслось ему вслед.

Последняя фраза учителя явно была преувеличением физических его возможностей. Однако преследуемый решил избежать лобового столкновения.

— Пока! — приложив ладошку к виску, спокойно произнес Колька и выпрыгнул в палисадник, в густую кленовую поросль. Над этой порослью возвышался высокий старый клен, приютивший не весть откуда взявшихся чинных скворцов. Видно, они отдыхали на начавшемся своем перелете. Птицы дружно взлетели. Колька, с шумом приземлившись, исчез из нашего поля зрения. Он вел себя, как вольная птица.

Как ни странно, учитель английского, подойдя к столу, довольно спокойно продолжил урок. Большинство же из нас сидело опустив головы. Переживали за Петра Петровича. Но и за Кольку тоже!

В тот день случился еще один «выгон», как мы называли укоренившуюся манеру учителей выпроваживать из класса провинившихся.

* * *

Учебный наш день заканчивался географией. Ох, уж эта география!

Когда учительница географии Елизавета Кирилловна входила в класс, мне казалось, что являлась сама скука. Учительница была почти всегда в светло-коричневом строгом костюме. В белой блузке с большим отложным воротничком. Глаза и волосы у нее — темные. Лицо бледное, малоподвижное. Даже не бледное лицо, а белое, без оттенков. И все непременно строгое: прическа, голос, взгляд.

И такая фамилия: Бескровная...

Я начинал, кажется, догадываться, почему она такая: «Она, наверное, в чем-то несчастна, ей где-то в чем-то очень важном для человека не повезло». Но мы не знали, в чем. Учительница была приезжая. Жила на квартире.

«Она отработывает положенный ей срок, никак не дожидается своего дня. А отработает — и исчезнет. Что ей такой здесь делать? Еще молодая, а у нас инвалиды кругом да старики, — думал я, — мы ей в тягость, надоели, как горькая редька. И местные учителя почти все держат коров, овец. У них натруженные руки и усталые лица. Они ей со своей жизнью неинтересны. Мы для нее как папуасы».

Может, она нам казалась скучной от того еще, что было с кем ее сравнивать.

То ли дело учитель географии в восьмом классе Борис Григорьевич Курганов! Он давно — живая легенда в школе. Кто с ним сравнится!

Он как слон, добродушный и гораподобный, заслоняет всех, кто рядом. Выходит из учительской и все преображается в коридоре. Пока он как обычно идет до нужного ему класса, успевает кого-то остановить и потрепать за чуб, кому-то погрозить пальцем.

А знаменитая его привычка: брать двумя пальцами за ухо! Это называлось «за ушко да на солнышко». При этом он обязательно приговаривал что-то вроде:

— Что же ты, голубчик, ногти не постриг? Я тебе второй раз замечание делаю. Кумекаешь?

Он делал весьма строгое лицо и пыхтел при этом. Казалось, вот-вот рассердится так, что мало не покажется, пыль пойдет! Курган!

— Неадерталец ты эдакий! — грозил он пальцем. — Вот заведу в учительскую и ногтищи вместе с пальцами твоими отчикаю ножницами. Заодно и уши поубавлю.

А порой он ловил ухо провинившегося бедолаги всеми пятью пальцами, горстью, в которой могла запросто поместиться голова любого самого крутолобого нашего отличника. Не забывал он в такие моменты слегка покручивать ухо туда-сюда, для остратки.

Были у него и свои любимчики, которым он крутил ухо чаще остальных. Мог дать и легкий щелбан, совсем не обидный, наоборот как свидетельство особого своего расположения. Те, кто попадал под внимание Кургана, даже как бы гордились таким расположением учителя географии. У многих ребят в школе отцы не вернулись с войны. Не хватало мальчишкам мужского общения, потому и отзывчивы были на внимание взрослых. Теперь-то я много лет спустя понимаю это.

Ребята из восьмого класса рассказывали нам, что учитель географии не требовал никогда на уроке тишины. Громко сам кашлял, сморкался в большущий платок. Шуму больше было от него. Тишина устанавливалась как бы сама по себе, когда ей это надо было.

Когда же это случалось с задержкой, он мог искренне удивиться. Сказать что-нибудь такое:

— Что-то вы сегодня расшумелись у меня! Как индейцы у костра! А ты вот, вождь краснокожих, — он направлял свой огромный полусогнутый указательный палец на кого-нибудь из особо резвых, — утомонись, пятки обжечь можешь... Зря я тебе на прошлом уроке пятерку с плюсом поставил, под настроение попал...

Все замолкали, ждали, что учитель скажет дальше.

Нет, уроки географии в восьмом классе намного интереснее, чем у нас в седьмом.

Первым в тот день отвечать урок Елизавета Кирилловна подняла Женьку Карпушкина. Женька урок явно не выучил.

Он пробовал что-то связать. Но ему это не удавалось. Все то малое, что слышал на уроке, куда-то провалилось у него, словно через крупное решето. В классе воцарилась тягучая тишина.

И тут учительница задала наводящий вопрос:

— Что влияет на развитие географической оболочки? Я вам рассказывала про Вернадского. Кто он такой? Чем занимался, особенно в войну?

Женька молчал. Потом как бы пожаловался или попробовал удивиться:

— О Вернадском? Вы давно говорили. Это. Он был... ..Он про насекомые организмы всякие...

— Насекомые организмы? — повторила Елизавета Кирилловна. — Это как в огороде бузина, а в Киеве — дядька.

Карпушкин, поевшись, замолчал.

— Верзила какой, — вполне искренне удивилась географичка, — а двух слов связать не может! Не стыдно?!

Может, Карпушкину и было стыдно, но все равно он явно не помнил, кто такой Вернадский, да и причем он здесь.

И тут поспешил на выручку друга отчаянный голубятник, хитроватый Витька Говорухин, по-уличному — Ширя:

— Елизавета Кирилловна! — он выпрямил высоко над головой свою длинную, как складная штaketина, руку.

— Тебе чего? — спросило подозрительно учительница.

Витька встал:

— Мне это, надо очень...

Раздался сдавленный смешок: «Приспичило».

— Не туда, куда думаете, дураки, — отреагировал, ни на кого не глядя, Ширя. И взглянув просительно прямо в лицо Елизавете Кирилловне, продолжил:

— Мне корову надо подоить. Мамка в поселок уехала. Катя с битоном ждет.

Снова раздался смешок.

Кто-то с задней парты поинтересовался дурашливо:

— Чью корову-то?

— Выдумываешь, чтобы выручить дружка своего — это раз, — строго произнесла учительница. Мельком взглянув на Карпушкина, которому наверняка уже подсказали ответ, как бы мимоходом, что было обиднее всего, наставила нерадивого:

— А ты, если думалка есть, думай!

И уже Говорухину:

— А во-вторых, не битон, а бидон! Ясно?

Витька, неуклюже сложившись, нехотя сел, пробубнив:

— Меня Петр Петрович отпускал, а вы... бидон... И про Вернадского в учебнике нет?

Похоже, ему действительно надо было идти в стадо на дойку. Я видел, как утром его мать тетка Дарья куда-то мимо наших ворот шла, явно торопясь.

Вспомнив про Карпушкина, учительница спросила, усмехнувшись:

— Отвечать будешь?

Тот молчал.

Во мне смутно росло несогласие с происходящим. Я смотрел на учительницу, на то, как она командует, и становилось не по себе. Словно кто толкнул меня. Тихо, не зная, для чего, будто самому себе, негромко, но внятно я безотчетно произнес:

— И чего она прицепилась? Женька — партизан еще тот! Не выдаст своих. Тем более Вернадского. Чем он занимался?!

Я не был готов к тому, что последовало потом. В классе раздался громкий, дружный хохот.

— Ватагин, встань! Вернадский — великий ученый, а ты па-ясничаешь!

Все ясно, веры в мою серьезность у нее не было никакой. Ни капли! И откуда взяться этой вере, если на предыдущем уроке, рассказывая у доски об открытиях европейцами Памира, Китая и, намереваясь произнести имя великого итальянского путешественника Марко Поло, я ни с того ни с сего ляпнул: «Хрущев». И остолбенел, не понимая самого себя. С чего бы это? Зачем здесь эта фамилия? Ее на радио хватает.

Хохот в классе был посильнее сегодняшнего. Но материал я знал и получил в тот раз четверку. Сейчас под грозную команду учительницы я встал.

— Что ты себе позволяешь? Шутовство на уроке?! Все вы...

Я пожимал плечами и, наверное, выглядел еще глупее Карпушкина.

— А ты сядь! — бросила она в сторону Женьки.

— Что ты вытворяешь? — прозвучал вновь вопрос.

Ответа на него я не знал, поэтому молчал крепче Карпушкина.

— Ставлю тебе единицу! — воскликнула она. И, кажется, обрадовалась своим словам: впервые с начала урока на ее лице появилась улыбка. Но неприятная такая.

— За что? — автоматически вырвалось из меня.

Последовал не ответ, а изумленно, кажется, искренне исторгнутый ею вопрос:

— И ты не понимаешь, за что?

— Нет, — произнес я.

— Выйди из класса, тогда поймешь!

Когда я уже подходил к двери, Колька встал из-за парты:

— А ты куда? — последовал окрик учительницы.

— Я тоже уйду, — веско произнес Ракитин, — не привыкать...

Кажется, учительница растерялась. Последовала пауза. Колька уверенно пошел к выходу. Но когда поднялся Говорухин, она встрепенулась:

— Ты?

— Я тоже уйду.

— Всем сидеть! — опомнившись,скомандовала Елизавета Кирилловна. — Всем оставаться за партами.

Она, кажется, чего-то испугалась. Ее слова прогрохотали, как пустой Женькин «бидон» по школьному крыльцу. Когда мы с Колькой оказались на улице, он спокойно предложил:

— Давай бросим школу. Долбили эти...

Я опешил:

— Мне нельзя.

— Почему?

— Если из школы уйду, то из драмкружка выгонят.

— Сдался он тебе! — удивился Колька. — Кружок!

Я промолчал.

Участие в постановках, те роли, которые мне доверяли играть, было для меня самое важное в школе. Все говорили, что у меня талант. И я начал с замиранием сердца верить в это. Я не знал, как об этом сказать. Да и надо ли говорить ему о моем самом главном. Я тайно мечтал стать настоящим артистом. Непременно! Первым из нашего села!

Колька жил на нашей улице, в самом Золотом конце, поэтому шли мы вместе довольно долго.

— Не надоело такую махину носить! — спросил я, указывая на холщевый мешочек с большой фаянсовой чернильницей-

непроливашкой, болтающийся, как колотушка, на бечевке у ручки портфеля.

— Другое дело, вот, — я указал на свою: из прозрачного стекла, изящную, раза в два меньше его.

— Вовка Дементьев, бобыня этот, во вторую учится. Может, со своими меня подловить. У них подпуски на Самарке за коровьими ямами украли. Я знаю, кто спер: Ванька Тумба, а они думают, я.

— Ну и сказал бы! Достанется за других.

— Ты че! Я не доносчик! Сами разберутся.

Он вынул свою непроливашку, зажал в правой руке:

— Вот попробуй, подойди! Не хуже свинцовой бляхи. Так свистнуть можно!

Все выглядело вполне убедительно. И слова его, и жест. Я видел такие непроливашки в деле. Ими можно было отбиваться от любого недруга.

А Колька дрался всегда стойко. В нем, казалось, отсутствовало чувство страха напрочь. И часто был крепко бит, поскольку силенок в нем было не ахти сколько. И откуда им взяться в таком тощем теле. Хотя он и был почти на два года старше всех в классе, ростом не выделялся. Но в драке его не останавливала ни собственная кровь, ни количество противников. Он имел характер бойцовского петуха. Кто видел петушиньи бои, тот знает, что это такое. Дрался, пока стоял на ногах. Лежачих у нас не били.

Если уж упомянуты чернильницы, надо сказать и про перья, которыми мы писали. Перья у нас тогда тоже были двух видов. Мы называли их «мышками» и «лягушками». Они были съёмные, легко вставлялись в деревянные ручки с особыми металлическими наконечниками. «Мышки» были сухонькие, с твердым утолщением на кончике. Они писали без нажима, ровно, почти как шариковые ручки.

Другое дело «лягушки» — мягкие, они имели такой раздвоенный тонкий кончик, который при легком нажиме расходился, позволяя писать буквы и линии разной толщины. Получалось красиво. Мальчишки любили писать «мышками», с них реже капали чернила на бумагу и не так марали ее, а баловались мы «лягушками». Если к «лягушке» приспособить оперенье из тонкой бумаги, то при броске этот снаряд летел далеко и надежно впивался в цель.

Колька и в этом деле был не из последних.

На следующем уроке Елизавета Кирилловна подняла первым меня.

— Что вы знаете, Ватагин, о странах Восточной Африки, в частности, об Эфиопии? Поделитесь! — Ее «вы» ничего хорошего не обещало.

Я читал в учебнике про Эфиопию, но все, что теперь делает учительница, мне казалось неправильным, не таким, каким должно быть. Меня это тормозило.

Почему она сразу начала сегодня с меня? В галоп, после того, как выгнала из класса. Эта ее усмешка при слове «поделитесь»! И страна-то: Эфиопия!

— Я не буду отвечать.

Сказав так, я прямо посмотрел перед собой. Взгляды наши встретились. В ее темных раскосых глазах вспыхнул огонек, как мне показалось, какой-то радостный даже. Пока открывала журнал и искала мою фамилию, она скороговоркой произнесла, кажется, два раза или три:

— Вот и ладненько, вот и ладненько! Ставлю единицу. Вторую, Ватагин! Заметь, несмотря на то, что все говорят мне, что ты способный.

Дневник она у меня не потребовала. Очевидно, догадалась, что я не дам его. Из принципа. Хотя дома его у меня никто никогда не проверял.

По классу прошелестел шепоток. Она быстро его погасила, подняв для ответа нашу круглую отличницу Нинку Милютину.

И поплыл над головами четкий, уверенный голосок:

— Эфиопия находится в Восточной Африке, в основном на Эфиопском нагорье. Столица — город Аддис-Абеба.

«Сдалась нам эта Аддис-Абеба, — уныло думал я, — Эфиопия находится в Африке, а где теперь нахожусь я? С этими двумя моими единицами?»

Я не знал, что будет дальше, но уже понял: отвечать я и в следующий раз не буду.

После урока Колька одобрил мое решение.

...Вскоре в журнале против моей фамилии стояли уже три единицы.

Выждав, когда я оказался один, подошла Нинка Милютина.

— Володь, тетя Нюра хотела зайти забрать белую рубашку и не зашла. А концерт-то послезавтра.

— Помню, — буркнул я, — ты не переживай, что тебе пятерку за Эфиопию поставили, а мне — единицу. Ты не при чем.

— Я не переживаю! С чего ты взял! Я о рубашке!

О рубашке мне совсем уж не хотелось говорить. Я стеснялся. У меня никогда не было белой рубашки, как не было их и у многих в школе. Но я был артист. Мне она периодически требовалась для сцены, и моя мама брала напрокат.

На этот раз она договорилась взять у Милютиных. У Нинки был старший брат. Можно было бы и не у них. Почему она так сделала, чтобы обязательно была замешана Нинка?

Нинка предложила:

— Пойдем вместе, возьмешь. Ее еще постирать надо, погладить.

Я совсем сконфузился от таких подробностей.

— Нет, — заторопился я, — раз мать сказала, что зайдет, то так и будет.

— Володь, я еще про географию, — начала Нинка.

— А что про географию? — уже от калитки школьного двора спросил я.

И сам же ответил на манер своего отца, ядрено так:

— Чему бывать, того не миновать!

И заспешил к Кольке, который семафорил, дожидаясь меня по ту сторону ограды.

Когда всем в классе стало ясно, что меня «заклинило», я не сдамся, отличница Милютина предложила идти всем вместе к завучу школы. Я наотрез отказался, Решили идти без меня. Но сложилось по-другому.

Перед очередным уроком географии меня пригласила к себе завуч Анна Трофимовна. Об этом мне сообщила все та же Нинка:

— Ты иди, пока там Борис Григорьевич, — глаза у нее округлились, — не заваривай новую кашу. Зачем тебе?.. Ты такой...

«Опять эта Нинка, — дрогнуло во мне. — Зачем она суется везде?..»

Отец Нинки, суровый, немногословный Петр Никифорович, был у нас председателем колхоза. Начальник, и еще какой. К нему отец иногда ходил просить лошадь, чтобы подвезти сено, дрова. Мало ли чего в хозяйстве надо. Как правило, моему отцу, вернувшемуся с фронта инвалидом 2-й группы, председатель никогда не отказывал.

Но он был отец Нинки. Самолюбие мое было уязвлено этой явной зависимостью моего отца от ее. Будто была какая-то ранка на моем теле, и Нинка всегда могла в нее ткнуть своим длинным пальчиком, чтобы сделать мне больно.

Меня это тяготило.

Хотелось быть независимым и самостоятельным. А она командует...

Когда я подошел к учительской комнате, дверь была приоткрыта. Я услышал сердитый голос Бориса Григорьевича — учителя географии:

— ...а из таких, как Колька Ракитин, вообще на фронте Матросовыми становятся, а мы их глушим... Затюкать любого можно...

Дальше я не слышал, дверь быстренько прикрыли.

Услышанное меня повергло в некоторое размышление, которое было прервано в учительской:

— Владимир, ты понимаешь, что делаешь? — спросила строго Анна Трофимовна, когда я подошел и остановился около стола с телефоном. Завуч стояла, положив руку на телефонную трубку. Это выглядело несколько неестественно.

«Если я отвечу, что не понимаю, она будет куда-нибудь звонить, — подумалось мне, и я невольно усмехнулся своей нелепой мысли, — в милицию, пожарку? Или моим отцу с матерью, которые телефонную трубку-то ни разу в руках не держали. А сейчас ушли, наверное, за овцами на калду. Собирались стричь во второй половине дня, когда я приду из школы.

Я молчал.

Завуч продолжила:

— Здесь молчишь, как гогона, а в классе ты пытаешься срывать уроки географии!

— Как? — невольно вырвалось у меня.

— Со второго урока в этой четверти увел всех ребят из класса на стадион?

— Увел? — не выдержала Елизавета Кирилловна.

— Но нам же сказали, что вы больны. Мы просидели пятнадцать минут, не дождалась. Я предложил — все согласилось. Пошли гонять мяч.

— У тебя каждый раз какие-то отговорки. Это носит системный характер. Ты хочешь быть всех умнее? Какой пример

ты подаешь остальным? — голос у завуча начал звенеть. Она убрала руку с телефона. Села за стол.

— Анна Трофимовна, мы же... — не выдержал Борис Григорьевич.

Я встретился взглядом с Петром Петровичем, стоявшим у окна, и, показалось, что он мне одобрительно подмигнул. Так ли это было? Или просто у него обычный его нервный тик? Но мне стало легче. Я почувствовал себя увереннее.

— ...вот именно, мы договорились, — завуч укоризненно, как на школьника, посмотрела на Бориса Григорьевича. — Вернее, договоримся.

Теперь она глядела на меня в упор:

— Ты отвечаешь на уроке Елизавете Кирилловне. Не менее трех раз. Иначе будет двойка за четверть. Понял? — проговорила Анна Трофимовна. — Родителей твоих в школу не затащишь арканом. Думай, голова, сам!

— Руку поднимать я не буду. Не могу. Спросят, отвечу, — заявил я.

— Почему не будешь? — географичка подошла к окну и встала рядом с учителем английского языка. — Ну и упрямец!

Петр Петрович начал что-то ей шептать, едва не касаясь очками ее неестественно белого лба.

— Хорошо, пусть будет так! Но исправляйся, Ватагин! — согласилась с моими условиями завуч и напоявила, взглянув на нас обоих: меня и Бориса Григорьевича:

— У нас школа, а не запорожская вольница.

«Как плохо, что среди учителей всего два мужика», — думал я, выходя из учительской.

Поднимать руку в классе я действительно не мог. Я воспитывал как раз в то время таким образом свою волю. Дал себе еще в шестом классе зарок: отвечать только тогда, когда спросят. Так я, молча, еще противостоял нашим отличникам. Мне не нравилось, как они тянули руки. Нинка к ним не относилась. Она была особенная. О моей затее знала только она. Я ей сказал, чтобы труднее было нарушить этот свой зарок. Нинка была как заслон. Теперь мне показалось, что она проговорила. Что шептал на ухо географичке Петр Петрович? Это вопрос! И почему именно Нинку послали за мной?..

Вскоре рядом с тремя единицами по географии в журнале против моей фамилии красовались три пятерки.

— Видишь, — наставительно говорила мне Нинка на репетиции в драмкружке, где она всегда была на вторых ролях и нисколько, кажется, не тужила на этот счет, — видишь? Если не своевольничать, можешь стать отличником.

А я не видел такой моей перспективы.

Ходить в школу расхотелось. Стало неимоверно скучно. То, что получил три пятерки по географии мне не казалось победой. Я бредил сценой, и эта история с единицами, а потом пятерками, казалась мне глупым спектаклем, на котором меня, заставив прилюдно, на публике снять штаны, высекли. При Нинке, которая так ничего, кажется, и не поняла. Или притворяется?

Мы перестали с Колькой ходить на уроки, Последние события в школе нас сблизили.

Там, за Мижавовыми, по ходу в школу, стояла заброшенная деревянная банька. В ней мы прятали сумки и, не дойдя до школы, брали вправо, в переулочек, а там до речки — уже самая малость. Не каждый день, а так, через раз, мы оказывались на речке. Дома думали, что мы уходим в школу, в школе мы говорили, что заняты с родителями по хозяйству. Такая причина: помощь родителям, считалась временно вполне уважительной, особенно для учителей, имеющих свое хозяйство.

Вскоре у нас появились и удочки на речке. Их мы домой не носили, прятали в зарослях шиповника. Кто туда сунется?

Рыбак из Кольки оказался никудышный. Я впервые видел, чтобы на рыбалке сидели и читали. И кто? Колька Ракитин! Он носил с собой потрепанную книжку, точнее, толстенное такое пособие по астрономии.

— Откуда она у тебя? — удивился я.

— Помнишь, жил учитель на квартире у бабки Ваньковой? Она одна. Сыновья куда-то разъехали. Когда уезжал, оставил на память. Мы с мамкой ходили к ним. У бабки на огороде себе картошку сажали. Ты знаешь, отчего бывает солнечное затмение? — сходу огорошил он вопросом.

— Нет, — произнес я.

— А затмение Луны?

Я мотнул отрицательно головой.

— Ну вот, — протянул Колька, — а еще почти как Нинка — отличник.

— Да иди ты! — отмахнулся я.

— Иди ты, — произнес Колька с ударением на «ты». — Расскажу. Учись, пока я жив.

И он начал рисовать прутиком на мокром речном песке Солнце и Землю. С этого дня я стал познавать азы астрономии. Колька был неистощим. Он знал такое множество вещей про небо и звезды, что у меня кружилась голова.

— А телескоп, знаешь, как устроен! — восклицал он.

— Нет, — отвечал я.

— Посмотри схему, тут есть.

Я откладывал в сторону удочку и принимал в руки драгоценную Колькину книжку.

— Телескоп, — говорил тем временем мой ученый приятель, — можно сделать из линз, а можно из вогнутых зеркал. Вогнутое зеркало сделать легче. И телескоп будет сильнее. Вот если бы у нас был учитель по астрономии, можно бы попробовать. Кружок бы организовали! А не эти уроки труда: табуретки мастерить.

— Да ты что? Самим сделать телескоп?

— Самим! — уверенно подтвердил Колька. — Поляк Ян Гевелий был пивоваром, а англичанин Гершель — музыкантом. А такие телескопы соорудили! Гершель потом открыл планету Уран, представляешь? И это в восемнадцатом веке! Благодаря телескопам!

У меня многое не укладывалось в голове. Он приводил имена, названия звезд, чертил схемы на мокром песке. И все легко, свободно, будто это привычное дело.

— А Кеплер! — вдруг спохватывался он. — Бедняк был совсем, а открыл законы движения планет вокруг Солнца. Их никто еще не опроверг, законы эти. Прошло почти 400 лет. Понял?

Если бы даже приятель и не признался, что хочет быть астрономом, все равно это было ясно. Но он сказал мне об этом.

И я почувствовал под его напором собственную слабость. Желая стать артистом, я никому не говорил об этом. Таился. А он вот так, безоглядно: «Буду!» — и все!

Что ни говори, на реке здорово. И главное: мы одни! Можно рассуждать, не оглядываясь! Тут нет прицельных беспощадных взглядов Елизаветы Кирилловны, нет упреков, пускай и справедливых. Тут некому тебя жиливать, кроме комаров и слепней. Тут много чего нет...

Но есть огромное широкое небо.

Что бы Колька ни делал, на реке он не отвлекался от своего главного. Насаживал червяка на крючок, спохватившись, удивлялся вслух:

— Знаешь, Венера в полтора раза ближе к Солнцу, чем к Земле. Значит, там тепло! А если тепло, то есть и жизнь. Эта жизнь должна быть похожа на земную. В романах пишут, что из земноводных там развиваются разумные существа: ящеролюди. А дальше что? Из ящеролюдей могли давно уже получиться сверхумные существа, которые обогнали во всем нас. Мы не одни, понимаешь?

...В другой раз, лежа на песке и обратив лицо в небо, Колька рассуждал:

— Утром и вечером Венера всех ярче на небе. Мне кажется, что Земля и Венера раздумывают, как сблизить свои орбиты. Когда-нибудь Венера приблизится настолько, чтобы на Земле потеплело. И тогда кругом в самых зимних широтах зацветут сады.

— Как же это она приблизится? — возражал я.

— А так! — Колька смотрел на меня пристально, как географичка. — Все, что вокруг нас, кем-то создано. И продолжает совершенствоваться, улучшаться. Не враз же все получается.

Для меня сказанного было чересчур. Я подумал, что он шутит, и попробовал перевести все на доступный мне, понятный уровень:

— Чудак! Льды на полюсах растают и нас затопит.

— Не затопит. Потепление будет медленным, испарившаяся влага частью уйдет на Венеру, чтобы оросить пустыни, частью в космическое пространство. Об этом позаботятся венерианцы. Но зато представляешь: кругом на Земле зацветут сады. Не будут вымерзать! Сейчас только у Жабина и Сафронкина сады. У остальных, у кого были — вымерзли. А тогда у всех будет виноград и все такое, разное. Все, что только может расти, — будет! В Сибири столько места. Продуктов будет сколько надо!

Войны будут не нужны. Представляешь? Сколько народу сохранится. У нас половина мужиков погибла, остальные — калеки. А тогда...

Я был поражен размахом Колькиной мысли и не возражал, бесполезно. На все мои сомнения он находил уверенный ответ. Это немного настораживало.

— Тогда уж не Венере, а Солнцу надо приблизиться. Или нам к нему, — попробовал я порассуждать.

— Чудак, Солнце — не планета, не твердое тело. Оно — ступок раскаленного газоподобного вещества. Может испепелить. А на Венере разумные существа. Это совсем другое дело. Венера — планета Любви. Земле необходимы тепло и красота. Чтоб кругом цвели сады и пели птицы. Ты понимаешь, тогда какие люди будут!

— Какие? — спросил я.

— Какие-какие? — рассердился отчего-то Ракитин. И не найдя точного определения, ответил: — Не такие, как Елизавета Кирилловна.

— Коль, — шагая по песчаной дорожке к реке, решил признаться я, — непонятно мне, как это наша Вселенная не имеет границ. И галактики разбегаются одни от другой?

— Как! — восклицал приятель, — вот возьми воздушный шарик, нанеси на нем химическим карандашом точки и начни надувать!

— Где тут у нас взять воздушный шарик-то? Не продают. Только на майские праздники...

— Вовк, ну ты даешь! Мысленно возьми и надувай! Что получится?

Я не готов был ответить. Отвечал Колька:

— Точки на шарике — это галактики! Надуваешь шарик: галактики разбегаются, понял? Расстояние между точками будет становиться все больше и больше. Вот и все!

— Коль, — еще раз решил я уточнить. — Шарик когда-нибудь лопнет. Тогда что?

Ракитин смотрел на меня, как на идиота, и молчал со значением. А я, как бы оправдываясь, пытаюсь показать, что я не такой уж и безнадежный, вновь спросил:

— А почему так? Кто надувает, нет — раздувает кто воздушный шарик, ну Вселенную, то есть?

— Сам пока не понял, — сознался Колька. — Так устроено все! Не я придумал. Вот для этого учительница по астрономии и нужна.

* * *

О запуске первого спутника Земли из-за пропуска занятий в школе мы узнали только вечером дома. На другой день, когда мы с Колькой шли в школу, он тормозил меня:

— Вот теперь, Володька, началось настоящее!

— Что настоящее-то? — допытывался я.

— Как что? — удивлялся моему непониманию приятель. — Теперь всю развернется такое... Будем осваивать космос! Нельзя остаться в стороне

После его слов и я поверил, что в школе теперь творится небывалое. В стране вон какие дела!

Когда мы вошли в школьный коридор, уборщица тетя Даша покрикивала на тех, кто, подбежав к алюминиевому бачку напиться, проливал в спешке воду на потемневший от сырости пол:

— Матусите без конца, в глазах ажник рябит...

К ней давно все привыкли, как к почерневшему бачку с водой, и не боялись.

Борис Григорьевич в своем неизменном темно-синем добротном костюме, как ледокол, легко рассекая разноцветный ребячий поток, шел по коридору. И улыбался. Шедшие навстречу ему ученики, тоже невольно улыбались. Некоторые из них не забывали при этом, приближаясь к учителю, прикрывать на всякий случай ухо ладошкой. Помнили его цепкие пальцы.

Никто не говорил о немедленном освоении космоса.

Вчера с утра объявили о запуске спутника. Вчера все и радовались. А сегодня в школе не было ничего «такого». Все шло своим ходом.

* * *

Уже и берега нашей речки украсились желто-янтарным румянцем осиновых и березовых колоков. И пролетных птиц не стало, а лето далеко не уходило. Было тепло и уютно.

Я потерял интерес к удочкам. Быть на реке и не рыбачить! Такое со мной случилось впервые.

Частенько и подолгу, запрокинув голову, глядел я в небо, такое же, как и летом, с причудливыми перьями облаков, разбросанных кем-то сверху над серебристой рекой. Глядел в хрустальную синеву, неведомо как и кем созданную. Я смотрел в бесконечность, которую стал чувствовать и к которой начинал привыкать.

Октябрь баловал нас. Он как бы дарил нам то, что мы, ребяташки, недополучили летом, связанные по рукам и ногам постоянной нехваткой времени из-за необходимости помогать родителям по хозяйству.

...Покров день прошел, уже не видно грибников в лесу. Прозрачный, щемяще нежный день держит нас в плену. И сегодня мы одни на берегу. И вновь никто нам не помеха. Как не хочется думать, что надо возвращаться туда, где со всех сторон очерченное особыми искусственными правилами поведения, пространство, где как бы постоянно моросит надоедливый нудный осенний мелкий дождь, и размеренный бесстрастный звонок из раза в раз загоняет всех, в том числе и учителей в маленький, словно вырубленный в теле большого увлекательного мира, узкий колодец. Этот колодец — школьный класс, где всякая щель — пицит. В нем натыкаешься с особой холодностью, назидательностью, которые рано или поздно толкнут тебя чаще всего на спонтанное сопротивление, которому сам удивишься и сам не будешь знать ему ни меры, ни толкового объяснения. Будешь выглядеть строптивцем, а то и просто хулиганом.

* * *

Саманная избенка Ракитиных в самом конце улицы. А улица упирается в луговое раздолье. С ильменьком, наполненным, как водится, всякой живностью — и плавающей, и летающей.

Мне не было особой нужды ходить на дальний конец улицы. Наш дом посередке ее, а школа — почти рядом. Но там, где заканчивалась улица и распаивалась широкая желто-зеленая луговина, над головой было особое, звездоносное небо! Одно для всех. И для нас двоих с Колькой.

Возможно, эта луговина и ильменек уберегли нас от громкого скандала, связанного с нашими отлучками на речку. Мы чаще стали приходить после школы сюда, в этот неограниченный, неподконтрольный никому, необъятный класс, являющий собой часть таинственного, бесконечного мира, название которому: Вселенная...

В октябре здесь затишье, а летом уже от Колькиной калитка, по его словам, было слышно, как в изумрудной зелени и в бездонной сини творят свой торжественный гимн солнечному дню всякие певчие птицы: от соловья и жаворонка до овсянки. Овсянку я никогда не видел. Колька пообещал мне ее показать.

А пока вечерами он рассказывал мне о звездах, которым древние люди давно уже всем дали названия. Какое множество этих названий и созвездий! Они теснились в моей голове, не давая успокоиться. Созвездия Большой и Малой Медведицы, Волопас, Гончих Псов, Медузы, Персея, Орла, Лебедя и Лиры... Я никогда раньше не слышал о таких звездах: Ригель, Сириус, Вега, Альтаир! А Колька говорил о них, не заглядывая в книжку.

* * *

Сколько бы мы еще пропускали школьные занятия, неизвестно. Случилось непредвиденное. В очередной раз возвращаясь из отлучки на речку, мы по заведенному порядку, захватив свои сумки, пробрались к общему реденькому потоку ребят и пошли степенно по домам. И тут из магазина впереди нас вышел мой отец. Он пошел перед нами, метрах в десяти-пятнадцати.

Все бы ничего, но, обернувшись, я увидел на таком же примерно расстоянии шедшего сзади нас нашего учителя русского языка и литературы. Он двигался в том же направлении, что и мы. Учитель жил на нашей улице.

Сегодня у нас по расписанию была литература. Мы с Колькой вмиг поняли, что учитель вполне может спросить, где мы были? Почему отсутствовали на его уроке?

Я стал попридерживать шаг, стараясь приотставать, чтобы расстояние от нас до моего отца становилось больше, и тогда в случае, если идущий за спиной учитель заговорит с нами, родитель не услышит. Не узнает из разговора, что мы не были в школе.

Колька сразу понял мой маневр и жался теперь ко мне. Таким образом, сближаясь с учителем, мы сами как бы провоцировали его обращение к нам. И в то же время боялись, что разговор будет услышан, так как по непонятной причине отец мой стал идти медленнее, а наш учитель механически маршировал с одной скоростью.

У Льва Николаевича было слабое зрение, он постоянно носил очки. Брало сомнение: может, он и так бы нас не заметил? Без нашего маневра? А тут мы сами, сближаясь, напрашиваемся на вопрос. Мы на какой-то момент зависли над бездонной ямой. И вот-вот могли туда бултыхнуться со всего маху вверх тормашками.

Учитель нас заметил. С недоумением глядя на нас и на наши сумки с книжками, спросил:

— А вы, бурсаки, откуда? Вас не было в школе. Извольте объяснить.

Я растерялся. Мне показалось, что отец услышал его вопрос. Тут же представил, как он сейчас обернется и спросит то же самое. Что говорить?

У моих родителей отношение к школьной учебе детей было, как к работе. Необходимой и первостепенной. Работы и забот дома по хозяйству всегда нескончаемо много, но если я сидел за учебниками в избе или мне надо было идти в школу либо в библиотеку — этому всегда отдавалось предпочтение. Была дана обезоруживающая самостоятельность. В школу они ни по какому поводу не ходили. Оказав мне и учителям безусловное доверие, они тем самым возложили и ответственность!

Я это всегда чувствовал. Чувствовал и тогда, когда, удрав с уроков, сидел не за партой, а с Колькой на речке. Я понимал, что переступил очень важную грань в отношении с родителями. И веду себя недостойно. Но и в школу идти не хотелось. В школе, как теперь мне казалось, кроме Бориса Григорьевича, Нинки и нескольких ребят, все стали неинтересны. На всех набросили общее большущее ярмо, хомут: одни нехотя подчиняются, другие — учителя — как хотят и могут, так и погоняют — и эта бедная колымага — школа — тарахтит, косячит тех, кто находится в ней, трясется на кочках. Душу может вытрясти!

— Я тебя спрашиваю, Ватагин? — Лев Николаевич шел уже так близко от меня, что, обернувшись, я видел родинку на его длинной гусиной шее.

Колька не растерялся:

— Мы, Лев Николаевич, вон с его отцом работали, помогали...

— Да... — неопределенно произнес учитель литературы. И интеллигентно поправив очки, продолжил свой путь. Мне всегда казалось, что несмотря на свои имя и отчество, он был очень похож на Чехова.

Учитель прибавил шагу, видно, чтобы заговорить с моим родителем. Но отец свернул в Ваньков проулок, а мы так и шли прямо. Я шагал как бы по инерции. То, что пережил, когда, как мелкий воришка, чуть было не попался за руку, меня лишило сил. Я всегда знал, что отец меня пальцем не тронет, какая бы провинность ни была. От этого было еще тягостнее.

«Это все Колька», — путаясь, мысленно старался я оправдать себя, хоть в какой-то мере снять с себя непосильную тяжесть. Это его азарт, его заразительность — причина всему. И тут же недоумевал: «Но мне с ним интересно! Во всем! Его астрономия! Он может стать ученым. А с Нинкой интересно? — почему-то возник вопрос. — Интересно, — согласился мысленно я. — Но она девчонка! И это ее стремление к пятеркам! Крутлая отличница, и что с того? Кроме уроков, ничего не знает. Слова роли, когда репетируем, декламирует, как стихи. Как швейная машинка, строчит, и только. Во всем ровная и правильная. Где только этому научилась?»

* * *

Что же делать: ходить или не ходить в школу? Если не ходить, все равно попадешься, рано или поздно.

Через два дня после встречи на улице со Львом Николаевичем, Колька сказал мне, что больше не будет учиться в школе:

— Матери становится все хуже. Говорит, если загнется, мне с двумя сестренками еще тяжелее будет. Пропадем. Она уже переговорила с кем надо. Меня берут в поселке учеником в автомастерскую.

— А астрономия? — вырвалось у меня.

— А когда дождешься, что ее будут изучать в школе? Кто сюда к нам приедет?

И проговорился о своем заветном:

— Я скорее, глядишь, сам телескоп сделаю!

— Где? — опешил я, — в слесарке? Там одни железки!

— Где железки, там все! — последовал вполне уверенный ответ. — Я же тебе рассказывал: Ян Гевелий! Варил пиво и в то же время соорудил сорокаметровый телескоп!

Что я мог сказать? Мне и верилось, и не верилось в Колькин оптимизм.

* * *

...И я решил уйти из школы. Но как сказать об этом родителям? Внутри меня сидел главный довод: сменился художественный руководитель в клубе. Драматический кружок, который он вел, перестал существовать.

«Буду учиться в каком-нибудь училище в городе, начну заниматься где-нибудь в драмкружке, при заводе или где. А там, может, как-то дальше... А в школе? Тупик», — так выстраивал я свои планы на будущее.

Но сказать такое родителям я не мог. Большинство наших ребят после школы уходило в мореходку, в летные училища. А я — в артисты? У меня долго стояло в ушах брошенное Петром Петровичем на уроке английского в адрес артистического Кольки: «Фигляр!»

И хотя там было нечто иное, я понимал это. Но... Я не решился говорить с родителями о своем заветном. Искал другую причину для них. И не находил.

Я несколько дней готовился к разговору с родителями. В школу ходил исправно. Наконец вечером, когда все были за столом, решился, как отец говорил, все разрубить одним махом. Отец разговоров долгих не любил. Едва только возникал намек на подобное, он морщился. Ему всегда было не до каляканья, как он выражался. Ему хватало обычно нескольких слов, а порой одного скупого взмаха руки, чтобы все встало на место.

— Не хочешь учиться? — строго спросил он.

То, что он не удивился услышанному, меня задело. И молчание матери, ее глубокий вздох при моих словах — тоже были неожиданны. Мне показалось, что они уже все знали. Я ожидал услышать резкие слова, а отец медленно бесцветным голосом произнес:

— Не хочешь учиться. Живи неучем.

Сказал так и замолчал.

Я сделал попытку вывести разговор на какие-то практические решения:

— Мне надо куда-то, где... В ФЗУ можно...

— Володя, учебный год уже идет. Зима впереди. Куда сейчас? — тихо и осторожно начала мать.

— У тебя с учебой не ладится или с учителями? — жестко спросил отец, — шарабара в голове

Я не знал, что такое «шарабара». Но мне стало не по себе. Я смешался, не зная, как ответить. Я хотел учиться, но как-то иначе... Не так...

— Вон Нинка-то, она ко всем подлаживается, хотя и отец начальник, везде хорошая. А ты? Больна характер шершавый, — начала мать. — И Колька тебя баламутит. Держись за землю: трава обманет.

Лицо отца сделалось кислым.

— Вольному — воля. Пускай, мать, сам принимает окончательное решение. Пошли загонять скотину. На дворе темно.

Мать повиновалась. Они не спеша, в тягостной тишине оделись и вышли из избы.

Больше в тот вечер мы не разговаривали.

Утром я молча поел хлеба с молоком и пошел в школу.

...Теперь мы с Колькой виделись редко. Он рано уезжал вахтовым автобусом, поздно возвращался. Встретившись с ним вечером на улице, я удивился тому, как он изменился. Говорить он стал мало. Если спросишь, отвечал. И то как бы нехотя. А не спросишь: шел молча. И начал курить.

— Коль, — не удержавшись, спросил я его, — интересно в мастерских?

— Ага, — сказал он и замолчал.

— Ну, а чем ты сейчас занимаешься? — донимал я. Он ответил сухо:

— Аккумуляторы заряжаю и еще разной дребеденью...

Мне расхотелось больше спрашивать его. У меня на кончике языка висел вопрос про телескоп. Но я промолчал, увидев скучные глаза Кольки.

Мне показалось: он знает, что меня больше всего интересует. И боится этого вопроса.

* * *

За неделю до Нового года внезапно для всех умер наш учитель английского языка Петр Петрович Саушкин. Выходил из школы и около крыльца упал: остановилось сердце. Для нас это было какой-то нелепицей. Всю войну прошел, а тут...

Приехали из города военные: солдаты и два офицера. Один — полковник. Оказывается, учитель был военным разведчиком, и о нем писали даже в книге. А мы привыкли, что он не совсем нормальный: то трясется весь, то не в тот класс пойдет, куда надо... Мы не думали, что разведчики могут быть такими. Два боевых ордена и несколько медалей теперь лежали на красных подушечках около гроба. Сейчас они видны были всем.

Еще накануне дни были бесприютно печальными. Когда я шел в школу, студеный ветер перехватывал дыхание. А на похоронах свершилось чудо: ясное солнце в декабре и пушистый снег, падающий на обнаженные головы. Белый снег. Белые снеги, как простуженным голосом сказал учитель литературы Лев Николаевич. Белые снеги все преобразили. Произошло светлое волшебство, которое нельзя было не замечать, но которому в скорбный день не хватало сил радоваться.

Я стоял у гроба, когда подошел Колька. Встав рядом, он взволнованно прошептал:

— Выходит, когда он ушел добровольцем на фронт, ему было всего на два года больше, чем мне!

...Прогремели залпы салюта. Я обернулся, отыскивая взглядом отошедшего Кольку. И увидел Бориса Григорьевича. По щекам у него текли слезы. Он не скрывал их. Как маленький, сильно оттопырив нижнюю розовую припухшую губу, возвышаясь над всеми, недоумевал вслух:

— Петюша, ну, Петюша... Рано ты демобилизовался-то! Поторопился чего-то... — Он замолчал, казалось, собираясь сказать что-то самое главное, а произнес, скривив в бессилии губы, самое обычное: — Солнышко вон светит как!..

* * *

В конце февраля наш класс взбудоражила весть. В поселке обокрали магазин. Взяли так, кое-что по мелочи. Но — кража!

Кольку забрали на глазах его бывших одноклассников два долговязых милиционера, прямо на остановке автобуса, около школы. Взяли его одного. Говорили, что в кармане спецовки у него на работе обнаружили часть украденных в магазине дорогих конфет.

Колька отрицал свою причастность к краже. И никого не назвал из злоумышленников. Мы-то в классе знали, что, если бы они и были известны ему, он вряд ли кого бы назвал. Таков характер!

...Канитель затеялась долгая. Николая Ракитина увезли в город. Был суд.

Наконец он вернулся. Говорили, что, учитывая его возраст и то, что, кроме матери, он единственный в семье кормилец, ему дали условный срок. Я не решался напрямую спросить его об этом. Все откладывал. Отпустили, и хорошо.

Теперь Колька изменился еще сильнее. У него и походка стала другой. Шагал он теперь не спеша, резвость пропала. И взгляд! Холодный и чужой.

Нас, одноклассников, сторонился. А я при встрече терялся. Я шел прямым ходом, казалось, к своей цели: учился, драматический кружок снова стал работать. У меня все складывалось, а у Кольки нет. Я чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним.

Кольку стало не видно и не слышно.

Гром грянул неожиданно, в мае.

Едва растеплилось, на Рабочей улице во дворе Макеевых начали собираться на танцы. У самой калитки Макеевых в углу палисадника всюду цвела сирень. А над низким редким заборчиком со стороны ворчливой тетки Макарчихи, возвышалась высокая, статная черемуха.

В тот вечер подул ветерок, и черемуховые лепестки закружили в воздухе. Пока веселый народ собирался, майская вьюга прекратилась, и вполне приличных размером танцевальный круг покрылся черемуховой порошей.

К Макеевым мы приходили из любопытства. Не танцевали, а так, крутились возле. И Колька иногда появлялся. Была тому причина. Я видел, как он каждый раз выискивал глазами Таньку Кузьмичеву. Если она была, он не уходил. Толкался рядом с ней.

Густой запах черемухи и сирени будоражил, а радостный молодой голос из проигрывателя добавлял еще ландышевого восторга:

— Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет...

Кружилась голова. Около десятиклассницы Таньки всегда вращались, как вокруг звезды, свои планеты и спутники. Среди них были и одноклассники, и взрослые уже парни. Всех она освещала своим молодым светом. Она была самой яркой на здешнем небосводе. Как Вега — звезда Северного полушария.

Но вот с Колькой у них что-то не ладилось. Когда он, проравшись к ней, приглашал ее на танец, она не отказывала. Но лицо ее менялось. Танька становилась скованной. Не смеялась. А Колька выглядел странно, каким-то казался ручным...

...У ворот Макеевского двора в тот раз попался Кольке Валька Востриков, и Ракитин отобрал у него пугач — примитивную штуку со сплюсненной с одного конца медной трубкой и ударником из гвоздя с резинкой. В такую трубку обычно набивали серу от спичек. Никаких пуль, гвоздей, чугунок туда не закладывали. При ударе гвоздя с тупым концом под воздействием тугой резинки возникал приличный хлопок.

Колька, так, от нечего делать, крутил этот пугач в руках. Балуюсь, Танька выскочила за край шевелящегося, как муравейник, веселого круга танцующих. И, погнавшись за кем-то, наткнулась на Кольку. В руках у него была эта глупая самоделка. Пугач выстрелил.

Зажав ладонями лицо, Танька закричала. Круг танцующих замер. Таньку подвели к воротам, с лампочкой на макушке столба и проигрывателем внизу. Лицо ее было опалено пламе-

нем. Лоб потемнел от копоти, а округлые щеки стали конопатыми от темных, вылетевших с огнем крошек. Таньку увели сначала в Макееву избу, потом домой.

После некоторого затишья танцы возобновились. Колька со двора исчез.

* * *

У Ракитиных над калиткой, на осевших в разные стороны столбах, лежала потемневшая от времени и ненастья прогнувшаяся, толщиной всего-то в руку, твердая, как кость, перекладина.

Накинув на нее брючный ремень, Колька в тот же вечер повесился. Трудно сказать, чего больше не захотел бесстрашный мой друг: снова вернуться в тюрьму или увидеть изуродованное лицо Таньки.

Утром Кольку обнаружил, собирая коров в стадо, пастух Васька Супонь.

Вместе с теткой Анной, матерью Колки, под птичью щебетню, напирющую с просыпающегося Ильменька, они его и вытащили из петли.

«Чуть-чуть одной ногой Коляй-то чиркал по земле. Мог и не свершиться этот факт. Вот свершился... А могла и жердинка-то, глоба эта... того, не выдержать, тогда б... Во второй раз не каждый решится», — повторял Василий почти слово в слово, когда к нему подходили на похоронах мужики. И каждый раз одинаково горестно махал уцелевшей на фронте левой рукой.

* * *

Танька вышла из больницы такая же розовощекая, как и раньше. Без единого пятнышка на лице. Глаза ее, кажется, смотрели еще лучистой и зорче.

* * *

Прошло больше двух месяцев. Уже Колькина душа вознеслась, куда ей положено, а тетка Анна начала по утрам выходить на облитый лунным светом свой пустынный, заросший

муравой и по краям у изгороди беленой двор и тихо разговаривать. На нее, как говорили наши, находило. Прислонившись к воротному столбу, словно потеряв разум, совсем почерневшая, она уговаривала горячего своего сына:

— Коленька, зря ты не приходишь. Где ты сейчас? Объявись... Был бы жив отец-то, конечно, он бы не одобрил. Я калитку не закрываю. И избяную дверь тоже, даже ночью... Приходи...

Пастух еще издали теперь старался определить: вышла тетка Анна во двор сегодня или нет. Если вышла, он торопился, свернув вбок, прогнать стадо Бондаревым переулком.

А тетка Анна не видела никого в такие минуты. Едва шевеля иссохшими губами, шептала:

— Только торкнись. Я сразу встану. Девчата уж больно скучают по тебе. Ни разу ни одну не обидел. Конфеты еще эти, большие... носил. Зачем? Уж лучше бы построже с сестренками-то. Теперь бы им легче было. А то плачут каждый день. Зовут... А ты что же? Никогда раньше таким не был... Молчишь...

Повернув от калитки вглубь двора ставшее совсем старушечьим лицо, спохватывалась:

— Дорожки я подмела. Не упади только, смотри, в сенях-то. Там порог провалился. Подсобить некому. Ну, ты сам поправишь... Ты умеешь... И это... не бойся перекладаины-то, у калитки которая. Забудь о ней. Я оторвала ее. И на гать отнесла. Зачем она у нас была? Не нужная никому...

И начинала ходить кругами по двору, задевая подолом запялённые головки разросшейся белены, то молча, то бормоча свое.

— Вот ведь, — сокрушалась она не в первый уже раз, — это я не доглядела, я все...

Серого цвета, выдавшая виды, ночная сорочка на ней, преобразенная лунным светом, мерцала жутковато. А туземный бубен луны, замерев, казалось, вот-вот обрушит на землю сверху вниз, вовлеченный в древний танец звезд, лавину оглушающих непривычных звуков.

Двор Ракитиных пугал теперь. В глубине его потемневшая, как и хозяйка, саманная избенка, ощерившись, глядела облитыми луной подслеповатыми тремя своими оконцами перед собой так смиренно и юродиво, что становилось невмочь.

А утренняя звезда Венера, на которую так любил глядеть Колька, сверкала своим великолепием. Словно через вуаль, как и подобает прекрасной даме, спокойно взирала сверху вниз. Как и раньше. И двигалась, не меняя своего пути...

* * *

В десятом классе во второй четверти у нас появилась учительница по астрономии. Пухленькая и розовощекая блондинка Ольга Васильевна приехала из города. Мы гадали: надолго ли она у нас задержится? Но ее бодрый вид, непринужденная улыбка отвлекали от этой мысли. Она была всего лет на пять-шесть старше нас и не старалась выглядеть солидной и строгой. Забавно прикрывая ладошками лицо, смеялась первой, когда кто-нибудь говорил нелепость. И все следом смеялись.

Учительница с первого же урока завладела классом. Ее нельзя было не слушать.

— Удивительно, какие разные все звезды! — произнесла она, потряхнув золотистой прической. И мы молча разделяли это ее удивление.

— Они, как и люди: рождаются, живут, стареют и умирают... Все в классе, затаив дыхание, слушали.

— У каждой своя судьба, — продолжала Ольга Васильевна, — и эта судьба каждый раз особая! Какого бы скопления звезд, великого их множества не было...

Она говорила, а я думал о Кольке. Колька — всего лишь маленькая частичка той галактики, которую зовут человечеством. Всего лишь точка. Но ведь и наша необъятная Вселенная началась миллиарды лет тоже из одной точки, у которой не было ни пространства, ни времени. А теперь у нее нет ни конца, ни края.

«Не дается ли при рождении шанс каждому из нас стать началом такой вселенной?» — эти слова Ольги Васильевны прозвучали пронзительно. Она будто знала, что я думал о Кольке, обо всех нас.

«Колька был таким, — думал я, — из которого могло получиться что-то огромное, и мы все бы удивились. Не только наша школа и село... Страна!»

Я не заметил, как начал хлюпать носом. Сидящая впереди Нинка удивленно обернулась:

— Ты что? Простудился?

Я поспешно закивал утвердительно головой.

— Тогда иди домой. Я тебя отпускаю. А то всех перезаразишь, и у самого осложнения могут случиться, — она говорила так и смотрела на меня глазами моей мамы.

Когда она так глядела, я терялся.

* * *

Теперь, если Ольга Васильевна спрашивала, возникал лес рук.

Мы всем классом влюбились в нее.

Вскоре, забыв о своей установке, и я поднял руку. Краем глаза я видел, как Нинка улыбнулась при виде явного краха моей силы воли. А мне было уже все равно, что она обо мне думает.

Учительница спросила меня. Я знал материал, но, отвечая, разволновался.

«Кольку бы сюда, — подумалось мне. — Он бы так ответил, все бы рты разинули...»

Раскрыв широко завораживающие светло-синие глаза, учительница слушала мой ответ. Класс удивленно молчал.

— Достаточно, Ватагин, — остановила меня Ольга Васильевна, — урок ты знаешь. Знаешь даже больше того, что дано в учебнике. Поразительно! Но следы, пожалуйста, за речью. Нельзя скакать с одного на другое. Нужна последовательность.

Ее золотистые брови шевельнулись, она произнесла почти шепотом:

— И такое волнение?! Ставлю четверку. Но уверена: в следующий раз будет пятерка!

Следующего раза не получилось.

Золотистая Венера, как мы успели ее назвать, неожиданно заболела и уехала. Говорили, что на время. Получилось, навсегда. Мы ожидали, что таким же маневром воспользуется и Елизавета Кирилловна: заболит, уедет лечиться и не вернется. Но случилось другое. Она стала нашим классным руководителем. Оказывается, она долго хлопотала, и теперь сестренки Кольки Ракитина, Надю и Любу, отданных в детский дом после смерти тетки Анны, она забрала жить к себе. Все перебрались в учительский дом, который около школы. В нем им дали аж две комнаты.

Ошибались мы, думая, что географичка — временный в нашей школе человек.

Астрономии у нас так больше и не было.

* * *

На выпускном вечере Нина призналась мне, что я лучше всех. И очень дорог ей.

Что мне было делать с этим? Я не готов был к такому. Я продолжал бредить театром и собирался, чего бы это мне ни стоило добиться своего. Честно сказал ей об этом.

...Она окончила институт, стала учителем математики. Вышла замуж. Замужество оказалось неудачным. Развелась. Во втором браке у нее родилась дочь. Живет с семьей где-то на Урале.

Татьяна Кузьмичева работает в поселке бухгалтером. Нарожала пятерых ребятишек. Столько же теперь у нее и внуков. Татьяна — крупная теперь, видная. Русская красавица. Несмотря на возраст, веселости в ней, кажется, не убавилось.

Колька не стал астрономом, а я — артистом.

После армии мне удалось поступить в школу-студию при областном драматическом театре. Начал играть на сцене.

В январские метельные дни, добираясь пешком в село домой, я сбился с дороги и чуть не замерз. Мне повезло, случайно обнаружили. Сильно простудился. Провалился в постели. Более-менее обошлось, но ноги... отморозил пальцы. На правой ноге отняли ступню целиком.

Вначале хорохорился, сцену не бросал. Все ждал своей главной роли. А тут однажды словно очнулся: понял, где я должен быть. Окончил педагогический институт и давно уже преподаю в своей школе астрономию.

Моя семья — это мои ученики в классе. Такой получилась моя орбита.

* * *

После того как наши космические станции побывали на Венере, многое прояснилось. На планете Венера, которая нам казалась раньше обителью Любви и Красоты, стоит испепеляю-

щая жара. Атмосфера ее пропитана кислотами и серой. Жизни на Венере совсем нет: об этом теперь знает любой ученик старших классов. И потепление, о котором говорил Колька, для нашей Земли может быть гибельным.

Сказка закончилась.

Но я не тороплюсь думать, что Колька ошибался по поводу планеты Любви и Красоты.

Должна быть такая планета!

По поводу Венеры целыми столетиями ученые заблуждались, не один Колька. Не только Кольке Ракитину, всему человечеству, живущему на голубой планете Земля, всегда не хватало Любви и Красоты.

Почему это так?

*г. Самара.
Январь 2008 г.*

Отклонение

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что-то надо делать...

...Он нащупал на уровне правого глаза впадину на виске, где ему показалось самое уязвимое место, и надавил указательным пальцем. Боль почувствовал одновременно с тем, когда несколько раз резко открыл и закрыл рот, скрежетнув при этом зубами. Костяной стук зубов ему показался зловецим. Криво усмехнувшись, взял с тумбочки оба пистолета. Они были газовые. В упор эти штуки должны были сработать так, как ему хотелось. «Не ехать же на дачу, где хранится ружье», — вяло подумал Кирилл.

Пистолеты были разные: один, системы «РЭК» — небольшой, калибра 8 мм, удобный для руки. Он местами (правая сторона и спусковая скоба) потерял вороненый цвет, отчего выглядел совсем безобидным и невнушительным.

Второй пистолет, системы «Вальтер» — как новенький, его Кирилл никогда с собой не носил. Тяжел, калибра 9 мм. Он смотрелся весьма солидно. Пистолеты отличались друг от друга, как дворняжка и породистый свирепый дог.

На оба у Касторгина было разрешение, но второй пролежал в столе года два. Он так ни разу его и не опробовал.

Касторгин выбрал второй. Так надежнее.

Переложив из левой руки в правую «Вальтер», попробовал нажать спусковой крючок. Холостой ход был намного больше, чем у дворняжки «РЭК».

Как в детстве, когда, желая в отместку близким умереть, да так, чтобы все потом содрогались в рыданиях, спохватившись и осознав невосполнимость потери, Кир, как тогда его часто называли, мысленно представил вереницу скорбящих. Всех тех, кто должен был быть наказан его смертью. Как давно это было. Как наивно и банально.

«Некому особо будет плакать обо мне, да я и сам не хочу. Как бы сделать так, чтобы вообще поменьше было суеты и внима-

ния ко всему, что произойдет, и сейчас, и потом. Пропасть бы и все... Кажется, я многовато всё-таки выпил...»

Он вытянулся во весь рост в постели.

Тупой лунный свет сочился в окно.

«И это — конец?» — удивился он.

«Да, конец моей мелодрамы», — подытожил он и снял предохранитель.

...Утром в постели его обнаружила дотошная соседка. Ей хотелось известить Касторгина о его очереди дежурить на этой неделе в подъезде.

Кирилл Кириллович Касторгин, решив застрелиться, предусмотрительно оставил дверь незапертой, чтобы его быстрее обнаружили. Практичный человек.

Ткнув дверь ногой, соседка вошла в коридор и оттуда увидела Кирилла Кирилловича в постели в белой рубашке и галстукке. Он лежал вверх лицом.

— Ба, пьяный, что ли? Бедолажка! Вроде за тобой такого не водилось.

Она вдруг увидела рядом на подушке пистолет и невольно вскрикнула.

От крика он открыл глаза. С трудом соображая спросонья, что происходит. Вспомнил вчерашнее и, поняв, что творится с бабкой Анной, улыбнулся виновато: то ли от того, что дверь не закрыл, то ли потому, что лежит в таком глупом виде в постели.

— Да вот, не спалось, только под утро...

Он постарался прикрыть «Вальтер» на подушке краем одеяла.

— Нельзя так, Кирилл, хорошо ещё, что у нас в подъезде по прошлому году замок с кодом поставили, а то ведь проходной двор был: летом-то мочиться в подъезд бегут с набережной, а зимой — вино распивать в тепле, всякий народец-то...

— Нельзя так, — задумчиво повторил Кирилл Кириллович и встал с постели, — надо к какому-то берегу прибиваться. Детскость какая-то.

Прагматизм его натуры уже брал верх.

— Вот я и говорю, оберут ведь до нитки, да могут и пришить. Из-за тряпок-то. Поберегите сами себя-то, не забываетесь в следующий раз, — тянула своё соседка и все косилась

взглядом на то место, где только что видела пистолет. — Ну, ладно, я попозже приду, — и она прикрыла за собой дверь.

Последние дни Касторгин неотступно думал о смерти. Жизнь, казалось, потеряла для него всякий интерес. Умом он понимал, что так не должно быть, что пятьдесят три года, смешно — это не тот возраст, когда иссякают жизненные ресурсы. Но с ним что-то случилось.

Собственная жизнь, прошлая и настоящая, для него стала как кадры документального кино, туманные и обрывочные, не схватывающие саму ускользающую суть, ту суть, которая, как понимал Кирилл, должна быть во всём, но которую он перестал уметь держать за хвост. Он не узнавал самого себя. Это его даже, как ни странно, манило; иногда с холодностью стороннего наблюдателя он критически смотрел на себя и на свои попытки понять, что же происходит.

«Я как допотопная лаборатория, сам в себе, переливаю пробирки, из пустого в порожнее, — все тысячу раз, наверное, это кем-то уже испытано, думано-передумано, не один, наверное, покончил с собой. Что здесь всё-таки главное, когда нажимаешь курок: слабость или воля? Не понял я, не понял ещё... Если я обречен на самоубийство, то я, как камикадзе, что угодно могу сделать с другими, ведь все равно все прахом. Но я не держу обиды и злобы ни на одного человека, у меня этого никогда не было. Пусть все буду счастливы, раз у меня не получилось. Ну, и красиво, я думаю, если бы кто-нибудь услышал мои мысли, не поверил бы, с виду-то я последние дни стал бука».

Он потянул одеяло, намереваясь его поправить, пистолет, упав на пол, глухо звякнул. «Выстрелит ещё», — спохватился Касторгин.

— И всё-таки не пристало суетиться под клиентом, — усмехнулся он, вспомнив известный пункт из устава одесских проституток.

«Да, но здесь клиент — сама жизнь, — снова тяжеломерно подумалось ему. — И я раздавлен, надо признаться себе. Что же всё-таки делать? Ведь что-то надо вершить? Я становлюсь помалу окончательным дураком или циником. Это из Флобера. В его «Словаре прописных истин» сказано, кажется, что оптимисты — обыкновенные дураки, пессимисты — смотри выше.

Увы, я становлюсь простенькой иллюстрацией к сомнительным истинам. А может, это только потому, что я остановился, а другие ещё бегут?.. Попробуем-ка повнимательнее заново приглядеться к жизни, эта штука ведь не зря придумана, а? Или не так?»

«Жена найдёт себе другого...»

Касторгин начал верить, что есть какие-то силы, которые руководят сознанием человека. Это его удивило. Но у него были перед самим собой несколько доказательств. На прошлой неделе он ночевал на даче. Приехал днем, не спеша расчистил от снега дорожки, затопил баню. Вечером, вяло просмотрев привезенные свежие газеты, попытался заснуть. Но сон не шел. Побаливала голова. Он встал, оделся и вышел во двор. Ему вдруг безотчетно захотелось на свежий воздух. Едва ступив за порог, он оказался во власти морозного воздуха и звезд, ясно и открыто глядевших на него. Упруго заскрипел снег под ногами и тут же громко залаял соседский кобель Граф, «Граф Калиостро» — так звал его Кирилл за черную, с жутковато-грязным отливом шерсть и непредсказуемые поступки.

Погремев цепью, Граф успокоился, узнав своего, а Кирилл Кириллович, запрокинув голову, смотрел широко раскрытыми глазами в замешанную с синью темную бездну и ни о чем не думал.

Это он потом уже спохватился, когда кружил по небольшой бетонированной площадке, глядя в небо, что безостановочно бормочет слова, удивительно легко соединяющиеся друг с другом. Он как бы вдруг обнаружил себя между небом и землей в качестве то ли приемника, то ли передаточного звена, но с кем и для чего? Эти вопросы вились в его голове, но странно, он их отодвигал на потом, ибо ему важнее было в этот момент запомнить, что он бормотал и что ещё будет.

*«Когда б ни срок, да боль за нас...
Вот уголечек и погас».*

Он изумленно обнаружил, что напрямую говорит со своей мамой, веря, что она его слышит, а, может, и видит оттуда, с морозных небес.

Забыв, что после бани в этот двадцатиградусный мороз можно простудиться, он не чувствовал холода.

«Но наши души, наши души...» —

шептал он, глядя на небо невидящими глазами.

Боль в голове прошла, вернее, он не думал о ней, все отошло на второй, пятый, десятый план. Власть набегающих одна за другой на него фраз действовала опьяняюще.

...Когда он быстро вошел в дом, в спальню, лихорадочно ища, чем записать все то, что успел удержать в памяти, он не сразу нашел карандаш. Когда же тот отыскался, не останавливаясь, сломав стержень и тут же вставив его в ломкое отверстие, Касторгин записал стихотворение на чистых местах подвернувшегося под руку томика Куприна.

...Немного остыв и полежав в постели, он встал, прошелся по дому и, найдя чистый лист бумаги и авторучку, не спеша, лишь с некоторыми исправлениями по ходу, переписал стихотворение, не раздумывая, обозначив вверху — «Мама»:

*Я стал все чаще вспоминать
То, как любила ты встречать,
Как я любил тебе навстречу
Примчаться шалым издалече.
Наверно, было б так всегда,
Когда бы ни твои года.
Когда б ни срок, да боль за нас...
Вот уголечек и погас.
Что ж, был не самым я послушным,
Но наши души, наши души...
Они тянулись так друг к другу
В любую слякоть, дождь и вьюгу.
Им не дано разъединиться,
Мне часто сон счастливый снится:
Когда приду в твое далеко —
Тебе не будет одиноко.
И в сердце радость от надежды,
Что встретишь ты меня, как прежде.
У тех ворот, у самых вечных
Поговорим с тобой сердечно.*

*Но беспокойно просыпаюсь
И наяву я маюсь, маюсь:
Вдруг все не так, вдруг не замечу,
Тебя в том сонмище не встречу?
Что я пройду совсем чужой
Другою дальней стороной...
И боль твоя моей больней
Меня придавит вновь сильней.
О, как мне быть и что мне делать
С моей-то головою белой?
Я вновь беспомощен, как в детстве.
И никуда от этого не деться...*

Мать Касторгина — Елизавета Петровна — умерла пол-года назад, измучившись сама и намучив против своей воли окружающих. Более года она после инсульта почти не вставала с постели. Иногда, когда сознание к ней возвращалось, она, опомнившись от забытья, тут же начинала плакать, приговаривая:

— Что же это я, детки, никак не умру-то? Измучила я вас, простите меня... простите.

Она и в восемьдесят своих лет, до самой смерти, любила и оберегала своих детей.

Все тяготы присмотра за матерью легли на её единственную дочь Аню.

— Голубиная душа у вашей матушки, — говаривала соседка тетка Маша.

Соседка могла и не говорить этого. Беззаветность матери и открытость, готовность делать добро ближним порой приводили Кирилла Кирилловича в изумление.

Он часто плакал, когда приезжал к матери. Если бы кто-то из сослуживцев увидел его таким, то бы не поверил. Методичный, сдержанный и академичный Касторгин всегда был образцом для многих на работе. Другим никто и не мог представить главного инженера крупного оборонного завода.

В нем непонятным образом соединялись рассудочность и эмоциональность. Он знал это. Более того, он ещё со старших классов школы выработал привычку следить за собой.

— Ты очень чувствителен, как обнаженный нерв, ты реагируешь сразу и бурно, так нельзя, — сказала ему когда-то новый классный руководитель — физичка Наталья Николаевна.

Она задержала его в классе и заставила присесть на первой парте.

— Такие натуры, как ты, становятся либо поэтами, либо музыкантами. — Немного помолчав, цепко глядя в глаза Кириллу, продолжила: — Либо никем, быстро изнашивая себя.

— Что мне делать такому? — исподлобья глядя, спросил Кирилл.

— Самодисциплина. Не надо все захлеб. Ты заметил, как по-разному иногда говорят люди. У одних открытая артикуляция, у других — закрытая. Вот если говорить о чувствах, то они у тебя слишком открыты. Самосохранение в тебе должно работать, ты слишком бесхитростный.

Этот тогдашний разговор не удивил, только подтвердил догадки Кирилла по поводу себя. Он уже пытался сдерживать себя. После той беседы, он никогда не позволял себе заплакать на людях. Если у него что-то начинало болеть, он держал это в себе, как бы уползал в нору. Постоянно контролировал себя и к окончанию школы это вошло в правило. Он как бы оберегал в себе кусок взрывчатки, постоянно пряча бикфордов шнур от посторонних глаз. Такая у него выработалась привычка, а привычка, как известно, вторая натура.

...То, что его жена Светлана оформляет выезд за границу, Касторгин знал, но все думал, что это блажь. Ведь ещё совсем недавно ни слова, ни намёка не было на это, а тут враз такие энергичные действия. У него не укладывалось в голове — только переехали в Самару. Дело вроде бы осложнялось тем, что её восьмидесятишестилетняя мать хотела, чтобы у неё был статус беженки — это давало больше льгот, но что-то затягивалось.

И вдруг все как-то быстро разрешилось, Кирилл Кириллович даже не успел все серьезно осознать — в одну неделю их не стало.

— После того, как я пожила у тетки в Германии, я не могу здесь жить, среди этого хамства, да и моя щитовидка надорвана Чапаевском. И потом — я все же немка!

— Ну-ну, — только и сказал тогда Касторгин.

Он понимал, что нужен серьезный разговор, но все откладывал. Он не готов был, да и не воспринимал все как разрыв. Но уже прошло почти три месяца после их отъезда, а писем не было. Нечего было писать?

И вот на прошлой неделе письмо пришло. Не письмо — записочка. Но все, что нужно, там было: «Я, кажется, нашла себе друга и притом неплохого, он тоже врач...»

Теперь-то ему стало понятно её решительное стремление хорошо выглядеть. В последнюю поездку в Москву она, не предупредив его, сделала подтяжку — пластическую операцию. Об этом Светлана ему написала — просила, чтобы не волновался, если на неделю задержится, ведь всё-таки круговая подтяжка. Будут делать под общим наркозом, так сказал врач, отслаивать кожу от мышц и натягивать. Зато никаких двойных подбородков, морщин в уголках глаз. Улучшенная копия, вернее, «оригинал восстановленный». Её подруга, у которой она всегда останавливалась, уже сделала это год назад — стала выглядеть лет на десять моложе.

Вернулась Светлана домой через неделю после операции. На неё было страшно смотреть: все лицо в синяках, опухшее и чужое.

Весь остаток отпуска она просидела дома, по несколько раз в день выходила гулять на набережную в большой с широкими полями шляпе. И, о чудо, лицо стало гладким и молодым. Она, как всегда, достигла своего. Он, в сущности, не сомневался, что так и будет. Но ему было все это дико и непонятно. Внешность жены устраивала, он привык к ней. Так привык, что, по правде сказать, эта самая внешность жены для него как бы уже и не существовала, существовала жена — Светлана, которую он по-своему любил, как мог, и понимал. Оваций он ей не устраивал, вернее, забыл уже, когда устраивал.

Ему тогда ещё, когда она только объявилась дома с изуродованным лицом, пришла мысль, что у неё кто-то есть другой. Завелся. Но он не видел этого другого, про границу не думал. Кирилл Кириллович хорошо понимал, что его жена — танк. Её

ничто не остановит, если она чего-то захочет. И он не спешил обвязывать себя гранатами и бросаться под гусеницы. «Пусть будет все, как есть», — решил он.

Его все же мучил вопрос: она сделала операцию ещё до того, как поняла, что Касторгин ни за что не поедет в Германию, или после? И этот, немец, очевидно, намного моложе её? И когда он объявился в поле зрения Светланы? После или до того? От ответов на эти вопросы уже ничего не зависело, но они почему-то торчали внутри Касторгина, лишая его обычной уравновешенности.

Почему он не мог ехать с женой в Германию?

«А почему я должен ехать? — думал Кирилл Кириллович. — Я — русский. Я живу дома. Я хочу говорить на родном языке».

Все родные его были ленинградцы. До войны мать и отец перебрались в Москву. Корни по материнской линии терялись где-то в Симбирске, и каким-то образом она была дальней родственницей Павлу Егоровичу Аннаеву — сыну известного в своё время купца Егора Никитича Аннаева, того самого, который построил в Самаре кирху, задуманную первоначально как костел, самый большой по тем временам каменный двухэтажный дом Макке, в котором первый самарский губернатор Волховский зачитал Указ императора Николая I о создании Самарской губернии. Было это в 1851 году. В семье Касторгиных об этом знали и помнили. И Самару любили. А когда подшипниковый завод, на котором работали Касторгины, эвакуировали из Москвы, они оказались в Куйбышеве и быстро, насколько это можно в военное лихолетье, прижились на волжских берегах.

«Как на мой выезд за границу посмотрела бы мама, будь она живой и здоровой?» — часто приходила ему в голову мысль. И он, словно маленький, боялся укора матери. Он не мог знать её мнения обо всем этом, но догадывался, что она сказала бы, будь жива. А что сказали бы его многочисленные родственники, которые лежат на Пискаревском кладбище?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мастерская на девятом этаже

Кирилл Кириллович любил заходить просто так и не просто так к своему другу художнику Владиславу. У каждого из них было своё дело в жизни. Их дела вроде бы никак не пересекались. И тем не менее они общались уже несколько лет и всегда были рады друг другу.

...Прошло более часа, как Касторгин появился в мастерской Владислава, и все это время в ней шел неспешный разговор.

— Твоя беда в том, что ты слишком рационален, расчетлив.

Кирилл слушал внимательно.

— Ты заставляешь себя все время думать, процесс обдумывания в тебе идет постоянно. Начал задумываться, препарировать — конец всему.

— Разве это плохо, ведь в конечном счете истина всего дороже? Я всегда так полагал.

— Вот-вот, ты в мыслях идешь всегда до конца, но ведь мысль ведет в тупик. Потом провал, распад. Взрыв!

— У меня так не бывает. Я, если что-то понял, обретаю свободу.

— Будет, если не было. Это, когда все хорошо, а когда начинаешь ворочать глыбами? А? Живи по завету Горация: лови день. Ты вот сейчас идешь к обрыву, сам себя толкаешь туда. Мысль — конечна! Дальше — пропасть. Создатель так свершил.

— В момент истины дух особо торжествует и безверию нет места, — произнес Касторгин.

— Это красиво сказано и не более. Момент истины и прозрения тоже могут быть субъективными, а значит, ошибочными. Дров наломать можно, ой как, — возразил Владислав. — Все чуть-чуть сложнее, чем мы с тобой думаем. Сложнее. Да. Мы оба слепые котятка, и черт с ним. Надо жить, как умеешь, и не умничать. Иначе запутаешься. Все проходит, увя...

— А что же по-твоему вечно? — спросил Касторгин, глядя в окно и машинально провожая взглядом вертолет, понесший очередную партию пассажиров через Волгу, в Рождествено.

— Вечно? А вот это движение!

— Какое? — Кирилл Кириллович обернулся на собеседника.

Тот, подойдя ближе к окну, из-за спины приятеля тоже смотрел на вертолет.

— Что же вечно? Кроме этого грязного армейского вертолета... — Касторгин криво усмехнулся.

— Если мыслить более общими категориями, то бесконечен дух.

— Мудрено, — подчеркнуто наигранно отозвался Кирилл, — нам бы чего попроще, а?

И он отошел от окна.

«Да, но ведь и дух разрушителен, в своём крайнем выражении — вот фашизм!» — подумал он, но промолчал. Кирилл Кириллович подошел к почти законченному портрету женщины, стоявшему около стола, со всякой всячиной, начиная от разнокалиберных тюбиков с краской, фотографий, открыток и кончая ополовиненной бутылкой конька «Александр».

— Ты хочешь глубже познать себя? — в упор спросил Владислав.

— Да, — с готовностью ответил Касторгин, — пытаюсь это сделать.

— Не трать себя на это, только ушибешься.

— Но я хочу отыскать смысл того, что со мной происходит.

— А найдешь одни сомнения и мучения, это человечество уже проходило, — лаконично констатировал Владислав, — зачем начинать с начала? Поиск смысла — бессмысленен. Ты, брат, дремуч.

— Почему ты всех женщин рисуешь с ясными голубыми глазами, ведь это что-то патологическое — они же разные? — будто не слыша последних слов приятеля, спросил Касторгин.

— Кто? — шутливо переспросил Владислав, — глаза или женщины?

— И то, и другое, — Касторгин явно думал совершенно о другом, и то, что он говорил, было только эхом всего того, что было в нем глубоко спрятано — под обычно внешней непроницаемостью. — Объясни, ведь ты заслуженный художник России, член совета ЮНЕСКО и прочее, а?

— Знаешь, — Владислав растерянно посмотрел на приятеля, — не объясню. Не знаю. Ты первый задаешь мне такой вопрос. Сам я этого не замечал... Может, от того, что моя мастерская на девятом этаже, в небе... — задумчиво попытался догадаться художник.

— Вот видишь, — нарочито наставительно продолжал Кирилл, — вот видишь, такой простой вещи не понимаешь. Значит, не анализируешь, не мыслишь, товарищ великий художник. Надо рисовать не человека, а воздух вокруг него. Без мысли, кто мы?

Но у Владислава были сейчас другие в голове вопросы:

— Кирилл, тебя же знают в области. Сам губернатор от имени Президента Ельцина вручал тебе диплом «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» .

— Ну и что?

— Сходить надо к кому-нибудь из руководителей администрации. Тебя же найдут, где использовать. Ну погорячился ты...

— Чего-чего ты сказал, повтори, старина?

— Ну, не использовать, конечно, неловко сказал. Но приложить твой опыт есть где.

— Не хочу я ничего. Очухаться мне надо. Отдохнуть хочу. Дайте мне побыть безработным. Может, это моя историческая миссия такая. Я, может, являюсь предметом грандиозного эксперимента, перехода, так сказать, совковой психологии в сегодняшнюю.

— Не дури.

— Что, не дури? Сам же говорил, что полезно бы уходить на пенсию в расцвете сил, чтобы пожить, как следует, пока аппетит к жизни есть, а уж потом, нагулявшись, вкалывать. Вот теперь твоя теория вписывается в практику — на мне.

— Да ну, я серьезно.

— А если серьезно, то тошно стало терпеть дилетантов. Все ведь разваливается, что мы десятилетиями создавали. Я почему положил своему директору завода заявление об уходе? Девяносто процентов, я считаю, успеха зависит от первого руководителя. А наш, нынешний, у меня начальником цеха был совсем недавно и причем не самым лучшим. Теперь же побывал в депутатах и что, семь пядей стало? Так не бы-

вает. Одна шелуха словесная. Не захотел я вместе, заодно с кем-то разваливать завод за кусок хлеба. — И вдруг, без всяких переходов, сощутив свои глубоко посаженные и без того узкие глаза, поведя в сторону художника рысёй головой, сказал: — Кстати, все женщины у тебя лицами на датчанок похожи.

— Это ещё как?

— А вот так, грубоватые и серые, невыразительные. Русское — только глаза.

— Послушай, ты всегда такие замечания делаешь, я после тебя бываю немножко не в себе.

Владислав подошел к столу, налил из бутылки.

— Давай выпьем за то, чтобы у тебя все устроилось. По граммулке.

Стаканы с коньяком прозвенели в вечернем воздухе заставленной мастерской натужено и тускло. Владислав невольно вздрогнул, Касторгин усмехнулся. А художник напирал:

— Послушай, есть идея, давай я тебя познакомлю с очень хорошей женщиной, а? Это же выход из твоего чертова тупика. Не заумная, не занудливая. И в разводе. Оживешь, ей-богу, отогреешься. Она растормошит. Какая женщина! А? Хочешь, прямо завтра?

— Нет, не стоит, — спокойно сказал Кирилл Кириллович.

Он не спеша, но сразу, все выпил. Отыскал за бутылкой на столе место для стакана. Сказал лишь для того, чтобы, очевидно, не молчать:

— Закусываем, как всегда, красками?

— Почему «не стоит»? — накатывал своё Владислав.

— Я себя не жалею, мне её, незнакомую, жалко... Я не готов...

— Да не волнуйся ты, она не из нашей богемной тины.

— Тем более...

Касторгин отошел от стола, явно в поисках предлога, чтобы сменить тему разговора, тронул прикрытый холст:

— А этого я не видел, что это?

— Портрет Высоцкого. — Художник выжидательно из-под мохнатых бровей по-детски чистыми серо-голубыми глазами уперся в Кирилла. — Как?

— Я не буду сходу говорить, ошибусь ещё... Это что, заказ?

— Да, в нашу филармонию. Через три дня, 25 января, юбилей Высоцкого — 60 лет. Приедут его мать, сын. Наши местные барды будут выступать. Ты знаешь, ведь Самара первая в своё время в шестьдесят седьмом году дала выступить Высоцкому перед большой публикой во Дворце спорта. Сейчас готовятся назвать одну из улиц его именем, у мэра города это вроде бы все окончательно решено. Высоцкий займет, наконец, своё достойное место на века.

— Где?

— Что где? — не понял Владислав.

— Займет — где? — повторил Кирилл Кириллович.

— Ты что, против этого? — он не ожидал такой реакции. И не до конца понял, всерьез ли она.

— Нет, я просто против канонизации. Он бы сам рассмеялся в лицо, узнав, что из него начинают делать икону. Вот и на портрете у тебя он выглядит чуть не классиком.

— Ну тебя к лешему! Тебе сегодня все не в нюх. Приходи на вечер памяти. Жаль, я все билеты пригласительные, что у меня были, раздал. Да в кассе билеты есть, приходи.

— Да-да, наверное, приду, — пообещал Касторгин, прощаясь на пороге мастерской, — времени у меня теперь хоть займы кому давай.

— Подожди! — вдруг окликнул его Владислав.

— Что ещё, мэтр? — спросил через плечо Кирилл Кириллович.

— Послушай стихи.

— Твои?

— Нет, не мешай, дай только вспомнить.

Он кисточкой задирижировал у себя перед носом и наконец его мурлыканье вылилось в членораздельную речь:

— Вот, мне не доверяешь, прислушайся к поэту Василию Федорову:

А жизни суть, она проста:

Твои уста — её уста.

Она проста по самой сути,

Лишь только грудь прильнет ко груди.

— Ну и что? — простодушно спросил Касторгин.

- Как что?
- Может, он это под мухой сказал, а ты повторяешь.
- Ну ты даешь!
- Иди-иди, допивай коньяк и садись за Омара Хайяма. У него про это лучше сказано...

...На лифте он спускаться не стал. Шагая по лестнице с девятого этажа («Спускаюсь с небес», — отметил он), вновь поймал себя на мысли, что транжирит время, которого у него всегда не хватало.

Мысли, мысли. Они не давали ему покоя.

«Наверное, мы приходим в этот мир, чтобы как-то его сделать лучше, хоть на капельку, наверное, в этом замысел создателя. Но мы путаемся сами, не понимая ни себя, ни мир, и все, что сделано в этой жизни выдающегося. Неужели это все на иррациональном уровне, без понимания, что и как творится по своей сути? Тогда мир, все действие вокруг — это только какие-то пляски у костра, а костер этот — собственное тщеславие. Так ли я мыслю и способен ли я это все понять, если другие отказываются об этом думать, как Владислав?»

Раньше, связанный заботами главного инженера, он так не размышлял, теперь же будто вернулся в своё студенчество. Он не в силах был гнать от себя мысли на «вечные темы». Увы.

Он не заметил, как пересек улицу, миновал здание цирка, не обращая внимания на толпы людей и ряды стоявших машин, спустился по ступенькам на улицу Маяковского и только тут, миновав автостоянку, подойдя к молочному магазину, остановился и вспомнил, что забыл зайти в художественный салон «Мария»...

Его всегда туда влекло. Среди картин, особенно осенних пейзажей с дорогой, рекой, палыми листьями, ему становилось покойно. Набегало такое состояние, которое он испытывал всегда, когда слушал любимый, чарующий его романс на стихи Тургенева «В дороге», чаще всего называемый «Утро туманное». Ему казалось, что он когда-то родился под звуки этой божественной, нечеловеческой мелодии, и все, что напоминало ему подобное состояние, приводило к нему, он берет до мелочей...

...Месяца два назад, когда он завтракал на кухне, сидя рядом со стоявшим на подоконнике радиоприемником, бодрый голос диктора после небольшой паузы вдруг произнес: «...А сейчас в исполнении Татьяны Дорониной прозвучит романс на стихи Фета «Утро туманное».

Внутри у Касторгина что-то оборвалось, он вначале не понял, что произошло. Когда дошло, вскочил и заходил кругами по кухне. Он не мог понять, как можно путать Тургенева с Фетом! Конечно же, Фет хорош, но не в этом дело!

— Ведь это же Тургенев! Тургенев! — восклицал, размахивая правой рукой Касторгин, как бы стараясь что-то сказать очень важное кому-то, кто все исправит и кто пристыдит этого безграмотного диктора.

Он считал, что если бы Тургенев написал только одно это стихотворение и больше ни строчки, все равно всем было бы ясно, насколько велик он как человек. Какая это бездонная глубина! Каков может быть человек...

— Что, разве магазин закрыт? — вдруг откуда-то, будто издалека, услышал Касторгин голос.

Он, очнувшись, обернулся. Перед ним стояла легонькая в черной выдавшей видь каракулевой шубке старушка.

— Нет, — отозвался Кирилл Кириллович и тут же поспешил уточнить: — Извините, я не знаю.

— Так что же вы на входе стоите, — укоризненно сказала она.

Касторгин шагнул в сторону, каракуль исчез за дверью молочного магазина.

«Ещё одна женщина прошла мимо», — почему-то молниеносно вспомнилась фраза из студенческих времен, и Касторгину с его приклеенной иронической улыбкой ничего не оставалось делать, кроме как продолжать свой путь вниз к Волге: молоко он не пил, а колбаса в холодильнике пока вроде бы у него была.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Светлана

С женой Светланой он познакомился в Сочи более двадцати лет назад. Этому предшествовала целая цепь случайных, как казалось Касторгину, событий, которые и привели к их встрече.

На третий год после окончания института, когда он работал уже начальником смены, его вызвали в военкомат, вернее, он обнаружил на первом этаже общежития в карманчике почтового стенда с буквой «К», сразу две повестки, предписывающие срочно явиться. Он и явился.

В военкомате его почему-то сразу препроводили к горвоенкому, оказавшемуся «ну очень строгим полковником». Едва Касторгин вошел в кабинет и щупленький майор назвал его фамилию, полковника как взорвало:

— Ах, вот он, молодчик, явился — не запылится. Нахал!

Касторгин опешил.

— Но почему... при чем такой тон...?

— А при том, что вам — три повестки, а вы и ухом не ведете! Вы должны были явиться две недели назад!

— Но я только сегодня увидел повестки, и только две.

— Довольно дурака валять!

— Не понимаю, почему такая реакция? И потом у нас была военная кафедра.

— Ах, вы не понимаете? Военная кафедра!... Каленым железом таких будем выжигать с гражданки! Поняли, нет? Год службы я вам гарантирую.

Касторгин даже не успел как следует разозлиться. Он был просто огорошен таким обращением.

Его так же быстро увели из кабинета, как и привели. И кабинет закрутилась. Через неделю Кириллу и его соседу по общежитию Владимиру председатель областной медицинской комиссии жал руки, поздравляя с предстоящей службой. Было названо и примерное время призыва — через месяц. Месяц нужен для отработки документов в Москве, из Москвы должно вроде бы прийти и направление.

Вечером они провели «совет в Филях» и решили утром просить у своего начальства отпуск, чтобы успеть погулять на гражданке.

Начальство поняло их и отпустило.

Был апрель месяц. Сто лет со дня рождения вождя Октябрьской революции. Центральная площадь запружена толпами людей, пришедших на митинг. Они пробились к зданию кассы и взяли два авиабилета в Сочи. Почему в Сочи? А выпал такой вариант. Из пяти курортов, обозначенных на тонюсеньких полосках бумаги Владимиром, Кирилл вынул из шляпы именно ту полоску, на которой значился этот город.

...С гостиницей им повезло. Они взяли такси, наметив себе цель объехать несколько мест, но в первой же, «Ленинградской», им дали двухместный номер.

Вечером Владимир и Кирилл пошли поужинать в ресторан гостиницы «Магнолия». Где-то уже около одиннадцати вечера Касторгину захотелось выйти на свежий воздух. Пробираясь сквозь танцующий муравейник, он бросил Владимиру, самоодовольно млеющему в полуобъятых смуглой дамы:

— Не пора ли нам пора?

— Да, иди! Я выйду через пять минут, вот попрощаюсь с Томочкой.

Кирилл ещё раз взглянул, приостановившись, на Томочку и сильно засомневался в обещанной пунктуальности друга.

Он прошел по тротуару метров двадцать и сел на скамейку. Свет от фонаря падал на половину скамьи, другая была в тени кустарника.

Касторгин сидел на светлой половине, а в тени в светлом костюме, покачиваясь в лад песни, притулился с краю пьяненький парень. Парень пел, перевирая слова знакомой песни.

— Послушай, у тебя со словами худо, а у меня со слухом, — сказал Кирилл и начал подпевать вполголоса, выводя того на верные слова. Вместе они миновали трудное для парня место и все пошло складно, тихо и даже интеллигентно:

*Ах, и сам я нынче что-то стал не стойкий,
Не дойду до дому с дружеской попойки.*

И вдруг эту случайную хмельную идиллию прервал четко поставленный официальный голос:

— Ваши документы?

Кирилл поднял голову. Перед ним стоял человек лет тридцати в черном костюме, белой рубашке и галстуке.

— А почему, собственно?..

— Вы нарушаете общественный порядок.

— А ваши документы? — совсем даже для себя неожиданно сказал Кирилл.

Человек вынул из левого нагрудного кармана пиджака документы и подал Кириллу. В полутьме были видны только красные корки. Кирилл вернул документ.

— А ваши? — человек вновь обращался к Кириллу, будто соседа его и не было.

Касторгин подал паспорт. Не раскрывая его, тут же переложив в левую ладонь, человек произнес:

— Пойдемте, — и зашагал прочь от скамейки.

Кириллу ничего не оставалось больше делать и он поднялся.

— Я не понимаю, ведь никакого нарушения нет..

— Сейчас поймете.

Кирилл забеспокоился не на шутку, шли они куда-то, как показалось, не туда... Вдруг человек скороговоркой проговорил:

— Давайте двадцать пять рублей и я отдам ваш паспорт.

— Как так? — выдохнул Кирилл.

— А так, не будете первому встречному выкладывать документ. Не дадите четвертак, рвану с паспортом в кусты и останетесь в чужом городе с носом.хлопот не оберётесь.

Они шли по тротуару рядом. Как только попадались встречные, оба замолкали: человек с паспортом в руке оттого, что боялся огласки, а Кирилл опасался, что незнакомец убежит с паспортом от его неосторожного слова.

Решение пришло сразу, момент был улучен. Кирилл схватил парня поперек талии наперевес и оторвал от земли... Они оказались на земле оба, Кирилл крепко ударился левой рукой о бордюр, но правой вывернул левую руку противника, и паспорт оказался в его руках.

Почувствовав слабину, противник вынырнул из-под Кирилла и сиганул на другую сторону улицы.

— Слабак, — несколько удивленно бросил Кирилл и пошел в сторону «Магнолии».

Конечно же, внизу Владимира не было. «Надо бы сразу идти в свой номер», — подумал он, заходя в вестибюль. Руку саднило. В сторонке он снял пиджак, рукав рубашки был в крови. Задрав рубашку, Касторгин осмотрел локоть. Он был содран, с трехкопеечную монету круглый окровавленный кусок кожи, как клапан, болтался сам по себе.

— Боже мой, как так можно?

Он повернулся. Перед ним стояла блондинка, вровень с ним ростом, крупноголовая, большеглазая, в светлом легком костюме. От всего этого внезапного чуда веяло элегантною крепостью и ухоженностью.

— Вот можно, — проговорил Кирилл, чувствуя, что с ним что-то сейчас происходит такое, что бесследно уже не исчезнет. В любом случае это начало чего-то...

Она стояла от него в полуметре, а он ощущал обволакивающее тепло, идущее от неё.

Она, кажется, понимала его состояние. В её прямом взгляде была смесь мягкой снисходительности и покровительства.

«Вот ведь, слету и попался», — Кириллу показалось обидным, что его прямо голыми руками запросто берут, но он ничего не успел ни сказать, ни сделать. Она опередила:

— Я врач, у меня на первом этаже номер, сбегая, кое-что принесу, у меня есть...

На следующий день он пришел к Светлане, так звали это чудо, на перевязку. В тот же день они направились на пляж. Так начинал раскручиваться их сочинский роман...

...Его вначале обескураживало то, что в самые интимные моменты близости она могла царапаться, кричать и кусаться. Светлана в такие минуты не владела собой. Ей нужен был экстаз любой ценой, она заводилась с пол-оборота, проявляя завидную выносливость на пути к желаемому и требуя этого от него. Он иногда терялся от её буйного желания. И не вполне понимал, хорошо это или плохо, так хотеть женщине мужчину. Такой женщины у него никогда не было.

Уже потом, много позже, когда пошло повальное увлечение гороскопами и сексуальной астрономией, он к удивлению своему обнаружил, что женщины-Козероги (а Светлана была Козерогом) именно этим свойством и наделены. Он и удивился, и немного

расстроился. Оказывается, все заложено в природе её любви небесами, а он-то всё-таки думал, что это он причина такого её поведения. Значит, будь на его месте другой, небезразличный Светлане, она так же бы вела себя в постели? Поначалу её чрезмерная самостоятельность во всем не давала ему покоя, но потом это как-то сошло на нет. Постепенно он свыкся с её независимостью, с её постоянным отстаиванием права на собственное мнение. Его влекло к ней. Кирилл даже упрекал себя за эту слабость.

У Светланы муж не мог иметь детей (они проверялись у врача), а она очень хотела.

— Ты немка, а он кто?

— Он — русский. Мать мужа советовала, чтобы я прижила ребенка на стороне. Но я не могу, вот. Наконец развелась полгода назад и приехала отдохнуть от всей этой карусели, я в отпуске не была два года.

— Приехала подыскивать мужа?

— Наивный ты, здесь не мужей ищут, а любовников.

— Так ты повеселиться приехала?

— Глупый, отстань, — сердилась она.

— Как ты собираешься жить?

— У мамы. Она одна, у неё двухкомнатная квартира в Свердловске. Ты бывал в Свердловске?

— Нет, но я спрашиваю «как», а не «где».

— А как все, и ещё лучше! Хочешь, я спою тебе свердловский вальс?..

И она, встав в кровати в одних трусиках, начала напевать, раскачиваясь. Но на кровати было неловко и она спрыгнула на пол. У него от неё слепило глаза и в голове стучала кровь.

— Я приеду к тебе и мы будем жить вместе.

— Но я не собираюсь жениться, — всё-таки сопротивлялся он.

— Ну и не женись. Найдешь где нам жить?

Кирилл не узнавал себя. Ему приходилось подчиняться взбалмошной подруге. Его как будто несло течением. До этого с ним такого не было.

— Я твоя женщина. Я тебя вижу насквозь. Я сделаю тебе только хорошее. В тебе слишком много добродетели. Фу, это очень скучно бывает, понимаешь? Нужно хоть чуть-чуть куражу! Да!

«Да, да, я это понимаю, но я вот такой. Вот тебе мой кураж: если я женюсь на тебе, это будет отклонением от моих планов: оставаться холостяком до тридцати лет».

...Однажды, когда они, утомленные, в очередной раз пришли с пляжа в её номер, она, едва сбросив халатик, поймала его в свои объятия. Он и сам ждал этого момента, но она его во всем опережала.

Кирилл замешкался со своими тесемками на плавках, затянувшимися в тугий узел. Она, ловко выскользнув из-под него, схватила со стола ножницы.

— Не могу смотреть, как ты каждый раз трясущимися руками развязываешь свои бантики! Что за дурацкие плавки... Чик — и готово. После я вставляю тебе резинку, ты что так смотришь? — она бросила ножницы на стол.

— Да нет, ничего, — промямлил он. — Ты очень деловая.

— Такая вот тебе попалась.

Его много в ней смущало. И, как ни странно, ещё больше — притягивало.

— Сколько у тебя было до меня? — тусклым голосом спросил он.

— Посмотри на меня, я красивая, молодая — сейчас люблю тебя — разве этого мало?

Да. Она была красива. Она была породиста. Его всегда манили такие женщины.

...Дней через десять Кирилл начал собираться домой.

— Ты от меня уезжаешь! — неподдельно обиженно воскликнула она, и Кирилл почувствовал себя неловким подростком. Дело было ещё в том, что у него просто кончались деньги и ему не хотелось в этом признаваться.

Когда же, наконец, он сказал ей об этом, явно смущаясь, больше боясь почему-то, что она сейчас примет его за беглеца, она решила этот вопрос просто.

— У меня есть деньги. Нам есть на что здесь жить вместе хоть месяц. Месяц в Сочи — это неплохо, а?

— Как так? — удивился он.

— Я дам тебе их. Сколько: двести, триста?

Он был растерян:

— Я не могу у тебя брать деньги, это черт знает что.

— Возьми в долг. Потом отдашь, хочешь, с процентами, — она весело расхохоталась, — оба выиграем.

— Когда отдам? — удивился он. — Где?

Логика её рассуждений была, что называется, железная:

— Ну, у тебя же будет время! Когда мы поженимся.

— Что? — выдохнул Кирилл. — Ты, наверное, забыла, я тебе говорил, что собираюсь стать писателем, подготовил рукопись стихов. На следующий год буду поступать в Литературный институт.

— Ну и зачем?

— Чтобы стать писателем.

— Миленький мой, жить надо. Жить. А уж потом писать, глупенький ты мой. Узнать жизнь, женщин, увидеть мир — это же главное всего.

— Ты так уверенно говоришь об этом, — удивился он.

— Потому что не хочу становиться писателем, во-первых, у меня нет таланта, во-вторых, это скучно. Миленький, поступишь на дневное отделение — ни денег, ни жилья нормального. Через пять лет выпустишь маленькую книжечку стихов: жены, то есть меня, у тебя нет, детей нет, будущее призрачно.

«Боже мой, безденежье и неопределенность однажды уберегли меня от женитьбы, а теперь те же доводы приводятся, но за женитьбу», — думал он.

А Светлана продолжала:

— У меня подруга кончила Литинститут, правда, заочно. Ну и что? Литсотрудник в заводской многотиражке. Гениально! И книжки ещё нет своей.

...Оставшись у неё ночевать, он ночью написал для неё стихотворение, назвав его «Встреча в Сочи».

Все начиналось так, между прочим...

Куда ж несерьезность моя подевалась —

Нас тешило море, нас тешил Сочи,

Не тешило время нас, время — мчалось.

День предыдущий и день настоящий,

Снабдившие солнцем меня про запас,

Кажутся мне кораблем уходящим,

Кораблем, уносящим частичку нас.

*Светит ли солнце, хмурится небо ли —
Кто мы, откуда? Какого мы племени?
Приходят, уходят — тают в небыли
Дни корабля в океане времени.*

— Какой ты молодец! Умелый, опытный конспиратор! Я не предполагала. Ты, наверное, опасный сердцеед, только прикидываешься теленочком.

— Почему? — удивился он такой неожиданной оценке.

— Все про нас и нигде нет ни моего, ни твоего имени. Ты так осторожен?

— Я об этом совсем не думал, — обескуражено проговорил он. — Ты на все смотришь по-своему.

— Какой же ты у меня ребеночек, ну какой же из тебя сейчас писатель. Писатели — народ матерый и бывалый.

В одну из их встреч, когда они вышли из гостиницы и направились на пляж, она спросила:

— Как ты оказался на заводе?

— Не понял.

— Ну ты же не технарь, ты — гуманитарий.

— Я, скорее всего, пролетарий. И ты убедишься в этом, если действительно приедешь ко мне. У меня общежитие, завод и больше ничего нет. Да больная мама, — добавил он задумчиво.

Она, казалось, его не слышала.

— Зато ты мне очень нравишься!

В другой раз, утром, когда он, отлепившись от неё после сна, потихоньку, чтобы не разбудить, встал и подошел к окну, она неожиданно сказала:

— Ты не думай, что я нехорошая. Я — хорошая! — при этих словах глаза её повлажнели. — У меня, кроме мужа, никого не было. Правда, был один, но он ближе, чем на полметра, ко мне не приближался. Любил и боялся меня. Такой вот был. Может быть, ему и цены не было бы. Но я была совсем равнодушна к нему. А с тобой у меня все непроизвольно. Я нашла тебя. Ты — мой мужчина.

— Ну и ну, — мотнул он головой, отходя от окна.

— Что «ну и ну»? — Она уже сидела на кровати, обхватив руками колени.

— Складно все, как в кино. Красиво, а по сути ты вриваешься в мою жизнь.

— Вот тебе!

И она запустила в него подушкой, вместе с ней в него полетели и её, с белыми кружавчиками, светлые трусики.

Поднимая их с пола, она вздохнула:

— Вот она, проза жизни!

— Ты бесподобна, — вырвалось у него.

— Я знаю, — воинственно выкликнула она и бросилась на Касторгина.

Через минуту они боролись уже в постели. Она визжала и делала вид, что вырывается... Светлана не хотела ему уступить, желая все делать сама.

— Я хочу забеременеть от тебя, а на дальнейшее мне наплевать, можешь и не жениться на мне, — шептала она разгоряченно.

— Я не женюсь на тебе и буду негодяй?

— И все равно ты будешь годяй. Ты всегда будешь для меня годяй, потому что ты редкий, штучный экземпляр.

Улетал Касторгин из Сочи первым. Провожала она его с огромным букетом красных роз. А через неделю сообщила телеграммой: «Еду насовсем, встречай, подробности телефоном десятого вечером, если против — телеграфируй».

«...подробности телефоном... Какие подробности? Какие телефоны? Я, кажется, сдаюсь. Пусть будет, как будет». Он с самого начала смотрел на семейную жизнь с ней как на некий эксперимент. А вдруг и получится, раз она так хочет. Признаться, он уже перестал понимать, какая жена ему нужна и когда?

...И началась их совместная жизнь.

Вначале они сняли комнату. Вскоре Касторгина назначили заместителем начальника цеха и он получил вначале комнату на соседей в трехкомнатной квартире, а через некоторое время сразу двухкомнатную. К этому времени у них была уже Ирина.

Жена после работы собой заполняла все. О писательстве он давно перестал, кажется, даже помышлять. Когда же начал писать кандидатскую, она это восприняла очень одобрительно. Во всем старалась помочь.

А у Кирилла мелькнула мысль: «Вот, занимаюсь наукой, ещё другую грань жизни узнаю — научную, другой срез жизни». Он

не писал, но был готов знать жизнь со всех сторон, будто верил, что ему это надо будет для чего-то обязательно. Его мозг, его память постоянно все откладывали на потом, на осмысление, на анализ.

...Забавно то, что когда он вернулся из Сочи, в армию его по каким-то неизвестным причинам не призвали, в отличие от его приятеля Владимира, который пополнил ряды ПВО в Небит-Даге, где вскоре и женился на дочке командира полка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Билеты на Высоцкого

Он планировал поехать за билетами с утра, но не получилось. Было уже четверть двенадцатого, когда Кирилл Кириллович подошел к троллейбусной остановке. Дома, собираясь, он вдруг вспомнил, что у него есть удостоверение пенсионера, это в пятьдесят три-то года. Он решил попробовать себя в качестве пассажира с пенсионным удостоверением.

«Чудно как-то, — думал он, — вот я войду в транспорт и буду кому-то показывать серенькую бумажку, в которой, как приговор, звучит: ты пенсионер, все — отработанный материал, дальше некуда — сливай воду. Жизнь — к черту. И как компенсация всему этому — вот вам: езжайте в пределах города, дорогой товарищ — нет, теперь, господин — бесплатно. Заслужили, господа! Господа пенсионеры?»

Он поморщился от внутреннего диалога, от картинности и ходульности происходящего. «Фанера, тьфу.. Какой я стал нудный... Интересно, а сколько билет стоит, во сколько нас оценили, ну-ка, господа хорошие, сейчас узнаем».

Подошел маршрутный троллейбус номер 11, и он поднялся по ступенькам.

Вошедших было двое: он и бабулька, проворно подкатившая к кондуктору.

— На-ка, милая, у меня руки заняты, на билетик-то.

По всему видно было, что бабка с села Рождествено едет торговать на Крытый рынок. Она держала деньги в левой руке

вместе с трехлитровым бидончиком, в котором были либо сметана, либо творог. В другой руке у неё была корзинка с яичками. Кондуктор подошла и взяла деньги. Последующее действие развивалось, по оценке Касторгина, невнятно и суматошно.

— Гражданин, а вы платите собираетесь? — глаза приземистой крепышки смотрели дружелюбно и в то же время насмешливо. — Бабуля и та платит, а вы?

Надо бы взять и заплатить, но он подошел к кондуктору и каким-то очень подозрительно проникновенным голосом произнес:

— Знаете, у меня удостоверение пенсионера.

Крепышка удивленно округлила глаза:

— У вас удостоверение? — она с сомнением покачала головой.

Он понял это так: «Ладно, мол, заливать, хотите ехать зайцем, черт с вами, связываться с каждым тут...» Касторгина передернуло.

— Что, не верите?

— Да ну вас... — она не смогла подобрать слова, — как хотите.

— Как, как хотите? — выдохнул Кирилл Кириллович, — я ведь и сам не верю — вот, — он наконец-то нашарил удостоверение, вынул его и торжественно развернул, чувствуя, однако, смущение и какое-то непонятное чувство вины, будто он намеревался что-то всё-таки украсть.

«Черт, меня заклинило, надо было взять билет, отец ведь всегда брал, а был инвалид войны, и никогда на сиденье не садился, стоя ездил, хотя и с протезом... одна морока. Зато прошел полную апробацию», — думал он, подходя к зданию филармонии.

У кассы филармонии была небольшая очередь. Когда он ткнулся в окошечко, кассир объявила громко, что остались всего два билета.

— Мне хватит одного, — резонно сказал Касторгин.

— Ой, как же так, — пискнул над его ухом голосок.

Он обернулся. На него смотрели черные детские глазки взрослой девицы, а рядом стоял стройный элегантно одетый её спутник.

— Ради бога, уступите нам, ну что вам стоит, мы ведь вдвоем, а вы всего один. Вы купите: и ни то, ни се — один билет останется. Никому!

— Как никому? За вами же стоят, — чувствуя несуразность диалога возразил Касторгин.

— Ну всё-таки, всё-таки здесь какая-то несправедливость, верно ведь? Нас двое, а вы — один, — лепетала девица и глаза её то закрывались, то открывались. Её спутник по-нуро молчал.

Касторгин уступил билеты. Он, действительно, увы, был один. Почти равнодушно отошел от кассы.

...Был субботний день, 25 января. Малоснежная зима. Легкий морозец и свежий ветер гуляли под открытым небом. Он решил пройтись по улице Фрунзе до драматического театра и взять билеты на любой вечерний спектакль. «А заодно поприветствую Алексея Толстого», — подумал он, вспомнив, что на его пути будет справа дом-музей писателя.

Последний раз он был в нем в год окончания института. Толстого он любил. Книгу Оклянского «Шумное захолустье» перечитал несколько раз. У него была давняя привычка перечитывать полюбившиеся книги. Оттого-то первые строки любимых произведений разных авторов он знал на память. А некоторые: «Детство Никиты», «Разгром», «Хаджи Мурат», «Поединок» и многие другие мог цитировать по памяти кусками.

Подойдя к дому-музею Толстого, Кирилл Кириллович внутренне порадовался тому, что внешне особнячок, обшитый досками, выкрашенными в желто-коричневый цвет, выглядел сносно.

«Конечно, наверно, масса проблем с содержанием и безденежье душит, но всё-таки стоит...»

Он потрогал руками добротные доски, хмыкнул невразумительно, отошел метров на пять и, задрав голову, окинул взглядом весь дом сразу: «Сколько уже лет нет знаменитого писателя, а он стоит — свидетель былой жизни, хранитель всего виденного, что было в нем... Как банально последние дни я говорю и думаю, — заметил он отстраненно, и тут же спокойно и трезво пришла новая, не пугающая, а уравнивающая мысль: — Так, наверное, и должно быть, раз я барахтаюсь на краю пропасти. «Живой труп» — Боже, никогда не думал, что это и обо мне».

Кто-то изнутри дома-музея приоткрыл форточку, и скрип её вернул его к действительности.

«Странно: ходят люди, звенит трамвай, я этого ничего не слышал только что, как будто находился в другом измерении. А скрип форточки, словно оттуда, издалека, где Толстой и его старшие родственники, говорит со мной?»

Последние месяцы Касторгин писал короткие стихотворения, чаще четверостишья. Это отвлекало от мрачных мыслей, давало некое ощущение деятельной жизни.

Он попытался припомнить своё четверостишье о Толстом. На память многие из своих стихов он не помнил. И это, очевидно, от того, думал он, что четверостишья требовали четкой формы, лаконичности, даже лапидарности, эта форма приходила и ложилась на бумагу не сразу, было много вариантов и все они потом, когда уже был главный, окончательный, все равно толкались в сознании.

С минуту пошевелив губами, он вполголоса все ж-таки произнес:

*К кому мне пойти с досадой моей,
Кому рассказать об этом?
Так жалко, что Толстой Алексей
Не стал гениальным поэтом.*

...Касторгин продолжил свой путь по улице Фрунзе. Проходя мимо Академии искусств и культуры, невольно обратил внимание на разминавшихся балерин в зале. Там царили красота, молодость, жизнь.

Завораживающие силуэты вдоль стенок, чуть слышимая музыка, казалось, должны были вызвать у Кирилла Кирилловича прилив бодрости. Он и сам этого ожидал, но какая-то сила мешала... Наоборот, что-то будто говорило: это уже не твое, ты уже лишился права на музыку, красоту. «Как и кто лишил? — вдруг кольнула мысль. — Ведь это я решил, что уйду из жизни, но сама действительность, все люди, эти девочки, грациозные и недостижимые, они ни при чем, это я все сам... сам. Боже мой, надо не раскисать. Надо ещё все до конца понять... и разобраться... А ведь мне и раньше, когда я смотрел на что-то красивое, особенно на женщин, отчего-то становилось грустно... Возможно, таких людей, как я, много. И они ходят по улицам. Те, кто ожесточился до крайности, но ещё пока не поднял руку на себя, но уже решил это сделать, они же могут быть социально

опасными. Им уже все равно. А тебе? Нет, мне — нет, — терпеливо думал Касторгин. — У меня нет таких сил, чтобы желать или делать сознательно зло. Я, наверное, слаб. Или здесь что-то другое... другое, другое, — пытался догадаться Кирилл, — но что? Жить всё-таки хочу, вот она разгадка. Но жить могу только порядочным человеком, уважая себя. Я балансирую на грани и не знаю, что из этого всего будет».

— Я что-нибудь не так делаю? — вдруг, как сквозь завесу, услышал Касторгин молодой бархатный голос.

— Так, очень даже так, — отвечал женский голос.

Кирилл Кириллович поднял голову и прямо перед собой у подъезда университета увидел целующуюся парочку. Поразило его то, что они не смотрелись вульгарно. Они были красивы. Особенно она — чуть полноватая, с прямо-таки величаво посаженной головой. Он был худощав и невозмутим. «Бог мой, что они делают?»

А парочка продолжала целоваться. Они ничего не видели, особенно она. Они были одни. Вернее, они чувствовали себя центром всей вселенной. До остальных им не было никакого дела, не было никого вокруг. Тем более Кирилла Кирилловича с его проблемами. Он это понял или, вернее, оценил и неопределенно улыбнулся. И, если бы сторонний наблюдатель видел его улыбку, он не догадался бы, что она значит.

...Он отпустил её губы, она, хлебнув воздуха, чуть оттолкнула его и, засмеявшись, совсем как подросток, что-то ему шепнула на ухо. Прямо глядя в её бездонные, омутовые глаза, парень кивнул головой и она звонко чмокнула его в щеку. Парочка продолжала разговаривать на своём языке, а Кирилл Кириллович пошел дальше по улице Фрунзе.

Застывший в мыслях между только что виденным и тем, что сидело в нем и подспудно, но настойчиво требовало по его привычке упорядочения, он удивленно уставился на памятник Чапаеву перед зданием драматического театра.

Чапаев восседал на коне с протянутой рукой, но без сабли. «Как, — удивился Касторгин, — и здесь корректировочку перестройщики сделали. Отняли сабельку у Чапая, хватит, помахал и довольно. Стыдно стало за кровожадность собственных героев Отечества. Сколько голов-то посшибали друг другу. Варварство, конечно».

Он был сторонник той мысли, что и революция, и гражданская война были срежиссированы международным империализмом, как некий опыт для человечества, и мысль, что огромный его народ стал по чьей-то воле зловещей и деятельной игрушкой в мировой игре, его периодически угнетала.

Рассуждая подобным образом, он прошел чуть вперед и... вдруг вытянутая рука Чапая обрела саблю. Все было на месте.

— Черт те что, — ругнулся Кирилл Кириллович и попятился назад, туда, где только что стоял.

Как только он оказался в одной линии с рукой Чапая, сабля исчезла.

«Вот фокус, надо же. Выходит, никто не трогал Чапая. А мы тут исторические ретроспекции проводим. Поторопились чуток. Махальщиков сабельками ого-го сколько ещё у нас. Не скоро ещё до поумнения». Ему вспомнилась одна из телепередач...

Это были дни накануне восьмидесятипятилетия или девяностолетия со дня рождения знаменитого комдива. Местное телевидение организовало в память о Чапаеве встречу с ветеранами-чапаевцами. Человек пять или шесть усадили за круглый стол и ведущая по очереди стала каждому задавать вопросы.

Кирилл Кириллович заинтересованно посматривал на экран. Ему было интересно наблюдать людей, которые будут вспоминать о событиях далеких дней. За столом сидели, так сказать, живые участники драматических лет гражданской войны.

Но передача явно не получалась. Не клеился разговор за столом. Те, кто имели образование и выдвинулись из общего ряда, говорили гладко и осторожными фразами общеизвестное, а те, кто так и остался простым тружеником, были скупы на слова, не совсем понимая, что как раз-то от них и ждут живого разговора.

Кирилл Кириллович сразу обратил внимание на рослого, угловатого старика. Крупные и темные его кулаки внушительно лежали на столе.

Два раза диктор обращалась к нему с общими вопросами, но он отвечал односложно, спокойно уступая другим. Ему был неинтересен разговор обо всем и ни о чем.

Касторгин все ждал, что кто-нибудь обмолвится о Чапанной войне, или Чапанке, как называли её в Поволжье. Эта война,

как понимал он, всколыхнувшая огромные массы крестьян Самарской и Симбирской губерний, была намного масштабнее и трагичнее, чем Кронштадский мятеж в 1921 году и «антоновщина», о которых хоть что-то было известно. Видно, сведения об этих событиях двадцатых годов были настолько под запретом, что впервые попытавшегося рассказать о них писателя Артема Веселого в своей повести «Чапаны» расстреляли, а повесть конфисковали. (Это он уже позже узнал.)

«Эти люди на экране, они должны были знать об этой трагедии. Неужели ничего не скажут?.. Не скажут, — чуть позже ответил он сам себе, — ведь они воевали друг против друга. Их заставили воевать. Жизнь вновь выдвинет человека, который скажет об этих событиях во весь голос. И мы все до конца узнаем, как это было. Но когда?»

Вдруг диктор, может, сама того не ожидая, задала вопрос, который враз оживил передачу:

— А страшно было, когда кавалерия, эскадрон на эскадрон с шашками наголо?..

— Тут ведь цельная наука — воевать в кавалерии, — не спеша отвечал обстоятельный старик. — Во-первых, конь должен быть строевой, обученный для этого дела, во-вторых, снаряжение, того... — и старик со знанием дела, свободно, не обращая внимания на сидевших рядом, словно зная, что они либо бывшие обозники в чапаевской дивизии, либо вообще липовые «участники», стал подробно обо всем рассказывать, что касается снаряжения коня.

— Страшно вначале было? — допытывалась диктор. — Ведь лавина на лавину?

— Да, ежели науку освоить, оно становится не в диковинку. Все по своим правилам.

— «Есть упоение в бою...» — явно желая разогреть разговор, продекламировала ведущая.

«О чем лепечет эта бабенка, — ужаснулся Кирилл Кириллович, — о чем говорит этот старик, какие правила, разве может нормальный человек методично истреблять по каким-то там правилам себе подобных? Отечественная война, война с захватчиками — это понятно. Но убивать своих же земляков, таких же, как ты, простых хлеборобов, как в чапанной войне? От невежества это. Если «антоновщина» охватила около пятидесяти

тысяч повстанцев, то сколько в Чапанке? И их наверняка либо уничтожали, либо выслали. От невежества, — повторил он, но через секунду возник другой вопрос. — А как же объяснить «успехи» маршала Тухачевского, высокообразованного интеллигента, который разработал и внедрил правила применения отравляющих газов при подавлении крестьянских восстаний в России? Это просочилось в печать. Тоже по особым правилам? Что ж это за россияне такие: им и невежество тяжело в себе нести, и образованность получается не впрок».

В кассе драмтеатра он взял билет на мелодраму «Яблочная леди» с Верой Ершовой в главной роли. Когда Кирилл отошел от кассы с билетом в руках, перед ним возникла миловидная женщина в черном:

— Извините ради бога, посоветуйте: стоит ли брать на «Крошку» билеты? Московским гостям хочется показать наших артистов, — она кивнула в сторону своих спутников.

— Конечно, — живо откликнулся Кирилл Кириллович, — берите, не пожалеете. Замечательная вещь. Там и Ершова играет. Как раз то, что надо, чтобы москвичи имели представление.

Ему показалось мало сказанного, либо сказанное могло прозвучать холодно и официально, и он почти извиняющимся тоном поспешно добавил:

— К этой пьесе Ерицев и Марк Левянт песенки совершенно замечательные сочинили. Наверняка вам понравится. Они вместе с Петром Монастырским и Владимиром Борисовым ставили, кроме «Крошки», ещё «Хитроумную дуреху» и «Здесь под небом чужим».

— А что, разве «Здесь под чужим небом» не Гвоздкова работа? — спросила одна из москвичек, что повыше ростом.

— Нет, что вы! Нашего Монастырского.

Сказанное прозвучало либо хвастливо, либо как-то всё-таки для женщин необычно, ибо москвички переглянулись меж собой и улыбнулись. Он пожалел о том, что сказал, хотя все было правдой.

— А вы знаете, — сказала одна из москвичек неожиданно красивым грудным голосом, заставившим Касторгина остановиться и внимательно посмотреть на неё, — я сегодня в местной газете, по-моему «Волжская коммуна», да-да, так она называ-

ется, видела указ Ельцина о награждении Ершовой орденом «За заслуги перед Отечеством».

«Голос, как у моей Светланы, наваждение какое-то, будто она говорит, а лицо другое... Я начал сходить с ума? Не может этого быть. Я твердо знаю, что я крепок и здоров до неприличия, может быть, в мои годы...»

Выйдя на улицу, Касторгин свернул в сквер. «Посидим возле Пушкина, может, успокоимся», — улыбнулся он и сел на скамейку как раз напротив бюста поэта.

Сквер был свободен от людей. Были только недалеко внизу Волга, Пушкин и Небо над головой.

«Да я вот здесь, на фоне, со своими болячками, непонятно кому нужный, — доедал себя Кирилл Кириллович, но вдруг опомнился. — А что, если я как раз здесь сейчас самый важный объект и есть, я — не Кирилл Касторгин, а человек, пусть рядовой, пусть сам себе уже не нужный, в тягость, но человек, которого создали и это Небо, и Волга, и вся Природа, ведь по идее так. Ведь я создан был для чего-то существенного!? Или все существенное я уже сделал? А что я сделал? Родил дочь, которая меня не очень ценит (не уехала бы), сделал обеспеченную жизнь жене? Но она ушла от меня. Докторскую написал? Чепуха! Мир этого и не заметил. Одни завистники и заметили. Разве ж вот тридцать лет отпахал на заводе. Но я ушел и по сути мало кто спохватился. Некому. Профессионалы давно уже рассеялись. Учиться бы надо молодым, но промышленность развалена. Чему учиться на кладбище? Если так будет ещё года два — все: и кадры, и оборудование, и технологии в России пропадут пропадом. Не восстановишь. Мы и так в химии и нефтехимии и по технологиями, и по химическому машиностроению на два десятка лет отстали от Запада... А, ну да, Высоцкого бы сюда в нашу перестроечную кашу, что бы и как он запел?»

Касторгин вспомнил до мельчайших подробностей, как он впервые увидел Высоцкого. Он и тогда, и после воспринимал Высоцкого как гражданина, в первую очередь. Как явление. Он и Маяковского не считал в строгом смысле поэтом. Трибуном? Да! Поэзия, считал он, это всё-таки не только езда в незнаемое, не хриплый оглушительный голос. Ведь и Станиславский не выносил, когда ревели на сцене, Кирилла Кирилловича раздражали люди, говорящие громко, тем более об интимном.

Сам Касторгин говорил часто так, как будто бы его совсем не интересовало, слышат и слушают ли его или нет. И, странно, это не мешало, а наоборот, притягивало к нему сослуживцев. В нем чувствовалась всегда раньше внутренняя уверенность в себе, безотносительно, как его суждения вписываются в существующие производственные и технологические догмы. Но то было раньше. Перестройка политизировала всех и все. Все полетело кувырком. Он слишком был «технар» и это много определяло. На заводе и в городе до сих пор помнили, как он написал письмо в ЦК КПСС о вредности и несуразности широко вводимой в начале перестройки госприемки на предприятиях. Ведь было же очевидно, что качество продукции надо искать в начале технологического цикла, а не в конце, посадив на это сонных чиновников. Но, увы, ему тогда крепко влетело за его настырность.

«Поэзия — это истина в бальном платье». Такое определение он более всего принимал.

Первый раз Владимира Высоцкого он слушал в своём Политехническом в актовом зале на Первомайской улице. Ходили до этого записи. Мощный и будоражащий голос не позволял быть равнодушным. А тут вышел на сцену худощавый парень, совсем на вид свой, и, когда особо шустрые, настраивая свои магнитофоны на запись, начали суетиться, он жестко объявил:

— Ребята, вы мне будете мешать, давайте все уберем, иначе петь не буду.

И странно, никто не обиделся. Он успел стать всеобщим кумиром в Самаре. Ему, как звезде, многое прощали.

Тогда, перед началом концерта, он налил полстакана воды и, прежде чем выпить, скорее, прохрипел, чем сказал:

— Ваше здоровье! — И чуть погодя. — Вы не думайте, что я специально хриплю, у меня действительно такой голос.

С выступлением во Дворце спорта чуть было не получилась заминка. Как тогда слышал Касторгин, чтобы быть от греха подальше, комсомольское руководство в день выступления намеренно уехало в Тольятти, но активисты из городского молодежного клуба подсустились и прорвались за разрешением к первому секретарю обкома партии Владимиру Павловичу Орлову. Тот не долго думал — разрешил.

Кирилл Кириллович жалел, что не попал на вечер памяти певца. Хотелось бы посмотреть на тех ребят, которые тогда были ко всему этому близки. Ведь должны быть и воспомина-ния, и новые песни, и старые замечательные вещи.

Так хотелось никем не замеченным войти в зал, погрузиться в прошлое, в себя — без ажиотажа, эпатажа, тихо побыть и уйти. Не расплескав то, что было ещё твоим.

Он рассеянно глядел на Пушкина, на его кучерявую голову, покрытую белой шапкой снега, и ему вспомнилось открытие своего Пушкина.

«В легендах ставший как туман...»

...Кажется, на четвертом курсе института, перечитывая уже давно знакомое стихотворение Есенина «Пушкину», Кирилл вдруг изумился. Раньше образ белокурого автора, очевидно, заслонял фигуру Пушкина, либо стоял на переднем плане и потому истинный смысл слов «блондинистый, почти белесый» был совсем иным. «Блондинистый, почти белесый» — был всегда Есенин! Но ведь в стихотворении он, Есенин, обращается к Пушкину. Значит, Пушкин — «почти белесый»?!

*Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.*

Это же написано в двадцать четвертом году! Так почему же все считают, что у Пушкина были черные волосы? Странное и страшное недоразумение. Или — это стихотворение недоразумение, да ещё какое?! Но почему оно напечатано?

Первым, с кем решился поговорить на эту тему, был Николай Францев, сотрудник институтской многотиражки «Молодой инженер», студент-заочник Литературного института. Глядя, как на ненормального, он обрушил на Касторгина всю тяжесть своего литературного авторитета:

— Ты перегрелся: Пушкин — эфиоп наполовину, ты понимаешь — он негр!

— Ну и что? — не то чтобы упрямо, но раздумчиво переспросил Кирилл.

— Негры блондинами не бывают! Ты воображаешь что-нибудь? — сказав это, Францев недвусмысленно покрутил указательным пальцем около виска.

Тогда Кирилл протянул ему томик стихов, раскрывая страницы с известным стихотворением. Указательным пальцем, помыгав ритмично, Францев несколько раз провел по злополучным строчкам, потом картинно швырнул книгу по столу в сторону Кирилла. Книга через весь стол доползла до самого края.

— Дело не в Пушкине, дело в Есенине.

— Что? — не понял Касторгин.

— Есенин, автор, был пьян, вот и сморозил. С поэтами бывает.

— А редактор, издатель — они что, чумовые? — резонно удивился Касторгин.

— Да кто из них что смотрит?..

Кирилл не знал, куда идти со своей догадкой. В студенческой компании, когда он говорил, что Пушкин блондин, его либо поднимали на смех, либо снисходительно молчали. Он и сам порой сомневался. Вглядываясь в прекрасный образ Пушкина, изображенный Орестом Адамовичем Кипренским, он едва ли не чувствовал во взгляде поэта иронию по поводу суетности окружающего мира, в том числе и попыток Касторгина знать истину. На портрете Пушкин был с привычными черными кудрями и бакенбардами.

Те же ощущения вызвал в нем и портрет поэта, выполненный Василием Андреевичем Тропининым. Царственно величавый поэт, правда, был здесь с более светлыми глазами и волосы были близки к каштановому цвету. Так ему показалось, по крайней мере, когда он с помощью лупы разглядывал небольшие журнальные репродукции.

Кирилл перестал вести разговоры с кем бы то ни было о цвете волос великого поэта. Он начал поиски.

И никак не мог принять и смириться с тем, что есть и такие слова о Пушкине: «...невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил ещё некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде». Кто такая Д.Ф. Фикельмон, насколько она близко была знакома с поэтом, чтобы доверять ей, верить в её записи?

...Ему повезло случайно. В 1968 году, летом, в книжном магазине на Самарской улице он взял в руки квадратного формата с желтыми подсолнечными лепестками на черном фоне мягкую, какую-то очень теплую книжечку и, раскрыв её, на первой же странице с изумлением прочел: «Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество...» По книге выходило, что эти слова принадлежали известному русскому писателю Куприну и сказал он их 12 октября 1908 года на вечере, посвященном восьмидесятилетию Толстого в Тенишевском зале.

На обложке значилось: «Евгений Шаповалов. Рассказы о Толстом».

Он быстренько расплатился за книгу и, выйдя из магазина, направился в скверик на Самарской площади. Присел на скамейку в тени липы.

В книжке самарский автор рассказывал о встречах со стариками-степняками в Алексеевском районе, которые когда-то в раннем детстве видели Льва Толстого в его самарском имении.

«Всё-таки белокурый, всё-таки белокурый!» — ликовало в нём.

Чуть позже он пожалел, что, закончив институт, однокурсники разъехались. Даже Францев куда-то пропал, и в общем-то некому из них, не верящих ему, показать книгу. Он шел по улице и у него было странное состояние.

«Я иду по городу и наверняка процентов на восемьдесят народа, который копошится вокруг, не знает, что Пушкин-то блондин. Так не должно быть».

На трамвайной остановке, чуть в стороне от всех, в светлом костюме и легкой шляпе стоял человек. Человек ждал трамвай, раскрыв газету.

— Извините, у вас какая профессия? — вежливо спросил Кирилл. Ему показалось, что так начать разговор более уместно.

Человек в светлом костюме вопросительно посмотрел на Касторгина.

— Вам зачем?

— Да я... я хотел, понимаете, — Касторгин сбился, забыв приготовленные фразы, и поняв нелепость своего поведения, стушевался.

Но будущий пассажир трамвая спокойно академическим тоном ответил:

— Я директор школы.

— Тогда вот, прочтите, — обрадовался самодеятельный пушкиновед и сунул пальцем в раскрытую книгу.

— Чепуха какая-то, сроду не поверю: Пушкин — блондин. Если так, то тогда мы с вами, дорогой, негры, — и он, весело мотнув рукой, снял шляпу, обнажив крупную голову с белокурой «канадкой».

Подошел трамвай и директор, сунув книгу под мышку, бодро двинулся к дверям.

— Товарищ, а книгу-то! — спохватился Кирилл.

— А... да, совсем вы меня сбили с толку. Ловите!

Кирилл обеими руками поймал подсолнуховый квадрат и пошел к остановке на другой стороне улицы.

Через пять лет в одну из поездок в Ленинград, на «Мойке, 12» он получил ответ на свой вопрос.

— Да, конечно, — сказали ему, — Пушкин в детстве был белокур.

— Но почему же его рисовали черным? — смущаясь, спросил он.

— Но ведь с годами, как у всех, волосы темнеют. Вот посмотрите на пучок волос, срезанных на смертном одре поэта. Они каштановые.

— Да-да, — неопределенно согласился Касторгин.

— А знаете ли вы, что Пушкин был голубоглазый?

— Нет, — выдохнул Кирилл, — не знаю, — он почувствовал себя школьником.

Приехав домой в Чапаевск, он вновь нашел репродукцию с портрета Пушкина кисти Кипренского и долго через лупу разглядывал её. Выходило, что глаза действительно чуть голубые, но волосы, они были всё-таки, как казалось Касторгину, чересчур темные. Загадка. Он тогда поставил себе задачу найти неопровержимые доказательства, что действительно глаза у Пушкина — голубые.

...Сидеть в заснеженном сквере стало холодновато. Театрально воздев вверх правую руку, приподнимаясь со скамьи, Кирилл Кириллович бодро продекламировал:

*Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз.*

— Хорошо сказал! — обратился непосредственно к Пушкину Касторгин. — Молодец!

Но черная курчавая голова величаво молчала, погружившись по воле скульптура в волны вдохновенья.

«А мы вот суетимся, то есть живем себе, казалось бы, на зависть всем и — перестраиваемся, как можем. Чтобы ты сказал на это, Александр Сергеевич? Если б тебя не сделали гранитным. Ты бы сумел сказать! Ты же был умница. Не зря ведь ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с тобой не могли».

Он подошел к самому краю крутого обрыва. Отсюда сквозь мерзлые ветви кленов вдали справа угадывались Жигулевские Ворота. Молчаливый и мудрый облик Жигулей и Волги успокаивал. Где-то там, в морозной дали, не видимая отсюда лежала восточная, живописная в теплое время года оконечность Жигулей с вершинами Белой и Серной гор, Верблюдо-горы, с долинами Крестовой и Гавриловой полян. А напротив — не менее чудная западная оконечность Жигулей с песенным Молодецким курганом, где он не раз бывал когда-то. Даже однажды вместе со студенческой группой встречал Новый год. И среди всего этого чуда пряталась самая живописная долина Девьих гор, как назывались Жигули до Екатерины II, — Бахилова Поляна.

— Здравствуй, мой Жигулевский рефугиум! — почти патетически воскликнул Кирилл Кириллович. — Здравствуй и процветай, и пусть тебя ни один ледник не тронет в твоих тысячелетиях, а мы уж — как-нибудь!

Он перешел улицу Вилоновскую, спустился во дворик Иверского монастыря и оказался у могилы Петра Владимировича Алабина. Где-то в заказниках памяти держалось, что бывший самарский городской голова, историк, писатель, добрый гений Самары, так много сделавший для города, похоронен не на общем кладбище, а на особицу. Но все равно, могила привела Касторгина в некое замешательство: уж больно она была в стороне от всего. Вернее, чувствовалось, что все сделано, чтобы

она была незаметной, кто-то очень сильно когда-то позаботился об этом. Кирилла Кирилловича поразили слова, выбитые на черном граните:

*«Петр Владимирович Алабин
действительный статский советник
Воин и летописец 4-х войн
1849, 1853, 1876, 1877*

*Всецело посвятивший свою деятельность с достоинством
и честью на пользу государству, земству и городу.
Основавший общину сестер милосердия, устроивший
водопровод, памятник Александру II и библиотеку.
Способствовавший к скорейшему окончанию собора
и много другого сделавший.
Вечная память, мой незабвенный,
благородный неутомимый труженик»*

Левее, на другой грани камня значилось:

*«1822–1898 гг.
Варвара Васильевна Алабина
рожд. Безобразова»*

«Прав этот француз, поэт Малларме: мир существует, чтобы войти в книгу. Надо бы, жив буду, начать собирать материал об этом славном человеке. Наверное, замечательная могла бы быть повесть».

Слова на камне, как ратники, боролись, сопротивлялись забвению и наветам. Что-то заставило оглянуться. Наверху стояла монахиня и глядела в его сторону. Глаза их встретились, и черное кольхнулось большой птицей и несуетно исчезло за красной стеной монастыря. Осталось наверху одно сине-белое, в светлых барашках небо.

Касторгин обошел несколько раз могилу вокруг, чувствуя странное внутреннее волнение, властный гул или ток шел через него, заставляя прислушиваться и к себе, и к вроде бы молчавшему надгробному камню. Он понимал, что находится во власти некой силы и природа этой силы не понятна обычно-будничному праздному разуму. Но наступает некий момент, когда словно попадаешь в иной параллельный мир и зримо начинаешь видеть себя зависшим над бездной, готовым провалиться и пропасть в этом сонме ушедших душ, живших до

тебя: гораздо более талантливых и достойных, но уже ушедших, сделавших своё дело. Касторгин ощутил всем своим существом неспособность противиться этому, казалось бы объективному, но все равно не принимаемому душой напору вечности. Он стал путаться в мыслях и, почувствовав странную боль в голове, вышел с монастырского двора.

«Я ведь не боюсь смерти, — убеждал себя Кирилл Кириллович, — не боюсь, по-моему это так, но я сильно противлюсь бессмыслице жизни. Я не хочу жить бессмысленно. А смысла я пока не нашел. Другие, что? Нашли? Чтобы ты ни сделал, все относительно. Абсолютного смысла нет. Она вот! Что, неужто нашла? — думал он, глядя на молоденькую с кротким лицом монашку, вышедшую из убогого подъезда деревянного дома и семенящую в монастырь, — думает, что нашла. Повезло ей, она верит. Рядом с Пушкиным мне только что было и легко, и от-раднo, я был другой человек».

Касторгин не спеша направился по узенькой дорожке к автобусной остановке, что почти напротив красно-белого здания Жигулевского пивзавода и бара «Фон Вакано» с огромной красивой рекламной пивной бутылкой над входом. Здесь была другая жизнь. Её шумливое течение с ходу подхватило его. Быстро подошел автобус, и он, поднимаясь на площадку, подталкиваемый сзади компанией молодых ребят, оказался у окна.

«Надо бы взять билет, да не протиснешься сразу», — только и успел он подумать, как услышал металлический голос:

— Берите билет, молодой человек.

— Сейчас, надо хотя бы суметь развернуться в давке-то.

— Разворачивайтесь, разворачивайтесь!

— У меня, между прочим, пенсионное удостоверение, — неожиданно для самого себя как бы извинился он.

Кондуктор отреагировала так, что его вовсе огорошило:

— Какое там пенсионное удостоверение, автобус-то «шестьдесят первый — скорый», на нем все должны брать билеты, а не хотите — не садитесь, мастера притворяться.

— Сколько надо? — упавшим голосом спросил Кирилл Кириллович.

— Две тысячи.

Он вынул пятитысячную купюру и протянул через головы кондуктору. Автобус шустро подъезжал к остановке, а кондук-

тор все копошилась со сдачей. Сделав немалое усилие, Касторгин протиснулся к выходу. Едва он по-молодецки соскочил на тротуар, дверь захлопнулась.

«Сколько же я проехал остановок? — прикинул он и, ухмыльнувшись сам себе, добавил: — За пять тысяч получилось всего две. Ну и ну, не везет мне сегодня. Так у всех пенсионеров, что ли?»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Каникулы в Джоррет де Мар

У Касторгина была особенность, которую он знал и с которой уже свыкся: он мог путать, когда точно было какое-то событие, но не мог забыть, как это было, при каких обстоятельствах, кто что сказал, как сказал и посмотрел, какая была погода, запахи — это в нем оставалось очень надолго. Надолго оставалось и хранилось в нем его отношение ко всему тому, что поразило или просто заострило на себе внимание. Такова была его натура. Был конкретен. Замечал, не заставляя себя это делать сознательно, многие мелочи, из которых, как он понимал, и состоит жизнь

Сейчас ему все чаще вспоминался последний отпуск, который они со Светланой провели в Испании. У него была возможность вырваться на две недели. Они это и использовали.

Страна Дон Кихота, Гойи и Дали встретила их ласковым солнцем и постоянно волнующимся у пляжа Средиземным морем. Им досталось, может быть, не самое удачное время для отдыха: первая половина сентября. Уже несколько спала волна самых популярных народных гуляний, которая бушует здесь в июле месяце.

Погода в эти сентябрьские дни была неустойчивая, иногда по три дня подряд пасмурная. Но разве только в погоде все дело, можно вдыхать аромат гранатовых и апельсиновых деревьев и без палящих лучей солнца.

Одни только названия пленяли воображение. Андалузия! А столица этой провинции — романтическая Севилья?!

Касторгин дал себе слово, что обязательно должен побывать на земле, где навечно прописались Кармен, Фигаро, Дон Жуан. И, конечно же, надо увидеть эту сказку сегодняшних дней — курорт Коста дель Соль, что в переводе звучит как Берег Солнца, раскинувшийся на триста километров вдоль средиземноморского побережья.

Это там, в лучших туристических центрах курорта Марабельи и Торремолинос с их фешенебельными кварталами и всемирно известными площадками гольф-клубов, звезды мирового кино, арабские шейхи, миллионеры и шикарные томные южные красавицы проводят своё свободное время...

Кирилл Кириллович уже был в Севилье, но ему хотелось её показать Светлане, очень хотелось. Он мог подолгу говорить об этом крае. Когда он был там, то не удержался и исписал несколько страничек записной книжки, которые теперь оказались весьма кстати. Но много помнил и так, будто прошло не три года, а три дня с того времени.

— Понимаешь, из Севильи испанская корона управляла заморскими странами. В Севилье рождались императоры и жили герои «Назидательных новелл» Сервантеса. А какого открытого и веселого нрава здесь были люди! Есть предание, что здесь жила первая любовь великого Мигеля Сервантеса донья Анна Мартинес Сарко де Моралис.

При всей «элитарной» изысканности одних и белоснежной «скромности» других у всех отелей независимо от «звездности» есть одна общая особенность — близость к морскому пляжу. Так случилось: туристический бум Испании увлек Кирилла и Светлану в свой более, чем пятидесятиmillionный поток туристов в год на сорок миллионов местных жителей и пришвартовал в небольшом приморском городке Джоррет де Мар в Каталонии, в сорока километрах от Барселоны.

Небольшой чистенький номер в гостинице «Ифа» сразу понравился. В этом трехзвездочном отеле в номерах не было телевизора и холодильника. Но это не смущало. Телевизор был на каждом этаже, правда, шумливые немцы постоянно успевали первыми включать свои программы. Вообще в гостинице и в городе большая часть туристов были немцы и русские — это они отметили сразу.

Касторгины каждый день стали делать для себя открытия. Одно из них, о котором Кирилл знал и, конечно, приветствовал, была сиеста.

Странно, зачем вам нужен телевизор, если тут веселье начинается до смешного рано: где-то в восемь часов вечера. В этот час курортные города только просыпаются: время сна после обеда — сиеста — святое время.

Кириллу Кирилловичу это подходило вполне. Ему всегда надо было в отпуске в первые три-четыре дня отсыпаться, забыть про завод, про работу, а уж потом активно отдыхать.

Утром и вечером у них был в уютном ресторанчике на первом этаже «шведский стол» с обязательной бутылочкой испанского вина «Дон Мендо». В первый же вечер они выпили по бокалу этого красного вкусного двенадцатиградусного вина за процветание испанской системы отелей группы «Сол». Построив свой первый отель на Майорке почти сорок лет назад, сейчас эта фирма имела уже сто семьдесят отелей во всем мире. Именно эти отели стали пионерами «шведских столов».

— За «шведский стол»!

— За него самого!

В таком легком настроении, ещё более облегченном употреблением, заметим, умеренным, испанских вин, они и начали свой отдых осенью 1995 года.

...Их гостиница была на узенькой улице, название которой он сейчас не помнил. По ней, шириной всего метров десять-двенадцать, они спускались к морю на пляж. Надо было пройти всего метров сто. Но какие это были метры! Вся улочка — сплошные кафе, бары, рестораны. Даже продавались русские газеты — «Московский комсомолец», «Труд», «Вечерняя Москва». За двести-двести двадцать пессет каждая, при курсе к американскому доллару сто двадцать пессет.

Кирилл на третий же день пошел искать газеты на русском языке, он не мог долго без газет. Тут-то у газетного киоска он и познакомился с Алексеем Рожновым. Тот тоже брал газеты. Перекинулись ничего не значащими фразами, и обедали уже вчетвером в кафе «Лидо», где Кирилл и Светлана до того два раза были. Им понравилось в этом кафе с видом на пляж. Было уютно сидеть в тени после пляжа за кружкой пива и наблюдать

публику или просто отрешенно смотреть на Средиземное море, взятое тобой напрокат на две, чудом свалившиеся на тебя свободные недели, и делать маленькие открытия, вроде этого:

— А знаете, ребята, почему испанцы громко говорят? — вдруг спрашивала Зинаида, жена Алексея.

— Не, не знаем, не тутошние мы, — отвечал Алексей.

— Они торговцы, в магазинах и на улице у них товар, слева и справа — сплошные торговые палатки и открытые магазины. Они разговаривают друг с другом через улицу. Улочка вроде бы узкая, но дома высокие, все как из колодца поднимается вверх. Они кричат, и все это в наши гостиничные номера летит. Вот так.

...Солнечный денек. Прелесть, а не денек. Отдыхать бы себе бездумно, да нет.

...Кирилл и Алексей лежат на прогретой мелкой «дробленке». Алексей, выставив широкие плечи на солнце, неспеша, вполголоса говорит:

— Посмотри: плоская, жесткая, курит, командует не только на кухне, но и в постели. Лишь только было бы по её. Подругому не может. И ведь, если бы в чем-то главном, а то и во всех мелочах. Каторга. По молодости терпел, да и молодость брала своё. А потом — вначале стала противна вообще, а дальше — сам не знаю: пропало вообще желание. Я терпеть не мог спать с ней в одной кровати, придумал причину, что она храпит. И потихоньку перебрался в отдельную комнату спать.

— А она действительно храпит?

— Как паровоз, нет удержу. Я никогда не успевал заснуть первым. Проблема вроде бы смешная, но когда этот храп каждую ночь, то изнурительно.

— Послушай, я где-то читал, что любящие супруги, это те, один из которых храпит по ночам, а другой упорно не слышит.

— Это не про нас. У меня такая Наташенька была до женьитьбы, пухленькая, мягкая, такие ямочки на щеках были, очень просила, чтобы не курил. И недотрога. Дурак, по молодости лез, где доступно сразу. Вот и приобрел себе супруженьку, — он повернул голову к морю и кивнул уныло. — Знаешь, она обнаженная похожа на саблю: кривая, узкая какая-то и плоская. И вся белая. Но мужики чумеют от неё. Лезут к ней,

с чего — не знаю. У неё и груди какие-то сучьи, тьфу ты, маленькие и висячие. У меня сравнить есть возможность. Вот же весь пляж со спущенными стягами ходит. Солидные все дамы. А у моей энергии масса. Она поет, танцует прекрасно, только брызги летят. Знаешь, она всегда просила звать её не Зиной, а Зинаидой, понимаешь: Зи-на-и-да. Мне кажется, от этого она мне стала казаться саблей, изогнутой такой, гнутой: Зина-и-да, чувствуешь? Вот это: «и-да» — это загогулина у сабли.

Кирилл Кириллович изумленно смотрел на своего собеседника:

— Послушай, ты о жене так говоришь, можно ли...

— Больше скажу, — почти злорадно усмехнулся Алексей, — знаешь, у неё влагалище, как клюв прожорливой птички, любого червячка-мужичка проглотит сходу. Она и здесь уже себе кавалера приглядела.

— Ты что? — Касторгин, не привыкший так говорить об интимном, потряс энергично головой. — Ты что — импотент? Злорадствуешь...

— С год назад пропало все. Не мог. Враз пропало. Она и пустилась в гастроли, всех в округе мужиков, что плохо лежали, собрала. Прямо у меня на глазах — всех бабников. Терплю, не сплю с ней, хотя давно все в порядке.

— Так в чем же дело?

— Не хочу я с ней. Потаскуха она. И до того, как у меня машинка сбой дала, при случае погуливала. Я давно, как бычок, здоров, но не могу с ней начинать снова. А братья её все стараются меня вылечить.

Кирилл Кириллович вспомнил: вчера, когда они бесцельно бродили, с удовольствием рассматривая незнакомое разноцветье лотков и вбирая многоголосье узких улочек, случилось одна сценка.

Заскучавший Алексей попытался шутить. Порой было ничего, смешно, но иногда... Ерничая, он вдруг остановился у подъезда одного из отелей и дурашливо произнес:

— У них тут везде все в прошлом времени: «хотель, хотель».

— Да не «хотель», а «отель», — резонно взялась поправлять Зинаида.

— Вот и я говорю: «хотел, хотель», а где же «хочет»?

— Точь-в-точь, как у тебя лично, — вдруг отреагировала Зина, зло взглянув на мужа, и резко приотсталала, уткнувшись в безделушки на уличном лотке.

Касторгин тогда не обратил на это внимания и не понял подоплеку. Они разговаривали, оказывается, на своём языке.

...Алексей между тем продолжал:

— Солнце и море делают своё, ей хочется близости. Я это вижу. Это прорывается то в ленивом утреннем потягивании и покряхтывании в постели, то в облизывании кончиком языка верхней губы, когда она поглядывает на мужиков затуманенным взглядом на пляже, в том, как она на меня иногда смотрит — зло и возбужденно. Вот трагедия жизни, а? — И он, как показалось Кириллу Кирилловичу, неестественно и дурашливо громко хохотнул, да так, что игравшие рядом в карты две дамочки враз повернулись в его сторону. Две пары загорелых обнаженных бронзовых грудей качнулись враз и обратились к ним.

— Хочешь анекдот на заданную тему?

— Валяй.

— Встречаются двое приятелей. «Как жизнь Петр Петрович?» — «Да разве это жизнь: уже пять лет как импотент». — «А я, тьфу-тьфу, пока только четыре...»

— Ну дела...

— Она, по-моему, уже здесь догадалась, что у меня все в порядке, по утрам глаза лупит, хорошо, что наши кровати раздельно стоят. Приеду домой и разведусь с ней. Раньше хотел застрелиться. Ага. Думал: выхода нет. Однажды дома сижу, Зинаида — на работе. Ну думаю: раз — и нет проблем. Зарядил «тулку», сел на кровати — с правой ноги ботинок снял. Спокойно примерился. Зажмурился и... провалился куда-то: все забылось, поплыло... Вдруг — мамин голос. Очнулся, открыл глаза — мама стоит: как мел, белое лицо и что-то говорит, а получают не слова, а только отдельные звуки. Никому она об этом случае не сказала тогда. А я твердо понял, что не могу повторить, пока мама жива. Не могу. Я лицо её не могу забыть. У меня никого нет. Но такого добра, как Зинаида, вон сколько — целый пляж. Разведусь. Надо, понимаешь, выдержать и не начать с ней как с женой здесь жить, опять все по кругу пойдет.

— Дети есть? — деловито спросил Кирилл Кириллович.

— В том-то и дело — сыну пятнадцать лет. Мы однажды договорились с ней, она ведь со мной как с совершенно безнадежным импотентом вела себя, договорились, как только сын окончит школу и уедет в институт, — разведемся. Но все родственники против. Особенно её московский брат-коммерсант. Он и организовал нам поездку. Меня взбодрить.

Подошла Зинаида, шумно и с удовольствием улеглась на лежак.

— Мужчины, хотите, я вам процитирую из газеты «Труд» преинтересную вещь, не пожалеете! Вот сейчас, ага, отсюда, поехали: «Группа ученых из США опросила 5200 дам, вес которых на 5-20 кг превышает норму. Выяснилось: в то время как лишь 37 процентов стройных женщин занимаются любовью чаще двух раз в неделю, среди толстушек 38 процентов делают это 2-3 раза в неделю, 18 процентов — 6 раз, а 2 процента — каждый день».

Зинаида на этом месте хихикнула.

— Где только они таких муженьков отыскивают, — вставил Алексей.

«Ну, семейка, — подумалось Касторгину, — вокруг одного все крутится, я с ними обалдею, хорошо, Светлана не слышит».

Зинаида продолжала просвещать:

— «85 процентов полных женщин всегда получают удовольствие от полового акта, а 70 процентов во всех случаях достигает оргазма. С другой стороны, лишь 45 процентов стройных американок испытывают наслаждение, а удовлетворение, уточняет агентство «Экспресс-пресс», получают и вовсе лишь 29 процентов». Каково, а? Вот толстушки, заразы. Тут стараются, понимаешь ли, на диете сидят миллионы стройных дурех, а удовольствие — толстухам.

«Боже мой, она и дальше будет развивать эту тему?» — пожегился Кирилл Кириллович, хотя и заметил неожиданно для себя, что в её откровенности и внимании к естественному есть какая-то притягательность.

— А вот и ответ, откуда такие мужчины берутся. Ага, сейчас я вам буду озвучивать. Интересная газета «Труд» оказывается, болеет за трудящихся, а? Это особенно здесь, за границей, чувствуешь, да. Вот: «Грядет эпоха супермужчин. Вице-президент

Валерий Рево в восторге от нового препарата: «Я просто потрясен и ошеломлен эффективностью биологически активной добавки «Супер-Иохимбе Экстракт». После проведенных опытов и экспериментов, я окончательно убедился, что достижение века навсегда избавит Россию от тотальной импотенции. Уникальное вещество из коры этих деревьев поднимает мужскую сексуальность до внушительной высоты... юношеская пылкость вновь станет вашим оружием... появятся буйные эротические фантазии...»

— Зинаида, ну довольно...

— Леш, ну, а чё я, — она томно посмотрела на Касторгина, — Кирилка, это же необходимая информация. Правда? Ведь, мы же цивилизованные. Вот смотрите, — она пальчиком ткнула вниз статьи, — молодцы газетчики — и адресок есть: тут вам и консультация, и покупка. Пожалте вам: «Москва, Кутузовский проспект, 22. 25, 26 и 27 октября с 12.30 до 19.30, в дальнейшем — каждую среду с 10 до 15 часов». Все, как в аптеке. Сила-то мужская в Москве! А, глянь, сколько их приехало в Испанию. Ошибочку делают. Не туда на каникулы махнули.

Общение с семьей Рожновых, если так можно назвать союз, который был между Алексеем и Зинаидой, давало ему, Касторгину, многое для последующих раздумий. Тогда он был счастлив, или, вернее, не думал о счастье, что иногда равнозначно, и всерьез не воспринимал рассуждения Алексея. Но теперь все чаще и чаще невольно перебирал те несуразности своего нового знакомого: «Размахай» — так он называл его тогда в Джоррет де Мар.

— Кириллыч, ну помоги мне сбегать куда-нибудь мою пантерочку, — лежа на спине, подставившись весь под утреннее солнце, говорил Размахай-Алексей. — Мне надо вечером посетить «Тройку». Возьми мою и свою и сгоняйте в Барселону. Хреново, что я со своей на корриду уже съездил, она второй раз не поедет. Вот что: я «прихворну», а ты предложи съездить в дом-музей Сальвадора Дали, вернее, театр-музей Дали в Фигейросе. Это недалеко. Она мне все уши дорогой ещё прожужжала.

— Ну, а сама коррида-то как?

— Мне не понравилась, Зинаиде — да, очень понравилась, аж ножками сучила.

— С чего так — не понравилась?

— Понимаешь, там не бой, а сплошное убийство быков. Распланированное артистическое действо: примерно на каждой двадцатой минуте уставшего, измученного прежде пешими, я их насчитал до семи, человек, а потом ещё двумя на лошадях, с бронированными попонами, быка забивал тореро. Причем, более половины было убито не с первого раза. Может, это специально, я не понял, чтобы пощекотать нервы. Но вот уж финальная сцена, когда добитого ножом быка за рога вязали веревкой и тройкой лошадей волочили с арены, конечно, жуткая. Только что на глазах было существо живое, дикое, красивое, безжалостно поставленное в условия, когда надо защищаться, и вдруг через двадцать минут — все! Труп. За три часа корриды убили шестерых быков. Мне один больше всех понравился, рыжий такой, небольшой. Он одного стервеца, ага, с плащом так здорово поддел, что тот упал, вскочил и спрятался за специальный барьерчик в нишу. Туда бык с его рогами просунуть голову не может. Все предусмотрено. Мясники.

— Но ведь, наверное, риск есть большой!

— Есть, и немалый. Но уж больно силы неравные, все обставлено для убийства, а не для поединка. Не столько быков жалко, сколько неловко за людей с оружием.

— В доме-музее Дали мы уже были.

— Когда успели? — удивился Алексей.

— За день как с вами познакомились.

— Ну и как?

— Не знаю, однозначно не могу определить. Он большой оригинал, может, например, мужскую голову изваять, поменяв ухо и нос местами.

— Хорошо ещё, что только эти части меняет местами, — резюмировал Алексей.

— Моя Светлана долго стояла, — продолжил Касторгин, — около этой головы и поняла то, что я не понял, — почти серьезно рассказывал Кирилл Кириллович, — это гимн жизни, а вернее, её красоте и целесообразности! Так она определила.

— Не понял, — признался Алексей.

— Что ж тут не понять. Великий Дали показал, как было бы гнусно, если бы многое поменялось местами, было не так, как

сейчас. А если все на месте, дружище, все, как надо, так радуйся! Руки, ноги и все прочее...

— А-а-а, ну да, — согласился Алексей, — у меня тоже все на месте, отпустите меня в «Тройку», робяты!

— А «Тройка», это что? — спросил Касторгин, полуобернувшись со спины на правый бок и из-под ладони левой руки пытаясь отыскать глазами ушедших к воде женщин.

— Так ты несколько раз проходил мимо. Это русский ресторан со щами, пельменями. Наверху номера с девочками. Причем русскими.

— Ладно тебе... — неопределенно усмехнулся Кирилл Кириллович, подивившись то ли вездесущности Алексея, то ли простоте, с которой тот говорил о вещах, при разговоре о которых Кирилл внутренне чувствовал какое-то сопротивление и неприятие. И не знал: сопротивление это правильное или нет?

— Нечего ладить, девочки там ого-го!

— Неужели ты, — Касторгин, скосив через очки глаза, как слон на насекомое, глянул на Алексея, — неужели ты запросто пойдешь к проституткам?

— А почему нет? — Алексей, не меняя позы, лениво и размеренно брал в горсть мелко дробленные камни, которыми был засыпан вместо песка весь пляж, и, растопырив пальцы, просеивал себе на волосатый живот. — Может, черненькая попадетя! Или мулаточка. Мечта поэта! Слушай, а почему у них вместо песка эта вот дробленка? — Он помолчал и подчеркнуто поучительно продолжил: — Теснились, перли друг на друга, напирая, тысячелетия. Войны, эпидемии убивали целые континенты. Проходили целые народы. Приходили и уходили великие завоеватели, хромые и не хромые, всякие. Все было не вечно. Но проституция была, есть и будет.

У Касторгина, что называется, вытянулось лицо и... поглубело... так можно сказать.

— Ты что, читаешь где-нибудь лекции об этом? Больно как-то основательно?... А всего-то лишь избыток гормонов голову кружит.

— Нет, — черпанув почти из-под Кирилла (мало ему во-круг) следующую порцию дроблѐнки, лениво сказал Алексей, — я, видишь ли, врач, и — циник, надо сказать, думающий притом.

— А-а, — протянул Кирилл Кириллович, — циником прикидываешься, так проще?

— Может быть. Но я оказался в таких осях координат, где — верность — неверность, норма — разврат, приличие — наплевать на все. Приходится анатомировать, анализировать. И самого себя, в том числе. Помнишь, ведь давно уже сказано, кем — забьл:

Человек приятен и красив бывает,

Но внутри него кишки — они воняют.

Касторгин изумлялся своим собеседником все больше и больше. В начале их знакомства он показался Кириллу увальнем, флегматичным малым, эдакой спокойной рыхлой массой с крупным неинтересным лицом, с двумя пронзительными, как у гориллы, глазами. Они-то тогда ещё обратили на себя внимание Кирилла Кирилловича. А вот жена его, подвижная живая непоседа, она сразу вначале заполнила все пространство вокруг Касторгиных, везде опережая и все предугадывая. Он не знал, что с этим делать, ибо и после разговоров с Алексеем чувствовал, что она, Зинаида, незаурядна.

«Где они там? — подумал он, вглядываясь в живописный ряд отдыхающих около самой воды. Найдя их, отметил, что жена Алексея лежала на спине, сняв бюстгальтер. Усмехнулся. — И здесь она проявилась... Хорошо бы, чтобы они подольше не приходили, надо циника дослушать до конца, иначе он при них не будет так говорить. Пусть его жена загорает, подставив обнаженные, вислые груди солнцу».

— Я своему сыну открыто сказал: хорошо бы иметь тебе связь не с какой-нибудь студенточкой, а с солидной вдовушкой, опытной и разумной.

— Да ты что? — выдохнул Кирилл Кириллович.

— Что! — усмехнулся Алексей. — У тебя сын? Дочь?

— Дочь, — ответил упавшим голосом Кирилл.

— Ну с дочерьми подождем, давай про сыновей. Ранние и скороспелые браки чаще всего бывают связаны с буйством половых гормонов. Это буйство гормонов отражается на способностях мыслить объективно. Мощное половое влечение принимается за безумную любовь. Ломают дрова. До свадьбы она уже беременна. А он, удовлетворив естественные желания, остывает к своей будущей супруге. Женившись под натиском

родственников и собственной совести, он обрекает себя на ка- торгу.

— Но ведь часто потом, в таких случаях, отношения вырастают в любовь, а не только в супружеские обязанности?

— Ой ли? Часто ли? Это вопрос. Это скрытые для мира тысячи трагедий, — он стряхнул песок с живота, смешно дернув- шись на спине. Как лягушка растопырив все четыре конечности. — А вот, выпустив пар в публичном доме, будущий жених выбирать свою спутницу жизни будет куда рассудительней. Да и его невеста будет свободна от его добрачных домогательств, будь он сексуально разряжен. Вот модель, которая делает отношения более разумными и спокойными.

— Ну ты, папаша, даешь! — отозвался Касторгин, но сам уже чувствовал определенную привлекательность такой «мо- дели».

— Мы ведь в СССР считали всегда, что проституции нет, так?

— Так, — невольно согласился Кирилл Кириллович.

— Она была запрещена, уголовно преследовалась. Сутенеров судили, девиц выметали метлой, высылали. Существующая мораль все делала так, чтобы у нас женщиной пользова- лись на халяву.

— Ты так все академично излагаешь, откуда это?

— А я тебе скажу, это ведь не только моя идеология. Мы в Самаре на кафедре это обсуждали. Мой учитель — известный профессор, я вас как-нибудь познакомлю, меня утвердил в моих взглядах. Это жизненно. Так вот, при внебрачной связи все ведь задарма. Ну там, сводил в ресторан, недорогой сувенирчик...

На лицо Кирилла Кирилловича упала тень, он открыл глаза и метрах в двух увидел раздевающуюся женщину. Он её узнал, она вчера в это же время была здесь. Худая, бесстрастная, лет тридцати. Она ни на кого не глядела, была вся в себе: раздева- лась ли, смотрела ли невидящим взглядом на него, Алексея.

«Странная какая, такой можно быть в глубочайшей депрес- сии. Или это просто напускное, так легче в толпе. Своя ниша».

Она его удивила ещё в прошлый раз, когда, как и боль- шинство женщин, сняв верхнюю часть купальника, обнажила грудь. Кирилл Кириллович честно старался не глядеть на об-

нажающуюся прямо перед ним женщину. Светлана видела, что Кириллу от этого не по себе и он отводит глаза. Она беззаботно посмеивалась. И все же получилось так, что он в упор взглянул на неё, на её грудь. Боже, он даже чувствовал запах её кожи. Женщина была худа и грудь её, небольшая, детская, не загорелая — была необычной. Вместо сосков на небольших темнеющих пятачках были дырочки. Два аккуратных темненьких отверстия. Касторгин внутренне ошалел. Он не удивился, не испугался — он растерялся. Он не предполагал, что бывает так... Что это?.. Но такое состояние мыслей Касторгина и женской груди было очень недолгим: совершенно как-то очень буднично и откровенно, стоя почти во весь рост к пляжному люду, женщина словно между прочим, как само собой разумеющееся, как поправляют шляпку или бант, одновременно ладонями обеих рук поддержала, чуть подперев снизу груди, а большими пальцами провела очень ласково и нежно сверху вниз. И, о Боже, из этих дырочек тут же показались размером и формой, как пульки от пистолета Макарова, коричневые, с синеватым отливом соски. Соски, хотя и смотрели, казалось, в разные стороны, но стреляли прямо в Кирилла Кирилловича.

«Они у неё замерзли, что ли? — тупо соображал Кирилл. — Но ведь жара кругом?»

Такого Кирилл ещё не видел.

Сегодня все повторилось. Кирилл Кириллович не мог не замечать уже знакомых движений этой женщины. Но отличие было: не обе «пульки» западали — одна, у левой груди. У правой сосок ликующе встретил весь мир и Касторгина без посторонней помощи, выскочив из ямочки самостоятельно.

«Наверное, купальник такой тугой, что ли, давит сильно», — успел подумать Кирилл Кириллович. Вернул Касторгина в нормальное состояние Алексей.

— Сейчас что? Люди начали понимать при рыночных условиях, что легче воспользоваться платными услугами: меньше надо тратить ума, энергии, времени и т.д. Да, общественное сознание не приемлет открыто проституции, но ведь при половой несовместимости супругов или, как в моем случае сейчас, секс за деньги может как-то решить проблемы.

— А любовницы?

— Что любовницы?

— А вдруг все будет, как ты говоришь: проституция будет легализована. Тогда не будет любовниц, это будет преснятина, а не жизнь. Человечество не простит этого.

— Да ладно, все скомпенсируется. Одному надо одно, другому — другое.

— У нас легальной проституции не будет, — убежденно произнес Кирилл Кириллович. — Мы не рациональны. Мы, россияне, живем сердцем, душой — это наша беда, но и большое достоинство. Это нас отличает.

— Нам надо обязательно отличаться?

— Нет, — спокойно ответил Кирилл Кириллович, — мы просто такие. Намешано в нас много, азиаты мы. В крови — коктейль. И это все под одну разумную планочку, как, допустим, у немцев, у нас не подгоняется.

— Ты говоришь общеизвестные мысли и факты, а хочешь, я тебе покажу на примере, что общепринятое не всегда верно?

— Я знаю: так бывает. Ведь даже любая мораль — это всего лишь общепринятые нормы. Тебе нравится все западное?

— Ты ведешь в философию. Ты интеллигент. Ты мне, бедному крестьянину, нравишься, но я люблю конкретику, — Алексей поправил завалившийся зонт и продолжал: — Не смотрю я на Запад, заломив голову. И не очень люблю, когда делают это другие. Интересная штукавина, — вдруг встрепенулся он, — вот случай: сейчас у нас, везде вошло в моду такое словечко — «трахать».

— Тише ты, — Касторгин дернулся, — люди же кругом.

— Да они не слышат ни бельмеса, — он продолжал: — На телевидении, на улице: «трахать и трахать», и всем кажется, это очень по-заграничному, очень по-сегодняшнему. Дудки! В моем селе, ещё в пятидесятые годы это выражение было в ходу, и очень. Я сам свидетель. И мне удивительно, что это словечко считают чужим изобретением. Просто человек, впервые переводивший на наш язык, либо знал его, либо интуитивно чувствовал.

— Ну и что?

— А то, что даже серьезные люди промахиваются. В «Литературной газете» мной любимый поэт Константин Ваншенкин одного прозаика ругает за то, что тот употребил это слово, изображая события, которые были задолго до перестройки. Яко-

бы такого слова тогда не могло быть. Я свидетельствую: было. К сожалению, поэт ошибается.

— Ну и что? Что дальше?

— А ничего, кроме того, что жизнь настолько разнообразна и изобретательна, что в ней может быть все и до нас, и после нас!

— О чем это вы, мальчики? — подошедшие жены стояли рядом. Светлана положила руки сзади на плечи Касторгину.

— Смотрели тут без нас на чужих женщин?

— Я — не, зачем мне? — быстро отреагировал Алексей и кивнул на Кирилла. — Он смотрел и опять на одну, на эту самую...

— А-а, — протянула весело Светлана, — попались оба, а отвечать одному?

...Сейчас, вспоминая то время, Касторгин невольно жалел, что потом они со Светланой вместе уже больше так не отдыхали. Ему было все некогда, а она одна ехать никуда не хотела, так она говорила...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дом у набережной

В Самаре на Волжском проспекте, между гостиницей «Волга» и кинотеатром «Волна» стоит неприметная пятиэтажка, прямо внизу под зданием цирка и Дворцом спорта. В этом доме и жил теперь Касторгин. Крепкое ещё, сталинских времен, здание особенно ничем не выделялось среди прочих, хотя сам район когда-то считался престижным и сюда стремились (и в этом помогало областное руководство) заселиться бывшие партийные руководители городских и сельских организаций, местные чиновники.

Была одна хорошая особенность у этого дома: два его подъезда выходили прямо под косогор, спускавшийся от Дворца спорта. И весь этот косогор был в зелени. Росли здесь, в основном, клены, но попадалась и сирень. В неупорядочной лесной чаще росли, цвели и радовали глаза ландыши. Это был маленький чудесный оазис, который придавал своеобразную прелесть дворику. Можно было забыть, что рядом загазован-

ная выхлопными автомобильными газами без подземных переходов магистраль Волжского проспекта. Чтобы оказаться на берегу Волги и вдохнуть волжского речного свежака, надо было обязательно перемахнуть через поток автомобильных испражнений. Кирилл Кириллович и Светлана радовались близости с Волгой. Хотя однажды получился, как бы это назвать: экологический курьез, что ли?

У Касторгина что-то стало не в порядке с носом, врач обнаружил в правой ноздре нечто вроде кисты — небольшой круглый нарост, который и мешал нормально дышать. Доктор предложил удалить кисту. Касторгин согласился тут же, с интересом кося глазами и наблюдая за манипуляциями с петлей из стальной струны, которой доктор и вырвал, а вернее, срезал то лишнее, что мешало. Когда Кирилл Кириллович подъехал к подъезду своего дома, ему захотелось после больничной атмосферы прогуляться вдоль Волги. Отпустив шофера, он не спеша направился к набережной, на ходу решив поменять тампон из ваты, закрывавший ранку в носу. Хотя крови и не было, Касторгин все же вложил в ноздрю новый кусочек ваты. Этот-то вот кусочек свежей ваты и обеспечил ему, так сказать, чистоту невольного и случайного эксперимента.

Удачно выбрав момент, он не спеша пересек широкое плотно дорожное асфальта Волжского проспекта вместе с забавной суетливой старушкой, явно и наивно полагававшей, что внушительная статья Касторгина в критический момент окажется сильнее мощи машинной.

Он гулял недолго, минут пятнадцать. Сыроватый волглый мартовский воздух, рыскающие без поводков собаки с самодовольно наблюдающими за ними владельцами, нечистоты в ноздреватом снегу подействовали на него не самым лучшим образом, и Касторгин быстро повернул к дому.

Дома, вынув свой тампон, Касторгин изумился: вата была не серой даже — почерневшей. За два перехода через Волжский проспект — к Волге и назад вата забила гарью и копотью, витавшей в воздухе, работая как фильтр. «Погуляли что называется», — заключил уныло Кирилл.

Он показал результаты своего нечаянного опыта Светлане. — Батюшки! — вовсе на неё непохоже изумилась жена. — Из огня — да в полымя. Из Чапаевска вырвались, лишились

гаража, дачи, думали, черт с ними, лишь бы поближе к Волге. Как же моя щитовидка, я так надеялась на чистый воздух.

Жену сильно поразило случившееся.

Кирилл Кириллович тогда это отметил.

— Я ещё летом удивилась: вдоль всего проспекта от «Пельменной» в конце набережной до другого конца, до бассейна СКА стоит сплошная, нельзя пройти, вереница машин. Весь город съезжается на набережную травить нас газами. За этим же никто не следит. Самотек!

...У Касторгина была привычка разговаривать с деревьями, как с людьми. Где бы ни был, он обязательно выискивал себе, облюбовывал несколько деревьев, и они быстро становились ему необходимы. К ним он ходил помолчать, либо, наоборот, поговорить. Ему от этого становилось и легче, и светлее. Такие деревья были у него и в Тольятти, и в Новокуйбышевске, и, конечно, в Чапаевске, где он последние два десятилетия работал на заводе.

В Самаре на набережной Волжского проспекта он в первый же месяц «свел знакомство» с березой — одной из четырех красавиц в той части аллеи, которая обсажена с левой стороны липами, а с правой елями, если идти к бассейну.

Красавицу березу он сразу выделил, она росла самой крайней от плавательного бассейна. Она была такая же рослая и стройная, как её подружки, но виделась в ней какая-то особая стать. И особая белизна коры, как бы подсвечивалась изнутри розоватым светом. У других этого не было. Даже воронье гнездо было только на этой березе. Это была породистость, схожая с той, которой, к примеру, обладала артистка Вия Артмане. Он так и назвал березу — Вия. Хотелось обязательно подойти и непременно потрогать. Так и делал всегда Касторгин, когда совершал свои прогулки.

Если зимой повернуть от березы назад и, дойдя до последней ели, свернуть влево и подойти к парапету, внизу откроется интересное зрелище: пешеходная переправа через Волгу в село Рождествено. До десятка повозок, запряженных разномастными лошадьми, привлекают внимание зевак. Легкий матерок гуляет над головами. Возчики, греясь водочкой, слов не выбирают. Незлобиво перебраниваются, когда не соблюдается очередь на посадку. Запах конского помета будоражит, остро бьет в нос.

Через Волгу туда-сюда гуляет цепочка людей. Если на минуту забыть, что за спиной здание администрации области, гостиница «Волга», цирк, забыть, что есть современный город Самара, то, глядя на открывающуюся картину внизу, можно поверить, что ты в другом столетии.

В такие минуты Касторгину хотелось быть именно там, в начале столетия и хоть чуть-чуть вдохнуть того воздуха и увидеть, почувствовать тех людей. Какие они были? Быт был другой — это понятно. Пуховиков не было, вот этих юрких «Буранов» не было. Но что-то ведь было и давало всему движение? Жизнь была! Какая — вот интерес в чем? Ведь люди в Самарской области, на её территории, в Среднем Поволжье жили уже сто тысяч лет назад. Отсюда уходили племена воевать с армией Александра Македонского. Как мог ещё в XIV веке, во времена монголо-татарского ига, митрополит Киевский и Всея Руси Алексей, проезжая через самарский край из Золотой Орды, где он вылечил жену хана Чанибека Тайдулу от куриной слепоты, угадать появление такого большого города с блистательным будущим? Как все это было? Легенда это или нет? Какая тут была жизнь? Что и от чего зависело? На чем все держалось? Так ли было, как показывают в кино, описывают в книгах? Какими были завоеватели из Средней Азии Тимур и Тохтамыш — хан Золотой Орды, столкнувшие свои армии на волжском притоке реке Сок и впадавшей в него Кондурче в одной из самых грандиозных битв средневековья?

При таких мыслях Касторгин иногда озирался, будто боялся, что кто-нибудь подслушает эти его мысли или прочтет их по его лицу и скажет: эго, уже седеющий мужик, а в голове — ералаш. Касторгину нравилось шагать вдоль Волги.

Он бывал в волжских городах: в Саратове, Волгограде, Астрахани по нескольку раз и мог подтвердить, что, действительно, просторнее и красивее самарской набережной на Волге нет.

Он улыбнулся, вспомнив видеоклип, показанный недавно по центральному телевидению. Там Никита Михалков повторял давно ставшее банальностью утверждение, что самые красивые девушки — в Самаре.

...На той стороне, на правом берегу манило село Рождествено. Странно, о нем так много слышал Кирилл, но никогда

там не был. Его знакомый — Михаил Илларионович Радаев, директор Самарского нефтеперерабатывающего завода — был родом оттуда. Он однажды приглашал Касторгина съездить в село, да как-то не сложилось. «Обязательно схожу по льду, — пообещал сам себе Кирилл, — говорят, там и церковь есть, надо бы созвониться с Радаевым, ведь мы были когда-то дружны. И надо зайти в ресторан «Джунгли», — вспомнил он давнишнее своё намерение, — надо же по-настоящему осваивать акваторию».

...Он оттолкнулся легонько руками от парапета и, повернувшись, намеревался было идти домой, но замер. Мимо него шла изящная женщина странной и в то же время знакомой походкой. Зимняя одежда не лишала её грациозности. Хрупкое, нездешнее существо. Это была артистка Ершова. Он сразу её узнал. Странно, он мог поклясться, что и она его узнала, хотя они не были знакомы. Она посмотрела на него как на старого знакомого и слегка улыбнулась. Он было хотел пойти навстречу и что-нибудь сказать, чтобы она поняла: он рад её видеть, она прекрасна, несмотря на возраст и даже вопреки ему. И если она одинока сейчас — это не беда, у неё столько поклонников. Но что-то сдержало его. Он остался стоять на месте. А она проплывала мимо с застывшей полуулыбкой на губах.

Касторгин смотрел ей вслед и никак не мог вспомнить, где и когда с ним было похожее.

«Цапля», — изумленно произнёс он. Несколько раз в чапаевских лиманах он внезапно натёкался на цаплю, всегда одинокую и грациозную, заставлявшую встать и восхищенно наблюдать ещё одно чудо, которое удалось создать природе. Цапля никогда не была суетливой. Словно она знала, что создана радовать своей неспешностью и грациозностью.

...В кинотеатре «Волна», который был у него почти во дворе, шел, как это ни странно, стереофильм ещё его студенческой поры «Таинственный монах».

Его они со Светланой смотрели в Сочи. «Прекрасное было время». Он в задумчивости миновал маленький дворик и вошел в свой подъезд.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Гость с Алтая

...На прошлой неделе проездом из Москвы три дня у Касторгина жил его давний знакомый — директор завода с Алтая Финаев Анатолий Иванович. Один из тех, с кем когда-то учился в Ленинграде. Ему уже шестьдесят два года. Грузный, он приходил вечерами после рабочих встреч замордованный, но, приняв душ, быстро оживал.

В первый же вечер, выйдя на набережную подышать после столицы волжским воздухом и вытащив с собой Кирилла Кирилловича, директор рассказал историю, которая крепко засела в памяти Касторгина:

— ...Ты знаешь, одно из самых ярких впечатлений моего детства связано с летчиками. Жили мы в то время в алтайском селе. Я учился в пятом классе. Село жило спокойно, как-то плавно, даже не было у нас своего чудика, как в рассказах Шукшина. Ему больше везло на них. И вот, вдруг в нашу тихую гавань прибывает на постой звено летчиков. Работяги, они опыляли наши районные поля. Все молодые, загорелые, веселые. Двое определились жить у наших соседей Ваньковых, у которых был пятистенок и большая погребница, где установили кровать и топчан. Нам, пацанам, все было интересно, многое удивляло. После работы ребята могли свободно слетать на своём У-2 в райцентр за пивом, либо в соседнее село на танцы. Однажды на глазах у ошеломленных пешеходов командир Алексей пролетел под мостом.

Кирилл Кириллович засомневался:

— Анатолий Иванович, это ж Чкалов в кино пролетал под одним из ленинградских мостов, у вас на Алтае и моста-то такого нет.

— Почему Чкалов мог, а Алешка нет? Алешка мог многое, другое дело — в кино не попал. У мост я тебе покажу, приезжай в гости.

У Касторгина не нашлось подходящих доводов возражать, и он смолк.

— Все было бы хорошо, если бы Алексей не начал ухаживать за хозяйской дочкой. Верочке шел всего семнадцатый год.

Светленькая, легкая и беззаботная, рядом с похожим на грача, цыганистым и веселым Алексеем она выглядела ещё замечательней. Верочкин отец резко запротестовал против их прогулок. Оно и понятно. Грач, так мы все звали Алешку, лет на десять старше её, да и кто знает, холост он или женат уже несколько раз — поди узнай. Летуны. Они народ легкий, любят погулять на стороне. Так или иначе, а вещички его Верочкин отец выставил за порог на глазах у соседей.

Я взобрался на сенцы и видел всю эту сцену. Обычно веселый и приветливый, Грач стоял, прислонившись к ограде палисадника и набычившись, в упор смотрел на разъярившегося хозяина дома.

— Все? — Грач с нервной усмешкой спросил дядьку Егора, когда тот нарочито бережно, как туфельки Золушки, положил на лавочку у ворот щегольские ботинки постояльца.

— Нет, не все! Ещё добавлю: если увижу рядом с Веркой вечером, погуляю штaketиной по спине. Понял?

— Ладно, отец, — Грач явно разозлился, но держал себя в руках, теребя левой рукой черные усы. — Драться я с тобой не буду, твой двор — ты и хозяин. Но проучить тебя надо, уж больно ты петушишься. Это нехорошо... — сказал и резко оттолкнулся от палисадника. — Ты когда на свою трубу на крыше дома в последний раз любовался, а?

— Че бормочешь, нечего сказать?

— Есть чего! Посмотри напоследок, через двадцать минут её не будет. — И обратился к толпе зевак, собравшихся около ворот, с широким клоунским жестом: — Господа, последний номер программы! Называться будет: «Труба трубе». Слабонервных прошу удалиться в чапыжник... Номер будет исполнен на аэроплане У-2. Труба будет сбита левым колесом. Исполнитель — Грач из Самары, между прочим, из запанских. В Самаре знают, что это такое — запанские. У меня всё, пока!

— Шут гороховый, — Егор сплюнул и спокойно пошел к калитке. Он не принял всерьез сказанное Грачом.

— Неужели Грач выполнил задуманное? — Кирилл Кириллович нетерпеливо смотрит на рассказчика.

— Выполнил, — усмехается тот, — только дорого ему это обошлось.

...Самолет появился в воздухе минут через тридцать со стороны Ильмена. Поднялся высоко в небо, словно дразня, сделал два плавных круга над селом и пошел на снижение. Похожий на коршуна, он не сразу набросился на цель, а на высоте метров в тридцать сделал ещё два круга, но уже над избой дядьки Егора, удалился, испытывая, очевидно, нервы собравшихся, и оттуда — издалека, медленно снижаясь, пошел на эту самую трубу.

— Попал?

— Попал, именно попал! — рассказчик не скрывал восхищения, — но, видишь ли, какая вещь!.. либо он ещё за что-то задел, либо, как я думаю, там в тот момент образовался какой-то аэродинамический эффект: вослед самолёту поднялась вся крыша! Такой поток разряжения за самолетом создался, и её сорвало. Наделала, конечно, шума эта история. Летчиков всех отозвали из села. Что с ними случилось, я не знаю. Но, нам, пацанам, да и взрослым многим, жаль было Грача.

— За что жаль, хулиган же?

— Ну, нет, не хулиган — артист, — убежденно возразил Анатолий Иванович, — такие «хулиганы» были героями на войне. Это порода таких людей. В них сидит с рожденья азарт делать то, что не могут другие. Он опоздал, не попал на войну. Вот там бы он пригодился на дело, а в мирной жизни — негде дать выход своей натуре.

Он ещё немного пофилософствовал в подобном духе. Помолчал раздумчиво, потом спросил:

— А знаешь, у этой истории есть продолжение, рассказать? Хотя оно и грустное.

— Расскажи.

— Прошло лет тридцать, больше. Я работал экскаваторщиком, заочно закончил институт, работал неплохо, избрали депутатом Верховного Совета СССР. Потом — райком, горком и вот он я — директор завода. И не хотел, и не стремился. Сказали, знаешь, тогда как было: «Надо»... Стал ездить в Москву: то по депутатским делам, то по заводским. И вот в один из приездов, вечером, устроившись в гостинице «Москва», пошел поужинать в ресторан. Взял сто грамм водки, один за столиком. Публики вокруг мало. По соседству у окна сидит видный такой щеголеватый седой мужчина. Уже при входе в зал во мне что-

то шевельнулось внутри. Показалось что-то знакомое в манере потрагивать усы и смотреть насмешливо, но безобидно. Я бы так и ушел, если бы вдруг не услышал его голос, когда он рассчитывался с официанткой.

«Грач! — изумился я, — мать честная, кусок моего детства!»

Я подошел к его столику и, не успев сообразить ещё, как начать разговор, выдохнул:

— Грач?

Он не понял и удивленно смотрел в упор.

— Труба трубе! — не унимался я.

Он вновь ничего не понял, но чуть спустя вдруг откинулся на спинку стула, знакомо заулыбался:

— Толик, сосед Егора, да?

— Конечно, — обрадовался я, как будто от того, что он признает меня или нет, зависела вся моя судьба.

Мы хорошо посидели, поговорили. Но про своё лихачество сам он не вспоминал.

— Да, было, было, — так он лаконично подтверждал верность моих воспоминаний.

Мне тогда подумалось, что подобных событий у него было немало. Поэтому он остыл к ним. Я пытался раза два в разговоре коснуться того, чем он сейчас занимается. Было интересно. Он не отвечал. И только под конец разговора выяснилось: он пенсионер, давно отлетался. Списали вчистую. Рассказал скупо. Кончил высшее училище. Стал летать на больших самолетах. Пришло время — на Ту-154 за рубеж. И вот в одном из полетов при возвращении из Румынии произошла такая история: второй пилот, близкий друг и приятель, увидев в салоне архиепископа, осанистого, с большой черной бородой и крестом на груди, во всем черном, пригласил его к себе. Батюшке показалось все очень интересным и под конец он попросил дать подержать ему в руках штурвал. Перемигнувшись, пилоты уступили его просьбе, незаметно включив автопилот. Батюшка восседал в кресле, «управляя самолетом». Не заметил, как пилоты выскользнули из кабины...

Внезапно обнаружив, что он остался один на один с самолетом, на борту которого больше ста человек, очевидно, ужаснувшись воздушной пропасти в девять километров, которая была под самолетом, батюшка стал метаться и кричать в кабине, не

выпуская штурвала из рук. Началась паника. Вбежавшие пилоты с трудом смогли успокоить его и только силой расцепить пальцы его рук, прикипевшие к штурвалу.

— И что дальше?

— Отлетался навсегда наш Грач, уволили с грохотом. Обидно за него стало мне очень.

— Что ж обидного — хулиган твой Грач, — подытожил Кирилл Кириллович.

Директор мотнул головой:

— Нет, не хулиган он, понимаешь, не хулиган.

— А кто же?

— Не знаю, тесно таким людям, понимаешь, тесно между нами, такими, с рыбьей кровью! А ты — «хулиган».

Касторгин не мог с ним согласиться, но чувствовал, что рад был бы встретиться и познакомиться с этим Грачом. Какой он всё-таки на самом деле?

— ...а ты знаешь, Кирилл, что вот в этом доме жили Демичи? — спросил Анатолий Иванович, когда они после прогулки подошли к маленькой лесенке, ведущей к дому Касторгина.

— Какие? Те, что артисты?

— Да, конечно. Александр Иванович и Юрий, молодой, который в БДТ в Ленинграде потом играл. Сын его.

— Да. Когда я был ещё студентом, он играл в спектакле «Валентин и Валентина», сыграл Гамлета. Я хорошо помню его тех лет и Надеждина Сергея, — ответил Кирилл и тут же спросил: — А за что артистов сажали?

— А за что сажали не артистов? Юрий Демич в Магадане и родился, — и, чуть помолчав, добавил: — У Александра Ивановича трудная была судьба, но счастливая. Он начинал в театральных мастерских под руководством Всеволода Мейерхольда, а потом — колымские рудники. Расставшись с рудником, он играл в Магаданском театре, кстати, в этом же театре рядом с Демичем в центральных ролях часто выступал и ведущий актер МХАТа Юрий Кольцов. В 1955 году с него сняли обвинения. Ему аплодировали москвичи в огромном зале Кремлевского театра. В концерте, посвященном годовщине Великой Октябрьской революции, он, Александр Демич, выступал в роли Владимира Ильича Ленина. Вот выворот! Да!

— Анатолий, — изумился Кирилл, — откуда ты такое знаешь?

— Мой дядька и ваш самарский писатель Лев Финк были хорошо знакомы, оба сидели когда-то вместе. От него и узнал, а Александра Ивановича я не один раз видел. И дома у него два раза был. Вон его окошко. А вообще земляков-писателей читать надобно, Льва Финка, например, «В гриме и без грима».

— Я читал, только подзабылось. Финк у нас в Политехе вел в шестьдесят пятом году курс эстетики. Своеобразный был человек, — говорил Касторгин, а сам все поглядывал на окна бывшей квартиры Демичей.

По вечерам из окна своей кухни Кирилл Кириллович часто видел в ней мелькание жильцов. Он уже к ним привык: там был мужчина, чаще всего в красной майке, пожилой и медлительный, и женщина с быстрыми движениями.

«Странно, откинуть назад два десятка лет, и здесь можно было встретиться с Демичем».

...Анатолий Иванович умел удивлять собеседника, это Касторгин знал. В нем было накоплено такое количество историй, встреч, что он мог позволить себе расточать это богатство небрежно и неожиданным образом:

— Ваш Геннадий Матюхин открыл всё-таки центр Шукшина или нет?

— А кто такой Матюхин? — спросил Касторгин.

— Артист Самарской филармонии, он два раза был в Барнауле у нас, один раз с Анатолием Дмитриевичем Заболоцким — это оператор, который снимал вместе с Макарьчем, как он называет Шукшина, «Печки-лавочки», «Калину красную».

— А почему центр Шукшина в Самаре?

— Потому что Матюхин разыскал корни родословной Шукшина на Волге, прадед его отсюда когда-то уехали в Сибирь. Он жил где-то под Сызранью.

Потом, после отъезда своего гостя, через Ивана Морозова, артиста Самарского драмтеатра, Касторгин познакомился с Геннадием Матюхиным и был удивлен артистизмом, с которым тот читал шукшинские рассказы.

...В один из вечеров Касторгин пришел в номер гостиницы «Волга», где остановился Финаев, чтобы помочь перенести его вещи к себе на квартиру.

— Послушай, Кирилл, — обратился тот к приятелю, когда тот, подойдя к окну, стал смотреть на Волгу, — я вот все думаю, и особенно теперь, насмотревшись на волжский простор...

— Думать всегда полезно, — сказал Кирилл первое, что попало на язык, глядя на кряжистого старика в костюме «Ади-дас» и шерстяных деревенских носках, восседавшего на казенной кровати.

— Дочь у меня историк, преподает в Красноярске в школе, так она, начиталась, что ли, всего, утверждает, что у нас у всех разом, у всех россиян, случилась национальная катастрофа. Она по характеру мужик. Иногда в такое лезет!..

— Как так?

— А вот ты мне рассказывал, что французы и немцы шалели от восторга, когда ты их катал на катере по Волге. Шалели от широты и необъятности нашей. Ты это понял, когда увидел их Сену и когда сплавливался на плотках по немецкой речушке Изар.

— Да, наши пространства их изумляют.

— Вот как раз огромность нашей российской территории и то, что мы посредине евразийского континента, и стали ныне нашими недостатками. Мы не можем в такой весовой категории соперничать с остальным миром, а вернее, со странами, которые научились быстро и мобильно в силу их небольших размеров интегрировать свои интересы и усилия. Наши преимущества превращаются в недостатки. У них близость к центрам мировой экономики. Они имеют выходы к океану, то есть возможность больших и мобильных грузоперевозок. У нас же СССР распался и нет в зоне умеренного климата нормального выхода к морю. Мы внутри России эффективно перевозить не можем. Ведь раньше перевозки были, они и остались составляющей наших технологий. Сейчас возить нельзя — дорого, значит и промышленность не работает. Подтянули тарифы на перевозки к международным ценам на электроэнергию, а у них расстояния — с гулькин нос, не как у нас.

— Ты предлагаешь кому-нибудь отдать часть территории, начиная с Курильских островов?

— Нет, я предлагаю ответить на вопрос: можешь ты, Кирилл, представить какого-нибудь итальянца, сидящего около моря, который из граненого стакана пьет водку и закусывает

щами, а? Не можешь? Ему подай виноградное вино на радость души.

— Это к чему?

— А к тому, что в южных странах меньше затрат на поддержание жизни во всем: в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве. Чтоб поддержать дух в теле, ты что в степи в морозную ночь пить будешь? Водку да с салцом. Шампанское тебя не согреет. Вот и пьет русский человек горькую, вот и хлебает щи. А это все намного больше требует затрат на производство. Я все удивлялся, почему японцы, когда у нас бывают, осенью головных уборов не носят. Был в Токио — понял. Там они их вообще не носят. У них нет таких температур. И они привыкли. Попробуй у нас привыкни. Гайморит обеспечен. А дороги? Попробуй там, где перепад от минус тридцати до плюс тридцати, хорошие дороги построить, постоянно за ними уход обеспечить. Дудки, целая индустрия, особые технологии нужны, так же и в жилищном строительстве! Я поездил, повидал мир. Смотри, как быстро возникают мощные экономики Турции, Таиланда, Гонконга, Индонезии. Там, где тепло, там и развитие.

— Выходит, зря Ермак Сибирь покорял?

— Зря — не зря, а независимо от того, кто правил и будет править нашей страной, географическое её положение — фундаментальный фактор, влияющий на её судьбу. Россия самая холодная страна, лишившись почти всех теплых территорий, оказалась в самом холодном углу Европы. Покорял Ермак не зря, моя ученая дочь объясняет это так: самым верным условием сохраниться в старые времена было занять максимально больше территории, ибо в ней увязали любые армии врагов, а мы, собирая силы, в конце концов всегда выигрывали.

— Ты считаешь, что мы катастрофически быстро и навсегда теряем свою мощь? — Касторгин, давно присевший на подоконник, сказал это тяжело и сурово.

— Тысячелетиями сложившуюся расстановку сил опрокинули новые технологии. Мы, то есть наши пространства, стали враз прозрачными под прицелом компьютеров, интернета, космических спутников. Прокладки с крылышками порхают, я извиняюсь, по всему нашему российскому пространству. При современной технике у НАТО все стало иным. Вчерашние наши плюсы, увы, становятся минусами.

— Что, и нет выхода?

— Я так не ставлю вопрос, я только говорю, вернее, моя Га-лина настаивает, что мы с тобой сейчас переживаем не крах экономических реформ, а неосознанную ещё многими национальную катастрофу. Весь мир на пороге мирового переустройства, но это длительный и эпохальный процесс.

Касторгину стало не по себе.

— Но как тогда жить? Вот ты говоришь такие страшные вещи и спокойно, аккуратно складываешь свои носки в чемодан, как можно? Ведь по-твоему мир рушится?

— Отвечаю, — Анатолий Иванович спокойно продолжал своё дело, — это объективные процессы и глобальные, коллективная психология ещё как-то влиять на них может, но мы с тобой, увы, трезвые люди, мы должны действовать. Локальный выход я нашёл, Кирюша. — Анатолий Иванович пристально посмотрел в глаза собеседнику, — только ты выслушай меня терпеливо.

— Я готов, — недоуменно пожал плечами Кирилл, — может, мы и спасем наше Отечество. Я вот свой завод не успел.

— Я не о том, хотя, впрочем... понимаешь, давай уйдем от этого глобализма, иначе все погибнет к лешему. — Финаев начал волноваться, Кирилл это видел. — Кирюша, давай так: я изложу спокойно нужное, а то ты не поймешь достоинства моего предложения.

— Давай, — согласился Касторгин.

Финаев вкрадчиво начал:

— Ты когда-нибудь отдыхал в Карловых Варах?

— Нет, не приходилось.

— А я первый раз был в девяносто пятом году и вот специально в нынешнем съездил. Нет, не лечиться. У меня другой интерес. Я в общем-то здоров. Мировая здравница. Теплый климат. Процентом шестьдесят отдыхающих — русские. Чехи вообще почти все говорят по-русски. Хотя мы им ничегошеньки хорошего не сделали, но они на нас там зарабатывают, поэтому относятся неплохо. Чистота, порядок, никакой там ещё русской мафией не пахнет.

— Ты меня куда-то сватаешь?

— Да, — разом решился Финаев и сел на койку, втиснув обе руки, ладонь к ладони, между колен. — Я предлагаю открыть там дело.

— Мне? — удивился Кирилл Кириллович.

— Я все объясню. Карловы Вары идеальное место. По чешским законам, если ты зарегистрировал свою фирму (а это я организую), то тебе даются льготы, мы можем взять в аренду офис, площадь для торговли, причем первые два года не платишь налоги, если нет прибыли. Идут платежи за свет, за газ — значит фирма уже работает.

— Делать-то что будет фирма?

— Торговать, чудак, там кругом стекольные, хрустальные, фарфоровые заводы. Весь мир, как через игольное ушко, через Карловы Вары проходит. Толпы отдыхающих и покупающих. Я все обдумал: если уезжать на Запад, то, как через трамплин, через Карловы Вары.

— А я зачем тебе? Да у меня и первоначального капитала нет. Я все своим отдал, когда они уезжали.

— Видишь ли, мне рано уезжать. Мать больная очень. Ещё ряд проблем... а ты — один. Не поехал в Германию, черт с ней — есть Чехия!

— Ты так легко говоришь!

— Не легко! Я своё отработал, погорбатился — хочу на пенсии пожить нормально. А тут, у нас, не получится — не дадут.

— Так я тебе посадочную площадку должен подготовить, да?

— Ничего в этом плохого нет, — продолжал Анатолий Иванович. — Деньги я тебе дам, они у меня чистые, я даже налоги платил с них. Тебе я доверяю как себе, потом сочтемся, когда я приеду. Поверь, финансовой стабильности в России долго не будет. Рубль рухнет, его курс держится искусственно. Реально он дешевле по отношению к доллару раза в три. Когда все придет в соответствие, а это обязательно будет, произойдет большая беда.

— А гражданство? — Касторгин не скрывал своего удивления. — Гражданство надо же менять.

— Как раз и нет, я это узнавал. Все уже обкатано, мой хороший знакомый так все и сделал. Он все поможет сделать тебе там, но он, понимаешь, болен, недолговечен. Я хочу прочно все и надежно.

— Я торговать не умею, — добродушно улыбнулся Кирилл Кириллович.

— А и не надо, тебе организатором надо быть, торговать будут другие. Он мне уже и квартиры нашел для покупки, две — на выбор, и недорогие. Если ты хотя бы раз там был: воздух — чудо, вода, публика. Доживать надо только там. Гете, который подолгу там жил, считал, что самые лучшие города в мире для жизни — Рим и Карловы Вары. Не зря наш всемогущий Газпром скупил акции тамошнего санатория «Империял», самого крупного лечебного дома в Карловых Варах, а Андрон Канчаловский, который кинорежиссер, — по-моему, «Бристоль». Мне так говорили верные люди. Кстати, я последний раз жил в отеле «Термал», там каждый год в начале июля в концертном зале проходит Международный кинофестиваль. Так что не задворки, а центр культурной жизни.

Но Касторгин словно и не слышал последние слова своего приятеля. Он стоял посреди комнаты, закрыв глаза ладонью правой руки. Выждав, когда Финаевв смолк, раздумчиво сказал:

— Но я хочу жить. А не доживать! И я всё-таки не Гете.

— Брось! Мы и не живем, а выживаем здесь, не так ли?

— Так-то так, но я не для Запада человек — вся моя грибница здесь. Я больше двух недель, сколько ни ездил, за границей жить не мог. Все хорошо, все разумно, а тянет домой в Россию. Родился здесь — здесь и помирать, — он помолчал, ироническая улыбка исчезла с его лица, взгляд потеплел. — Ты знаешь, где я родился?

— Ну где? В Куйбышеве.

— Нет, я родился на Толевой, в районе Толевого завода. На реке Самаре, в городе Самара. Знаешь, почему она так называется, эта светоносная река?

— Нет, — недоуменно отозвался Анатолий Иванович.

— А знаешь, как в древности называлась Волга?

— Да. Кажется, река — Ра.

— Вот, — обрадовался ответу Касторгин, — Ра! А когда речка, на которой я родился, сильно разливалась, то древние её назвали: сама Ра, ну то есть, такая же великая, как Ра, — Сама-Ра.

— Ну и что? Ты о чем? Как ребенок.

— Я о том, — продолжал задумчиво Кирилл, — что я ещё в юности её называл Самародиной. Понимаешь, это моя родина. Река разлилась в моем сознании в понятие Родина. Сама-ро-

ди-на. Я столько в детстве, пока не переехали в Сызрань, переловил в ней сомят. Меня до перестройки два раза приглашали в Москву в министерство. Я отказывался, до конца сам не понимал, почему? Но чувствовал, мое место — здесь. А совсем недавно прочел, что люди, рожденные под знаком Рыбы, интуитивно стремятся жить около большой воды.

— Понимаю, — протянул Финаев, — заклинило.

— Просто я чувствую, что никуда уезжать не надо. По крайней мере, мне.

— Не торопись с ответом, пожалуйста, мы ещё поговорим. Я тебя смогу убедить. К старости надо готовиться, как к суровой зиме.

— Что ж, поговорить можно, но... — Кирилл отрицательно покачал головой. Чуть помолчав, продолжил раздумчиво: — Ты же особый человек.

— Чем я особый? Я как все.

— Ты интеллигент в первом поколении.

— Ну и что?

— Такие о корнях своих помнят.

— Корни, Родина, — протянул Финаев. — Если я буду такими категориями мыслить и поступать, я не выживу. Родина — одно, а государство — другое. Оно — забыло, — он надсадно закашлялся. — Оно оторвалось от меня, а не я отрываюсь за границу. На хрена бы мне это все надо? Но, как только я стану здесь пенсионером, я буду никому не нужен. Старики в нашем государстве — лишние и ненужные люди. Более того, и окружающие люди стариков не любят, скорее, наоборот. А почему? — Анатолий Иванович колюче посмотрел на Кирилла. — Люди, глядя на стариков, то есть на своё будущее, пугаются. Пугаются своего будущего. Им не хочется его пока видеть. А мы тут как тут со своими болячками, на хрена это кому, а? Нельзя превращать страну в сборище нищих. И в этом сборище я не хочу быть одним из многих. Меня же, пока здорового, уже сейчас лишили возможности накопить на старость. Все ненадежно. Либо инфляция, либо отберут просто так все и опять разденут. У моего деда уже отбирали. И самого сгноили. Я не верю, что в течение семи-десяти лет что-то крепко у нас изменится. А жить-то мне осталось, может быть, всего-то не более десятка лет.

— А как же с тем, что Отечество, как и мать, не выбирают?.

— А если на нас наплевали и забыли? И потом, ещё Федор Достоевский в прошлом, в прошлом, заметь, столетии говорил, что у русских две родины: Россия и Западная Европа.

— Он имел в виду другое. Более глубокий смысл...

Финаев замолчал. Молчал и Касторгин.

«Вот как получается! Мы, русские, по своей природе добро-сердечны, сильны, деятельны, но почему же одновременно и нерациональны, и недисциплинированны. Постоянно зависимы от того, кто у власти. Сами готовы подчиниться некоему авторитету, — размышлял Касторгин. — Вот передо мной человек, после долгих, очевидно, раздумий понял, что очень многое зависит от самого себя, он сбрасывает с себя путы, которые достались ему от прошлых поколений. Начинает свободно мыслить и самостоятельно действовать. И я же первый с ним не соглашаюсь. Нам словно какой-то рок замутил разум. Мы не знаем, чего хотим. И я, похоже. Как все... морали читаю... Все помешались на разговорах о национальной идее. Но надо просто жить! Думаю, я прав. Но как это все должно связаться: сознание большинства людей и воля государства? Не вижу».

— Я уеду и тем самым на одно семейство нищих будет меньше здесь. Вот моя помощь государству, раз оно бессильно.

— Мы так много сегодня с тобой говорим. Обо всем сразу.

— Это единственное, может быть, что у нас осталось сейчас, остальное отняли.

— Кто?

— А черт знает. Сразу и не скажешь. В том числе и мы сами. Мы ведь запустили такой бардак в нашу жизнь. Наше поколение, народ не готов был к подобному бесстыдному натиску, он неопытен в таких делах, не привыкший. А наши ученые, умники-разумники, позволили себя охломонить Западу.

— Как так?

— А так. Высосут все из России, сами же этому помогаем, мозги перетянут, сырье, что легко дается, под рукой — распродадим и все. Они нас привечают с одной целью: ждут не дождутся, когда мы перестанем быть великой державой.

— Отчего все же мы так много говорим? Мы не были раньше так многословны, а? — спросил Кирилл, явно боясь, что разговор закончится, а ему он был нужен. Неважно: прав, не

прав Анатолий, ему было нужно понять более существенное. То, что может определить его иной взгляд на жизнь. — Непонято многое, мы барахтаемся все вроде бы по-разному, а в сущности одинаково и в одном: в незнании, что делать? И я даже заметил, мы говорим не для собеседника, а для самого себя, больше, — продолжал Кирилл Кириллович.

— Сломался, нарушился быт. Это задело каждого, вот и стало необходимо самому себе хотя бы объяснить, что же происходит. Ты заметил: большинство произносят монологи, диалога пока нет. Слушать друг друга мы не научились. У тебя тоже такая манера, хотя менее выраженная, чем у других. А в общем это национальное. Нация чувствует возможную катастрофу, вот и торопится выговориться.

Минут через десять они вышли из гостиницы и, один с чемоданом, другой с синей сумкой через плечо, долго ещё были по набережной, прежде чем пойти домой к Касторгину. Стояли под пасмурным небом, как раз напротив села Рождественно. Владельцы собак, большинство явно любящие своих питомцев сильнее, чем все человечество вместе взятое, иначе бы не позволяли им гадить, где попало, с достоинством проходили мимо. Им было не до этих двух мужчин, которые что-то говорили друг другу, кивая то на огромное ледовое пространство Волги, то на ещё большую, несоизмеримую ни с чем темно-небесную ширь, обнявшую все, казалось бы, на земле, но не сделавшую этим её сейчас теплее.

Впереди была ночь, холодная, февральская, и, кажется, поднималась метель.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кафе «Три вяза»

...Ему захотелось изменить маршрут своих прогулок. Он вспомнил о «бродвее» или, как раньше чаще говорили — «броде». Во времена его студенчества улица Куйбышевская, начиная от площади Революции и до Некрасовской и была «бродом».

Здесь, когда-то прогуливаясь, человек как бы невольно определял свой статус. На той стороне, где расположена гостиница «Жигули», собиралась богемная часть, на противоположной — более солидные, степенные и важные самарцы.

Поначалу, после поступления в институт, его сильно и постоянно тянуло на это место. То ли оно завораживало тем, что здесь смыкалось на небольшой площадочке с фонтаном у кафе «Три вяза» разноликое общество, то ли потому, что можно было легко от окружающих узнать, где и какие джазовые коллективы играют.

Раза три вездесущий декан химико-технологического факультета Иван Григорьевич Григорьев заставлял его в районе «Трех вязов» и каждый раз, поманив пальцем, слегка поругивал:

— Гадкий ты, гадкий, опять по девчонкам стреляешь. Ничего хорошего это тебе не даст.

Декана почему-то заклинило на девчонках, хотя Кирилл каждый раз несмело протестовал, пытаясь говорить, что его влечет сюда другое, есть какая-то магия этого места. Здесь интересно.

— Знаю я этот интерес, беда может случиться. Здесь же политические анекдоты рассказывают, зачем тебе это надо? Твой путь — наука, — фундаментально, к удивлению самого Кирилла, определил декан, — приходи ко мне на кафедру, будем заниматься хлорированием — тема исключительно перспективная. Это для тебя. А эти стилиаги, они тебе ничего хорошего не дадут. Всякие платформы, джазы, шейки — это временное все...

Декан Григорьев оказался прав: любовный роман Кирилла начался именно у этого кафе. Первый в его жизни. Быстротечный и чуть не ставший для его студенческой жизни роковым. Она оказалась студенткой того же факультета, но на два года старше — с третьего курса. Имя у неё было удивительное — Майя. Она быстро ввела его в общество, которое собиралось у «Трех вязов», и он, сам того не ожидая, получил доступ к самой интересной и разнородной информации.

Кирилл хорошо помнил тот танцевальный вечер в клубе имени Дзержинского, после которого они оказались у неё дома на Самарской улице. У Майи была только мать и она находилась в отъезде. События развивались стремительно и как бы

помимо его воли. Она была удивительно свободна в мыслях и поступках.

...Они заснули только под утро, а когда проснулись, было уже двенадцать часов. Решив не ходить в институт два дня безвылазно провели вместе, один только раз Майя сбегала в магазин на углу за продуктами.

Всего месяц продлился этот головокружительный для Кирилла роман и оборвался так же резко, как и начался.

На факультете случился переполох. Оказалось, что, будучи на практике в Новокуйбышевске, Майя встречалась с одним из немцев, Кирилл Кириллович до сих пор помнил его имя. Немцы строили цех полиэтилена. Жили они в гостинице «Дружба», туда в номер неоднократно приходила Майя. Служба работала — все их разговоры были записаны, подарки немца — «вещдоки» — у Майи отобраны.

Кирилла это повергло в шок; выходило так, что она ездила к своему немцу и в течение того месяца, что они были знакомы. Это не укладывалось в его голове. Все остальное: то, что у неё была связь с немцем, да ещё который из ФРГ, что весь факультет шушукается и ребята улыбаются и, хлопая по плечу, подбадривают его — задевало, но как бы во вторую очередь. «Как она могла одновременно — и со мной, и с ним? Я совсем, выходит, не чувствую лжи, я не вижу обмана. Я неопытен. Сидели в «Трёх вязах», кушали мороженое, болтали о джазе, обменивались записями на рентгеновской пленке... У меня кружилась голова от неё, хотя я понимал, что у нас с ней случайное, что я не могу вот так остановиться враз. Меня манят другие и мне от этого почему-то не стыдно. Я ей ничего не обещал, ибо не ручался за себя, но я не смог бы одновременно встречаться с двумя, говорить одни и те же слова. Это ненормально!»

Майю спешно исключили из комсомола, отчислили из института. И не успел Кирилл опомниться, как она вместе с матерью уехала жить в Ташкент к родственникам. А ещё через месяц декан Григорьев всё-таки затянул Кирилла на кафедру...

Конечно же, Кирилл и после этих событий бывал в «Трёх вязах». После, кажется, в 1962 году, все, что было в «Трёх вязах» и вокруг, перешло в официальный городской молодежный клуб ГМК-62. Ну, а к концу шестидесятых годов повеяло холодком.

...В один из светлых морозных дней Касторгин съездил к кафе «Три вяза». Постоял в скверике, где не раз сживал на скамейках с приятелями. Одобрительно покивал комфортабельной гостинице, ресторану «Три вяза». И, повздыхав неопределенно, пошел гулять в сторону площади Революции.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«У Линде»

То, что жизнь удивительный и причудливый режиссер, Касторгин понимал давно. Но чтобы до такой степени...

Он несколько раз ездил в Германию для подготовки контрактов по закупке холодильного оборудования на широко известную фирму «Линде». Касторгин умел быстро сблизиться с компаньонами. В одну из командировок он получил безвозмездно в подарок комплект оборудования для стоматологического кабинета. Конечно, этот жест президента фирмы, очевидно, имел, скорее, рекламный характер, но тем не менее...

Его тогда привезли на склад, куда прибыл и президент фирмы. Касторгину показали дюжину ящиков с оборудованием и на его глазах начали подготовку к отгрузке. Их вдвоем с главой фирмы сфотографировали на фоне этих «подарочных ящиков». На следующий день фото лежало у Касторгина в кейсе. Но удивительное произошло, когда прямо со склада он по приглашению одного из сотрудников фирмы Юргенс Гейгера приехал к нему домой. Немец последний месяц оформлял свой уход на пенсию.

Он был словоохотлив. Касторгин узнал, что Юргенс уже основательно приготовился к отдыху: купил домик в ЮАР, жена уехала туда же, к сыну, который второй год работает там.

— И не страшно так резко менять образ жизни? И будет ли на что нормально жить?

— Будет, — уверенно отвечал Юргенс, — пенсия это позволяет, кроме того, я долго работал на своей фирме, за это мне перечислили пятьсот тысяч немецких марок на мой счет. Я доволен.

Немец Юргенс Гейгер несколько раз бывал в России в длительных командировках, потому хорошо говорил по-русски.

— Был и у вас в Куйбышеве-Самаре, но только проездом, в город не впускали, из аэропорта — в Новокуйбышевск. Мы там строили производство полиэтилена на заводе синтетического спирта. Вот!

— Кто это? — не сразу сообразил Касторгин.

На фотографии на фоне красной громады водонапорной башни стоял молодой парень, спортивный и улыбающийся.

— Это я в лучшие мои годы. Ещё холостой. Но я сейчас покажу то, с чем связаны самые мои лучшие воспоминания о России. — Он протянул вторую фотографию.

Кирилл Кириллович принял её и машинально, без особого интереса, перевернул нужной стороной. То, что увидел, его поразило. Он никак не мог быть готовым к этому. Время в миг уплотнилось и три десятка лет враз куда-то выпали, их не стало: на фотографии была Майя — его первая любовь и первая женщина, из тех самых самарских «Трёх вязов».

— Это кто? — все ещё не веря, сдавленным голосом спросил Касторгин, будто чего-то опасаясь.

— Это моя русская любовь, — открыто и доверчиво улыбаясь, ответил Гейгер. — Не могу забыть до сих пор.

— С Новокуйбышевска? — поспешил уточнить очевидное Касторгин, ещё не оправившись от неожиданности.

— Да, она работала или как это... — он покрутил пальцем по кругу у себя перед носом, — была на практике. У меня красивых таких потом никогда не было женщин. Здесь не видно, она была блондинка и такие большие голубые глаза. Умница. Имя редкое — Майя.

— А как у вас все кончилось? — уже спокойно спросил Кирилл Кириллович.

— Просто. Она не пришла однажды и все. Мне трудно было её разыскать. У вас были особые порядки. Может, так и лучше, как получилось. У меня тогда, как это, дух захватило. Мог наломать дров и ей многое испортить, и себе.

— Да уж, — только и обронил Кирилл Кириллович, вспомнив своё состояние в то время.

Его удивило и это совпадение, и то, что два раза в его жизни между ним и его женщинами возникали прямо-таки вездесущие немцы.

Как-то, прохаживаясь по Волжскому проспекту, Касторгин от нечего делать зашел в магазин «Браво». Походил, посмотрел. Зачем-то примерил пиджак, плащ. Все дорого и малых размеров.

Выйдя из магазина, остановился у аптеки, задрав голову, прочел название: «Интим». Вошел. То, что он увидел, озадачило и удручило его. Все эти приспособления и ухищрения для половой жизни он уже видел за границей и относился к самому факту их существования спокойно. Но здесь, на волжской земле, у себя под боком, в таком изобилии и разнообразии?! Он не ожидал...

Когда вышел из аптеки и снова прочел надпись, мелко разбежавшуюся светлой узкой ленточкой по тусклой стене здания, она ему показалась похожей на проделку молоденького бычка, пролившего тонкую струйку в пыльную серую дорогу.

...В одном из мюнхенских ресторанчиков Гейгер как-то показал Касторгину на парочку, сидевшую за столиком.

— Обрати внимание на белокурого крепыша. Хорош?

Касторгин, не поняв вопроса, пожал плечами.

— Он полгода назад был женщиной.

— Что? — опешил Кирилл Кириллович.

— Операция, — улыбаясь, пояснил немец. — А рядом с ним женщина — она была мужчиной.

— Что? — туповато вновь удивился Кирилл и с оторопью посмотрел на смуглую даму.

— Да-да, тоже операция, — тихо сказал Гейгер.

— Вам что, делать нечего? Ну, вы немцы...

— Есть чего, — возразил немец, — но им так интересней. Им так надо. Медицина может.

— Надо? — обалдело спросил Касторгин. — Им, что, поменяли местами эти, ну, органы их?

— Нет, просто так сделали.

— Сделали? — озираясь, переспросил Кирилл Кириллович. Он ещё надеялся, что немец шутит. — Нельзя же так. Как мужчину сделаешь?

— Медицина, врач умеет, — спокойно сказал Гейгер, — у него взяли для этого кожу и сделали что нужно.

— Это чудовищно, — сказал Касторгин, потеряв способность построить какую-либо другую фразу.

Уже когда они с Гейгером встали из-за стола, немец решил, очевидно, добить русского:

— До операции они были... как это... любезниками.

— Любовниками? — подсказал удивленно Кирилл.

— Да-да, любовниками, — закивал головой немец, — а теперь, когда они стали каждый наоборот, они поженились.

С гримасой на лице Кирилл Кириллович мотнул головой: «Нам бы ваши заботы». Немец беззаботно рассмеялся.

...«Нам бы ваши заботы», — глядя на светящуюся рекламу аптеки, подумал Касторгин и, потоптавшись на одном месте, пошел к ресторанчику «У Линде». Ему давно хотелось побывать здесь. Не связан ли он как-то с той фирмой «Линде», которая занимается нефтехимическим оборудованием? С Гейгером?

Необычное для русского климата изящное красное крылечко с гранитными ступеньками, красно-белый цвет — все напоминало ему его впечатления от заграницы. Первым городом за рубежом, в котором он побывал, был Мюнхен, потом несколько раз был в Германии, даже учился в академии. Но самые сильные впечатления и ощущения остались именно от Мюнхена с его пивными барами, с ежегодным праздником пива.

Он вошел в ресторанчик. Одна лишь пара, он и она, сидела в углу за столиком. Они ворковали, поглощенные собой.

Касторгин заказал кружку пива. Официант, молодой парень в жилетке и с бабочкой, скорее, похожий на музыканта, с ловкими, в меру быстрыми движениями, принес пиво и поставил на картонный фирменный кружочек.

Из соседней комнаты слышались удары по бильярдным шарам. Дверь приоткрылась, и Кирилл Кириллович мог видеть двух сосредоточенных и важных, пожилых, седовласых игроков. Все было чинно и прямо-таки по-немецки размеренно. Как ему сказали: никаких отношений ресторан не имел с названной Касторгиным фирмой.

Он спохватился — была среда и в бильярдном баре, разместившемся недавно под цирком, можно было поиграть в этот день с Сашей Годунко, хорошим парнем, кандидатом в мастера спорта.

Бильярд был страстным увлечением Касторгина. Он радовался, что с переездом в Самару у него появилась возможность играть с партнерами приличного уровня. Касторгин поставил как-то себе задачу: подтянуться в игре, пользуясь уроками, которые давал ему Александр, и начать систематически ходить в окружной Дом офицеров. Ему хотелось прощупать в игре всех местных знаменитостей. Он не любил дилетантов. За последние два года Кирилл Кириллович прочел все, что смог достать, об этой красивой игре. «Поэма о бильярде» Балина стала его настольной книгой.

Чтобы натренировать руку, дома он имел кий и периодически, не реже чем через день, положив пустую бутылку на стол, отрабатывал удар, стараясь из разных положений попасть в горловину бутылки кием, не задев стекла.

...Ему понравился бар-ресторан «У Линде», и он подумал, что неплохо бы сюда иногда приходить посидеть, ну хотя бы с Владиславом. Не всегда же его краски нюхать. Хотя вытащить его специально, это дело такое...

Касторгин уже пришел однажды к выводу, который его не порадовал: с кем бы он ни встречался, ни разговаривал, всё-таки самое главное и необходимое для себя он всегда отыскивал, рассуждая сам с собой. Второе его «я», мудрее и спокойнее, чем он сам, не замутненное, не замороженное, не задерганное суетой, ненужными знакомствами, обещаниями, обязательствами — только оно подсказывало ему верные мысли и решения. Кирилл Кириллович иногда думал: то, второе его «я», может, это и не он вовсе, а его ангел-хранитель? Может, его мама, бабушка либо кто-то другой?

Вот и сейчас, шагая вдоль парапета набережной, с виду уверенный и самодостаточный, он терзался внутренними диалогами.

«Очевидно, я недоношенная личность. Мне надо собирать себя. Литература — это, может быть, тот оселок, с помощью которого я выйду на себя. Через музыку, живопись, поэзию надо накапливать в себе расчетливую решительность. Идти к истине в обыденной жизни. Почему об этих вещах никто не говорит? Может, я думаю и рассуждаю не так и не о том, что волнует остальных?

Я на обочине жизни? Не в центре её? Это потому, что не при деле, которому отдал почти три десятка лет?

Но ведь и при моем деле был я на обочине жизни. Или нет? Или делать обычное дело, рожать, растить детей — это самое то, лучше чего пока не придумано природой?

В юности мы мним себя центром вселенной, потом все куда-то уходит. Забываемся в работе, заботах, делах, найдя себя в конкретике. Потом вдруг обнаруживаем, что никаких высот не достигли, все равно стоим на обочине чего-то большого, космического, непонятного всем. И, увы, уходим, не поняв самого главного, того, чего нам никто из живущих на земле не скажет. Так и со мной. Стоит ли убиваться?»

Он остановился как раз напротив строительной будки, которая служила купающимся в проруби раздевалкой. Дымок, выходящий из трубы, щекотал ноздри, зеваки с интересом наблюдали за «моржами». А те совершенно не обращали на них внимания. Некоторым нравилось раздеваться не в будке, а прямо у проруби. Причем, когда кто-то раздевался донага, противоположного пола «моржи» деликатно и с пониманием, отвернувшись, задерживались по обочинам дорожки, ведущей от будки к проруби. Дорожка эта обычно в первой половине января преобразалась. Её с обеих сторон, и прорубь по кругу, обносили зелеными сосенками, которые предприимчиво собирали на мусорках и во дворах после того, как их, отслуживших своё на Новый год, выбрасывали за ненадобностью. Получалось хорошее укрытие от ветра. И красиво.

Было холодно стоять и он решил подняться в город.

...По Полевой Касторгин поднялся до Дворца бракосочетания, прошел чуть дальше по Молодогвардейской и остановился перед рекламой кассы «Аэрофлота». Мелькнула мысль: взять билеты до Хабаровска — и к Тамаре. «Сейчас, если есть билеты, возьму и — будь что будет».

До Хабаровска прямых рейсов не оказалось. В справочной ответили: с посадкой. В Новосибирске каждую субботу в шестнадцать часов, в полете восемь часов.

Кирилл Кириллович почувствовал, что трусит.

«Ну раз прямых нет, — оправдывал он себя мысленно, — тогда подождем, чуть позже решим... когда...»

Он порвал с Тамарой, ничего не объясняя. Скрыв от неё, что у него резко ухудшилось зрение. Он не мог читать. Это все так внезапно произошло, что Кирилл растерялся.

Как только он заболел или что-то случилось с ним из ряда вон выходящее, он уходил в себя, забивался в угол. Кирилл не терпел жалости к себе, не мог выносить, когда за ним, беспомощным, ухаживали. Он не мог быть в глазах других бессильным. Это было высшее наказание. Такое у него случилось и с Тамарой — Кирилл не мог себя, полуслепого, поставить рядом с ней.

Они одновременно заканчивали институт. Надо было жениться или разъезжаться. Он решил порвать. И причину нашёл, вроде бы важную и к тому же в значительной степени правдивую: он мечтал стать писателем. Но все так призрачно. Денег нет. Помощи ждать неоткуда. Нет, женитьба пока не для него. Он так и сказал: «Надо подождать».

Последний раз они встретились на площади Революции, около стендов с газетами. Кирилл так придумал. На улице, на январском морозе, короче разговор. Единственное, чем он себя ещё оправдывал, — их отношения не зашли достаточно далеко. Интимной близости не было.

Конечно, она не поверила в его доводы.

— Я тебе просто безразлична, — вынесла она вердикт. — Ты просто проводил со мной время.

Ему тогда показалось обидным, что она все пережила без слез. На другой день Тамара уехала к родителям. В Самаре её удерживало только чувство к нему.

«Кажется, я тогда сделал своё первое отклонение, — грустно думал теперь Касторгин. — И, очевидно, это была моя единственная женщина на всю жизнь. Увы, дуралей. Мы рано встретились».

...Он давно знал, что она развелась, воспитывает дочь одна, родителей уже нет. Работает на телевидении диктором и очень хочет перебраться в Самару, откуда увез её бывший муж. Случайный муж, как понимал Касторгин. И виновником этой случайности он не раз мысленно называл себя.

Лет пять назад, он узнал от приятеля, что Тамара была на Мастрюковских озерах на Грушинском фестивале. Она неплохо пела. Он вдруг стал ждать и в то же время бояться её звонка. Она не позвонила. И Касторгин не понял: хорошо это для них обоих или нет. Потом все как-то затерлось повседневностью и он обрел обычную уравновешенность.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прибамбасы

С магазинами стало твориться что-то непонятное. Сначала закрыли тот, что на пересечении улицы Маяковского и Волжского проспекта. Удобный такой, где можно было купить предметы первой необходимости. Над дверью повесили вывеску: «Хороший супермаркет», а внутри начали наконец-то ремонт. Чуть позже повесили ещё одну вывеску, более солидную: «Супермаркет».

Вчера, когда Касторгин проходил мимо, старик, стоявший около окон магазина, остановил его, поманив рукой. Кирилл Кириллович подошел. Старик худой, опрятно одетый, но во все поношенное, очевидно, решал одну из важных для себя задач.

— Молодой человек, извините меня старого. Я бывший преподаватель политэкономии, кандидат наук, писал в своё время монографию, могу задать один вопрос?

— Конечно, — ответил Касторгин.

— Вот, если мы стали строить капитализм, почему начали его строить с супермаркетов, а не с подъема сельского хозяйства, заводов, а? Ведь на диком Западе начинали именно с последнего.

— Отец, я с вами согласен, — сказал Кирилл Кириллович, глядя в блеклые, слезящиеся глаза старика.

— А раз так, что же вы, молодые, делаете?

Касторгин недоуменно развел руками, чувствуя себя нелепым. Уже перейдя проспект, он, оглянувшись, увидел, как старик, сторбившись, пошел во двор дома. Он вспомнил, что этого старика он видел около мусорных ящиков, выискивающего вхламе пустые бутылки.

...Потом прекратил работу молочный магазин в том же доме, только в другом торце здания. Из продовольственных поблизости остался только хлебный. Теперь, чтобы купить зубную пасту или что-то вроде этого, надо было подниматься наверх, на Молодогвардейскую, в «Шанхай».

...Выйдя с утра на прогулку, он решил съездить в универсам «Самара». Многолюдье покупателей, основательность и размеренность продавцов раньше всегда действовали на Кирилла Кирилловича успокаивающе. Можно было и не ехать, конечно. Особенной хозяйственной нужды не было, но что-то подталкивало и он отправился к остановке.

Подошел разлюбезный «одиннадцатый», и Касторгин вскоре оказался в салоне троллейбуса, стоящим между двумя мужчинами. Повернувшись к окну, он стал смотреть на облака. С утра побаливал правый глаз, эта боль в последнее время участилась.

— А как ты вообще-то перебиваешься? — проговорил мужчина справа в пуховике дымчатого цвета и ондатровой видавшей виды шапке.

— Ничего. В этом году, нам дали дивиденды. Мне шесть тысяч. Я по две отдал дочерям, остальные положил на депозит, — ответил основательно тот, что слева.

— Что ж отдал-то, сам-то как со старухой?

Голоса звучали рядом, прямо за затылком Касторгина.

— Да, я плохо, прямо скажу, себя чувствовал, думал того... Ну и раздал. Но ничего. Сейчас к своим тремстам шестидесяти понемножку беру и перебиваемся со старухой. А ты с Аннушкой как?

— Да так же. Меня, когда стукнуло в третий раз, я все потом бросил. Летом приспособился в Подгоры ездить жить. Снимаю дом. Красота! Только там здоровья и наберешься. Но дорожать стало и там все, не знаю, как в этом году.

— Что-нибудь то делаешь?

— Сначала только читал да спал. Ну, по мелочам там... А потом стал грибами заниматься. По округе хожу. Надену красную куртку, чтоб быстрее нашли меня, если что вдруг, и вперед! Что ж теперь...

Кирилл Кириллович наконец-то смог немного повернуться и лучше рассмотреть говорящих. Обоим чуть, наверное, за шестьдесят. Тот, что справа, по виду бывший заводской управленец среднего звена, в очках, взгляд спокойный и внимательный, голова большая, лицо бледное с серым оттенком. Слева — очевидно, толковый, безотказный, скорее всего, рабочей профессии человек. Лицо открытое и бесхитростное, на голове кепка.

— А Нина Витальевна наша как, голубушка? Со вторым-то мужем заладилось у неё? — спросил человек в кепке.

— Второго тоже не стало, — совершенно спокойно ответил тот, что в ондатровой шапке.

— Как это, тоже инсульт?

— Нет. Помогли. Что-то съел и отравился. Стало плохо, температура сорок. Она и вызвала «скорую». Забрали на промывание желудка. Когда это делали, умудрились проткнуть пищевод, вода как-то попала в легкие, ещё чего-то там. Не стало человека.

— Надо же, — вяло удивился собеседник, — не везет Ниночке. Она всегда веселая была. Всегда с какими-нибудь смешными прибабасами.

— Теперь другие у нас у всех прибабасы. А едешь-то куда? — без всякого перехода спросила «шапка».

— Дак за мышшеловкой. Такое дело: года три не было, а вчера бежит зверюга, маленькая такая, по кухне, жена в панике — на меня. А что я? Начал искать мышшеловку, а она говорит: «Ты ж её выкинул сам недавно в мусорное ведро». А я не помню — хоть убей, голова не работает после инсульта, прямо скажу.

— Так тебе тогда лучше не на Крытый рынок, а на Троицкий. Там всегда они были.

— У этих, ну, частников?

— Ну да.

Они помолчали.

— Ты, это, давай, крепись. Такие когда-то дела делали! Помнишь, наш цех три года знамя не отдавал! Замах был как лучше сделать, потому и не жалели себя. Большинство таких было...

Кондуктор объявил остановку и человек в кепке шагнул к выходу.

— Ты постой. Куда?

— Да ты ж сказал, что лучше на Троицкий рынок, вот я и... пора мне выходить, — и он неловко протиснулся в полуоткрытую дверь.

Кондуктор лениво смотрела в окно в сторону пустой остановки. Кирилл Кириллович мельком взглянул на человека в китайском пуховике. Лицо у него, как показалось ему, стало ещё более землистого цвета, чем раньше.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Водолаз

— Я гляжу на тебя, Кириллыч, и думаю, а не свихнулся бы ты.

— Что так, Анна Панфиловна?

— Иной раз на тебе лица нет, глаза красные. Навалилось на тебя столько, что троим не осилить. Этот год, что ты живешь супротив меня, я тебя узнала. Ты как мой покойный Никита, все в себе держишь. Никому не доверяешь, чтобы не открыться. Инфаркты таких любят.

Соседка, возвращаясь из магазина, застала Касторгина у подъезда с двумя небольшими ковриками под мышкой.

Он открыл дверь и они вошли в подъезд.

— А что, муж болел? — спросил Кирилл Кириллович.

— Нет, иногда только сердечко шалило. Военная косточка. Был, как строевая лошадь. И умер, можно сказать, на ходу. Когда сердце прихватило, уже в «скорой» был, попросил, чтобы я ему шахматы принесла — не хотел скучать в больнице. Принесла. Так с одними шахматами и уехал. Думал, ненадолго. Под утро скончался, сказали, обширный инфаркт. Я жена, вроде бы мне не очень можно верить, своя. Но мне, ведь скоро восемьдесят, что мне врать-то. Правду скажу — самоотверженный был человек и честный. Он бы не пережил теперешнее время ни за что. Обречен все равно был бы на инсульт или инфаркт. Он порядок любил.

Они поднялись на площадку второго этажа, где были их квартиры.

— Анна Панфиловна, проходите, — пригласил Касторгин, — проходите в переднюю, договорим.

Касторгин расстелил около двери пахнувший морозцем коврик, и они вошли в его квартиру. Соседка остановилась в прихожей. Не спеша огляделась.

— Да, хорошо-то как стало. А до этого тут два шалопае таких жили — кавардак был. Попивали с соседом сверху, жены намучились.

— Жить собирались, да вот пока ремонтировал после обмена, жена с дочкой уехали в Германию.

— Я вижу, ты не пьешь?

— Ну как... изредка.

— Вот-вот, у меня из головы это не идет. Жена ушла, с работы уволили, родственников рядом нет, друзей, как видно, тоже не очень много — и не пьешь? Свихнуться можно. Отклонения пойдут от линии жизни. Уж лучше, когда невмоготу, выпей. Мужики это надо, по своему Никите знаю. Очень крепкий был — и враз под корень. Крепкие-то ломаются быстро.

— Я не сломаюсь.

— Да ведь без забот, к которым привык всю жизнь человек, очень тяжело. По себе знаю, всю жизнь была то на комсомольской работе, то на профсоюзной — в потоке жизни. Ушла на пенсию — еле устояла. Сейчас мне вон сколько лет, а я активно себя веду, за жизнью слежу. А ты ходишь, как сыч, мудрый, но скучный и непонятный. Хорошая у тебя квартира, небольшая, а уютная.

Они прошли в гостиную и он усадил её в кресло.

— Я, Анна Панфиловна, наркоманом стал, — сказал Касторгин из прихожей, куда он шагнул, чтобы повесить пальто.

Соседка ахнула:

— Ну у тебя и шутки, Кириллыч.

— Нет, правда. Вот посмотрите, — он, вернувшись, взял со стола большую папку, раскрыл и вынул несколько листов.

Соседка водрузила на нос очки, болтавшиеся у неё на груди на тонкой веревочке, и начала ворошить листочки.

— Да, — протяжно сказала она. — И сколько таких стихов в этой папке?

— Больше сотни.

— Да-а... — вновь протянула Анна Панфиловна.

— Что? — насмешливо спросил Кирилл Кириллович. — Тяжело читать?

— Надо переварить. Раз так писал, значит об этом много думал, так?

— Вроде бы так.

— Показывал кому-нибудь свои стихи?

— Да, одному умнику.

— И что он сказал?

— Ты, говорит, пишешь какие-то прибаутки. Как деревенский полудурок для свадьбы, только мата нет для перцу.

- Так прямо и сказал — такими словами?
— Да. Он это любя, мы друзья.
— Вот послушай мои стихи, — она прикрыла глаза ладонью правой руки и, покачивая головой из стороны в сторону, пропела:

*Дорога моя подруга,
Что случилось на днях:
Полюбила гармониста
И запуталась в ремнях.*

- А вот ещё, совсем другое:

*Я, бывало, ожидала
Хромовые сапоги.
А теперь ожидаю
Инвалида без ноги.*

- Вот мои стихи, прости Господи. Первую частушку пели мы до войны, а вот вторую — в войну... А у тебя как, — и она нараспев прочитала по листочку:

*Как наша жизнь расставила силки,
Такое выпало нам времечко.
На каждой башенке сидят стрелки
И целят прямо в темячко.*

- О чем это, Кирилл, а? Неужто паразиты какие тебе грозят, береги себя, сейчас все дозволено.
— Нет, не все впрямую. Это так сказано вообще.
— А вот знакомо:

*Экое грустное дело —
Тело мое постарело.
Душа осталась молодой,
И это не даёт покоя!*

- Хочешь я расскажу тебе одну притчу.

Касторгин согласно кивнул головой.

- Вот как мне начать? Что я хотела сказать... да... вот включилась. Мы, люди все, продолжение первой нашей удачи. Только она становится символом последующей нашей удачной судьбы. Непонятно?

- Да пока не очень, — сказал Кирилл Кириллович, присев напротив соседки к столу.

— А вот слушай... Однажды Чингисхана спросили: «Ты герой, а мог бы ты сказать, каким знаком отмечен?» Хан подумал и сказал: «Как-то, ещё до восхождения на царство, я скакал по дороге и встретился с пятерыми, поджидавшими меня в засаде в кустах, чтобы убить. Я напал первым. Мне повезло, их стрелы пролетали мимо, а мой меч работал хорошо. Я перебил их всех. На обратном пути увидел на месте сражения пять лошадей, который бродили без хозяев. Я забрал их и привел к себе домой». Каков вывод, а? Мы с вами вначале — повелители своей судьбы, а потом — только исполнители. Вы отличный инженер, о вас «Волжская коммуна» писала. Я диву давалась, сколько вы сделали, сколько у вас званий. Вы себе сами сделали судьбу, вы трудоголик, а потом — бац — и ушли от своей судьбы, не стали её исполнителем, зря. — Она невольно перешла на «вы». — Нельзя вам не работать. Вы должны трудиться — и по специальности. Судьбу, которую вы себе создали, должна теперь вами руководить, а вы её ломаете. Вы меня должны слушать, ещё молодой человек по сравнению со мной, а я старый доперестроечный идеологический работник. Так вот. Натекла ваши стишата. Пойду, жарковато мне в пальто... Да и пора, не люблю надоедать, — она погрозила слабенским пальчиком и вышла, споткнувшись о порог.

Закрыв за соседкой дверь, Касторгин вернулся в большую комнату, сел в кресло. Машинально, по привычке, большим и безымянным пальцем левой руки помассировал виски.

— Да, — задумчиво произнес он, как бы продолжая начатый разговор, — я похож на водолаза, который спустился на глубину и залег. Лишь шланг с воздухом соединяет меня с тем миром, что над водой. Шланг этот: мой приятель Владислав, моя соседка Анна Панфиловна, и телевизор с депутатскими дебатами, газеты и прочее, но... Но ведь это не жизнь... это суррогат жизни.

«Воздуха в легкие не хватает, вот что», — удивился он простой мысли, которая явилась будто сама собой и которая вдруг напомнила ему о разговоре с художником. Вот оно: мысль пришла — и все ясно.

«Этот шланг, что остается для пенсионеров, он тонок, его не хватает. Его надо расширять. Расширять круг интересов, надо искать импульсы, которые заставляют любить жизнь. А ты,

дружок, говоришь, что мысль — тупик, — вспомнил он слова Владислава, — взрыв, распад. А ни фиги! Мысль — движение, движение к свету, к простору».

Он умиротворенно потянулся в кресле, да так, что послышался треск. Кирилл Кириллович озабоченно сунул руку между боковиной кресла и подушкой и обнаружил, что кожа слиплась в этом месте и с трудом поддается разъединению. А там, где ему это удалось, клочками порвалась и маленькими язычками болталась, обезобразив красивую поверхность.

— А, черт, — выругался он, — и тут халтура.

Он вспомнил, с каким удовольствием они вместе со Светланой покупали диван и эти два кресла на Нижней Полевой в магазине импортной мебели, как ей понравился темно-вишневый цвет кожи и что можно было заказать любой набор мебели — и все это аккуратно через месяц тебе доставят аж из Австрии. «А впрочем, уже хорошо, что она этого не видит». — И он тут же забыл о кресле.

На смену пришла следующая догадка: «Это хорошо, что я начинаю замечать мелочи жизни, значит, начинаю всплывать».

Его мысли вернулись вновь на «круги своя». Он вспомнил недавний разговор с незнакомым стариком на набережной.

Кирилл Кириллович, гуляя вечером, обязательно доходил до голубых елей около бассейна ЦСКА. В тот раз, как обычно, выйдя из аллеи, он подошел к парапету напротив не работающего зимой фонтана и в задумчивости остановился. Бордовое солнце своим огромным диском окуналось в свинцово-тяжелую гряду облаков, заслонявших горизонт.

— Глядите, глядите на закат, полезно для зрения, — прозвучал неожиданно рядом голос.

Касторгин не заметил, как около него оказался сухонький старичок. «Похож на отца Болконского из «Войны и мира» Бондарчука», — подумал Кирилл.

Запросто разговорились. Всего он не запомнил, но отчетливо сейчас звучали слова старика, связанные с теперешними мыслями Касторгина:

— Знаете, я жизнь почувствовал, понял, только когда на пенсию в шестьдесят лет вышел. Себя почувствовал, собой стал заниматься, в кино ходить, в театр. Масса интересных ве-

щей в жизни, а мы впряглись в рабочую лямку, поднатужились и прем, не видя ничего. Пот глаза застит. А кругом, оказывается, красота. Вот вы молоды, заняты: работа, работа — и многое не видите. Я могу подтвердить из собственного стариковского опыта: огромнейшая прелесть в отстраненном созерцании жизни. А? Ну да, конечно: в молодых плоть, гормоны правят. Но всему своё время.

Касторгин удивлялся, слушая старика. Он даже не вступал с ним в диалог. Все было понятно, ясно донельзя. Но как-то теоретически, а вот он, Кирилл, живой пример — он не может смириться полностью с тем, что говорит старик.

«Ясно, почему не могу, — я пенсионер липовый, мне пятьдесят три, а ему восемьдесят, какие в его годы желания? Плоть еле дышит», — думал Касторгин.

Затем старик сказал то, что его сильно смутило. Было ли это случайностью, либо старичок был непростой. На Кирилла Кирилловича это произвело большое впечатление:

— Тело подводит, стареет во сто крат быстрее, чем душа. Понимаете ли: то ли создатель промахнулся, то ли сознательно так свершил. А жизнь реальна. Конечно, маловато денег, не хватает на лекарства, а в остальном — это лучшее время моей жизни.

«Боже мой, — думал Кирилл Кириллович, глядя на старика, — его как будто кто ко мне прислал с этим разговором. Когда я подходил, его и не было. Откуда он взялся? Касторгин, а ты случайно не того, может, это все так и начинается, а уж в психушке потом у каждого по-своему?»

Он почему-то вспомнил, как умирала его бабушка, её последние минуты. Находясь чаще без сознания, восьмидесятилетняя старуха в минуты просветления разума несколько раз сказала: «Живите, пока живется, радуйтесь». Но что поразило тогда Касторгина, так это её поведение в последние секунды перед уходом. Варвара Ильинична резко приподнялась с постели, почти что сев на кровати, и головой с раскрытыми большими черными глазами повела слева направо, окидывая взглядом все, что было перед ней. Было видно, что она ненасытно вбирала в себя все: и домочадцев, которые растерянно стояли вроссьшь около, и все предметы комнаты, и саму комнату. Она вобрала это все в себя, будто желала, пускаясь в дальнюю дорогу, все уне-

сти с собой. Она все запоминала, чтобы потом оттуда, издалека, видеть это все? Во взгляде была такая ненасытность, такое желание вобрать как можно больше, что ему стало не по себе. «Зачем ей это? — думал он тогда и сейчас. — Ей это для чего-то надо было, она подчинялась какому-то мощному инстинкту, данному ей сверху, или это только судороги, конвульсии умирающего существа? И что такое смерть? — впервые тогда остро задумался он, — не начало ли нового, отличного от того, что есть на этом свете, дальнего путешествия? И куда? И на сколько? Да, я, кажется, начал путаться в мыслях, для многих совсем ясных, для других вообще непонятных, о которых они и не хотят думать. Бегут от них. И, наверное, молодцы. А может, оттого она так жадно вбирала в себя все, что совершенно четко понимала и знала в те последние секунды: то, что она имела, у неё потом уже никогда не будет вообще. Даже самой возможности вспомнить и пожелать не будет. Не будет ничего. Только глухота и бездна.

...Если бы кто-то сейчас случайно прочел мои мысли, ох и удивился бы моей дремучести. Я, наверное, рассуждаю о многих вещах, как недоросль. Но ведь я, казалось, кое-что в жизни знал, думал о ней... Системно старался работать. Защитил диссертацию, то есть несколько лет мой мозг работал системно в определенном направлении и на уровне нынешней науки. Правда, прикладной науки, отраслевой, но, тем не менее, я не дикарь, вроде бы... Стоп, — почти вслух сказал он сам себе, — а что же остальной народ, так же, как и я, болтается в неведении? Ведь это пропасть. Надо же было бы знать с начала жизни, в каких координатах находимся, митрофанушки мы...

Я сильно смахиваю на мою бабушку. По сути я тоже сейчас так веду себя. Я многое стал замечать, все мне интересно, будто я хочу тоже вобрать в себя как можно больше: вдохнуть больше воздуха в легкие. Чтобы глубже нырнуть? А потом что будет? Я не знаю, что мною руководит больше: интерес к жизни вообще или интерес к себе в жизни. Надо ещё разобраться».

Он встал, подошел задумчиво к окну, но не стал смотреть в него, а зачем-то поглаживал широкий подоконник, где местами краска, вспучившись, начала отлетать. «А ведь полгода не прошло, как красили подоконники-то, схалтурили мужички? Может, и нет, просто я сам подгонял, когда готовили подоконники,

очевидно, не просохло тогда дерево как надо, теперь, усыхая, ломает краску.

...Если бы написать повесть о том, что со мной происходит, интересно это было бы кому-нибудь или нет?» Он на секунду задумался и невольно утвердительно кивнул себе: «Кому-нибудь интересно наверняка было бы... «Записки Кирилла Кирилловича Касторгина» — так можно было бы назвать. Как «Повести Белкина», чего уж там скромничать, — усмехнулся он, — может, не до плеча, так хотя бы до пупка дотянуться, классик не осерчает».

Но тут же серьезно подумал: «Допустим: есть лирика или мемуары гения, но ведь не все гении. Может быть лирика и эссе обыкновенного человека. Она же тоже может быть интересна. Кому? Ну, хотя бы этой самой среднестатистической личности? Можно ли тут оперировать какой-то усредненной личностью, единицей, ведь живой человек в центре. Банально мыслю!»

Три буквы «К». Он вспомнил, что его иногда в школе называли Капитаном Кассио Кольхаун, как персонажа из «Всадника без головы», и помотал головой: может, и впрямь уже без головы, да и не всадник.

«А потом не получились бы «Записки Кизила Кизиловича Касторкина». Наши заводские остряки не зря это мне приклеили: «Касторкин». Любят — знаю, но ведь кислятиной и занудливостью от меня изрядно несет. Хотя каждый специалист просто обязан быть чаще всего занудой, врединой. Ему истина важна, вне того, как её и кто будет пробовать на вкус и цвет. Истина, господа! Господа, ау, где вы, господа? Господ стало подозрительно много, а истина — одна, товарищи-господа. Истина, но не смысл. Не искать смысла. Поиск смысла нелеп. Смысл всему придает сам человек, его искать надо в себе. Разобраться в себе. Поставить цель себе и сделать её смыслом жизни. Сколько людей свою жизнь тратят на поиск смысла, обрекая себя на бессмысленность. Об этом можно писать романы. И не заболел ли я сам пассионарностью? Я сейчас получаю энергии больше, чем трачу её. Значит, должен наступить момент, когда её надо будет отдавать — через конкретные дела. Всё впереди?!»

...Касторгин однажды уже начинал писать повесть. Это было в 1986 году в Ленинграде, в общежитии Технологического института. Там на курсах повышения квалификации, куда его

послали на месяц, была необычная атмосфера. Питерские преподаватели своей независимостью суждений будоражили умы производственников. Но по возвращении его захватили перестроечные события, которые бурно коснулись завода, и он просто не находил времени для своей затеи.

«...А фабула? Сюжет повести, какой бы он мог быть теперь? Ведь событий-то в моей жизни теперь не густо.

А впрочем, сюжет прост: человек в работе и человек вне работы, вернее, без работы. И название само напрашивается: «Безработный работник».

Или — «Трудоголик без похмелки», «Повесть об одном из нас».

Кажется, в тридцатом году в России было официально объявлено об отсутствии безработицы. В Москве была закрыта последняя биржа труда. Теперь же, по официальным данным, два миллиона безработных, а по утверждению профсоюзов, что наверняка вернее, около пятнадцати процентов населения. Чтобы сказать об этом как следует, надо побыть в числе этих двух миллионов... Мне вот, что называется, повезло.

Но как писать? Его беспокоила одна мысль, которую он толком и сформулировать-то не мог. Но она в нем давно зрела, в те, ещё относительно благополучные годы, когда он, поглощенный наукой, работал над диссертацией, и тогда, когда уже стал главным инженером. Она в нем дремала и просыпалась периодически, заставляя недоумевать. Мысль эта состояла в том, что, начиная, может быть, с Гоголя, с его беспощадной гениальной способностью видеть все пороки и несовершенство жизни и указывать на них русскому человеку, как школьнику в школе, чрезмерно часто внушали читателю, как много в человеке нехорошего. Но жизнь была, она состояла и при Гоголе, в значительной части из хороших людей. Россия обустроивалась, строились дороги, делались открытия... просто трудились, создавали, растили детей... Почему же великие писатели не видели этого созидания? Почему оно не стало предметом творчества гения? Или творчество всегда живет там, где раздрай в душе? Ему нужен надрыв! А Салтыков-Щедрин? Неужто русский человек заслужил только такой оценки? Касторгин иногда приходил, как он считал, к «чудовищной мысли»: мы сами, в том числе и писатели, культивировали в себе, не осознавая того, то, что наше общество привело к большим бедам. Литература, не

замечая материального созидания, которое требует порой самых лучших человеческих качеств, пыталась созидать духовно, но в таком отрыве от реальной жизни. А надо бы созидать и культуру жизни, в том числе, а может, в первую очередь её материальную сторону.

Ведь железные дороги, красивые мосты, города не могли построить ни Чичиковы, ни Раскольниковы, ни Ромашовы? Жизнь делали другие. Где же они? Где тот дух, на котором не только держалось, но двигалось вперед Отечество? Мне, митрофанушке, трудно разобраться. Что-то, значит, есть неподъемное в этом вопросе, — сокрушенно думал Касторгин, — не могу я видеть человека вне его конкретного дела, которое он делает в жизни. Человек и дело его должны быть воедино связаны. И это мое понимание пришло в результате моей практической инженерной работы в течение двадцати пяти лет. Я теперь ценю во всем конкретное дело. Отсюда вывод: я — не художник, я — работяга. Самое лучшее, что я могу сделать за письменным столом, — это написать документальную повесть. Да. Это, очевидно, так. И хорошо, что я это понял...

А вдруг Гоголь вторую часть «Мертвых душ» потому и сжег, что понял: он не способен увидеть другое, отличное от того, что изображал. И не захотел выносить приговор русскому человеку, понял: и так переборщили литераторы. Обратный эффект получился. Какой иной гений ответит на этот вопрос? Решится ответить?!

И какова должна быть доля правды? Голая правда? Вся правда?

Но Ницше уже сказал, что правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он всегда лжет.

Значит, правда, — рассуждал Касторгин, — неуловима. Непостижима! Тогда что же есть цель пишущего? И как писать? Как писать, чтобы и хотелось многого и верилось во многое... А впрочем, у меня ведь когда-то была мысль, что неплохо бы написать повесть о руководителе, деятельном и активном», — и он вспомнил строчки из книги немецкого писателя Кнобок «Трудно быть директором».

Они действительно могли быть метафорой целого романа, если искусно «развернуть». Или «пружиной», как выразился Касторгин. Её стоит привести, эту «пружину»:

«...Директор всегда, как на ладошке, всегда на виду. Придет на работу вовремя, говорят: «Ишь прибежал спозаранку, хочет нам очки втереть». Придет поздно, скажут с иронией: «Начальство не опаздывает, начальство — задерживается». Поинтересуется, как жена, как дети, — «сует нос не в своё дело». Не поинтересуется — «ну и черствый же человек!» Спросит: «Какие есть предложения?» — сразу шепот: «Сам никаких, видимо, не имеет». Не спросит — «к голосу коллектива не прислушивается!» Решает вопрос быстро — «тороплив, не хочет думать». Решает медленно — «нерешительный, перестраховщик». Требуется новую штатную единицу — «раздувает штаты». Решит: «Справимся своими силами» — недовольны: «На нас выехать хочет». Обходится без указаний сверху — «вольнодумствует». Выполняет указания точно — «старый бюрократ». Начнет шутить — «без щекотки не засмеешься». Не шутит — ворчат: «Хоть раз видели на лице его улыбку?» Держится по-дружески — «хочет втереться в доверие». Держится обособленно — «сухарь, зазнайка». Дела идут хорошо — «в конечном счете, это мы работаем». Снимают за невыполнение плана — «поделом, так ему и надо! Он один виноват».

«Может, замахнуться всё-таки на повесть? Зарыться месяца на три-четыре. При такой усидчивости, какая всегда была у меня что-нибудь да выйдет. Разрядиться надо, иначе, того гляди, пыжи сами полетят», — крутилось в голове. Но тут же себя одернул: «Не реваншист ли в тебе сидит, хочешь одним махом за все годы оправдаться, что когда-то изменил литературе, отклонился от намеченной цели».

Чуть позже, уже охлажденным умом, прикидывал: «Вот Толстой или Достоевский в наш век, в наше время, о чем бы они написали? О человеке, но в каких перипетиях?.. О перестройке все сейчас молчат».

Сравнивая себя с водолазом, он припомнил присказку старосты их студенческой группы, вечно неунывающего «одессита» из Тихорецка Бутова. Говорил Бутов её всегда серьезно и авторитетно:

— Знаешь, какая самая первая заповедь у водолазов? Если не знаешь — скажу: не писать в скафандр, а все остальное — мелочи.

...Временами Касторгин испытывал большой душевный подъем. Он верил: жизнь для него не остановилась. Странно, ему не хотелось вернуться назад, туда, где было все успешно. Он сейчас как бы очнулся от водоворота своих дел и увидел нечто иное. Жизненные пружины сейчас толкали его к какому-то действию или бездействию, но было в этом что-то всё-таки увлекательное, хотя и непонятное ему. Он временами попадал как бы в невесомость. Привыкший четко, логически мыслить, Касторгин теперь не мог сформулировать, что с ним происходит, и странно — кажется, не торопился этого делать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Неприкаянный

— Вчера был в Нефтегорске, в читалке попался номер газеты «Луч», где Николай Переяслов хвалит книжку стихов тамошнего поэта, кажется, Самойленко. Зачем ему это надо? Стихи-то в книжке слабенькие. Хвалил бы уж лучше Сиротина — без промаха...

Говоривший эти слова поджарый, внешне похожий на странную дикую птицу человек был бледен. Белокурые волосы его спадали на плечи, и он их нервно поправлял левой рукой. Правая была в кармане темного пиджака.

Касторгин вошел в ресторанчик «У Линде» наугад, пропустить кружечку пива. И был рад неожиданной встрече: в углу, напротив говорившего, сидел Владислав, который тут же приветливо помахал рукой. Кирилл сел за столик, напротив Владислава.

— Ребята, познакомьтесь, — улучив момент, когда замолк белокурый парень, произнес Владислав, — это мой приятель Кирилл Касторгин.

Кирилл Кириллович кивнул головой.

— Владимир Бережнов, — назвалса белокурый и тут же спросил Касторгина: — Вы кто?

— Вообще-то человек, а так — инженер.

— Не из Новокуйбышевска?

— Почему я должен быть из Новокуйбышевска? — дружелюбно усмехнулся Кирилл Кириллович.

— В Новокуйбышевске живет сейчас первоклассная поэтесса: Диана Кан, мы с ней знакомы по Оренбургу. Это будущее нашей поэзии. Это уровень Анны Ахматовой?

— Но причем здесь я? — терпеливо переспросил Касторгин. Владислав улыбнулся в усы.

— Мы все здесь причем, — резко оживившись, с нажимом сказал Владимир. — Они с мужем, Евгением Семичевым, нашим самарским Николаем Рубцовым, окончив Высшие литературный курсы, приехали в Новокуйбышевск. И, смешно: живут в крохотной комнатухе заводского общежития. Нам не стыдно? Всем нам не стыдно? Разве они поэзией когда работают на квартиру? Сроду не купят. А талант в мытарствах сгубят. Если бы моя воля, то я им дал бы квартиру в первую очередь. Куда смотрит власть? Все мы?

Касторгину не хотелось спорить, вообще он не готов был к каким-либо разговорам. Зашел пива попить, а тут — великие проблемы. Он припал губами к кружке, надеясь, что его оставят в покое. Без остановки с удовольствием выпил половину и поднял голову. Нельзя было долго смотреть в синие глаза блондина, они завораживали. И Кирилл Кириллович уже был готов согласиться с тем, что говорил Владимир, но что-то мешало этому. Мелькала мысль: не так, что-то здесь не так...

— А как ты оказался в Нефтегорске? — спросил Владислав и это несколько изменило, казалось, тему разговора.

— Меня пригласил один тамошний учитель, мой приятель Аркаша. Он из Кулешовки. Мне интересно. Я не деревенский. Я и не городской. Я — никакой. У меня нет родины. Отец мой из этих мест, но он окончил военное летное училище, долго служил за границей, последнее время в Германии. Вернулись в Россию, вернее, они с матерью вернулись в Россию. Я родился за границей. В девяностом году поступил в Самаре в институт, второй год аспирант кафедры «Технология нефти и газа». Впереди сумрак, начавшийся с нашей неудачной перестройки. Деревню не знаю, но хочу знать. Очевидно, гены моего деда срабатывают. В Кулешовке дом его ещё стоит. Но ни деда, ни отца уже нет. Случилось так, что начал писать стихи. Необъяснимо, непонятно мне самому — почему? Когда умер отец, мать вышла за дру-

гого. Счастлива. Непостижимо, как можно быть счастливой во втором замужестве в пятьдесят лет до такой степени, чтобы месяцами не проявлять желания хотя бы увидеть меня. Недавно в Оренбурге случайно встретились у театра. Она была со своим сановным образованным дураком, я — с Леночкой. Может, мы как-то и по-другому повели себя, но за её спиной маячила фигура местного поэта, претендующего на российскую известность, — Евгения Вдовина, а на самом деле сдающего пустые бутылки. Да-с, его стихи — пустые бутылки. И меня заклинило. «Володечка, привет!» — «Привет, мамуля!» Больше она ничего не сказала и я больше ничего не сказал. Я смотрел на Вдовина. Тот делал вид, что меня не узнает, глядел поверх голов, словно боялся что-то расплескать в себе. Истовый и отрешенный. Ну прямо как Блок. Наши областные поэты, за редким исключением, — говно! Я это точно понял, когда он сидел в фойе типографии, окруженный мужиками с помятыми лицами и пиджаками: один — главный редактор издательства, другой — бывший секретарь отделения Союза писателей, третий — тоже чиновник... Сами пишут — сами себя издают. Нужна свежая кровь, вы понимаете, све-жа-я! Нужны непричесанные мужики, а не те, что, став членом Союза, как раньше было, через каждые два года получали полную гарантию на издание очередной своей книжки. Так я думал, глядя на них. Мне показалось, что я подходил под «непричесанных и свежих», поэтому подошел к ним и протянул свою тетрадь: «Евгений Кимович, посмотрите мои стихи». — «Вы кто?» — он нехотя посмотрел то ли на меня, то ли сквозь мое лицо в окно напротив. «Человек, который пишет», — ответил я. «Да? Технарь, я так понимаю». — «Не понял, что вы поняли?» — «Вуз технический у вас?». «Да, на втором в политехе, в Куйбышеве». — «Ясно, печатались где-нибудь?» — «Нет пока». Он вяло посмотрел на меня и вдруг обескураживающе: «Знаешь, брат, я свои стихи ещё на той неделе должен был отдать редактору. Тут столько вокруг словесного поноса, я задыхаюсь просто. Давай в другой раз». Я твердо решил: другого раза у меня с ним не будет.

— Но ты ведь печатался в самарских газетах, в одной, помню, целая подборка была, — проговорил Владислав.

— Я сейчас пишу в стол. Хрен с ними со всеми. Может, это и хорошо.

— Что хорошо? — спросил тот, что сидел слева от поэта и которого, как потом оказалось, звали Виктором.

— А то, что я один, а по другую сторону — все. Я — один! — чеканно повторил он, — а по другую сторону — весь мир, все вы. Подминать под себя время — удел художника. Я все равно стану крупным российским поэтом. Как говорится, мог стать генералом, а стану самым собой. И Нобелевская премия будет моей.

— Лихо, — не удержавшись, обронил Касторгин.

— Вот именно: лихо! — воскликнул Владимир и так стукнул пустой кружкой по столу, что бородатый бармен, выглянув из-за загородки, посмотрел в их сторону.

«Кажется, возможна драка, — флегматично подумал Кирилл Кириллович, — и одним из участников сделают меня, черти. Давно не приходилось...»

Драться ему не хотелось.

— С пива такой? — шепнул он Владиславу.

— Сам видишь: кураж ему нужен.

Блондин вынул совершенно чистый, сверкающий белизной платок, промокнул как-то очень бережно свои пухлые губки, будто поласкал их, и произнес:

— Вот вам на прощанье, берите! — И нараспев начал читать трубным, как будто чужим, завораживающим голосом:

*О, Согдиана, родина моя.
Я руку протяну, а ты отпрянешь.
И острие дамасского копья,
Обороняясь, в грудь мою направишь.
Но не спасет усталый бог огня
Тебя, коль в нем ещё остался разум,
Ни от стихов моих, ни от меня,
Ни от моих потомков сероглазых.
Они взойдут однажды все равно —
Суровые, как северное солнце.
В крови их, будто древнее вино,
Седая азиатчина всплеснется.
Пустынный ветер, словно паруса,
Раздует их славянские хитоны...
Моим потомкам, посмотрев в глаза,
Ты вспомнишь византийские иконы.*

— Это кто? — спросил Владислав.

— Диана Кан, этническая корейка. По материнской линии — русская казачка. Ей бы возглавить в Оренбурге писательскую организацию. Она черт с рогами. Всех расшевелит.

— Да, — неопределенно сказал Владислав, — не слыхал про такую.

— «Как салат из омара, розовеет Самара», — вдруг произнес с пафосом один из парней, сидевший справа от Касторгина. — Тебе это нравится, Владимир?

— Это двустишие, по-моему, Андрей Вознесенский написал в прошлый приезд в вашу сонную Самару. Вы любите приглашать знаменитостей типа Владимира Войновича, Василия Аксенова, Александра Кушнера. Неплохо сказал. Мастер!

— Но это же стихи не русского поэта, он даже не понимает, что многие из россиян омаров и в глаза не видели. Это же буржуазная поэзия. Тоже мне космополиты. Сосиску не каждый купит — цены кусаются, а тут — омары. — Он замолчал, но тут же вновь встрепенулся. — Космополиты хреновы. Лишь бы свободу проповедовать. Выпендрейники.

Сказав так сосед Касторгина взглянул на Владислава, словно ожидая отпора, но, странное дело, тот беспечно махнул рукой:

— Ну сказал поэт и сказал, так захотелось!

— У вас в Самаре есть свои настоящие поэты, вот Чепурных, — продолжал менторским тоном Владимир. Он вынул из кармана маленькую книжечку, покопался в ней и меж страничек отыскал рукописный текст на узком листочке:

*Наскальной живописи плач
Нестертый варварской рукою:
Укрывшийся в закатный плащ,
Проходит город над рекою.
Туда, где длится Божий свет
В отливе огненного шара
И стая птиц — жаль, птицы нет
С красивым именем Самара.*

Голос, ставший проникновенным и тихим, дьявольски завораживал, несмотря на дерзость поведения его владельца. Кончив читать, Владимир, безнадежно махнув рукой, сразу на всю

компанию, направился к выходу. Касторгин молча смотрел на удаляющегося поэта, а в ушах стоял его голос: «Я никакой: ни городской, ни деревенский — и в этом залог моего таланта». Что это: простая бравада или в этом что-то всё-таки есть?

«Нужны космополиты! Наш двадцать первый век — их век! Надо давно выйти за свою околицу и не только деревенскую», — продолжали звучать слова блондина.

«У этого не будет отклонения», — без зависти подумал Кирилл Кириллович. И тут он вспомнил пронизывающие душу слова другого блондина с голубыми глазами:

*Но более всего любовь к родному краю
Меня томилла, мучила и жгла.*

И успокоился. Только молча утвердительно покачал головой под недоумевающим взглядом Владислава.

«И Диана Кан без своих корней — ничто», — мысль эта пришла вдгонку к остальным. Он улыбнулся то ли в адрес незнакомой ему кореянки, то ли блондину, который всего двумя строчками все поставил на место и обессмертил в веках село своё — Константиново.

— Все поэты по-своему пророки, — задумчиво произнес Владислав.

— И этот мальчик? — улыбнулся Касторгин.

— Видишь ли, живописцы хоть как-то защищены от тупика, к которому приводит мысль поэтов-пророков. Мы с тобой об этом говорили уже.

— А к чему она приводит, мысль поэта?

— К тому, что жизнь по сути большая бессмыслица и с этим надо смириться.

— Нет, я не согласен, — мотнул головой Касторгин, — не всегда и не у всех. Жизнь — тайна, которая есть наше вечное и великое мучение. Это Бунин. А смерть — ещё большая тайна.

*Все мудрецы друг друга повторяют,
Я б упрекать их не посмел,
Коль и они не понимают
Того, что я понять хотел.*

— Кто это? — Владислав внимательно взглянул на Касторгина.

— Какая разница! Я думаю, наитие, интуиция настоящего художника не должны допускать его мозг до утверждения

того, что все — бессмыслица. Настоящий художник должен остановиться на понимании невозможности осознать до конца сущее. Во всем есть тайна, но не тупик и бессмыслица. Осознание непостижимости многих вещей на свете — удел и пророка, и художника, как это ни парадоксально...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Правильно ставить задачи

Пока двое незнакомцев провожали поэта, Касторгин успел уточнить, кто они такие. Приятели художника. Ударились оба в коммерцию от нужды. Были хорошими инженерами. Оформляют свой маленький офис. Владислав им помогает. Тот, что пониже ростом и постарше, — Аркадий, помоложе и посветлее — Виктор. Первый — химик, второй — авиационщик.

— Посадили пророка в троллейбус, доберется, — сказал тот, что посветлее.

— Многовато у нас что-то стало пророков в Отечестве, — сказал Касторгин, ни к кому не обращаясь.

— Ага, — неожиданно живо и словоохотливо отозвался Аркадий, — их сейчас везде много. Этот вот, которого проводили, мой дальний родственник, в литературе пытается шаманить. Другие — в политике. Я был в июне в Москве на первом съезде Российских химиков, — задумчиво проговорил Аркадий. — Выступая на нем, Аркадий Вольский рассказал маленький анекдот. Корреспондент берет интервью у двух экономистов, один из них пессимист, другой — оптимист. На вопрос: «Каковы дела в экономике?» — пессимист ответил: «Плохи, очень плохи». На тот же вопрос оптимист отреагировал так: «Плохи, очень плохи, а будут ещё хуже!»

— Он прав, вот он пророк! — невесело засмеялся Виктор.

— Кто? — Аркадий пододвинул к себе кружку с пивом, но не торопился пить.

— И Вольский, и экономист-оптимист — правы. Но химики вроде бы на подъеме сейчас, — продолжал Виктор, — я недавно разговаривал с Евгением Узиловым, возглавляющим АООТ

«Бытовая химия». Они в последние годы наработали собственные оборотные средства, которые потеряли в начале девяностых годов. Сейчас у них и с сырьем вопросов нет.

— Ну что ты, Виктор, говоришь, — досадливо махнул рукой Аркадий. — Это же не пример. Ну, трудится у него триста человек всего. Они нашли себя, это хорошо. Но крупнотоннажная нефтехимия? Возьми, к примеру, АО «Фосфор». Там уже не кризис, а паралич. Я хорошо знаю директора Станислава Пименова. Когда-то ещё Кунаев с Назарбаевым бросили его на поднятие фосфорного производства в Джамбуле, затем уже наше союзное руководство направило в Тольятти, после аварии на заводе. Он восстановил производство и здесь. Но настали иные времена. Источники сырья — фосфоритной руды — находятся в Казахстане. Сегодня это заграница. Кроме того, контрольные пакеты акций рудников недавно перекупила американская фирма и моментально взвинтила цены в три раза. За последние годы электроэнергия подорожала в двадцать один раз, а цена их продукции выросла только в одиннадцать раз. У них мощность одной только печи пятьдесят мегаватт в час — это на уровне потребления энергии всего Волжского Автозавода. Вот и пошло, и поехало.

— Да, я понимаю, энергетики здорово посадили химиков.

— Нет, не так, — опять встрепенулся Аркадий. — Если быть корректным, химиков посадили не энергетики, а непродуманная политика ценообразования. Да, химия в упадке. Юрий Петрович Самарин, ректор СамГТУ, говорит, что они вдвое сократили подготовку инженеров-химиков. Но суть в том, что сама энергетическая система, хотя она и оказалась в более выгодном положении, ничего существенного за последние годы не внедрила у себя. Техническое перевооружение в загоне. Причина та же — не хватает денег.

Было видно, что диагнозы, которые Аркадий пытается ставить, даются ему с внутренней душевной болью.

— Тяжело, — продолжал он, — ведь если возьмёмся всерьез поднимать всю промышленность, то надо в первую очередь поднимать энергетику, без неё все остальное ничто. Значит, до химии руки дойдут не скоро.

— Нам сейчас нужен Александр III. Царь-миротворец. Сто лет назад в его правление, это 1881-1894 годы, так, по-моему,

Россия не вела ни одной войны, занималась экономикой, культурой, наукой. Царь все положил на развитие русской промышленности, как залога независимости и зрелости, всякого вида прогресса. Почитайте литературу. Были и во власти мужики стоящие, — говоря это, Виктор диковато вращал белками своих черных глазниц.

«При таком диком виде такая начитанность», — подумалось Кириллу, но в тот же момент его обожгла фраза Аркадия:

— Этой осенью все грохнетя.

— Да ладно тебе, сколько уж раз нас по осени пугали, — не согласился Виктор.

— Нечего ладить, все натянулось, как струна. Все искусственно держится на нереальном курсе доллара. Временно — да, обе наши столицы обеспечены продовольствием. Наша провинция — тоже, за счет привозного из-за бугра. Но ведь экспортеры, например, химики, они страдают от самодельного курса, они стали убыточны. Промышленность отечественная рухнет. Сейчас более сорока процентов предприятий убыточны. У нас одиннадцать процентов населения — нищие, пятьдесят процентов — полубедные.

— Что же делать? — театрально воздев руки над головой, глядя большими круглыми глазами, спросил Виктор.

— Для начала, — усмехнувшись уныло, предложил Аркадий, — собирай зеленые и храни только в чулке либо под матрацем. Такова особенность нашей национальной экономики.

— У россиян уже столько лежит под матрацем, что хватило бы рассчитаться с Международным валютным фондом либо, вложив в собственную экономику, уйти от накатывающегося кризиса.

— А кто отдаст свои кровные, пока не поверит, что ему их вернут потом? — вступил в разговор Касторгин, давно думавший об этой проблеме. — Вот поверил бы, принял бы национальную идею, понятную всем, и — вперед. А то — ни веры у многих, ни идеи нет.

— Я мог бы сформулировать суть национальной идеи, — вмешался в разговор Владислав, — она проста, её многие могут определить: это единение интересов простого человека, моих, твоих, отечества, нет, не Отечества, в данном случае, а государства, то есть власти, иначе говоря — взаимная любовь.

— Ты — художник, у тебя любовь, красота, вселенная — твои координаты. Я бы сказал проще, как технарь, — Виктор выпрямился за столом, отодвинул в сторону кружку с пивом и, став в одну минуту похожим на председателя цехового или заводского комитета профсоюза, почти официально и лаконично произнес: — Что нам, в основном, не хватает? — и сам же ответил: — Нормальной среды обитания. Надо, чтобы мы дышали чистым воздухом, пили хорошую воду, сносно питались, имели рабочие места и могли воспитывать и учить детей. Вот почти все, так?

— Так-то так, — согласился Владислав. Чувствовалось, что внутри его сознания что-то не складывается. Grimаса омрачила его лицо. Как бы очнувшись, оттолкнувшись от чего-то внутренне труднопреодолимого, сказал, скорее, похоже, самому себе: — Нужны любовь или хотя бы взаимопонимание между народом и властью. Но у нас, у русских, не так, как на Западе. Русский человек, как правило, не желает быть во власти. У него извечное желание перекладывать чуждое бремя власти — на другого. Он легко отдаст власть другому. И нынче, поэтому, во власти не самые лучшие. Как строилось все веками: на самовластье, крутой воле, не знавшей предела. А с другой стороны — на долготерпении. Где уж тут любовь, взаимопонимание? Мираж. Хотя, конечно, были и у нас периоды единения...

— Но ты же сам заговорил про любовь, взаимную любовь, — недоуменно взглянул на него Кирилл Кириллович, давно забывший свою кружку и внимательно наблюдавший за лицом Владислава.

Ему сначала показался начатый разговор обычной дежурной приправой к приятельской посиделке. Но что-то неосознанно и сильно влекло его к разговору, даже к мимике лиц и движений говорящих. Он не заметил, как становился неким фиксатором. Эти разговоры, несмотря на их отрывочность и тривиальность, давали ему некую опору. Он не догадывался пока, что они станут тем материалом, который заставит властно устремиться его к попытке сказать своё слово. А пока он слушал Владислава:

— Я знаю: нельзя, чтобы власть была на грани света и мрака, должна быть третья составляющая между светом и мра-

ком. Нельзя доброму человеку отказываться от власти, иначе её возьмут злые. Третье: это наше земное бытие, быт, его устройство. Им надо заниматься. Надо понять, смириться, что мы должны учиться у Запада жизни.

— Я учился в Академии менеджмента в Германии, — живо откликнулся Виктор, — ещё в восемьдесят седьмом году. Ну и что? — Он необычно для его возраста поднял, как школьник, правую руку, повертел ладонью, потом театрально дунул на неё. — В нашей инфарктной системе господам западным учителям самим не справиться. Я это понял. Они могут научить работать в своих условиях, педантично отшлифованных годахми. Здесь ты, Владислав, не прав.

— Я несколько не о том, — мягко возразил художник. — Надо брать уроки у Запада. Опора для будущей России: человек и его права.

— Все это понятно, мужики, — вмешался терпеливо молчавший Аркадий, — из всех этих необычных для художника наукообразных мыслей ясно одно: до всеобщего счастья и любви нам очень и очень далеко. Идеи нужны идеологам. А идеологи больше-то нужны самим себе. Жить надо, работать, любить, верить — вот она, национальная идея. Вот оно, счастье.

— Это совсем другой разговор, — быстро отпарировал художник. — Будешь ли ты счастлив или нет, уже заложено на генетическом уровне, я читал об этом... Если просто и коротко: одна категория людей склонна видеть вот, например, твою пивную кружку наполовину полной, а другая — наполовину пустой. Ни карьера, ни внезапное наследство не делают человека надежно счастливым. Счастье — это сумма повседневных мелочей и оно проявляется в самореализации.

— Да, — преувеличенно бодро согласился Виктор и хихикнул. — А всё-таки я себе долю для полного счастья. — Он встал и пошел к барной стойке, бормоча добродушно: — Что-то я притомился от серьезных разговоров.

...В тот вечер Касторгин вернулся домой поздно. Неспешно разделся. Спать не хотелось. Что-то мешало заснуть и распрощаться с этим вечером. Будто чувствовал, что мысленно он будет ещё возвращаться к разговору, который состоялся. Будет прислушиваться к себе, улавливая начало какой-то

новой работы в себе, догадываясь, что нечто иное родится в нём.

Когда засыпал, вдруг вспомнил слова Виктора, вернувшегося с полной кружкой к столу, там, в ресторанчике:

— Нас ведь дурачат: чуть не все кругом в мире хотят вдолбить нам, что мы, Россия, — нищая страна, но наша страна — самая богатая. У нас сейчас время нищее духом. Стержень пропал. И не будем упрощать, господа хорошие! Говорите: надежда иссякает, нет надежного сценария развития? А я вам скажу, — он произносил эти слова, словно подзарядившись от какого-то невидимого источника энергии, веско, уверенно, не вступая в спор, обнаруживая как бы давно кем-то и где-то твердое решенное, — могут свершиться совсем неправдоподобные превращения. Развитие общества как такового не однолинейное движение. Часто говорят: развитие идет по спирали, витками. Да нет же! Развитие идет чаще всего зигзагами. И нечего умно и критически морщить лбы на мои слова. Не виток, а зигзаг! Посмотрите на коммуно-капиталистический Китай! Огромный прорыв! И не надо нас прямолинейно оценивать. Не все потеряно! Вот лозунг, который надо взять на вооружение.

«Не все потеряно, — повторил Кирилл Кириллович, глядя в иссиня-белый потолок, — универсальный лозунг. Он и для всех нас, и для меня персонально». Так он думал, совершенно органично, не отделяя себя ото всех, но и не теряя себя самого во всех. Он чувствовал давно себя частицей чего-то большого и целого, но осознанно стал это замечать в последнее время, когда приобрел привычку говорить свои мысли вслух, разговаривая сам с собой, иногда бормоча на ходу.

— Но не демагоги ли мы с тобой, Виктор? — проговорил Касторгин. Все слова, слова! Поступки где?

— Надо правильно ставить задачи и правильно их решать, — сказал Виктор на прощанье, когда уже жал руку Касторгину и белозубо улыбался. Белозубая его улыбка и смущала Кирилла Кирилловича.

«Чему радоваться-то, разве ж своей правоте? Но это сейчас такая малость по сравнению с тем, что надо делать».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ученый Лев и другие

Касторгину задал в душу разговор в кафе «У Линде». И когда позвонил Владислав из своей мастерской, он обрадовался.

— Послушай, у меня Аркадий и Виктор: пивка захотели глотнуть. Я гонца послал, приходи. И потом, — приглушенно звучал голос в трубке Владислав, — они забавного гостя привели. Совершенно замечательный. Я спровоцировал интересный для тебя разговор. Тебе это надо. У них уже перья летят по всей мастерской. Гость — доктор психологии, москвич. Тебе такие чудачки нужны, а то ты слишком правильный.

Кирилл стал собираться.

Лифт не работал. Когда Касторгин поднимался пешком, на шестом этаже столкнулся с артистом местной филармонии Геннадием Матюхиным:

— Привет! От Владислава? — произнес Касторгин.

— Да. Знал, что вы придете, но вот — надо срочно отлучиться.

— Жаль, — начал было Кирилл Кириллович. Ему всегда было радостно видеть этого неумного человека.

— У меня междугородный телефонный разговор должен состояться, связанный с моим центром.

— Каким центром?

— Я же говорил. Я пытаюсь зарегистрировать у нас «Самарский литературный центр Василия Шукшина».

Желая удержать Матюхина, Кирилл Кириллович предложил:

— Так переведи разговор на телефон Владислава.

— Нет, — замахал артист руками, — у меня разговор будет с Анатолием Заболоцким, другом Шукшина. Мне нужно быть у себя. А там, — он ткнул воздух над головой указательным пальцем, — мировые проблемы решаются — голова кругом. Не дадут поговорить.

В мастерской Кирилл Кириллович увидел живописную картину: хозяин сидел на грубом табурете около повернутой тыльной стороной картины со стаканом пива в руке. Перья, оче-

видно, уже осели и можно было в ярком освещении отчетливо видеть присутствующих. Их было трое: знакомые Аркадий и Виктор и неизвестный человек, худенький, маленький, в мышиного цвета костюме, зеленом галстуке и с бритой головой.

Едва Касторгин явился, маленький человек пружинистыми шажками прошел от центра комнаты и присел к столу. Когда их познакомили, он представился кратко:

— Лев Бруновский, психолог, — голос у него оказался тихим.

— Кирилл Касторгин, такой же, как мы, спорщик, — произнес художник, — одному тебе, Лев, с нами не справиться.

Лев никак не отреагировал вначале на фразу Владислава, но затем, после затянувшейся паузы, отпив глоток пива, совершенно уверенно и, как показалось, обезоруживающе, проговорил:

— И всё-таки жизнь надо не торопиться переделывать, её надо почувствовать, понять. А уж потом она преобразится. Жизнь надо увидеть.

— Но нас всегда учили, что бытие определяет сознание. Мы все уже с этим почти согласились? — это сказал Виктор, и Касторгину показалось, что Виктор знает ответ. Знает, по крайней мере, где и как его искать, а задает вопрос только для того, чтобы подкрепить свои мысли, которые вьются в его курчавой голове.

— Я думаю, что с точки зрения психологов на сегодня это не вполне адекватная и чрезвычайная крайность.

— Значит всё-таки сознание определяет бытие, — даже как-то сурово проговорил Аркадий, будто выносил вердикт марксистскому материалистическому тезису.

Нисколько не стесняясь игрушечности своей фигуры, своих маленьких шажков и напористости бородачей-спорщиков, Лев монотонным голосом, немножко, как показалось Касторгину, бравируя, продолжал:

— Ломая крайности обеих этих идеологий, мы разрабатываем свою позицию: надо было давно увидеть, что не бытие само по себе и не психика сама по себе, а — мы, люди, являемся творцами исторического процесса. Люди своими успехами, ошибками творят действительность. Особенно творческие люди.

«Что это? — недоумевал про себя Касторгин, — это похоже на шаманство. Он уходит от ответа, причем, очевидно и демагогически. Или я что-то не понимаю, или только так можно дать ответ на этот вполне неразрешимый вопрос? Такие вот споры, ответы на вопросы, они вообще — нужны ли Анне Панфиловне, бывшим моим главным специалистам на заводе, рабочим, наконец? Столько мы говорим обо всем. Разговоры, разговоры... А не выродимся ли в разговорах-то, без дела?.. Что с нами сейчас делается со всеми? Тот разлом, который сейчас проходит через наши души, формируя новые, ещё пока необычные и непонятные качества, мобилизует или расшатывает человека?»

— Вот смотрите, — меж тем продолжал Лев, сбитый всё-таки с магистральной вечных тем на обочину, поближе к реальной жизни, — кризис в экономике сильнее всех ударил по пенсионерам. Но одни из них пошли торговать, а другие — стоять с протянутой рукой. Да, пришлось ломать свою психологию, стереотипы мышления. Но, кто пошел, хоть на такую работу, тот добился результата, улучшил своё материальное состояние.

— Какое это улучшение? И что этот пример доказывает? — не выдержал Аркадий, — государство совершило большую ошибку: раз у нас рыночная экономика, то вот вам полная свобода и самостоятельность. Государство стремилось вообще не участвовать в регулировании экономики, в результате очень многие, если не большинство, включая пенсионеров, оказались жертвами государства, не понимающего своей роли, — он замолчал, потом спросил дружеским, каким-то даже ласковым голосом: — Лев, вот ты ещё до перестройки работал в своём институте психологии. Ну, что вы там, неужели не могли своими разработками влиять на принятие решений на самых разных уровнях? Сейчас начали говорить: не тот менталитет, не была учтена особая ментальность нашего народа. Неужто нельзя было предвидеть?..

— В конце восьмидесятых институт рекомендовал дать полную свободу прибалтийским республикам. Куда там, кто будет слушать...

Маленький и бодрый, уверенный в своей правоте человек ещё говорил долго, но у Кириллы пропал интерес слушать. Он больше рассматривал пейзажи хозяина. А Лев между тем продолжал:

— Очень много вреда от того, что в России долго культивировалось насилие, вернее — разрушительство. Это шло издавна, это усилили в своё время Бакунин и Нечаев. Срачивание революционности с разбойничеством — вот что было в истоках разрушительной силы, которая губит и сейчас Россию.

— Слишком много темных сил на шестой части суши скопилось. Нужен вентилятор, — усмехнулся уныло Касторгин, — чтобы обновить атмосферу. Обновить! Дать волну нового воздуха.

Лев отреагировал неожиданно:

— России сейчас не помешал бы секс-гигант у власти. Вот пример президента Клинтона.

— Ага, — живо отозвался Аркадий, — был случай у меня с секс-гигантом. Рассказать?

— Давай, — великодушно разрешило общество.

— Подарили мне кота. Уезжали друзья — ну и уговорили. Я его сразу отвез на дачу — там у меня крысы завелись. Так не поверите, успевал и всех кошечек местных обслуживать, сам был свидетелем, и через день приносить пойманных крыс. Придушит и положит у входа в дом. Натё, смотрите, какой я молодец. Всех переловил у меня на даче — стал ходить по округе. Так разошелся — гигант! Все успевал. Кошки визжали, но сдавались моему Президенту. А его так прозвал за внушительную наружность. А один раз слышу, орёт соседский кот страшно. Пойду, думаю, посмотрю, что там. Гляжу, а мой Президент его держит зубами за шиворот и сидит на нем верхом — голубым Президент оказался. Пропал вскоре — не выдержали либо коты окрестные, либо крысы. Объединились и, наверное, загрызли гиганта.

— Во-во, грызть мы друг друга умеем, — констатировал Виктор. — Пока это в нас есть — порядка не будет.

— Все когда-нибудь у нас будет. Новые поколения придут и будет, — уверенно возразил дожидавшийся возможности вновь вступить Лев.

— А сейчас-то почему нет? — напористо спросил Виктор.

— Э... э, — протянул задумчиво ученый Лев, — хотим что-то делать, а духу не хватает. Надо было ещё в девяносто первом году Ельцину запретить функционерам компартии занимать госпосты лет на двадцать, как это сделали в Японии, в Италии,

Германии. Не сделали — они, как вороны, с одного дерева на другое перелетают и в результате кругом свои, кругом старые связи, старые приемы... Но это все равно не определяющее. Не заложено у русского человека такой страсти к целесообразности и разумности, как на Западе или, скажем, на Востоке, — продолжал Лев.

— А что на Востоке? — угрюмовато переспросил Виктор.

— А то! Возьми китайцев. У них у каждого целесообразность в башке. У них конфуцианство, а не православие. В их вере основа — целесообразность. Наши православные «терпение», «смирение» не работают сейчас.

— Не в вере дело — у нас её вообще пока нет — может, в этом весь гвоздь. Больше лицемерия и чаще у тех же бывших партийцев. И терпение, и смирение работают, и ещё как! — вмешался Аркадий.

— Как и где? — энергично развел руками Виктор.

— Да вот хотя бы при развале Союза. Три человека раскинули Союз — и никто ничего.

— Да ты что? — спокойно вмешался Владислав. — Ты же все с ног на голову ставишь, наоборот, все же республики готовы были выйти и беловежское соглашение только опередило события, на подобие тех, что случились в Югославии. Мы ушли от гражданской войны, долгой и бессмысленной.

— Не могу представить в России гражданскую войну, — менторски спокойно продолжал Лев.

— Как, а Чечня? — возразил Виктор.

— Горцы народ другой.

— Опять двадцать пять.

— Надо знать историю, — нервно вздернув головой, проговорил Лев, — и великих читать. Ещё Иоганн Вольфганг Гете, между прочим, сказал и о Чечне, и обо всех нас:

*Я уподобляю страну наковальне: молот — правитель,
Жесть между ними — народ, молот сгибает её.
Бедная жесть! Ведь её без конца поражают удары
Так и сяк, но котел, кажется, все же готов.*

«Когда все правы, до истины дорога далека», — отметил про себя Касторгин. Спорить ему не хотелось.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Скамейка с проломом

Утром заработал, будто задергался откуда-то сверху изда- лека шланг с воздухом, висевший на стене в коридоре зеленый телефон с беленьким проводом. Кирилл Кириллович, придав- ленный тяжестью беспокойного сна, вынырнув из-под одеяла одной головой, посмотрел на часы — было девять с четвертью.

«Ого, — подумал он, — даем, пожарники!»

Звонил его заместитель, давний приятель и коллега Скворцов:

— Кириллыч, тут, понимаешь, такое дело. Весь завод в трансе, сказать тяжело...

— Виктор Иванович, не тяни, — почти как когда-то тоном главного инженера, собранно и требовательно, быстро ото- звался Касторгин, — с девятым цехом что-то? Взрыв?

Он властно потянул на себя шнур, отступив вглубь комнаты.

— Да нет, хотя и в девятом, видишь ли, дело такое случи- лось, — сбивчиво отвечал Скворцов. — Дмитрий Петрович вчера поздно вечером из окна пятого этажа выбросился, дома у себя.

— Рассадин? — переспросил Кирилл Кириллович. — Как же так?

— Да так вот, тяжелый случай. С сыном связано. Он у него жил в Нижневартовске, занимался коммерцией. Потом вдруг пропал. Нашли через три месяца в лесопосадке уже разложив- шегося совсем. Дмитрий привез сюда все, что от него осталось, и похоронил. А вчера было ровно полгода. Не выдержал.

«Ничего себе смерть».

Рассадина Касторгин знал неплохо. Хороший был началь- ник цеха.

— Мы не стали вчера звонить, а вот сейчас, понимаешь, с утра, пока ты дома, сам знаешь, то да се — можно не застать.

— Я приеду, — отозвался Кирилл Кириллович, — сегодня приеду.

— Кирилл, я пришлю машину в день похорон, не волнуй- ся, — поспешил Скворцов. — Зам по быту уже все развернул. Похороним как положено.

— А когда похороны?

— Ну, как положено, на третий день. Вчера была среда — в пятницу, вынос в час дня.

— Так, ну давай тогда Анатолия подсылай к десяти. Подъеду к тебе, а уж потом...

— Кириллыч, твой Анатолий неделю назад уволился. Я пошла новенького шофера.

— Как? — опешил Касторгин. — Я ж тебе его передал из рук в руки?

— Да так, — ответил тот, — переманили его.

Касторгин с Рассадиным работали когда-то вместе в одном цехе. Рассадин был тихход. Работяга-тягач, надежный, но без взлетов. Типичный исполнитель, добросовестный и аккуратный. Его уважали все, кто знал. Кирилл Кириллович быстро рос по службе, превратившись за двенадцать лет из молодого специалиста в главного инженера. А Рассадин всего пять лет назад согласился, и то только под напором Касторгина, занять должность начальника одного из основных цехов завода, а года два назад попросился вновь в заместители.

«Не могу я командовать людьми, понимаешь, не могу. Ты вот вроде и мягкий, и не злой. Но, когда надо, любого и отстегаешь интеллигентно, и слова, какие надо, найдешь. А я — нет, и слов нет, и такого стержня, как у тебя. Технолог я, не администратор — отпусти назад».

И Касторгин, махнув рукой, отпустил...

Не успел он, вернувшись в спальню, застелить кровать, как вновь ожил телефон. Звонил Василий Григорьевич Сушко.

— Послушай, дружище, тебе сколько лет, а?

— Не понял, — пробурчал Кирилл Кириллович.

— Лет тебе сколько полных?

— Ну, пятьдесят два, — нехотя ответил Кирилл, понимая, что знакомый его наверняка, как обычно, понесет сейчас околесицу, с огромной претензией на оригинальность

— Вот, а мне в пятницу стукнет семьдесят, приезжай хотя бы на кафедру. Пяток годков я тебе отдам, я не собственник. Приезжай, выпьем хорошего коньячку. Я звонил Владиславу, он сказал, что вы вместе придете. Давайте, мужики, жду.

Положив трубку, Касторгин улыбнулся: «Сушко, как всегда, лепит свой имидж. Наприглашал теперь всех нужных людей,

наверняка позаботился, чтобы весть о его семидесятилетии попала к журналистам. Ему не дают спокойно спать лавры Георгия Ратнера, очень уж хочет стать почетным гражданином Самары и войти в историю разносторонним деятелем. И у него кое-что получается. Наверняка на следующей неделе будет материал в местных газетах о чествовании аксакала и его заслугах. Хотя до «официальной» юбилейной-то даты пять годиков не хватает. Написал уже книжку о своих самарских встречах. Хотя бы в самарскую историю, но войти ему, ой, как хочется. Под новый год стал членом Академии медицинских наук. Где-то, вроде бы в диких полинезийских племенах стариков съедали, а у нас избирают академиками.

Где поступают цивилизованнее? Ну, конечно, у нас, — не без иронии рассуждал Кирилл. — Он, наверное, ещё не знает, что я всего-навсего пенсионер, зачем я ему? Ведь мы и познакомились-то по его инициативе, когда прошли телепередачи о нашем заводе и о моих изобретениях. Как же, тогда, года два назад, я стал вдруг знаменитостью. Международная премия, интервью в газетах, в том числе, и в центральных. Суета...

Но к чему суетиться, если это итог многолетней неустанной работы. Все сделанное очевидно и полезно. Для этого и работали».

...В четверг в одиннадцатом часу, заскочив в Дом быта «Горизонт», они с Владиславом купили букет красных роз. В магазине «Мария» на Молодогвардейской — небольшой офорт и поехали в институт к Сушко.

— У меня встреча с Владимиром Астаховым в двенадцать, успеем? Наверное, там, на кафедре, будет поток людей. Массовое поклонение толпы и обязательно широкомасштабное.

— А что за Астахов? — спросил Кирилл Кириллович, укладывая поудобнее громоздкий букет на коленях.

— Телевизионщик. От Самарской епархии, ведет телепередачи на религиозные темы; сейчас проводит опрос горожан о целесообразности постройки храма, с показом на экране.

— Да, я слышал где-то. Но ведь храм Спасителя — это очень дорого, время ли, мы все же не столица. Столько денег не найдем.

— Речь не об этом храме и не о площади Куйбышева.

— О чем же? — Касторгину это было интересно. Он знал многих священников Самарской области. С владыкой Сергием был лично знаком, иногда, чем мог, помогал церкви.

— Возникла мысль построить храм на площади Славы против здания администрации области. Если смотреть от Волги, то чуть левее, у Вечного огня.

— Около мужика с крыльями? — переспросил Кирилл.

— В сквере из лип, ближе к обрыву, к Волге. Храм-памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне и грядущему 2000-летию христианства. Он будет белокаменный и увенчают его пять золотых куполов. Отдаленно, мыслится, храм должен напоминать Вознесенский собор, который когда-то стоял там, где ныне находится театр оперы и балета. Предполагается, что храм прекрасно впишется в панораму города, открывающуюся с Волги.

— По-моему, идея стоящая. Красивый вид будет..

— Тут много «но», даже не считая денег.

— Каких?

— Во-первых, надо уяснить, чего хотим в архитектурном плане. Ведь как-никак строить на века. Так? Надо знать: будет ли это доминантой всей панорамы города со стороны Волги или просто дополнением к чему-то. И как вписаться в стиль здания губернской администрации и всего остального.

— Есть ещё один вопрос, — задумчиво проговорил Касторгин, — выплата пенсий задерживается. Бюджетники — врачи, учителя — вовремя не получают зарплату. Нельзя сейчас бюджетные деньги отвлекать, даже пусть и на храм. На пожертвования не построишь — нечего жертвовать. Живые деньги стали не только дефицитом, они стали экзотикой.

...Когда они поднялись на второй этаж к кабинету Сушко, там роился народ. Сновали озабоченные пожилые дамы. Гости чинно ждали своей очереди, дождавшись, нырнули в небольшую дверь кабинета хозяина и с чувством исполненного долга, уже налегке, выходили от именинника.

В приемной работал телевизор. На его экране виновник торжества с обаятельной улыбкой, молодцеватый и стройный, давал интервью молоденькой журналистке. Вокруг было изобилие подарочных цветов. Подошла очередь Касторгина и Владислава. Они вошли в кабинет.

Сушко стоял посередине небольшой комнаты в белом пиджаке. Бабочка вместо галстука и четкий холеный пробор украшали юбиляра. Он весь светился радушием и, как полагал, или надеялся, очевидно, мудростью — это постоянное желание его приятели знали и спешили, если удавалось, подыграть. Что ни сделаешь для, в общем-то, доброго старика?

— А-а... друзья, физики и лирики, проходите, проходите, — немножко наигранно произнес хозяин кабинета.

После соответствующих торжественному моменту поздравлений и возгласов, Сушко при рукопожатии обнял Касторгина, с явным намерением расцеловаться. Касторгин сделал небольшой нырок, уйдя влево и подставил ему своё ухо. И тут же получил слюнявое прикосновение в мочку и в низ скулы. Это, очевидно, случилось бы ещё дважды, согласно ставшему модным народному обычаю, но Кирилл Кириллович, чуть-чуть отстранившись, удерживая колючий напор сверлящих стариковских, совсем не радушных, а ставших хищными глаз, подтолкнул к нему Владислава.

Касторгин не любил обниматься и целоваться с мужчинами. Все это вызывало у него чувство неловкости. Чтобы как-то сгладить недоразумение, которое могло возникнуть, он, как только Владислав освободился из объятий старика, произнес:

— Василий Григорьевич, я желаю вам, после ваших законных ста лет, ещё несколько раз родиться и:

*Уж коли суждено сто раз родиться,
Сто раз желаю вам не повториться.
Ученым стать, пожарником, певцей...
И жизни новой снова удивиться!*

Он увидел, как потеплели глаза Сушко. И все бы хорошо, но Касторгин вдруг услышал совершенно внятно и с расстановкой сказанные слова:

— Это все замечательно. Но кого же тогда трахать: пожарника или певицу?

Он повернул голову к окну. Через стол, заставленный коньячными бутылками и рюмками с бутербродами, опершись о подоконник, стояли двое. Фразу сказал старик, узкоплечий, с вислыми усами и такой же бабочкой, как у именинника.

«Сдурел, что ли, козел старьей, — пронеслось в голове у Кириллы Кирилловича, бросившего взгляд на женщин, стоявших тут же у окна, — ведь слышно же все. Или у них такой бордель тут? Вмажу сейчас в холеное рыло этому остряку, пусть потом собирают его по чертежам».

Остряк, очевидно, по лицу Касторгина понял, что его слова слышали. Чуть отодвинулся, смотрел настороженно и нагло. Сушко бросился выправлять ситуацию.

— Это мои старые кафедральные коллеги, мои друзья!

— Но ведь циники же, — с досадой негромко сказал Кирилл. Он понял, что не сможет здесь, как подобает, ответить стари-кашке. «Юбиляр рядом стоит, женщины... только усугубишь все... Западня какая-то, чертовы стариканы-тараканы».

А Сушко продолжал пеленать Кириллу Кирилловича:

— ...мы с вами старые приятели, как старые вороны. А ворон ворону глаз не выклюет, — все это говорилось как взаимные поздравления. Очевидно, никто толком ничего не понял, кроме трех-четырёх человек.

Юбиляру вторил остряк с вислыми усами:

— Вот коньячок, наш. А вот — французский. Очень прилич-ный. Какой вам?

Надо было что-то выпить, Кирилл Кириллович ткнул паль-цем наугад. Наблюдая, как тот наливает, думал: «Он действи-тельно струхнул или дурака валяет?»

— Вечером жду на дачке в семнадцать ноль-ноль, Владис-лав знает, где это. Хорошо? — Сушко радушно улыбался.

— Хорошо, хорошо, — согласился Касторгин, желая одно-го: как можно скорее оказаться на улице, подальше от этого гадюшника.

Приехав на завод, Кирилл Кириллович первым делом на-правился в девятый цех. Его все здесь знали, когда-то он рабо-тал в этом цехе. Любил приезжать, разговаривать в оператор-ной с персоналом. Но сейчас был особый случай. Здоровались сдержанно, во взглядах понурость. Цех в трауре. Никто толком ничего не знал, кроме того, что действительно после трагиче-ской смерти сына стал Рассадин сам не свой. Мало говорил. Не шел на открытые разговоры. Угрюмость на лице.

Однажды Ларисе Харитоновой, подружке жены, сказал од-носложно:

— Вы понимаете или нет: нас всех скопом использовали. И все. И выбросили.

Касторгин и Скворцов подъехали к дому Рассадина заблаговременно. Успели побыть у гроба покойного в его трехкомнатной, тусклой, с занавешенными зеркалами «хрущевке», поговорить, помолчать горестно с коллегами по работе.

Более всего его поразила одна деталь: когда они ещё только шли к подъезду через толпу пришедших проститься, он обратил внимание на крепкую скамью, какие обычно стоят в скверах. Металлическая тяжелая основа и деревянные её массивные брусья были покрашены одним красным цветом. В середине скамьи два бруса грубо проломлены, образовалась как бы прорубь, и она зияла свежими крепкими краями обломков деревянных брусьев.

— Это Дмитрий Петрович головой пробил, — сказал Скворцов.

— Что? — растерянно переспросил Кирилл Кириллович.

— Жена потом рассказывала, что он накануне горшки с цветами с подоконника убирал — готовился.

Касторгин невольно, задрав голову, посмотрел на пятый этаж.

— Это его окно? — он показал на крайнее слева от подъезда, как будто это имело какое-то значение.

— Да. А Ирина его рассказывала, что за неделю до этого... большой нож на кухне искал, как-то странно вел себя. Перебирал способы, как покончить. Все, видимо, не решался.

Похоронили Рассадина рядом с его сыном, на могиле которого он успел поставить памятник — большую мраморную глыбу.

Когда уезжали с кладбища, Касторгин, испытующе глядя на Скворцова, спросил:

— А почему не было ни директора, ни заместителя? В командировках?

— Нет, Кириллыч, — нехотя отозвался тот, — у них другие заботы...

— Какие могут быть другие заботы, Рассадин — живая история завода, как наш талисман общий.

— Эхе-хе-хе. Это для нас с тобой он талисман, а для них — никто.

Они же новые люди. Новая, так сказать, популяция. Пошла другая полоса в истории завода, и талисманы — новые.

— Нелегко работается? — участливо спросил Кирилл Кириллович.

— Трудновато, — быстро отозвался Скворцов, — тяжелее, чем тебе... Я ведь не очень был готов заменить тебя. И сейчас, уже поработав главным инженером, не совсем до тебя дотягиваюсь.

Ты был виртуоз: изобретателен, находчив и вместе с тем последователен до занудства. Я — трудяга, что накопил своим горбом, то и трачу потихоньку. За это время кое-что понял, о чем раньше не задумывался.

— И что же ты, старина, понял? — Кирилл Кириллович бросил пристальный взгляд на собеседника.

Тот продолжал:

— Почему-то некоторые думают, что быть директором, главным инженером, одним словом, первым руководителем — это привилегия. Но это — огромная и тяжелая ноша. И вот, если ты, научившись нести тяжелую ношу, ещё можешь придать этому интеллигентный вид, если твои усилия не будут казаться натужными, и окружающие не будут шарахаться от тебя, несущего неустойчиво на плечах эту глыбу, а наоборот, радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь своё плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью — ты первый руководитель.

— Роман Ильич, ты стал философом, — улыбнулся Касторгин.

— Нет, как раз наоборот. Я стал приземленнее. Меня корезит то, что под грузом свалившихся на производственников забот, в этом хозяйственном раздрае, мы не можем как следует обеспечивать жизнь простого работника. Самоценность самой жизни гипертрофировалась в оскорбительное выживание. Это наш позор! Но я не уйду, как ты. Я вижу: только на мне держится то, что движет завод. Я, кажется, кое-что сделаю — у меня есть уверенность. Я здесь родился как инженер — отсюда меня трактором не сдвинешь. Я — однолюб. Если ты вернешься, уступлю должность. Но кроме тебя — никому.

— Не вернусь, — односложно ответил Касторгин.

— А зря. Мы многое всё-таки можем сделать. Мы — соль земли. Только мы, те, кто производит материальные ценно-

сти, сейчас можем вывести народ из надвигающейся бедности. Люди угнетены страхом за своё будущее. В каждом почти доме страх за детей, за стариков-пенсионеров, за самих себя.

— И где, по-твоему, выход? Новая революция?

— Сто раз «нет»! Мы сейчас не выдержим ни бунта, ни гражданской войны. Мы — страна и каждый из нас — предельно истощены. Это понятно почти любому из нас, — Скворцов смолк, выжидательно глядя на Касторгина.

«Он, кажется, ждет от меня возражений. Но мне то, что он говорит, ясно. Все сказанное уже стало для многих общим местом. Очевидно, это только начало того, что он сейчас скажет, раз так буравит меня взглядом».

Кирилл Кириллович был прав в своей догадке.

— Мы с тобой, Кирилл, попали и находимся как раз в том периоде жизни России, когда наступил системный и жесточайший кризис. И основная составляющая этого национального провала — кризис власти. Власть, увы, потеряла способность решать жизненные вопросы. И мы полны недоверия к власти. Реформы не только провалились, мы отброшены лет на тридцать-пятьдесят назад.

— Верно. Как верно и то, — произнёс Касторгин, — что мы вырвались из страшных идеологических тисков. Узнали и чуть-чуть почувствовали, как можно жить.

— Да, узнали, как можно жить! Но так не живем. Мы попали в другие тиски.

— Какие? — спросил Кирилл Кириллович, отмечая про себя, что Скворцов крепко изменился в последнее время. Так определенно на политические темы он никогда не говорил.

— Слишком велика образовавшаяся пропасть, разделяющая простых людей и тех, в чьих руках находится власть.

«В моем теперешнем окружении, может быть, только Владислав не говорит о политике да соседка Анна Панфиловна... Хотя нет, соседка-то как раз вся переполнена недоумением от того, что творится с нами. Она давний идеологический служака», — думал Касторгин.

— У меня, ты знаешь, брат полковник. Недавно ушел в отставку. Считает, что надо сегодня служить не власти, которая бездеятельна, а народу.

— Он, по-моему, идеалист чистой воды. Он что, предлагает пойти в народ? Это уже было в нашей истории.

— Нет, он, а вернее, они — у него много единомышленников, в том числе и в высших военных кругах — считают, что реальный выход России в возрождении идеи народовластия. Что необходимо народу — знает сам народ. Но чтобы служить народу — надо знать, что народ хочет. Это огромная работа. Мы много с братом на эту тему говорили. Я его поддерживаю.

— Не понимаю, — искренне удивился Касторгин, — всем же ясно, что народу надо. Не в этом вопрос. Вопрос в том, как ему это дать. Какие должны быть механизмы власти?

— Вот именно! Жизнь страны должна строиться по принципу честной игры. Нужна договоренность между властью и народом о соблюдении определенных правил. Это так просто! Надо сводить воедино то, что нужно народу и обязательства перед ним властей.

— Но это как раз самый сложный и до конца неразрешимый вопрос, — возразил Касторгин. — Тут бездна противоречий.

— Но тем не менее, другого пути нет, — эти слова Скворцов сказал несколько снисходительным тоном. Это удивило Кирилла Кирилловича. Он почувствовал, что всегда обычно соглашавшийся с ним заместитель в чем-то становится значительнее, крепче, по крайней мере, себя самого, прежнего.

«Все дело в позиции, в собственной позиции. Он её чувствует. И на том укрепился. Ему стоит позавидовать», — не топясь рассудил про себя Касторгин.

Когда подъехали к заводууправлению и Скворцов вышел из машины, попрощались односложно, ни о чем не договариваясь на будущее, будто должны встретиться завтра вновь.

Всю дорогу, пока ехали в Самару, Касторгин молчал. Молчал и шофер, то ли из вежливости к пассажиру, то ли по привычке.

Касторгин несколько раз мысленно возвращался к короткому разговору со Скворцовым, радуясь за него.

Когда выехали на мост через Самарку, вновь в который раз, вспомнилась массивная скамейка с проломом под окном Расадина.

«Это с пятого этажа так. А я в первые дни после увольнения хотел приехать и сброситься с этажерки двенадцатого цеха —

там самая высокая отметка — тридцать метров. Шуму было бы на весь город. Нехорошо, зато надежно».

Две недели после похорон Рассадина Касторгин безвылазно пробыл в своей квартире. Запоем писал. Писал торопливо, взахлеб. Дни перемешались с ночами. У него начали от напряжения побаливать глаза. Он удивился самому себе: как можно так писать сразу, практически набело, отшвыривая написанный лист, забыв даже пронумеровать? Касторгин забывал побриться, поесть. Все это были досадные мелочи, мешающие главному. События, люди, лица, усмешки, ухмылки, диалоги — все это толпилось, напирало, как ледоход на реке. Все просилось на бумагу и он в иной момент изумленно озирался: чтобы всё это перенести на бумагу потребуются годы. Это может стать смыслом всей оставшейся жизни!

Кирилл Кириллович радовался, что нет гостей, что соседка не мешает. Телефон он отключил, телевизор не включал. Это было как эпидемия, только с каким-то знаком плюс. Она выкосила из быта Касторгина, из его жизни все желания, все мелочи. Они все захирели и потухли, осталась одна лихорадочная страсть — писать.

Его удивляло, что само письмо, то, что он излагал, вопреки его лихорадочному состоянию, было не только спокойным, уравновешенным, в нем чувствовалось дыхание большого полотна.

«Кажется, это будет роман, — подумывал он, — но бывает ли такое, что человек, не написавший ни одной заметной вещи, ни разу не публиковавшийся, вдруг пишет роман? Но я же чувствую рождение чего-то необычного!»

Касторгин решил описать события, происходившие со страной и со всеми нами глазами главного инженера. Начиная с семьдесят пятого и кончая девяносто восьмым годом. Охватывая по возможности все уровни, начиная от рабочей среды до правительства. У него не было никаких серьезных записных книжек. Но накопившееся внутри него подпирало и несло в себе, оказывается, столько мыслей, конкретных штрихов, характерных мелочей быта, что он сам удивлялся, как это в нем все могло быть.

Кирилл Кириллович написал от руки двести пять страниц и вдруг остановился. Вся последующая неделя прошла в вялости

и сомнениях. Касторгин не понимал, что произошло. Почему остановка. Устал? Да, есть немножко. Особенно утомились глаза. Зрение село, но с ним и раньше такое бывало, он научился с этим справляться. Не это главное. Главное, пропал азарт. Он начал часто задумываться, откладывать недописанный лист в сторону, осознав, каким огромным материалом владеет, стал бояться не на всю мощь его использовать. Начал удерживать себя от торопливости.

«Вся моя жизнь, все, что было и есть во мне, может упроститься и потерять ту содержательность, которую я всегда ценил, и написанное станет лишь хилым отблеском, отзвуком моей жизни. Это ли мне надо? Пусть даже это и будет называться романом, стоит ли торопиться?» — так думал он.

Он решил сделать перерыв с своей работе. Попродержать коней.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Но древо жизни вечно зеленеет...»

Вечером, вернувшись из бильярдной, Касторгин обнаружил в двери записку, сложенную гармошечкой бумажку, похожую на те шпаргалки, которые когда-то делали студентами. Алексей, размашистая душа, оказывается, был в Самаре, но не дождался. Звал к себе в Покровку, где собирался недельку пожить у отца, отдохнуть. Новую свою жену и десятимесячного сына, которого назвал Данилкой, опасается пока, до лета, везти в деревню. Просил составить мужскую компанию: «Если есть ещё друзья — забирай, отец только рад будет. Не приедешь — гадом будешь, я теперь — новый человек!»

Была ещё только среда, до выходных далеко, но Касторгин в тот же вечер позвонил Владиславу.

Приятель одобрил предстоящую поездку и предложил пригласить своего нового знакомого профессора Почуйкина.

— Если он такой же, как Сушко, лучше не надо.

— Не такой, вот увидишь. Он местами странный, но интересный. Он моложе нас с тобой в свои шестьдесят пять.

— Ну-ну, — неопределенноотреагировал Касторгин и не стал возражать.

Ему оставалось только заправить заранее свою «девятку». Всего забот-то. От того, что как-то быстро определилось с поездкой, Кириллу стало легче на душе. Будто эта поездка что-то должна была решить важное для него. Такое было предчувствие...

Не стоит, очевидно, рассказывать, как ехали до Покровки наши приятели. Дорога хорошая, асфальт чуть не до самой калитки родителей Алексея. Кирилл Кириллович был неплохим водителем, любил посидеть за баранкой... Через полтора часа «девятка» подъехала к потемневшим от времени некрашеным воротам довольно крепкого дома.

Алексей встретил гостей, стоя в калитке. Грузный, импозантный, не похожий на сельского человека. Вот стоявший за его спиной мужчина, сразу видно было — хозяин двора. Китель, сидевший на нем, как на суковатой палке, был, очевидно, ещё со времен Первой мировой войны. И отчество его сразу запомнилось — Данилыч.

Конечно же, приехавшие, как через санпропускник, прошли через баньку. Но не спеша, а со знанием дела. С охами, ахами. И удивил всех профессор Почуйкин. Ещё когда знакомились, в начале поездки, Кирилл Кириллович обратил внимание на его юношескую подтянутость и энергичное, редкое для такого возраста, рукопожатие. Теперь же этот профессор пересидел всех в парной и два раза барахтался в пухлом сугробе около баньки, смешно мотая головой, отмеченной высоким красивым лбом и маленькой седой бородкой.

Этим самым красивым лбом он ударился в предбаннике о низко посаженную перекладину, но не выругался, не заскулил. Величаво расправив плечи, удивился вслух, почти натуральным образом:

— Надо же, выдержала старенькая! — И уважительно погладил аккуратной своей ладошкой высохшую осиновую кору. — Хорошо, что все здесь осиновое да липовое. Дух легкий.

...Как и должно этому быть, вскоре они оказались за столом, в передней Данилыча. Разомлевшие, пропустили по одной рюмочке «Расторопши». А, как известно, между первой и второй — промежуток небольшой.

Есть такой анекдот. Стоят у проходной завода двое, ищут третьего. «Вань, иди сюда!» — «Не, ребя, мне домой надо, — сразу сообразив, что от него требуется, отвечает Ванька, — Варька наказала после работы надо быть. И точка» — «Да мы быстренько. Друг ты или нет, а?» — «Ну мне же...» — «Друг или нет?» — «А, — говорит Ваня, — нате вам мою долю, а я побежал!» — «Как это, — враз возмущаются дружки, — надо как положено. Оскорбляешь. Одна ведь минута — магазин за углом!» Иван остаётся. Вскоре появляется дружок с бутылкой. Ваня, как только выпил, так и вновь побежал. «Подожди, Вань!» — «Че?» — «А закуска-то?» Суют корку хлеба. Ваня берет хлебушко и — бегом от них. «Вань, вот ненормальный, вернись!» — «Ну че вам: денег дал, выпил, закусил...» — «Вот чудак: а теперь поговорить-то...»

Вот в этот промежуток между первой и второй и затеялся разговор.

Взяв в свою огромную ладонь бутылку «Расторопши» и чудно оттопырив большой палец левой руки, указательным — правой, Алексей начал водить по этикетке и вслух читать:

— Продукт с оригинальным ароматом и вкусом. Плоды расторопши благотворно влияют на обменные процессы в организме человека...

— Да будет тебе, Алексей, не тяни — разливай, не томи гостей. Вся она едина — из одной бочки, только этикетки разные, — привел его отец универсальный довод, проистекающий не только из своего, но и общенародного опыта.

— Обожди, — независимо, но уважительно сказал Алексей, — надо дочитать, в первый раз такую пью, Кириллыч, мой друг, уважил — ...способствует улучшению состава крови, активизирует пищеварение, содержит вещества, предохраняющие печень от вредных влияний и восстанавливающие её функции. — Он отнял указательный палец от бутылки и поднял его вверх, едва не ткнув в низко висевший пыльный круглый плафон. — Товарищи-господа, это лекарство же, а не зелье какое-то, только без рецепта!

Его остановил рассудительный отец:

— Это ж сколько такого лекарства надо выпить, чтобы печень вылечить, а? Задаю я вопрос: сколько ведер? — и, не выдержав, рассмеялся громко, по-молодому.

— Да, — глубокомысленно сказал Алексей, — тут какая-то хитрость, наверное, есть. И знает её Мазалов — директор Самарского комбината «Родник». Ноу-хау его.

— А эта, как её, патефон, что ли, тоже ничего было, ты, Алексей, разок привозил, помнишь? — Данилыч говорил и, прикрыв глаза, пытался вспомнить точное название водки. — Али рояль какая?

— Да нет, отец, то была «Родиола», тоже ничего. Вообще любая водка ничего, но наша, русская, лучше.

— А знаете ли, мужички, — как-то вкрадчиво и академично, несмотря на обращение «мужички», проговорил профессор Почуйкин, — делают водку из чего угодно: из сливы, сахара и прочее, то есть спирт, а потом её — водочку. Но сейчас я попробую вспомнить классический рецепт изготовления русской водки, открытый ученым Менделеевым. — Он сидел в той части стола, которая примыкает к подоконнику, где стоял бубнивший радиоприемник. Потянувшись рукой, не глядя и не поворачивая головы, он убавил громкость и, промокнув капельки пота на лбу аккуратнo сложенным платочком, начал: — Русской водкой...

Но его очень вежливо перебил Алексей, не без оснований смекнув, что речь может оказаться не короткой:

— Может, по второй, а уж потом, эта, ну — теорию изучать?

Он, как дирижер, взмахнув руками несколько раз, пробасил:

— Ну я вижу, что прав, — и всем налил по второй.

Когда вышли, кто крякнув, а кто икнув, профессор, который пропустил свою рюмочку как бы машинально, не поморщившись, не закусив, чем заслужил уважительное покачивание головой Данилыча, продолжил:

— Русской водкой считается лишь такой продукт, который представляет собой зерновой хлебный спирт, перетроенный и разведенный затем по весу водой точно до сорока градусов.

Профессор замолк. Кирилл Кириллович понял, что и Данилычу, и Владиславу, который до сих пор молчал, и Алексею, и ему самому, ни разу не приходилось пить водку под столь научный аккомпанемент. Он подмигнул Владиславу. Тот, снимая с вилки большую яркую соленую помидорину, только улыбочиво покачал головой.

— Но есть одна изюминка у нашей самарской водочки: Рождественский и Ново-Буяновский спирт разбавляется специально подготовленной, мягкой, идеально чистой волжской водой.

Профессор хотел было и дальше продолжить, но Данилыч опередил:

— Вот ведь как. Я и раньше подозревал, что её, голубушку, всю-то никогда не выпьешь. Теперь, когда узнал, что она из матушки-Волги — подавно понял: безнадежное это дело. С Волгой не совладаешь.

На этих словах Владислав поперхнулся и выронил помидору из рук. Профессор снисходительно улыбнулся:

— Продолжить?

— Конечно, — вразной прозвучало за столом.

Кирилл Кириллович посмотрел на профессора. Лоб его был сухим, взгляд цепко держал всех на прицеле, сквозь толстые очки это было особенно заметно.

— Сейчас Самарский комбинат «Родник» выпускает кроме «Расторопши»: «Губернаторскую», «Самарскую», «Юбилейную», «Правду», ликеры «Клюква», «Славянка». В них, кроме пшеницы, в технологии используются молочная кислота и мед, настой хлебных отрубей, черного перца. Добавляют травы кубеба и расторопшу пятнистую. В сорока семи странах потребляют сегодня самарскую водку.

— И все равно слабо! — вдруг выкрикнул почти запальчиво Данилыч и улыбнулся.

— Что слабо? — поднял брови профессор.

— Кишка тонка, не выпьют они всю-то, Волгу-то не выпьют! Всего-то наполовину разбавить надо.

Рассказчик покосился. Над ним смеются или над иностранцами? Решил, что над иностранцами, над кем же ещё? И успокоился.

Умиротворенно молчавший Владислав, нарушив паузу, то ли спросил, то ли пожаловался:

— А вот виски? Не могу привыкнуть...

— А зачем привыкать: плохая водка — лучше хорошего виски, а плохое виски — лучше хорошего самогона.

Разговор качнулся в более конкретное русло, и Данилыч тоже заинтересовался, причем стараясь научно сформулировать вопрос:

— Шуряк мой работает в Новокуйбышевске на спиртзаводе. Привозит, конечно, продукцию свою, тово, ну сюда. Так вредоносен он или нет?

— Кто, пап? — тут же переспросил Алексей. — Шуряк или спирт?

— Не мешай, — отмахнулся, осерчав, Данилыч.

А профессорская машина уже работала:

— Видите ли, синтетический спирт очищенный практически соответствует ГОСТу на пищевой спирт. Он в несколько раз дешевле спирта из пищевого сырья. В начале шестидесятых годов захотели было производить водку из этого спирта. По токсичности спирт этот не очень отличается от пищевого. Но, как выражаются специалисты, при длительном запаивании животных этим спиртом у них быстрее возрастает чувствительность к минимальной смертельной дозе и медленнее восстанавливаются функции нервной системы. Запаивать народ синтетическим и гидролизным спиртом не решились. Он для водки не используется. Официально. — Профессор замолчал.

— А вот в самогонке-то чего ж вредного? — не выдержал Данилыч, — ежели первачок тем более...

Профессор ответил бесстрастно:

— Судя по некоторым публикациям, содержание сивушного масла в самогоне достигает семи тысяч миллиграммов на литр. Плюс присутствуют фурфурол и другие высокотоксичные соединения.

— Да, фурфурол, — задумчиво протянул отец Алексея, — слово-то какое мерзкое, а так вроде ничего... — и вдруг, оторвавшись от своих мыслей, почти провозгласил: — Дайте человеку, господа, поесть, а то цельная лекция, а человек голодный.

— Конечно, — с готовностью отозвался Алексей, открывая бутылку, — теория мертва, как сказал классик.

— Все, — веско сказал Данилыч. — Хватит. Конец!

— Что все-то, — округлил глаза Алексей, — всего по две выпили-то. И то не все, профессор не по всей вон.

— Да нет, шуряку — хватит. Тот-то он после синтика на стену лезет. Я с ним проведу беседу. А то — кранты.

— А, ну давай, отец, раз от профессора заразился.

— Я не заразился, я его зауважал. Очень практичные вещи знает, хотя и профессор.

Когда Касторгин и Алексей вышли во двор покурить, Алексей, глядя своими круглыми на выкате глазами, тут же припер гостя вопросом:

— Что, так один и живешь?

— Ага, — невозмутимо ответил Кирилл Кириллович.

— Но это ж ненормально для здорового мужика. Тем более, не стоит Светка обета безбрачия.

— Нормально-ненормально, мне сейчас все равно.

— Во дает! Я — врач, я тебе говорю: ненормально — и точка. Для здоровья ненормально! Ты посмотри на себя со стороны: ты ж красавец, отборный экземпляр, умница, без дурных привычек. Сделай ты движение навстречу, и любая дама начнет писать крутым кипятком.

— Выражения у тебя, — поморщился Кирилл Кириллович.

— А что, нормально выражаюсь, в самую суть.

— Ну, тогда я тоже отвечу в самую, может быть, суть. Да. — Он на минуту задумался и бесцветно произнес: — Худая коро-ва — ещё не газель.

— Ей-богу, не понял, — стрельнув ловко двумя пальцами недокуренную сигарету далеко в снег, сказал Алексей, — но, чую, с большим смыслом слова.

— Да смысл-то небольшой, вернее, не новый. — Касторгин потоптался на месте, сам не понимая, надо ли продолжать на ходу разговор, который касается для него самого главного и, так и не поняв себя, нехотя продолжил: — Неинтересен я для женщин.

— Это почему же?

— Я скучный, понимаешь?

— Нет.

— Я — скучный, — вновь повторил Касторгин. — Женщине подавай веселье, разнообразие. Она живет — и молодец — сегодняшним днем, а мне подавай во всем смысл. Мои заботы никому не нужны.

— Какие заботы — ничего не понимаю.

— Видишь ли, Алексей, я стал другим. Я не живу, я — наблюдаю, скорее, — задумчиво произнес Кирилл Кириллович, сделав нечаянно ударение на слове «скорее», и получилась несур-азица, очевидно. Это скрыло главный смысл предыдущих слов.

Алексей сделал несколько дурашливое лицо и пробубнил:

— Обратно, ничего не понял: ты — наблюдатель? В органах, что ли, работаешь?

— Алексей, ты пьян?

— Нет, — неуклюже расставив ноги в отцовских валенках, ответил Алексей. — Ты меня запутал. — Потом глянул совершенно серьезно и трезво, не мигая, в глаза Касторгину и сказал: — Голова, я ж тебя к себе пригласил не для того, чтобы обидеть, а совсем наоборот — отвлечься от всего. Вот. Скажи прямо и прости меня, дурака.

Касторгину стало неловко от того, что он веселого и прямодушного парня сбивает с толку, и попытался пояснить:

— Понимаешь, я не живу, а наблюдаю жизнь. Глупо, наверное, но так получается. Со стороны, может, и чудачество, понимаешь... — Кирилл начинал путаться в мыслях и, очевидно, скорее всего оттого, что решил в нескольких словах сразу сказать Алексею обо всем и кончить как-то этот разговор, к которому тот был не готов, да и можно ли так, на ходу? — Понимаешь, я то ли собираюсь помереть и хочу все до мелочи, что вокруг меня, запомнить и забрать с собой. Может, оно так... Все вокруг настолько дорого и неповторимо, что я это чувствую кожей... Я хочу понять, какие мы... и для чего?.. Успеть понять... или...

— Или? — переспросил Алексей, поправляя шапку.

— Или я брошу все совершенно и буду писать...

— Куда? — попробовал уточнить Алексей.

— Да не куда, что!

— И что?

— Книги!

Алексей, кажется, что-то понял. Он раздумчиво посмотрел вокруг Кирилла Кирилловича, поднял голову в небо, как бы советуясь или прислушиваясь к чему-то, прежде чем сказать. Спросил:

— И зачем тебе это надо? Столько уже всего написано, а мир от этого не становится лучше, а?

Кирилл Кириллович успел подумать, что разговор пойдет теперь ещё дальше, а ему не хотелось этого и он просительным тоном, как ему показалось, отчего стало не по себе, сказал:

— Послушай, давай пойдём в избу, холодновато...

Но Алексей уже вцепился.

— Пойдем в избу, — снова повторил Кирилл Кириллович.

Алексей напирал:

— Ты здоров и полон сил. И не знаешь, куда себя деть. И не бережешь себя оттого, что полон сил. Но не дай бог заболеешь, начнешь хвататься за жизнь всеми способами, поверь мне. Так случилось с братом на моих глазах. Избыток сил иногда смещает оценки, каждый со временем это понимает. Только одни раньше — и успевают силы свои использовать, другие опаздывают и — увы. Погоди маленько: вот-вот доньшко вышибет.

— Что? — не понял Кирилл.

— Да понос чтой-то... деревенская сметана, что ли? Отвык, — скороговоркой пояснил Алексей, семена к сарайчику.

— Ну дела! С тобой не скучно, — Касторгин заразительно расхохотался, да так громко и свободно, что это вроде было и не свойственно ему, по крайней мере, в последние его особенно тяжелые года два. Присев на широкую темную скамью у палисадника, он полусогнутым указательным пальцем потер повлажневшие ресницы и, гася улыбку, покачал головой...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На скамье у палисадника

— Человек не властен над своим духом, чтобы удержать его. И нет власти у него над днем смерти, — это мне отец, священник, говорил... правильно говорил, — как бы без всякой связи произнес вышедший из сеней и присевший рядом Данилыч.

— Вы больны чем-то? — внимательно посмотрев на него, участливо спросил Кирилл Кириллович.

— Да, болен, — раздумчиво произнес Данилыч и добавил, тихо и просветленно улыбаясь. — Старостью болен. В этом году семьдесят пять стукнуло. Чувствую, пора... И я теперь понял: все мы стоим перед Богом со своей неразрешимой проблемой — с грехами прожитой жизни. Каждое прегрешение — это проступок перед Богом либо перед людьми. От этого мы никогда не освободимся.

— Данилыч, ты верующий? — удивился Касторгин.

— Поздно спохватился, да ведь некому было на истинный путь ставить, так старушонки рядом молились. Забот в жизни невпроворот, а церковь одна была в округе действующая — в Мало-Мальшевке.

— А мне Алексей говорил, что вы на фронте капитаном были, политруком...

— Было дело и на фронте, а как же... — неопределенно согласился внезапный собеседник, — а вот теперь... Я много говорил с отцом Сергием, он наш, нефтегорский. Сейчас в Новокуйбышевске в храме Серафима Саровского служит. Многое понял я в этих разговорах. Знаете, когда уже кажется, выхода нет, мы получаем с неба спасительный круг. Он все выдерживает. Название ему, имя — Иисус Христос. Он — спасительный ковчег. Ведь Иисус, невинный святой Сын Божий, принял казнь на кресте Голгофы за твои и мои грехи. Так высока и глубока Его любовь к нам всем и к тебе.

— А вот скажи, Данилыч, — сам для себя неожиданно заинтересованно совершенно прямодушно спросил Кирилл Кириллович, — зачем же Создатель допускает, чтобы так много было бед и страданий, столько обрушивалось на голову человека, тут какая-то нестыковка, а?

— Я начинающий, но я тоже думал об этом. Наверное, этого нам не дано пока понять. Поймем потом, после. В этом, наверное, скрыт какой-то смысл и, может, очень большой. Как не дано моему Алексею вообще понять то, о чем мы сейчас говорим. Он смеется мне в лицо и зовет меня попом. Мы с ним идейные противники. Это он так говорит. Он — противник, а я — нет. Я терплю его, прозреет, авось. Все мы прозреем, карато ведь уж наступает... Наше время становится безнадежным.

— Почему уж так и безнадежным? — спросил готовый на продолжение разговора Кирилл.

— Государство бросило нынешнее поколение. Ему, государству, важнее вроде бы заботиться не о нас, а о будущем. Строить надо капитализм, видишь ли, любой ценой. Не научились уму-разуму, когда строили социализм-то. Обманывают будущим.

— А чему надо было научиться? — спросил Кирилл Кириллович, боясь, что собеседник уйдет от такой важной для него темы.

— Чему-чему? — неопределенно отозвался Данилыч, — нужна забота о простых людях. У государства совесть должна быть.

— Народ бросили. Но разве у самого народа нет сил делать свою жизнь, ведь наш народ сообща, общиной, силен был...

— Э-э... была, может быть, эта сила, но в похмелье все равно за что пьешь — народ спивается. Вон Мишка Говорухин, напротив за колодцем живет, спился совсем. Он давно безразличен ко всему, что творится у него дома под носом. Так ведь и с народом нашим. Он равнодушен в похмелье к безобразию в стране. Вот и получается: народ и государство каждый сам по себе. Сельское хозяйство надо поднимать в гору. А мы про него забыли. Заодно и фабрики с заводами разрушили. Мой Алексей из медицины удрал в торговлю. Тьфу! Куда дело годится?

— Есть выход, — раздумчиво произнес Касторгин, внутренне подивившись похожести своих недавних рассуждений и мыслей Данилыча.

— Ну-ка? — пытливо отозвался собеседник.

— Спасут совесть и религия, — лаконично проговорил Кирилл Кириллович и выжидательно замолчал, похоже, он искал ответа не у Данилыча, а ждал чего-то похожего на эхо от самого себя. Оттого и молчал, прислушиваясь к себе.

— Да, — с готовностью проговорил старик. — Это так, но если вера не превратится в моду.

«Так, это так», — прозвучало и внутри у Касторгина. И он не удивился, что нашел единомыслие у этого полуграмотного, но мудрого мужика. Только успел подумать: это согласие результат размышлений собеседника или просто некое доверие? Он давно заметил, что Данилыч часто согласно кивает за столом, когда говорит он, Кирилл. «Знает о моих званиях, и они на него давят», — предположил он и спросил:

— А что, часто Алексей гостей привозит?

— Частенько, — охотно отреагировал Данилыч, — у него слабость на ученых и известных людей. Недельки две назад привез этого, как его... (он назвал фамилию известного в Самаре ученого). Ох и важничал — барин, ой, да ну.

— Ну а интересный в разговоре?

— Нет, неинтеллигентный он, хоть и знаменитость. Но пил справно. Его Вениамин, мой зятек, немножко обкарнал.

— Как это? — поинтересовался Касторгин.

— Он, этот знаменитый-то, все приставал к Вениамину: спой да спой частушки. Он и спел ему одну:

*До свиданья, дорогая,
Уезжаю в Азию,
Видно я в последний раз
На тебя залазию.*

А с ним две дамочки были; одна, вроде, учительница в институте по языку, а другая культурой где-то заведует. Вот конфуз, а? Витамину хоть бы хны, а ученому? Он, ученый-то, немножечко помолчав и сильно покраснев, сказал: «Ну, Вениамин, так нельзя. Мы даже студентами и то при дамах такого не позволяли». А Вениамин наш враз, как семечки щелкает: «Дак ведь я спел песенку гусара, он со своей боевой лошадейю прощается, ага. А вы что подумали?» Знаменитость аж во двор из-за стола вышла. А дамочки без него расхохотались. Хорошие дамочки-то.

Хлопнула калитка и в промежутке между мазанкой и сельницей появился, как ни в чем не бывало, улыбающийся Алексей. Данилыч при виде сына замолчал и спокойными ласковыми глазами посмотрел сразу на обоих. Потом не спеша поднялся и пошел в избу.

«Почему он так посмотрел? — непроизвольно подумалось Кириллу Кирилловичу, — Как-то одобрительно, как на успевающих во всем школьников. А мы-то — двоечники».

Ответ пришел чуть позже, когда Касторгин уже входил в сени. «Я понял, понял, — горячо думал Кирилл. — Он смотрит на нас уже оттуда, как я сразу не подумал об этом, ещё в избе. Он уже приготовился умереть. Он как бы живет последний какой-то срок, зная точно, что вот-вот уже там, душа будет в зените, хотя и здоров пока с виду. Он завидует нам тихой ласковой завистью, одобряет нашу непутевую жизнь, хотя бы за то, что она — жизнь! Он нас одобряет, он так мудр и так многое в отличие от нас понял, что даже боится нам все до конца сказать. Или не боится? Или так мудр, что не желал этого показать, не желал засушивать нашу жизнь и нас. Молчит себе, давая нам насладиться этим бездумным расточительством жизни? Что у меня за дни в последнее время? И что за люди окружают, будто

их ко мне кто-то подсылает. И долго ли со мной такое будет? Эти последние три месяца, похоже, дают мне больше, чем вся моя жизнь. Бывает ли у других так? Жизнь в последнее время вокруг так сложилась или я так настроен? Или и то, и другое? Странно. Я из прагматика превращаюсь сам не знаю во что. Стал как инструмент, только тронь... Так нельзя. Но кто определит, что можно? И определит ли?»

Когда Кирилл и Алексей вошли в избу и подсели к столу, разговор был в разгаре. И касался он на этот раз вин. И, конечно же, партию вел профессор Почуйкин.

— А у меня вот, например, есть деловой вопрос, имею я возможность спросить? — насколько мог академично произнес Данилыч.

— Конечно, — просто ответил профессор.

— Антиракует меня, сколько долго можно хранить вино?

— Это, пап, сколько у тебя хватит терпезу, вдруг срочно на похмелку потребуется, — тут же гоготнул Алексей.

— Да обожди ты, — миролюбиво урезонил Данилыч, — я по делу с профессором.

Невозмутимо переживавший их диалог профессор дал ответ:

— Вино — это живая материя, а все живое бессмертно. Сухие вина живут не более двадцати лет, десертные — до пятидесяти, крепленные — до восьмидесяти, а коньяки и ликеры могут жить столетиями.

— Вот те да, все нормально! «Плиска», значит, живет долго, — уточнил отец Алексея, проявляя какой-то непонятный пока интерес, — чуть позже он пояснил: — Дак, внук Петруха когда родился, я на пенсионные купил и закопал на память в тот же день под яблонью две бутылки. Одна «Плиска» эта непонятная, а другая сухая, бутылка, как большая морковь. Я, это, в полиэтиленку и того, на шестнадцать лет — зарок дал, ко дню рождения Петра. Я ему уже сказал, а больше — никому. Не долежится, боюсь. И записочку положил. Но про неё не сказал. Мое послание.

— Обижаешь, отец, насчет «не долежится», — нарочито обиделся Алексей.

Данилыч не отреагировал. Ему было некогда, перед ним сидел человек и так запросто выдавал такое. Он торопился:

— А вот шампанское. Я, грешный, почему-то люблю его, а моя старуха ни в какую, говорит: изжога от неё? — как мог задал вопрос Данилыч.

— Вина по насыщенности газами делятся на спокойные и игристые. Самые известные из них — шампанские и испанская кава, это купажные вина — другими словами, смесь разных сортов винограда. Сухие и полусухие — это настоящие игристые. Сладкие и полусладкие — искажения. Помимо прекрасных игристых нового света, у нас — «Абрау Дюрсо» и «Артемовское», сделанных под «шампанское» более сотни лет назад. Уникально красное «Игристое Цимлянское» и замечательное «Мускатное».

— А вот шипучки всякие эти, — поинтересовался Алексей, — как?

— Очень просто, мой совет, друзья, если на свадьбе или ещё где, хотите, чтобы гости скорее окосели — к водочке из экономии прикупайте шипучки всякие — результат гарантирован. Шипучки — это даже не искажения вин, это хуже.

Забавно Кириллу Кирилловичу было слушать эти разговоры. Они касались, как ни странно, вроде бы, самого известного, но в сочетании Почуйкин-Данилыч приобретали какой-то первородный оттенок.

— А у меня вот тоже есть одна примета такая, тоже к свадьбе или ещё куда годится, — сказал хозяин дома, доставая из нагрудного кармана до того времени не нужные очки. — Ежели на столе много свежих арбузов, гости не косеют долго. Арбуз вино в организме истребляет.

Он надел очки, и Касторгин отметил забавную вещь: Данилыч выражением лица да ещё в очках стал чем-то схож с Почуйкиным. Отметил это про себя и рассмеялся. Очевидно, профессор принял на свой счет его смех, как знак своего некоего поражения в разговоре с хозяином дома. Но тоже добродушно рассмеялся, признав с удовольствием победу Данилыча.

— Да, это очень интересно, я и не знал...

Данилыч не унимался:

— Как же так можно много знать о ней и почти не употреблять? Не пьёте почти.

— А я уже своё употребил, свою цистерну выпил, — деловито пояснил профессор.

— Тогда оно, конечно, — глубокомысленно согласился Данилыч, — значит, свою академию по этому делу прошел.

Почуйкин согласно кивнул головой.

— Он теперь по одному известному принципу живет, — вмешался Алексей.

— Какой такой принцип? — живо поинтересовался Данилыч.

— А есть люди, которые любят. Есть люди, которые любят смотреть, как любят. А есть, которые любят смотреть, как смотрят как любят. Так и с питьем.

Данилыч помотал головой, и было непонятно, то ли он осуждает такой принцип, то ли пытается понять сказанное.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Закон Граблина

— Вон и Граблин со своей супружницей пожаловал, — посмотрев в окошко, почему-то приподнято сказал Алексей. — Пускай он про жизнь нам порасскажет, — Алексей сделал ударение на слове «он».

— Еврей, что ли? — спросил Владислав.

— Почему «еврей»?

— Ну — Ривлин, Граблин, Рохлин, — начал тот загибать пальцы.

— Ага, — продолжил, улыбаясь, Алексей. — Дарвин, Грузвин, Молдаввин. Наш он, местный. Сейчас увидишь! Хитрей еврея с цыганом вместе взятых.

Вошли Граблины. Подчеркнуто смущенно покашливая, мужичок лет сорока тихонечко, но так, чтобы было видно, подталкивал свою спутницу, в нерешительности застрявшую на пороге.

— Проходите, гостечки, проходите, — хозяин дома привстал и показал на свободные стулья.

— А? — вопросительно и в тоже время торжественно произнес Алексей, приподняв початую поллитровку на уровень глаз.

— Да чего уж там, — живо откликнулся Граблин, — с устаточку-то, конечно, оно даже на пользу, — и живописно, подбоченясь и крикнув, широкими движениями обеих рук, горстями расправил густые усы.

— Ну, пошло-поехало, с устаточку? Ты что? За соломой, что ли, успел уже съездить? На дворе-то утро, а ты — пить, с ранья-то, Витамин?

— Кто-кто? как она сказала? — переспросил Кирилл у Данилыча. — Витамин?

— Да Вениамин он. Но, вишь, ей так удобнее, — сказал тот, делая жесткое ударение на конце слова: удобнее.

Меж тем Граблины наконец-то сели. Он, дурачась, долго усаживался, перебирал и что-то подтягивал у себя ниже пояса, сугубо осторожно и внимательно относясь к своему причинному месту.

— Ну что ж, чтобы наши дети не боялись грома! — провозгласил неожиданно тост Витамин и неспешно потянулся чокаться.

Дополнений к тосту не последовало. Все как-то быстро согласились с установкой по поводу грома и выпили.

— А ты, мать? — явно провокационно, как бы небрежно, спросил Витамин у жены. — Пей, чего уж нам, сельским, отставать. Стирай грань!

Видно, ему надо было, чтобы она была соучастницей выпивки: меньше потом упреков.

— Какую ещё грань? — не врубилась Татьяна.

— Ну, между городом и деревней, отстальный ты элемент.

— Плети больше — отстальный. Вы уж давно обогнали город-то по этой части, — и, сказав это, она неожиданно задорно, казалось бы, не к месту, хохотнула.

— Тады за любовь, — явно раскручивая какой-то свой сценарий разговора, вновь подсказал Витамин.

Кирилл Кириллович, облюбовав желтый крепенький соленый помидор, потянулся вилкой к большой чашке, стоявшей посередине стола.

— Вот вы, извините, можете сказать сходу, что такое любовь?

Касторгин опешил. Вопрос был задан ему. «Почему именно мне он задает этот вопрос, да такой ещё дурацкий в данный мо-

мент?» Его вилка вначале застряла в воздухе, потом он, посчитав неуместным свои действия, положил её на стол. Почему-то с левой стороны тарелки, как на официальном обеде, и сосредоточенно кашлянул в кулак. Подняв голову, он увидел смеющиеся глаза Алексея и вдруг понял: он, этот Витамин, не простак. Это только так, с виду, лаптем щи...

— Отвечаю сразу всем и тебе, Танюша, коли не успел одной дома объяснить: любовь — это, — он поднял указательный палец левой руки кверху, — любовь — это... — он выдержал паузу столько, сколько надо: ни один из присутствующих не проронил ни слова, — любовь — это... стирание грани между умственным и физическим трудом. Вот что такое любовь.

— Получишь сейчас у меня, понесло тебя, — жена Вениамина, кажется, всерьез начала сердиться.

— А ты — пей, пей за любовь-то, — подталкивал её муж.

Она наконец выпила. Сделала кислое лицо и в тон мужу, не желая, очевидно, отставать, обронила дежурную фразу:

— И как её, проклятую, татары пьют!

— Нальем ещё по очередной? — сказал Алексей и вопросительно посмотрел на сидевшего напротив него Владислава.

— Ну, подожди, куда гнать вороных, интересно, как живет деревня.

— Да! Как вот живет деревня, а? — с готовностью подхватил Алексей и с ухмылкой посмотрел на Граблина.

Кирилл Кириллович понял этот взгляд: Алексей ждал от Витамина чего-то особенного, на что, было видно, Граблин весьма горазд.

А тот почему-то сказал неожиданно серьезно:

— У вас в городе — сплошная «Смехопанорама» да «Аншлаг», а у нас — горькое похмелье, в деревне-то.

— Ну, не пили бы, кто ж заставляет? — вступил в разговор Кирилл Кириллович.

— Да я не про то похмелье.

— А про какое?

— Про то, куда нас всех сельчан засунул город, где мы оказались?

— Да разве ж город в этом виноват? — удивился постановке вопроса Кирилл Кириллович.

— А кто же, как не город?

— Ну, не знаю. Общая политика...

— Вот, если бы депутаты госдумы и министры заседали не в Москве, а в Покровке или в какой-нибудь Грачевке, среди грязи, нищеты и беспросветности, то вмиг бы поняли всю национальную идею и что надо делать, и когда?

— Переселить в село всех? — обрадованно догадался Алексей.

Витамин не ответил на вопрос, а продолжал:

— Ведь сверху все же... — он остановился, подставляя свою рюмку, когда Алексей начал вновь разливать, и продолжал: — ...все же сверху видно. Почему создатель терпит этот дурезж? По себе знаю: сверху видней, — задумчиво повторил Вениамин и встрепенулся. — А хотите, историю расскажу, самую настоящую, непридуманную?

— Хотим, — заинтересованно кивнул профессор Почуйкин, — у вас все интересно получается. — И затих, подперев подбородок кулаком.

Граблин продолжил:

— Для начала, мужики, кто знаком с геморроем?

— Опять за своё, — встрепенулась жена Граблина, — хватит, имей совесть.

— Да я совсем не про это. Я сурьезную штуковину городским ученым людям хочу...

— Ну тебя, я пойду, пожалуй. Сбегаю в магазин, кой-чего мне надо.

Она поднялась, стараясь опередить возражения против её ухода, но их не было. Все смотрели на Вениамина. Рассказчик посмотрел на молчавших за столом, что-то понял по-своему:

— Счастливые вы люди, не испытали на себе это дело — геморрой.

Алексей смешливо посмотрел на профессора. Тот непроницаемо молчал, мудро, как филин, глядя перед собой.

Граблин продолжал:

— Вот, если все ваши зубы, которые есть, находятся не там, где им положено, а совсем в противоположном месте, на котором вы того... сидите... и все они разом болят — это и есть он, родненький — геморрой. Таково научное определение, мое, конечно... — Граблин, прищурившись, как при стрельбе, левым глазом, правым зорко глянул на слушавших его.

Хирург-профессор, пожевав тонкими губами, громко и одобрительно чмокнул. Алексей захохотал так, что, махнув рукой, опрокинул свою рюмку. Хозяин дома, Данилыч, очевидно, не раз слышавший «учености» Граблина, улыбался.

Кирилла Кирилловича вообще забавляла вся обстановка в избе. Поездка ему нравилась. Он себя чувствовал здесь, особенно с приходом Витамина, уютно. Хотя, конечно, отдавал себе отчет, что все это маленький маскарад, что вот они уедут, пойдут обычные дни. Молох забот поглотит и эту веселость, и все остальное... но пока, пока... «Пока мне отчего-то хорошо», — думал Кирилл Кириллович.

Поставив свою рюмку на место, Алексей, все ещё улыбаясь, сказал:

— Ловко ты профессора просветил, молодец. Да и нас заодно, на будущее.

— Какого профессора?

— Вот его, который рядом с тобой сидит, — он кивнул на Почуйкина.

— Здравсте, я ваша заграничная тетя! Чего же раньше не сказали?

— А зачем?

— А, правда, зачем? — как эхо согласно повторил Граблин. Он испытующе посмотрел на Почуйкина и спросил: — Вы хирург?

— Да, — односложно, но приветливо ответил профессор.

— И геморрой вырезали?

— Конечно.

— Тогда я расскажу, как было всерьез.

— Мы выпьем? — спросил Алексей и было видно, что в доме как-то так получилось, что всем управляет Граблин. Все приковано к нему.

— Выпьем, — как бы нехотя разрешил Граблин.

Все выпили, кроме профессора. А крикнул один Витамин. Громко и смачно.

— У меня был геморрой. Это долго рассказывать, как я, намаявшись, решил на операцию. Расскажу коротко, у меня в этом деле свой интерес. Когда мне делали операцию, наверное, наркоз не так сделали или что ещё, но я вышел из собственного тела.

— Что? — выдохнул Алексей, готовый к очередной хохме.

Профессор удивленно повел бровью и зорко уставился на рассказчика.

— Я поднялся спокойно под потолок и смотрел за всем, что происходило в операционной. Отстраненно наблюдал врачей, себя, всех остальных, которые были внизу. Было легко и радостно. Необычайная легкость освещалась чистым и ясным светом.

— Как долго это продолжалось? — спросил Почуйкин.

— Да вот всю операцию, потом сказали: «Все», — и я спустился вниз. У меня такое чувство, будто я побывал тогда в раю. Потом, после операции, не приведи господь, намучился. Вот меня и волнует, что это было? Потом рассказывал — никто не верил.

— Или в раю, или в состоянии клинической смерти, — задумчиво проговорил профессор, — такие случаи в медицине бывают. Бывают они и у рожениц. У многих женщин в этот момент появляется необыкновенное ощущение счастья, особое телесное или виртуальное счастье. «Выход женщины из тела» наблюдается почти у девяти процентов рожениц. Сейчас наука потихонечку начала это познавать.

— Но я — не баба, — резонно и вполне серьезно возразил Граблин.

— Душа или то, что можно назвать как-то по-другому, но что составляет нашу духовную субстанцию, существует несомненно, и она бессмертна. Она переживает тело, — не обращая внимания на реплику Витамина, продолжал ученый. — Когда две клетки — мужская и женская — оплодотворяются, это начало не только продолжения телесного, но и духовного существования человека. Таланты, пороки, достоинства, недостатки — все это переносится на нового человека. Без души этого переноса не может быть. Я не специалист в этом вопросе, но я думаю, что это так, — словно на кафедре, чеканно и сдержанно формулировал свои мысли профессор, казалось, обращаясь к целой аудитории.

— В какие дебри ты вильнул, ну голова у тебя, Витамин, — восхищенно проговорил Данильч, — я от тебя такого рассказа ещё не слышал. Ажник дохтур, профессор задумался, в смущение вошел.

Он попытался долить водки, но Почуйкин и Владислав отстранили свои рюмки. У Кирилла была почти полна. Лишь Вениамин охотно принял добавку.

— Вот ведь и не про политику вроде бы калякаем, а все какие сурьезные стали, — проговорил Данилыч и эта фраза дала новый ход мыслям Граблина.

— А хотите, я ещё маленькую историю расскажу?

— Снова про геморрой? — хохотнул Алексей.

— А вот и нет, — парировал Граблин.

— Давай, — разрешил Алексей.

— В Ленинграде это было, — с пол-оборота завелся Граблин, — ага, меня за кой-чем туда послали, я в Нефтьгорске (он так и сказал, не «Нефтегорск», а, как говорили здесь в Покровке многие — «Нефтьгорск») тогда работал по снабжению. Это ещё до того, как мне вырезали геморрой.

— У него «до геморроя» и «после геморроя», как у нас у всех «до новой эры» и «после новой эры» или «до революции», — вполне с серьезным видом пояснил Алексей.

— Не мешай, — шумнул Данилыч.

— Я жил в каком-то общежитии на проспекте Ветеранов, там ещё не очень, по-моему, далеко Черная речка, где Пушкин с Дантесом стрелялись. Я ездил туда. Ну вот, надо было мне к врачу. Нашел поликлинику — все чин-чинарем. Очередь занял. Сижу. Всего-то два человека. Мужчина впереди, один рядышком сидит, дедок, ага. Такой небольшого росточку в ватных штанах и в чесанках с галошами. Дело было в апреле. Непривычно в таком виде в городе. Но потом-то все ясно стало. Окраина, рядом деревни, грязница. Сидим. И ни с того, ни с сего, видно допекло, дедок мне говорит: «Стервецы, заставляют меня попусту мотаться почем зря из-за своей оплошки». — «А в чем, — спрашиваю, — проблема?» — «Да оплошали врачи, вырезали грыжу, а вот мошонку забыли пристегнуть». — «Чего-чего?» — не поняв, переспросил я. «Ну, отрезали, а не пришили мошонку-то, теперь все опустилось, ну яички вот сюда, — он ткнул пальцем к коленям, — и трудно ходить, сидеть. Опять операцию делать надо». Я хохотнул, а дед, несколько не обиженный, деловой дедок, выдержанный, рассказал: «Вы вот, молодняк, не знаете, а я это прошел. Я — кавалерист бывший. В кавалерию строго отбирали. Ежели мошна низко висит, ни за

что не возьмут в кавалерию, скакать нельзя». — «Как так?» — «А так, непонятно, что ли... У нас один Колька Мазурок был. Мы думали отчаянный боец: как только команда была «по коням», он вскакивал в седло, лицо его делалось зверским и он орал «а...а... мать вашу!» Мы думали, храбрый — дай врага — разорвет на части. А оказалось... того... «Чего?» — я сразу не понял. «Ну он медкомиссию как-то обошел стороной, а мотня оказалась низко посажена... Ну, значит, как прыгнет в седло, так и на все своё хозяйство всей тяжестью... бедолага... прямо сказать... Отсюда и зверство в лице, когда «по коням» команда». — «Ну и как же?» — спрашиваю. «Как же... конечно, отобрали коня — и в пехоту».

Когда хохот за столом прекратился, Граблин спокойно спросил:

— Я к чему это рассказал? — и сам ответил: — Калякали, калякали, а про политику ни слова, непривычно как-то.

— А где ж тут политика? — очень серьезно, не ожидая никакого подвоха, спросил профессор Почуйкин.

— А в самой середине и есть политика.

— Это ж в какой середине? — профессору было непонятно, а остальным тем более.

И Граблин, довольный, пояснил:

— Наши реформаторы-то рвутся вперед, но большинство из них кавалеристы, как Колька Мазурок, никудышные. Медкомиссию не проходили. Одним словом... чудаки, — и добавил ещё: — с другой буквы. — Витамин поднялся из-за стола, собираясь уходить. — Ну, вы тут без меня в текущем моменте разберетесь. Я все равно не политик, — ступил на порог и вдруг, резко повернувшись, сверкнул глазами. — Профессор, между прочим, а как вы относитесь к эвтаназии.

Все за столом разом притихли, понимая, что профессору приходится выдерживать своеобразный экзамен. Но профессор оказался молодцом, не подвел городских. Он спокойно повернулся к Граблину, глядя истово, не мигая своими удивительно синими, почти не тронутыми старостью глазами:

— Отрицательно, молодой человек. Видите ли, правомерность её вызвала и вызывает много споров в мире. Но я считаю, что ни один субъект не может принять и исполнить просьбу умирающего о лишении его жизни. И уж ни в коем случае

не врач. Эвтаназия — это палачество. Человечество ожесточилось, но не до такой же степени, чтобы по-дикарски быть безжалостным. Такова моя позиция. А ваша?

— Моя позиция совершенно такая же, профессор, — рассказисту, но уважительно расхохотался Граблин и толкнул дверь.

Когда Витамин вышел, Почуйкин спросил Алексея:

— Кто он такой?

— Электрик, — и, чуть помолчав, добавил, очевидно, чтобы упредить следующий, легко угадываемый, вопрос. — Окончил техническое училище, и все.

Профессор ничего больше не спросил. Чуть помолчав над тарелкой, отодвинул её, выпрямился, обвел всех разом взглядом и рассмеялся.

«Насколько многообразна жизнь и насколько она неожиданна! А я кисну на своём Волжском проспекте. В такой глуши с туалетами на улице живут люди и ничего, живут. Хожмач Граблин мог бы жить в моей квартире в Самаре? Конечно. Но интересно, какой бы он тогда был?» — так думал Касторгин, живо держа в памяти все только что услышанное и увиденное в небольшой, неказистой избёнке.

Когда начали вставать из-за стола, Алексей продолжал сидеть на крашенном синем крепком табурете. Кирилл, намереваясь выйти в сени размяться, вновь попался на ржавый крючок нудного разговора своего приятеля.

— Удивляюсь я тебе. Человеку за пятьдесят, в таком водвороте был и ни любовницы не завел, ни денег не наворовал. Мается думами, бедолага... Ты какой-то не такой, как мама моя сказала бы. Не правильный по нынешним временам.

— Да уж какой есть, — усмехнулся кисло Касторгин, — со мной уже Владислав подобную политбеседу вел.

— Герой нашего времени у Лермонтова и тот за Беллой гонял, а ты герой? В каком веке живем, голова твоя... стерильный, что ли? Гормоны иссякли?

— Сейчас другие времена — другие герои.

— И кто же он, герой?

— Сейчас герой у нас — депутат. Его величество избранник народа.

— Но ты как-то устроил бы свой быт, — тянул свою мысль Алексей. — В Самаре сейчас это просто...

— Ты о проститутках, что ли?

— Ну да, зря что ли я тебе в Джоррет де Мар лекции читал? Помнишь?

— Помню, — нехотя отозвался Кирилл Кириллович. Алексей испытующе посмотрел на Касторгина.

— Знаешь, я тогда ещё удивился, какие вы со Светкой разные. Вы не могли долго жить вместе. Я об этом тогда думал, но не сказал тебе. Зачем? Ты, как тюлень, долго соображаешь.

Касторгин слушал равнодушно. Его действительно это сейчас не задевало за живое.

— Послушай, у тебя с простатой нормально? Ведь у мужчин после сорока это часто случается. Я врач, могу помочь.

— Иди к лешему. Все у меня нормально. Умеешь ты все доводить до примитива. Лучше скажи, где твоя бывшая супруга?

— Не поверишь, через какую-то электронную сваху у подружки в Ленинграде познакомилась с аргентинцем. Не вру, ей-богу. Он её увез к себе, женился. Вот даст она теперь там танго аргентинское. Будет помнить весь континент, — он говорил легко. Было видно, что все перегорело и прошло. — Кирилл?

— А, — с непонятной готовностью быстро отозвался Кирилл Кириллович и улыбнулся. Этой своей интонацией он невольно проявил самое хорошее своё отношение к приятелю, несмотря на все его «заботы».

— Послушай, сейчас, в наше время и в твоём возрасте становиться писателем — дорога в никуда, пропадёшь от безденежья.

— А я сторожем устроюсь. Мне много не надо, — усмехнулся Касторгин, — голодные талантливее.

— Тебе твоя пишет? — спросил Алексей.

— Нет, теперь уже не пишет. Было-то всего одно письмо.

— А дочь?

Касторгин отрицательно мотнул головой и задал свой вопрос:

— Ты вот скажи, почему у нас так все убого?

— Что — все?

— Все — и жизнь, и быт, — уточнил Кирилл. — Ну хотя бы вот сельский туалет? Ну разве такое в наше время должно быть? На морозе, без ничего... Без воды горячей в доме... А? За-граница так давно уж не живет.

— А вот повоюют пусть с наше, некогда будет и так жить.

— Да ладно, — отмахнулся Кирилл Кириллович.

— Нечего ладить, — запросто отпарировал Алексей. — Ты думаешь, раз я коммерсантом стал, то я одни бабки могу считать? Я совсем недавно своим охламонам в офисе политинформацию делал...

— Что? — изумленно переспросил Касторгин. — Политинформацию, ты?

— Ага, — не обидевшись, продолжал Алексей. — кто-то же должен ребят молодых теревить. Я специально рылся в журналах. Цифры до сей поры в мозгах сидят: с 1055 года по 1082 год, по-моему, было 245 нашествий на Русь и внешних столкновений, с 1240 по 1462 год почти каждый год были войны. В Казани, взятой нашими, кажется, наврать боюсь, в 1552 году было сто тысяч русских пленных.

— Это когда все было...

— А что, потом и до наших лет не воевали, что ли? В этом большой корень всего.

Кирилла смутили последние слова Алексея. Об этом он раньше как-то не задумывался.

— Ничего, — усмехнулся он, — вот Запад, Америка нам теперь помогут.

— Ага, — охотно подхватил интонацию Алексей, — сначала нас развалят, а потом, как с тараканами, с нами. Пердела она потом на нас с высоты, Америка: и на нас, и на Запад. С её-то амбициями. Молодец всё-таки Хрущев, сунул в своё время им ежа в штаны с Кубой-то. Теперь уж так не получится. Если к себе и примут потом, то только на калду, навильниками навоз за ними убирать.

Вошел Владислав. Положив видеокамеру на кровать поближе к большой цветастой подушке, подсел к столу. Произнес, обращаясь сразу к обоим:

— Знаете, какую я заметил штуку?

— Нет, — отозвался Алексей, — где уж нам.

— Когда купил видеокамеру и стал упражняться, то, увидев впервые себя на экране, несколько оторопел.

— Ну, это обычный синдром, многие к себе экранному не сразу привыкают, — заметил Касторгин.

— Да нет, понимаешь, штука вот в чем: нет синхронности между тем, что я в себе чувствовал в отдельные моменты и что

было у меня на лице, что оно выражало. Конечно, в общих чертах было соответствие, но глубинного не было.

— Но ты же не актер.

— Да, верно. Но я же не играл? Я жил, понимаешь, а мое истинное, то, что я знаю, что во мне, внешне искажено.

— Мудрено что-то! — пробасил Алексей. — Не для нас.

— Да просто. Я хочу сказать, что нельзя человека воспринимать только внешне. Механизм взаимодействия между состоянием души и внешним поведением несовершенен. Если даже человек не скрывает своих чувств, все равно они недостаточно четко отражаются в его внешнем поведении, мимике, жестах. Это я понял. Это несоответствие. И вот что ещё. Тоже недавно понял: жестокие люди порой не понимают, что они делают. Они так закодированы. Им надо прощать. Они потом поймут. С возрастом понимание приходит.

«Странно вот ещё что, — размышлял Касторгин, — за столом Граблин в открытую говорит обо всем и это не звучит пошло. А у Сушко в кабинете, — он вспомнил эпизод, связанный с поздравлением старого хирурга, — обстановка, что ли, другая?»

— Отчего так обнаженно все в деревне и запросто? — проговорил он вслух.

— Да, может, на сердце корки нет, асфальтовой. К земле человек ближе, — то ли ответил, то ли спросил Данилыч.

Кирилл Кириллович вновь поразился про себя: «Как просто сказано». Произнёс:

— Мне всегда казалось, что в городе больше образованных, а в деревне — умных.

Прозвучало это как-то уж очень прямолинейно, он усмехнулся сам, поняв, что сказанное похоже на неловкий комплимент. Но Данилыч выправил ситуацию с легкостью необыкновенной, схожей с навыками хорошего тамады:

— Не мудри, Кириллыч, дураков Создатель ровным слоем везде рассыпал — и на полевых станах, и на кафедрах в городах. Я не имею в виду, конечно, сейчас нашего общего теперь знакомца — умницу-профессора... голова.

Под конец застолья Данилыч проявил себя ещё более неожиданно для Касторгина. Задумчиво ковыряя ногтем столешницу, он произнес:

— Он ведь считает, Граблин-то, что открыл всемирный закон. Надоел мне с ним.

— Чего-чего? — живо поинтересовался Почуйкин.

— Дак, закон открыл и говорит.. эта... универсальный закон. Достоин за него Нобелевской премии.

— С него станется, — совсем серьезно сказал профессор. — И какой закон?

— Сейчас припомню. Наизусть знал. Сейчас, вот-вот, — он усердно морщил лоб. Наконец выговорил не без труда: — Чем резче отклонение — тем больше недоразумение.

— Это о чем же закон? — попытался уточнить готовый рассмеяться Алексей. Кирилл Кириллович внимательно слушал.

Данилыч тоном профессора Почуйкина, спокойно, как само собой разумеющееся, пояснил:

— Обо всем! Как отклонение от курса, от нормы, от цели — так недоразумение, — совершенно серьезно заключил он.

Кирилл Кириллович посмотрел на присутствующих: показалось, что сейчас грянет за столом хохот. Но этого не случилось.

— Вот революцию свершили — курс изменился: стало большое недоразумение. Манька — соседка — родила семи-месячного, так тот до сих пор не говорит, а ему уже два года. Отклонение от нормы. Лишний стакан на грудь не вовремя примешь — тоже оно, того... невпопад, значит. Вот он закон-то и действует. Я ему говорю, Граблину-то: норму-то али курс правильный, их же определить надо. А он говорит, что и на это закон есть. Он и над этим думает. Говорит, что на всё законы природы есть, только их надо открывать не лениться. Мир познать нельзя до конца, он этому сопротивляется. Вот оно, как у него. Голова! Дом Советов — одно слово. После него только Кучинский, староста нашей церкви, по уму-то сгодится. Но у него голова все больше забита восстановлением Покровской церкви, Бог ему в помощь, деловой человек, из ничего топорище сгношит..

Хлопнула дверь в сенях и Данилыч встрепенулся:

— Наверно, Петька Герасим идет!

— Кто-кто? — переспросил Кирилл Кириллович.

— Мой внук — Петька-второклассник. Из школы попутно. От младшей дочери.

Дверь в избу распахнулась, впустив холодную волну воздуха, и на пороге появилась удивительная, маленькая, но такая забавная краснощекая копия Данилыча с большими светло-голубыми глазами.

— Дед, баба где? — не обращая ни на кого внимания, выстрелила скороговоркой копия.

— Да, ты не пришел бы, не знал бы, где и ты.

Следующая фраза удивила Кирилла Кирилловича своей безапелляционностью и непосредственностью.

— Шлендает где-нибудь по соседям?

— Ага, — охотно согласился дед, — сбегай к Петянихе, у неё, скорей. Она мне тоже нужна.

Внук послушно выкатился за порог, а дед тихо усмехнулся в усы:

— Я думал, он хулиган какой, а он так послушно... — обронил Касторгин.

— Не хулиган он, а боевой. В этом разница есть. И сердце доброе. Вон на окошке книжка лежит. Есенин. Я ему раз десять читал по его просьбе «Песнь о собаке», помнишь, — и он чистым голосом прочитал:

*Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.*

...Петька все заставляет ещё и ещё, а у самого все лицо в слезах. Я его спрашиваю: «Ну зачем читать ещё? Ты уж все знаешь и плачешь к тому же». А он, Петруха, отвечает сквозь слезы: «Когда ты читаешь снова, я каждый раз надеюсь, что хозяин хмурый, их, щеняток, не утопит, что они останутся живыми. Может, выплывут». Я ему читаю по нескольку раз эту историю, и заметил за собой, что тоже хочу, чтобы все мирно получилось. Вот штука какая? Что млад, что стар.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Этот дотошный Почуйкин

Из Покровки возвращались на другой день уже в сумерках.

«И почему я раньше не ездил в деревню проветриться, да ещё с такой разношерстной командой? Жизнь с разных сторон смотрится. Я же всю жизнь практически в кругу коллег своих, обычно технарей. Правда, один Владислав немало стоит. Молчун, но с ним не скучно. Весь день пытался настойчиво отбиться от компании и остаться наедине со своими красками. Теперь, когда я завис над пропастью, вижу в самом малом прелесть жизни».

Из задумчивости его вывел ровный голос профессора Почуйкина, обратившегося к художнику:

— Устойчиво живёте, как мне кажется.

— В каком смысле?

— Ну, своя мастерская, я понял, большая. Не каждому дано? — произнес Почуйкин. — У всех художников в Самаре такие мастерские? Ещё не выперли коммерсанты?

— Пока нет, но некоторые из наших, к сожалению, сами отказываются от таких площадей.

— Почему? — въедливость профессора и здесь начинала брать своё.

— Очень просто, не всем под силу платить полтора миллиона за двадцать квадратных метров в месяц. Уйдем из мастерских, а этого допустить нельзя, сразу же их заполнят массажные салоны, картежные притоны и прочее. Наши мастерские — это сегодня, может быть, единственное, что объединяет художников. Нет порой квартир, творческих дач, как раньше, куда на месяц-два приезжал художник и мог бесплатно жить и работать. Такие дачи были под Москвой, на Байкале, Черном море. Там могли работать и те художники, которые не были членами Союза. Было взаимообогащение общением. Сейчас мастерские — это гнезда, где художники создают свою ауру, которая оказывает влияние и на всю Самару. После церкви мы, художники, идем следом.

«Кажется, он копнул, где ему надо, и задел за живое, — подумал Касторгин, — теперь вся дорога будет идти под этот ак-

компанемент. Действительно профессору это надо знать или так?»

— Раньше, — продолжал Владислав, — член Союза художников, кроме возможностей работать на дачах, финансовой помощи, имел право на дополнительную площадь в двадцать метров, но главное — художнику давали работу. Была целая система, обеспечивающая нас заказами. Собирали их по совхозам, заводам, другим организациям. Теперь этого нет. Художники, которые более-менее известные — Баранов, Герасимов, Комиссаров, Филиппов — как-то выживают за счет заказов, помощи состоятельных людей... Вот я знаю: Владимир Рябцев за сорок миллионов купил себе мастерскую где-то на Ленинградском проспекте.

— А ваш, когда-то знаменитый, фонд?

— Фонда нет. Он обанкротился. Банк, где был счет фонда, лопнул, — Владислав сказал это с таким напором, повернув бордатовое лицо к Почуйкину и сверкнув глазами, будто он, профессор, был главным виновником всего этого.

— Владик, — нарочито очень вежливо обратился Касторгин к художнику, — он ведь только вопросы задает. Он — профессор. Он — ни при чем.

— У нас около восьмидесяти членов Союза художников в Самаре. У всех были мастерские, из них пятьдесят — просто приличные, и указом нашего бывшего мэра Самары отданы художникам на двадцать лет без оплаты за аренду. Но текущие платежи, они убивают...

— Значит, не стало государственной поддержки и не будет нормальных художников? Слабо самостоятельно прожить?.. Но за покровительство надо платить? Идеино платить, — напирал профессор.

— Никто не собирается ни под кого ложиться, но что происходит? Чтобы прокормиться, когда спроса на графику нет, миниатюру — нет, ребята начинают писать надгробные портреты и радоваться вырученным деньгам. Живописцу ещё как-то полегче. Мы с Рудольфом Барановым часто обсуждаем ситуацию. Он говорит: «Если хотите подвального искусства, его даст обществу нищий художник». Наш председатель Союза прав. Учить и учиться не на что. Идет потеря реалистической школы. Сегодня в мире абстракционизм разрушил реалистическое

искусство. Рудольф в Италии выиграл конкурс среди полудюжины итальянских художников только потому, что на его огромном полотне восемь на пять метров изображены человеческие фигуры в натуральную величину. Художники не умеют рисовать портрет, рисовать человека, а в центре искусства — человек, верно?

— Верно, верно! — откликнулся профессор, — тебя вон и Кирилл Кириллыч заслушался, так что совсем скорость потерял.

— Нет, ребята, за вас беспокоюсь, здесь скоро поворот перед дорогой в совхоз «Черновский», чуть не под девяносто градусов. Один знакомый мой в посадку там угодил — не вписался.

Почуйкин поутих, и только когда миновали опасный поворот и вышли на прямую, спросил:

— Ну, и?

— Вот у итальянцев художники своим трудом не живут. Имеют свой бизнес, а рисуют в свободное время, отсюда и результаты.

— Но сопротивление обстоятельствам может и делает человека художником.

— Да, но не каждого. Не каждый может противостоять трудностям.

— А вы знаете? — пожевывая губами, произнёс профессор, — даже мой папа мне рассказывал: Григорий Пономаренко, прибывший с Милославовым, создавшем Волжский народный хор уехал из Куйбышева в Волгоград только потому, что очень хотел, чтобы у него была квартира с окнами на Волгу. Он убеждал начальство, что это ему надо для творчества. Без Волги не может. Не может писать песен. Не дали — и уехал.

— Он жил, по-моему, на улице Фрунзе, на первом этаже в полуподвальном помещении, — проговорил Касторгин.

— Вот-вот, — продолжал профессор, — и тем не менее написал песни, которые прославили Волжский народный хор.

«Ему обязательно надо, чтобы последнее слово было за ним, не будем ему мешать», — рассудил Кирилл Кириллович. Он сбросил газ и включил левый поворот, впереди — было кольцо и далее поселок Кряж. Кирилл посмотрел на часы: восемнадцать сорок. «Успеваю всех развезти, поставить машину в гараж и посмотреть «Время», — умиротворенно подумал он.

Когда Касторгин подошел к своему подъезду, в неярком свете лампочки над дверью увидел несколько наклеенных объявлений. Одно из них привлекло внимание: «Всем тем, кто желает иметь дополнительный хороший заработок, обращаться по адресу: Волжский пр., 19, 2-й этаж, оф. 211, понедельник, четверг в 18.00. Надежда. Обучение за счет фирмы».

«Символично — «Надежда», — отметил про себя Касторгин. — Надо заглянуть. А, нет. С полгода ещё я могу на свои сбережения прожить, не работая. Но, потом уж никаких финансовых резервов не останется. Но зато проверю себя: за это время можно серьёзную вещь написать, если я не бездарь, конечно. Хороший у меня всё-таки дом, — усмехнулся он, — вернее, район. Престижный, забота чувствуется. Вот опять полный ящик газет».

Действительно, из почтового ящика торчало несколько изданий, которые распространялись бесплатно и с методичной настойчивостью. Поначалу это даже раздражало, но потом он привык, внутренне не смирившись только с тем, что эти непрошенные газеты в небольшом ящичке мяли те, которые он выписывал. Ему приходилось мятые «Литературную газету», «Волжскую коммуно» каждый раз разглаживать. На этот раз из ящика торчали не уместившись: рекламно-информационная газета «Экстра», «ТВ-пресс Неделя», «Самарские новости», «В каждый дом».

«Странно, а почему нет приложения к «Комсомолке» — «Ваш выбор»? Безобразия! Не могли, наверное, затиснуть».

Когда он уже засыпал, вспомнил, как они со Светланой гуляли года два назад в осеннем лесу напротив маленького села Винновка. Был солнечный сухой октябрьский денек. Они по руслу высохшего ручья углублялись в чащу, в надежде наткнуться на опят. Но было сухо. Ни туманов, ни морозов. Вскоре им надоели безуспешные поиски и они, повернув назад, вышли на полянку, поросшую редкими, но крепенькими липками. И здесь произошло событие, которое поразило его. Светлана отнеслась к этому прохладно, но он не мог долго успокоиться.

На его пути попался большой обрубок бревна. Желая откатить его с пути, Кирилл подналег и ногой повернул его, и тут же прямо перед глазами, взметнувшись вверх, осьпав уже некрепко сидящие пожелтевшие листочки, встала, нет-нет, воспрянула метра в четыре высотой молодая липа. Оказывается, когда-то бревно её придавило, и она до поры до времени росла,

прижатая к земле, сохраняя силу и упругость. Он несколько раз обошел липу, все ещё удивляясь случившемуся. Только что поляна была хороша, конечно. Но эта липа, преобразившись сама, изменила и поляну, она стала другой.

«Ах ты, Светочка, что же ты наделала?» — расслабленно прошептал он, ежась в постели.

«Липа — это я, — подумал он, — может быть, я. Я чувствую, что стоит сделать ещё какое-то движение, и я восстану, но какое, я пока сам не понимаю. Ощущение есть, а реальность совсем другая».

Вскоре он заснул. Спал беспокойно. Что-то огромное, естественно тяжелое висело над ним. Не давало совсем провалиться в сон, чтобы забыться и не думать о завтрашнем дне. Касторгин ворочался в постели и никак не мог уйти от мысли: то ли он слишком многое взвалил на себя сам, пытаюсь понять происходящее, то ли это наказание за что-то. Он, кажется, не выдержит такой жизни. Надо делать конкретное дело, как на заводе, знать цели и находить способы достижения этих целей. Иметь свою нишу в жизни. А так, как он сейчас живет, нельзя. Нельзя искать ответы на все вопросы сразу. И на все отвечать. Такой ум ещё не родился, и писатель такой раз в сто лет навряд ли будет. Это гигантская работа духа. Нужен гений, а если не гений, то такое не по силам. «Неужели я по сути ничтожество. Я слаб. Я раб. Я ничто?»

...Наутро он проснулся на удивление бодрым и, вспомнив свои ночные страхи, слабо улыбнулся.

Когда брился, пристально вглядывался в своё отражение в зеркале, словно изучал незнакомого человека. Будто привыкал к нему. Постороннему это могло показаться чуть ли не кокетством, если бы не воспаленно-напряженный взгляд Касторгина и не его замедленные движения, которые явно скрывали неумный темперамент, долгое время сдерживаемый и готовый теперь прорваться самым причудливым образом.

Выходя из квартиры, на площадке Касторгин увидел крышку гроба, обтянутую красным. Куривший во дворе на лавочке сосед сверху Андреич своим тусклым, навечно осипшим голосом пояснил:

— Пашка сгорел. Нашли в сорок первом доме, в подъезде. Укололся, дозу не рассчитал. Мы все наши подъезды обшари-

ли с его матерью, а он аж в сорок первом оказался. Беда. Но к тому все и шло давно уже. Я его отца хоронил, изуродованного в Афгане, когда тот по пьянке замерз около пельменной и никто не подошел. На роду, что ли, написано у них?

— У нас у всех, может? — отозвался Касторгин.

— А? — вяло переспросил Николай Андреевич.

Весь день Кирилл Кириллович чувствовал, что в нем зреет какая-то решимость. Ему хотелось быть на людях. Он хотел действовать.

«Надо заниматься тем конкретным делом, которое ты умеешь делать. Я же инженер, черт возьми. И знаю, что неплохой. Сколько можно ещё сделать в жизни! Я готов работать рядовым инженером. Эх, взять бы, как тогда, в семьдесят пятом году, цех-развалюху и попробовать ещё раз себя. Тогда-то в свои тридцать лет я поднял огромное производство, а сейчас, что? Ослаб? Тысячу раз — нет! Сейчас можно грамотно работать. Хочется успешно работать».

Он чувствовал необъяснимый прилив сил и желаний.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Телеграмма из Сибири

Вечером позвонил Алексей из Тольятти и Касторгин узнал очень опечалившую его весть: умер Данилыч. Приятель звал помянуть отца на девять дней.

Касторгин был поражен смертью отца Алексея, несмотря на то, что догадывался о состоянии Данилыча. «Как легко и быстро мы умираем». После поездки в Покровку прошло чуть более двух недель. Он часто вспоминал Данилыча. Помнил, как тот осторожно отламывал от отрезанного ломтика хлеба и маленькими кусочками ел. Его это несколько удивило тогда. Помнил его рассказы и манеру смеяться в усы. Ироническое отношение к себе самому тоже помнил.

Его в ту поездку в Покровку убили слова Алексея. Тот, подвыпивший, брякнул каким-то не своим, извиняющимся голосом:

— Жили и живут, как черви.

— Кто? — недоуменно спросил Кирилл Кириллович.

— И родители мои, и вся деревня. В грязи, в дерьме, в бесконечных заботах о еде, тепле.

— А мы с тобой тогда кто? — спросил ошарашенно Касторгин.

— Ну, мы — другое дело.

Кирилл Кириллович не стал больше разговаривать. У него внутри что-то оборвалось. «Как он может так говорить. Они же дали ему жизнь, они самодостаточнее его самого». Весь тот день слова Алексея не выходили у него из головы.

«Кто же останется в деревне? — думал Касторгин, — Алексей уехал, стал доктором, но народ не лечит, в Тольятти заделался коммерсантом. Торгует нефтехимической продукцией. Вон какую печатку на пальце носит. Скоро и золотую цепь повесит. Россия вышла из деревень и держалась на этом. Но теперь деревни самой не на чем стало держаться. Алексея как бы нет. Списан. Все! Он вспомнил, что о том же говорил с горечью и Данилыч. Внук Данилыча, сын младшей дочери, Петька? Может быть, он! Такие, как Петька, подставят плечи свои под деревню и России службу сослужат. Душа у него, видно, хорошая. Как раз, таким, как он, достанется расхлебывать то, что мы натворили. Как раз подрастет, если мы в конец все вдребезги не расколошматим. Им поднимать. И имя-то у него не нынешнее. Может, это знак какой. Может, Петрам да Иванам удастся, как в давнее российское лихолетье Романовым, поднять Россию. Но тут никакая уже и монархия не поможет. Развратила всех псевдодемократия, принесенная перестройкой. Ни демократии не получилось, ни либеральных реформ. Да и вообще сплошная путаница. У нас сейчас президентская республика, то есть всенародно одобренная конституционная монархия. Русский народ привык к тому, что в России всегда правит один человек. Пусть будет парламентская республика (хотя это для русского ума непривычно), ну так все равно же во главе будет один человек. Так по-русски всегда получалось. Что же изменится? Этот шустрый бедлам вокруг власти будет, ох, как ещё долго», — уныло подвел он итог своим скомканным размышлениям и в десятом часу лег спать, против своих правил не посмотрев телепрограмму «Время».

...На третий день после того, как Касторгин вернулся из Покровки с похорон Данилычча, пришла на его имя телеграмма из Сибири. Приняла её все та же Анна Панфиловна. Он в это время ходил на рынок.

Совет директоров и его давний институтский приятель — генеральный директор одного из самых крупных в России нефтехимических комбинатов Виктор Судаков приглашали возглавить технологическую службу. Им стало известно о его положении и они поспешили заполучить его себе. Касторгина знала вся отрасль.

«Так это ж мой бывший заместитель Скворцов организовал, — догадался он, вспомнив разговор после похорон Рассадина. — Его рука. Но ведь я и сам готов к этому. Я уже понял: мое место на заводе. А раз понял, что ж тут решать? Уже решил. И бесповоротно.

Ах, как жаль, что поздновато, а то бы забрал с собой Рассадина. Он бы там со мной на новом месте, глядишь, и преодолел все».

В тот же день Кирилл Кириллович купил билет и ещё через два дня улетел, вручив своей соседке ключи от квартиры. Торопился. Как будто боясь передумать, попросил соседку дать объявление в газете о продаже квартиры.

Вот так быстро покинул Кирилл Кириллович свой, как он называл, жигулевский рефугиум...

А чуть позже, месяцев через пять, прошел слух, что главный технолог Кирилл Касторгин женился на бывшей своей однокурснице. Очевидно, на той, к которой однажды прошлой зимой чуть было не улетел в Хабаровск. Жизнь его, кажется, стала налаживаться в прежнем русле.

— И, слава Богу, неплохой человек, — подытожила Анна Панфиловна разговоры соседей о его женитьбе, вынимая из почтового ящика Касторгина необычное письмо.

На обратной стороне узкого плотного конверта с непривычными марками был указан отправитель. С трудом, но всё-таки она разобрала немецкий текст: письмо было от Ирины — дочки Касторгина...

Ноябрь 1998 г. – Сентябрь 1999 г.

**О творчестве
Александра
Малиновского**

«УМРУ — ОТ ЛЮБВИ К ЭТОЙ ЖИЗНИ»

Итак, попытаемся более пристально взглянуть на некоторые стихотворные произведения Александра Малиновского, опубликованные в 1992 года, дабы как можно лучше понять смысл, пафос и, главное, душевные порывы, часто называемые вдохновением, водившие пером поэта. Сам же он избегает таких возвышенных понятий и считает, что «много строк сгубил оттого, что не записал их, а ещё больше оттого, что сразу записал, и потом все — прекратилась музыка. Как тут быть? В принципе стихотворение можно написать в любой момент, но поэзия неуловима. Почти».

1

В лирической поэзии А. Малиновского как бы преодолевается издавна существующее в художественно-культурном сознании несогласие противоположных тенденций: с одной стороны, уход от всего земного, материально-предметного, размежевание реального и идеального, с другой — стремление к их гармоничному слиянию.

Эти антиномичные начала находят в его стихотворном творчестве своеобразное примирение, словно переплетаясь и синтезируясь в синкретическом и непротиворечивом художественном мироощущении. Хотя оно и далеко от «благолепия»: лирический субъект отнюдь не закрывает глаза на все подчас болезненные и мучительные диссонансы сущего.

Лирическое «Я» поэта признает реальность высшего, сверхчувственного порядка, осознает, подчас весьма остро и пронзительно, преходящий характер своего пребывания в земных пределах, тянется душой к иномирным сферам:

*Мне и раньше приходилось
Ни о чем поплакать наяву
А сегодня мне приснилось,
Что на небе синем я живу.
Что меня к себе позвали боги,
И кругом такая благодать.
Не могу я без степной дороги,
Без тебя, моя седая мать.*

Но и в самой эмпирической действительности А. Малиновский обнаруживает черты некоего идеального начала:

*Пусть светло на небе и привольно,
Но душа моя сейчас кричит:
Без земного здесь ей очень больно,
Без земного маюсь я в ночи.*

К этому стихотворению примыкает другое:

*Суров мой быт. В нем горечи немало.
Но разве ж в горечи вся суть ?
Досталось сердцу средь любви-обвала,
Но ты внимательнее будь.*

*И ты увидишь будто внове
Сквозь недосказ и суету,
Во вздохе каждом, в каждом слове
И боль, и дерзкую мечту.*

«Мир гармонии есть совершенное творение Божье, — утверждал Н. Лосский, — состоящий из множества существ, из которых каждое по своему живет в Боге и для Бога, и, в силу такого единства целого, все они живут также друг в друге и друг для друга. Это подлинное царство Божье. Множественность в этом царстве обусловлена только идеальными отличиями одного члена от другого (...) без всякой вражды одних существ к другим. Всякая часть этого царства существует для целого, и, наоборот, целое существует для всякой части (...) вследствие полного взаимопроникновения всего всем. Здесь исчезает различие между частью и целым: всякая часть здесь есть целое».

В связи с этим интересно сопоставить две редакции, видоизменения текста стихотворения «Когда замерзшая дубрава...». В сборнике 1994 года «Я любить не устану» стихотворение публикуется под названием «Лист»:

*Когда замерзшая дубрава
Стряхнула лист последний свой,
Стоял ноябрь, и берег правый
Покрыт был коркой ледяной.*

*А левый берег речки нашей
Распахан был, и у села —
На краешке темневшей пашины
Стояла старая ветла.*

*И лист, на тонкий лед упавший,
Скользнул к задумчивой ветле
И там притих у сизой пашины,
Припав доверчиво к земле.*

А в сборнике 2000 года «Не так живём» не только уходит «заземленное» название, но и заключительная строфа приобретает иное значение:

*И лист, на тонкий лед упавший,
Скользнул к задумчивой ветле —
И стих, припав к замерзшей паине,
Как странник ко Святой Земле...*

Что же стоит за этими отнюдь не просто редакционно-стилистическими, так сказать, а концептуально-смысловыми метаморфозами поэтического текста? Здесь отражаются как духовная эволюция, движение поэта, так, очевидно, и сосуществующие параллельно измерения, ипостаси его художественного мироощущения.

В первом варианте чувствуется присутствие антропоцентризма. Воплощенный в фигуре автора человек, как субъект эстетического переживания, созерцания красоты природы и передачи непосредственного впечатления от этого созерцания, является некоей божественной силой, творящей представление о красоте. Он и сам вмещает в своей душе отблески этой вечной красоты, стремясь к совершенствованию самого себя по её образу и подобию. (В некоторых других стихотворениях А. Малиновского мотив этот звучит ещё более отчетливо.)

Во втором варианте произведения через созерцание красоты природы автор пытается найти путь к Богу. Зная, разумеется, что природа — посредник, мост между человеком и высшим разумом, через неё Бог являет своё величие. Лирическое «Я» освобождается от всего порочного и злого, устремляясь душой к светлому идеалу. Ведь Бог — вечный, единый, не уходящий и в час «захода всех светил», незримо присутствует в каждом проявлении человеческой жизни.

И сорванный непогодой в то почти неуловимое мгновение, когда земля окончательно погружается в зимний сон, листок — теперь уже не просто пейзажный штрих, мелкая деталь, частная подробность. Это личный знак — флаг чувств и мыслей лирического «Я», и трепещущий на ветру знак — дитя природы, и знак свыше — знак Бога. Лист здесь — универсальный «иероглиф», несущий в себе целый ряд значений. Постигание и познание бытия осуществляется тут не просто через созерцание, думание и говорение. Оно предполагает и теснейшее взаимодействие человека и мира, субъекта (понимаемого не только в аспекте чистой духовности, но и как единовременный телесно-духовный феномен) и объекта. Оно эмоционально, в какой-то степе-

ни экстаично; это всегда переход некой границы, преобразование одного качества в другое, то, что Уолт Уитмен считал в своё время «Химией жизни».

Все это в чем-то весьма важном, принципиальном созвучно древним мифологическим представлениям, в каких-то иных обличьях продолжающих существовать среди нас. В них мироздание предстает огромным связным универсумом, в котором все земное и космическое, живое и неживое пребывает в состоянии внутренней согласованности и поразительной целостности. Структура единства и многообразия, феномены порядка и хаоса, спонтанно фиксируемые в первобытном мифологическом сознании, являются своего рода пропедевтикой к той гармонии мира, внутреннего согласия человеческой жизни, образы которых складываются позднее, уже в классической, так сказать, мифологии, столь хорошо знакомой по искусству и эстетике античности. И потому на вопрос о том, что для них прекраснее всего, следует, быть может, ответить: прекраснее всего живое и одушевленное тело космоса, который организуется универсальной безличной силой, и организуется ею в предельно обобщенном виде. Прекраснее всего космос видимого нами звездного неба и Земли, покоящейся в центре, со всеми свойственными этому космосу правильными и вечными закономерностями, круговоротом субстанций и веществ в природе, а вместе с тем и с таким же круговоротом душ. Эта универсальная космология древности отразила ту стадию развития цивилизации, «когда человеческое сознание чувствовало себя в таком текучем взаимопроникновении, радостном единстве с природой — и легко, не мучаясь и рефлектируя, покоряло мир своей проснувшейся духовностью (...)».

И все это у А.Малиновского сходится в одном слове-определении — «Вечность», которое становится названием проникнутого философским размышлением стихотворения:

*Мы шли к селу. Далекий скрип тележный
Мне душу бередил. А на границе
Большого леса и небес — неспешно
Садилось солнце огненной птицей.*

*Смеркалось, когда дороги млечной
Над нами засветилась полоса.
И показалось мне, что мы с тобою вечны,
Как эта даль и эти небеса...*

Здесь проступает и такой отличительный характерный признак мифознания, как стремление пронизать все элементы картины мироздания единой волей. Встречаемся мы тут и с примечательным параллелизмом «малой» и «большой» вселенных, микро— и макрокосмоса. Более того, вся художественная структура текста стихотворения проникнута им.

Глубоко переживаемое в мифосознании и воплощаемое в искусстве единство мироздания должно быть строго организовано и рационально упорядочено. Вместе с тем при таком способе мышления творческое начало преимущественно проявляется в интуитивно-чувственной сфере: разум лишь воспроизводит универсальный порядок мироздания, чувство же именно творит высокую радость его постижения. Погруженное в подчас очень бурную эмоциональную стихию единство всех представлений порождает и такое свойство мифосознания, как специфическая парадоксальность, алогичность, даже иррациональность. «Мифологическое мышление игнорирует реальные причинные связи», оно нет-нет, да сводит вместе «самые разнообразные предметы и явления, часто никак не связанные в реальной действительности. Всеобщее «оборотничество» — существенная черта мифосознания».

*Под открытым синим небом
Ем арбуз я с черным хлебом.
Конь буланый у меня —
Не могу я без коня.*

*И без этого вот неба,
Без арбуза с черным хлебом...
Мне Отчизна — даль без края.
Для чего же мне — другая?..*

В этом стихотворении, очевидно, не случайно открывающем один из поэтических сборников А. Малиновского, действительно есть нечто от того самого «оборотничества», живо напоминающего некоторые идеи и образы народной карнавальской культуры. Тут налицо и парадоксальность, алогизм. Все перемешано — арбуз, хлеб, конь, небо... Но все эти очень разные, я бы сказал, разнопорядковые вещи каким-то образом, тем не менее, сопоставлены, слиты в гармоничное целое, вписаны в координаты безграничной пространственной горизонтали и безмерной пространственной вертикали, как бы уходящих в бесконечность.

Поэтому-то так глубоко и искренне переживает лирический субъект автора любое нарушение этой сакральной целостности, выпадение, погибель даже самой малой частички её. И в стихотворении «Озеро Песчаное», обращаясь к брату Петру, с болью вспоминает:

*(...)Но с какою тоской мы смотрели
(Погорельцами в кучу золь),
Как из ближних лесничеств артели
Деловито валили стволы.*

*И до ночи кричали сороки
Над рыжеющим голым бугром.*

*И казался лесничий нестрогий
С этих пор нашим злейшим врагом...*

*...Приезжай! Здесь у светлой водицы
Нынче снова шумит молодняк.
Посидим, похлебаем ущицы...
Жаль лесничего. Умер на днях.*

А вот весьма показательная перекличка. В стихотворении без названия, первая строка которого — «Зимую прошлую здесь дуб спилили», возникает похожий, очень похожий мотив.

Композиционно это стихотворение делится на три части. Первая строфа — грусть, даже какая-то скорбь по поводу уничтоженного дерева:

*Зимую прошлую здесь дуб спилили.
В лесу большущем — экая беда.
Едва спилили — позабыли.
Но мне он помнится всегда.*

Далее, во второй строфе, явно становящейся структурным центром стихотворного текста, лирический герой вдруг обнаруживает на месте загубленного патриарха-дуба совсем молодое, едва проклюнувшееся деревце:

*...Бреду заросшею тропинкой.
И вижу, подойдя к бугру,
Дубочек тонкий паутинкой
Звенит, качаясь на ветру!*

И вот, наконец, третья строфа, резко контрастирующая с началом стихотворения:

*И так светло в душе вдруг стало,
Как если бы вошла звезда.
И сердце так затрепало,
Как никогда, как никогда!*

В этом четверостишии нельзя, просто невозможно не заметить прямо-таки бьющего в глаза светового и цветового колорита, вдруг возникающего сильного освещения, никак не мотивированного вроде бы объективными, неустраняемыми и предзаданными свойствами той частицы природы, того самого лесного уголка, где пребывает лирический герой.

Что ж, в данном случае явно изменяется соотношение субъективных и объективных моментов в световом и цветовом видении лирического «Я», что придает какое-то особое смысловое звучание и стилевую окраску художественной целостности произведения. В заключительных строчках стихотворения не просто возникают и меняются какие-то оттенки субъек-

ективного восприятия естественных, объективно существующих цветов и световых потоков. Нет, происходит быстрый и радикальный сдвиг к какому-то совершенно необычному, особому, вроде как ситуативно немотивированному загадочному освещению, источник которого — то ли внутри лирического героя, то ли — в каких-то горных высотах.

И это не случайно, ибо, увидев тот самый «дубочек тонкий», лирический герой испытывает очарование и даже потрясение, быть может, истекающие от чудесного восстановления нарушенной было гармонии и цельности сущего. Происходит интуитивное схватывание, переживание и в то же время своеобразное осмысление первовместимости мировой красоты. И благодаря этому волшебному, нездешнему свету первородство природы предстает в изначальном значении прекрасного. Перефразируя Андрея Битова, можно сказать, что в стихотворении видимый пейзаж озаряется невидимым светом и окрашивается в невидимый цвет, обозначая некую явленность неявленного восстановления гармонии, столь важной в духовном плане для лирического героя.

Это свидетельствует и о том, что А. Малиновскому близко представление о миссии художника-творца, из бесформенного хаоса выстраивающего нечто стройное, и что важную созидающую роль в этом деянии играет свет; хаос и мрак часто преодолеваются у поэта чудодейственным явлением света.

*Не был здесь полгода —
Мчал на поездах.
На Самарке в воду
Падает звезда.
(.....)
При любой погоде
Твой я навсегда...
На Самарке в воду
Падает звезда.*

При этом идея торжества ясности над мировым беспорядком воплощается в самых разных образах, включающих светоносное начало. Будь то внезапно блеснувший в сумраке солнечный луч:

*Брожу один, один в осеннем поле.
Рассветный луч прервал тумана пелену.*

Или же «излучение» близкого, дорогого человека:

*Ты светлая. Я не привыкну
К твоим губам, зачем желать
Иного счастья? Без тебя я сникну,
Не в силах сущее понять.*

*Любить доступное. Я мудрость эту
Не сразу принял. Но сейчас
Иным наполнено все светом
И все мне будто в первый раз.*

Ну и, конечно, примечательно частое обращение А. Малиновского к образам неба. Его лирика прямо-таки насыщена разными описаниями небесного свода и впечатлениями от его красоты. В любых состояниях — будь то закат или рассвет, погожий денек или пасмурная непогода. Но более всего его привлекают лазурные, безоблачные небеса. Вспомним уже известное нам стихотворение «Под открытым синим небом» и приведем другое — «Золотистый зной»:

*Как много женственности в лете.
В спокойных летних вечерах,
В туманной дымке на рассвете,
В ржаных разнеженных полях.*

*Нет в небесах ни облачка, ни тени,
Лишь золотистый зной течет,
Когда нас лето в плен берет
Раскованностью мыслей и движений.*

*Желанная, люблю я лето.
У вас с ним общие черты.
В нем та же нежность, бездна света.
И нет весенней маеты.*

Здесь пейзажная картинка залита золотым солнечным светом, усиливающим впечатление красоты мира, выступающего одним из источников прекрасного в природе (В. Соловьев). И, пожалуй, его отблеск является важнейшей смысловой и, конечно же, собственно колористической доминантой всей поэзии А. Малиновского.

Пронизана, окрашена этим светом и, пожалуй, одна из осевых, важнейших её тем — тема Родины, образное воплощение которой у него достаточно многогранно...

2

Родина для Малиновского — это прежде всего природа. Вглядываясь вместе с его лирическим субъектом в разворачивающиеся пейзажи, заражаясь его нескрываемым волнением, невольно отмечаешь, что в них часто фиксируются мимолетные мгновения жизни и природы. Поэт словно останавливает их на лету, как в «Кукушке»:

*Осенью почти ещё не тронутый
Дуб притихший загрузил над омутом.*

*А на дубе том, на его макушке
Примостилась молча поздняя кукушка.*

*Куковать не смея, смотрит в тишине
На листву холодную на речной волне.*

*Но ещё минута, и под звук дуплета
Улетит кукушка — дар роскошный лета.*

Но всё-таки чаще всего на первый план, пожалуй, выступает нечто типическое, непреходящее, неизменное в природе и облике родного края. Поэтому нередко у Малиновского панорамные картины, рисующие природу в её спокойном величии. В стихотворении с явно программным названием «Жизнь» лирический герой как бы с высоты оглядывает волжские просторы, откуда открывается беспредельная широта, синтезирующая самые разнообразные эмоционально-смысловые измерения:

*Какая синева над Волгою.
И как покойны облака.
Мне бы жизнь прожить хотелось долгую,
Как эта древняя река.
Чтоб встречи были бы сердечные,
Чтоб песнь была в душе проста,
Как эти дали бесконечные,
Как эта русская река.*

И, конечно, в поэтической панораме родной и близкой с детства поэту природы он, естественно, обращается к «характеристике» времен года:

*Я любить не устану,
Много сердцу дано.
На ночном полустанке
Я открою окно.*

*В лунном свете неровном
Слышен с белых полей
За сугробом дородным
Скрип далеких саней.*

*Сколько жил я, не помню.
И считать не берусь.
Весь тобою заполнен,
Моя добрая Русь.*

Не правда ли, здесь, как, впрочем, и во многих других произведениях А. Малиновского, так или иначе связанных с темой Родины — России — природы, слышится и смысловая, и интонационно-стилевая переключка со знаменитыми есенинскими строчками:

*Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»*

Наиболее характерные приметы национального пейзажа, эти спутники вечности, знаки непогибающего, нетленного, субстанциального, часто сливаются в эстетическом переживании природы у Малиновского с интимно-личностным началом. И тогда стихотворно-поэтическая ткань разворачивается как своего рода лирический дневник, в котором проникновенно запечатлены многообразные переливы напряженной психологической жизни. То трогательно-волнующие, упоительно-захватывающие, а иногда драматичные любовные переживания:

*В душе моей — любви моей осколки.
И прошлогодний снег,
И дым вчерашний...
Стою один.
А за пустым окошком
Летят грачи над темно-сизой пашней.*

*Все тот же мир теплыни и простора,
Как будто вовсе не было зимы.
И только там, за синим косогором,
Спилили дуб... Под ним встречались мы.*

То раздумчивая грусть в «Одиночестве»:

*Осенний лес и холоден, и пуст.
Ноябрь настал.
Какая тишь кругом.
И только гулко раздается хруст
Валежника под мокрым сапогом.
Один лишь дуб хранит свою листву,
Как лета дар
И как о нем печаль.
Глаза мои все ищут синеву,
Но нет её, есть лишь седая даль.*

Или стихотворение «Зазимок» — мысли о смерти, вдруг пришедшие на перевозимье, в мгновение меж осенью и зимой при взгляде на первый снег:

*Ночью выпавший зазимок
Изменил все на пруду.
Знаю: жизнь неумолима,
Срок придет — и я уйду.
Как следы мои в порошу,
Я исчезну, не вернуть.
Дорогой моей, хорошей
Кто облегчит трудный путь?*

Однако остановимся. Ибо произведения А. Малиновского можно читать и цитировать долго и не без удовольствия. Важно отметить, что есть в его природно-поэтической картине один мотив, ещё одна, на мой взгляд, существенная особенность: поклонение дереву и порой очень трогательное его описание. Кстати, нечто подобное наблюдается и в прозе А. Малиновского, начиная с названий некоторых вещей: «Дикая яблоня», «Пронькин осокорь», «Кривая ветла»... Особо теплое, интимное отношение к дереву неизменно ассоциируется у Малиновского с чем-то самым дорогим, очень сокровенным. Вот как в этих строчках:

*Я тополек за пазухой принес.
Я отогрел его в своей рубахе.
И вот теперь меня он перерос
И превзошел и в силе, и в размахе.*

*И я в густой тени его сижу,
Перебирая желтый лист опавший.
И на него задумчиво гляжу,
Как на меня глядел отец уставший.*

Как-то в одной из наших бесед он обмолвился, что когда-то задумал и частью исполнил лирический цикл о дереве, но потом стихотворения из него включал вразбивку в различные сборники. Вероятно, этот замысел возник из самой глубины близких, как мы уже знаем, Малиновскому по духу архаико-мифологических представлений, питающих народную философию и фольклор. В своей известной книге «Национальные образы мира» Г. Гачев говорит: «Человек (...) — срединное существо между небом и землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа (каким является и русский. — А.М.) таким архетипом-братом человека является дерево. И модель Мирового Древа руководяща в Логосе равнинных народов, так же, как животные — в космосе пустынь, кочевья (Конь, Верблюд и др.)». Это Древо несет в себе некую универсальную концепцию, определявшую на протяжении целых исторических эпох черты мировоззрения многих «человеческих коллективов Старого и Нового Света».

У разных народов роль Мирового Древа играют разные виды деревьев. У славян, кроме нереальных, фантастических деревьев (Вырий или райское дерево), — это чаще всего дуб, береза, явор, сосна, верба и яблоня. И эти деревья очень часто встречаются и в произведениях А. Малиновского. А о вербе сказано даже так:

*Никак не привыкну жить
В порыве и страстном, и нервном.
Хочется голову обнажить
И поклониться вербам.*

Как и в древнейшей мифологии, в том числе и славянской, в «лесу поэзии» А. Малиновского встречается описание некоторых параметров мироустройства через одно дерево. Скажем, в стихотворении «Одиночество» дуб, хранящий в позднее-осеннем сквозном лесу листву как «лета дар», символизирует чередование времен года. А в уже цитировавшемся стихотворении «Я тополёк за пазухой принёс...» подчеркнут другой временной аспект — движение, смена поколений.

В художественном развитии мотива дерева в поэзии А. Малиновского налицо и трансформация, своеобразное переосмысление вошедшей в народно-философские представления и фольклорное искусство идеи волшебных и очень разных связей дерева и человека. Например, стихотворение «Ветла», где, кстати, использован и важный для поэтики Малиновского приём олицетворения, широко распространённый и в народной устной традиции:

*У реки на бугре, где тропинка кончается,
Там седая ветла и скрипит, и качается.*

*И в холодной ночи, уронившая ветви,
Что-то шепчет своё под метели и ветры.*

*Но не холодно ей, не от холода стынет,
Будто горе сечет, будто плачет о сыне.*

*Ей бы, матери, весть — пусть совсем небольшую.
Вот и вышла она на тропинку лесную*

*Вот и плачет, и шепчет, и смотрит вокруг —
Нет ни старых друзей, ни недавних подруг.*

*Есть лишь темная ночь, одинокая старость.
Тихо плачет она. Долго ль плакать осталось?*

А. Малиновский рассказывает: «У меня есть в нашем лесу деревья, с которыми я знаком десятки лет и которым я всегда рад при встрече. Они

не только свидетели моей жизни, они — помощники мои и товарищи. Есть и такие, о существовании которых вообще никто, кроме меня, не знает. Они видели и помнят встречи-расставания с моим дедом и отцом, которых уже нет. У нас общие утраты и общие радости...». А вот отрывок из стихотворения «Затворник», где сходятся тематические мотивы любви, творчества и пребывания в лесу как своего рода священнодействия:

*Я отложил стихи и в рощу вышел.
В шумевших зеленью лесах,
В необозримых небесах,
В былинке серой у дороги,
В осинке тонкой — недотроге —
Все пело о тебе одной —
Все было песней молодой.*

...Одна из вечных тем всей мировой поэзии, да и всего искусства, — любовь. А некоторые особенности любовной лирики А. Малиновского в своё время так охарактеризованы им самим: «Здесь я многое пытался (...) себе уяснить. Мне часто думается (...), что любовь (взаимная) — это что-то вроде заговора (сговора) двоих против всего мира, и не иначе. Что-то есть от этого». Но это, естественно, лишь частица безграничной темы.

Любовные переживания лирического субъекта у Малиновского обращены либо к прошлому — пережитому некогда волшебству откровения, восхищению, доходящему до экстаза, которые ещё как бы продолжают в по-юношески сладостных грезах пополам с горечью утрат. И к настоящему. И к будущему, с которым связывается надежда на возможное обретение подлинного счастья и вера в предстоящие радостные встречи. Часто эти временные измерения сливаются в единое целое. И отделить их друг от друга становится почти невозможно. Но есть и стихотворения, обращенные только в прошлое или только в будущее, как это:

*Я по характеру — запойный пьяница.
Строку лишь только пригублю,
Рука к перу с бумагой тянется,
Я вновь тоскую и люблю.*

*И вновь мечтаю, как о чуде,
Всю ночь, до ранних петухов,
Что мы всегда с тобою будем
Вдвоем.*

...И никаких стихов.

Да, любовь в поэзии Малиновского действительно предстает как чудо, как высшее и священное чувство, в изображении которого всегда

существует какая-то тайна и недосказанность, хотя ему не чужды подчас черты бытовой конкретности и объективизации случаев и обстоятельств. Но чаще всего все остается в неопределенности, в пределах зыбких символических намёков.

Поэтическая «история» любви у Малиновского почти всегда драматична. Но не своими внешними, так сказать, проявлениями, а крайней внутренней напряженностью, как в стихотворении «Память». В нем глубокий, развернутый подтекст, пережитое лирическим героем и героиней в прошлом обозначено лишь в нескольких внешних знаках-деталях. Но как много они говорят! За ними таятся драматические и впечатляющие перипетии. Их нельзя пересказать, а, скорее, можно лишь ощутить. Здесь слиты радость свиданий и грусть разлук, невольное, быть может, жестокосердие, равнодушие и милосердие, прощение, раскаяние и упование. А, главное, возникает такой остающийся без ответа вопрос: возможно ли духовное возвращение лирического героя к тем чистым истокам высокой любви и взаимопонимания, утраченным по воле судьбы и каких-то остающихся «за кадром» событий?

И, наконец, идеалом в любви выступает нежность, далекая от всякой, тем более грубой, чувственности, как в стихотворении с посвящением «Ларисе»:

*Я глядел веселыми глазами,
Отчего же,
Непонятно мне,
Теплыми июньскими ночами
Ни о чем печалюсь в тишине?*

*То ли сердце чувствует разлуку?
То ли вижу жизни скорбный край?
Дай твою с изгибом нежным руку,
Наглядеться на тебя мне дай!*

И всё-таки при всей интимно-камерной «замкнутости» и упоенности любовь и нежность у лирического «Я» в какой-то момент неожиданно и невольно смыкаются с очень широким по звучанию и пафосу чувством Родины, как в стихотворении «Я болен был...»:

*Не знаю, кто из нас двоих в ответе,
И мне ль судить, что сделано тобой.
Но наш разрыв так жизнь мою отметил,
Что долго был я ко всему глухой.*

*Вот почему теперь я тонко слышу,
Вот почему сейчас мой взгляд остёр:*

*Я болен был — но разлюбил и выжил,
Моя душа стремится на простор.*

*Нам теперь дорогою песчаной
Не бродить вдоль наших сонных сел,
Но образ твой, то ясный, то туманный,
В понятие родины моей вошел.*

Красоту родного и близкого поэт находит не только в том, что открывается взору в настоящем, но и в том, что существует лишь в сердце — в эпизодах детства. Внутренний взор лирического субъекта часто воскрешает состояние особого гармонического родства с окружающим, свойственное, пожалуй, лишь ребенку. Поэтому, наряду с пейзажами, написанными как бы с натуры, у Малиновского возникает и абрис сияющего идеального мира детских впечатлений. И некоторые его стихотворения вполне можно назвать путешествиями в прошлое в «поисках утраченного времени», лучшей поры жизни с её безмятежностью и незамутненной радостью бытия. Одно из них так и озаглавлено — «Светлый берег»:

*Движение — всему начало.
Земля уменьшена до глобуса.
О, как Утёвка б заскучала
Без ежедневного автобуса.
Без этих грустных расставаний
И добродушно-строгих глаз.
Мои сельчане-горожане,
Я часто думаю о вас.
(.....)
И наше суетное бегство
Нельзя предательством назвать...
Чем дальше светлый берег детства,
Тем все труднее уезжать.*

Ещё одной органической «составляющей» развертывания темы Родины является образ матери, той, что всегда «откликается далеким эхом» лирическому «Я» и бережно собирает сердцем все его радости и все тревоги. Эта заветная фигура воплощает и ту «малую» Родину поэта, его Утёвку, летописцем и певцом которой он в какой-то мере оказался.

И неудивительно. Ведь А. Малиновский признается: «Всегда с радостью возвращаюсь в Утёвку. Сегодня у меня в селе ещё остались родственники, друзья и родной дом — школа. Прекрасно помню, как на попутках добирался (...) домой, и последние два-три километра дороги до

села — пешком. Мимо церкви, тогда разрушенной, к матери, к её святи- щемуся в ночи окошку. По дороге читал стихи, пел песни...

Никогда мне не расплатиться за все, что дали родные места. Делаю что могу. Как бы ни был занят, но с новой книгой в первую очередь еду до- мой. И знаю, что здесь меня и моих друзей ждут, встретят гостеприимно. Мне кажется, нет добрее и прекраснее людей, чем на моей родине (...).

3

«Несерьезные» поэтические миниатюры, собранные в книге «Звезд- ное коромысло», а затем в сборнике «Окошко с геранью» — ещё одна серьёзная ипостась творчества А. Малиновского, обнаруживающая его способность не только предельно лаконично, афористично выражать свои размышления о жизни, но и весьма органично соединять на сверх- малом, точечном, так сказать, поэтическом пространстве шуточные, юмористические интонации с серьёзной философской мыслью.

*Мой внук,
мы все на звездном коромысле, —
И ты, и я, и шумные друзья.
Где с двух концов
над бездною повисли
«Я так хочу!» И твердое: «Нельзя!»*

И вновь — все «от себя» и «о себе», все от накапливающейся с те- чением времени мудрости, прокладывающей наиболее верный путь по жизни. Что не могла не заметить критика: лирические миниатюры — это «короткие, но точные, бьющие, как говорится, не в бровь, а в глаз, че- тырех-шестистрочные стихи, раскрывающие действительность с нестан- дартной стороны». Или: «Очень любопытна книга (...) «Звездное коро- мысло», где автор, вторя Омару Хайяму, с грустью, но не без иронии раз- мышляет о жизни. Как признается писатель, эта книга как своего рода учебник предназначается внуку Саше. И ему же она посвящена».

Появление «Звездного коромысла»¹ к концу десятилетия первых крупных публикаций А. Малиновского, несомненно, связано с двумя от- четливо наметившимися в них тенденциями. Это, во-первых, тяготение ко все более глубокому проникновению в подчас загадочные хитроспле- тения бытия: «Более всего сейчас (и уже давно) волнует Человек, — го- ворит писатель, — хотя раньше для меня был интереснее мир вокруг Человека». Во-вторых, стремление к предельному художественному аскетизму, становящемуся важным свойством поэтики. И, кроме того,

¹ В последствии издано как отдельный цикл «А я такое бы сказал» в книге «Окошко с геранью».

миниатюры бесчисленными нитями связаны с другими, в том числе эпико-прозаическими произведениями А. Малиновского. Потому что эти «крохотки» (воспользуемся словом А. Солженицына) почти всегда содержат несколько образно-смысловых слоев, предполагающих возможность очень широкой их интерпретации. Например:

*Течет ручей.
Течет, почти не слышимый.
Полметра вишь, и только-то всего!
Но этот куст черемухи душистой
Растет не где-нибудь, а около него.*

Или:

*Любить доступное.
Я мудрость эту
Не сразу принял, но сейчас
Иным наполнено все светом
И все мне будто в первый раз.*

Малиновский (пока, во всяком случае) не разделяет свои миниатюры на привычные тематические циклы, а создаёт их как естественное течение, поэтическое «эхо» биографии души. Поэтому, как верно подметил поэт Е. Семичев, книга «Звёздное коромысло» словно «составлена из: песчинок, которые, пересыпаясь из одной плоскости в другую, отсчитывают время подобно песчаным часам».

Но одну тематическую линию, выражающую и конфликтное противостояние, и взаимосвязь мысли и чувства разума и эмоции, во внешне прихотливом и непредсказуемом движении-роении этих песчинок всё-таки стоит выделить. Тем более что сам А. Малиновский считает: «(...) определенным сдерживающим фактором в моём творчестве является постоянный поединок (...) между рациональным и эмоциональным. (...) Когда-то, в 16-18 лет, я глушил в себе эмоциональное, теперь врага вижу в прагматизме и рациональности. В наш рациональный век поэзии (...) тяжело». Не будем забывать также и очень важную творческую и в высшей степени рациональную научно-техническую сторону жизни А. Малиновского, признавшего как-то в минуту откровения: «Сказывается рационализм моей профессии, хотя бы то, что имею более двух десятков авторских свидетельств на изобретения — этот род деятельности великолепен, но поэта он сушит».

Всего в «Звёздном коромысле» около сорока миниатюр, которые так или иначе касаются того, о чем только что шла речь. Приведу лишь некоторые из них:

*Порой под бурные овации
Нас убеждает интонация.
И истину тогда забыв,
Мы попадаем под призыв.*

Или:

*Пришла пора воспоминаний,
В мечтах давно уже не рею.
Я принял мудрость без терзаний:
Что ж, видимо, пора — старею.*

Или:

*С самую сутью не переча,
Дадите ценный вы совет.
Но теплоты в вас человечьей
Как будто не было и нет.*

Итак, рассматривая некоторые стихотворно-поэтические миниатюры «Звездного коромысла», мы видим, что их автор стремится уйти от имеющего протяженную художественную и философскую традицию резкого и категоричного противопоставления, разведения разума и чувства. О чем Блез Паскаль писал: «Будь у него (человека. — А.М.) только ум (...) или только страсти (...) Но, наделенный и разумом, и страстями, он непрерывно воюет сам с собой, ибо примиряется с разумом, только когда борется со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда страдает, всегда раздираем противоречиями». Конечно, момент этого острейшего борения у Малиновского присутствует. Но главное — иное: снятие абсолютной противоположности мысли и чувства, рационального и эмоционального начал. И здесь поэт, на мой взгляд, перекликается с концептуальными идеями Т. Визенгрунд-Адорно — философа, эстета, искусствоведа, одного из столпов знаменитой Франкфуртской школы. Он убедительно обосновывает необходимость выражения переживания радости, боли, страдания на сухом языке строгих, однозначных определений, при котором рационалистическая понятливость и холодная рассудочность проникаются жизненной непосредственностью, импульсивностью и стихийной природностью. И за всем этим отчетливо просматривается какая-то новая духовность, разительно контрастирующая с широко распространившейся в современной цивилизации и культуре «ледяной пустыней абстракций», где правит технологическое рэцио, основанное лишь на расчете и вычислении. Там, в этих пустынях безжалостно преследуется все, что не укладывается в жестко очерченные рамки, что непредсказуемо и идёт от сердечного жара.

Этот-то жар и входит в ту духовную субстанцию, которая питает «Звёздное коромысло» и многие другие, не только, кстати, стихотворно-поэтические произведения А. Малиновского. Ощущаем мы её дыхание и в этой его миниатюре, прямо подводящей нас к разговору о музыкально-песенной трансформации некоторых собственно стихотворных текстов А. Малиновского:

*Ты далека,
Так далека, что песней
Своей я до тебя никак не дотянусь.
И я, создавший мир в себе чудесный,
Один с сокровищем ненужным остаюсь.*

4

Так уж получилось, что последним серьезным выступлением писателя, завершившим первое десятилетие его публичной литературной активности в поэзии и прозе, неожиданно оказался песенный сборник «Окошко с геранью» (консультант — Г. Беляев, составитель — Г. Матюхин), выпущенный издательством «Парус» при участии Литературного центра В. Шукшина и детской организации «Клуб «Движение» и посвященный 150-летию Самарской губернии.

...Все начинается с обложки художника Г. Дудичева, являющейся своеобразным «зримым эпиграфом», образно-смысловая суть которого — выразительный фотопортрет писателя, выполненный К. Байгузиным.

На первый взгляд, просто будничным момент — присел человек отдохнуть у колодца. А сосредоточившись, представляешь, будто Малиновский продолжает творить. Так из схваченного фотографом жизненного мгновения вырастает то сокровенное состояние, которое наиболее полно и ярко передается, пожалуй, именно в песне, когда «душа стесняется лирическим волнением». Таким же волнением, несомненно, были захвачены и композиторы, независимо от их профессионального образования, опыта и дарования, — Г. Беляев, М. Левянт, В. Першин, С. Тютерева, Н. Подуков, А. Евстигнеев и А. Плаксин.

...Ещё до выхода сборника мне довелось услышать некоторые из составивших его песни в различном исполнении. И уже тогда подумалось: насколько же органичным оказалось музыкально-интонационное воплощение поэтического слова Малиновского. Более того. Некоторые песни убедительно доказывали, что их звучание рождается исключительно из самой словесно-художественной ткани. Потому что «автору слов» свойственны абсолютная искренность чувств, предельная естественность и безыскусность.

«Ведь когда человек поет?» — задаётся вопросом автор предисловия, тоже чуткий к слову и жизни поэт и прозаик Иван Никульшин, — (...) когда

не в силах удержаться от прилива нахлынувших чувств. Когда (...) заходит-ся сердце, трепещет душа и само существо как бы устремляется к небу».

*Сторона родная,
Болен я тобой.
Справа степь без края,
Слева лес с рекой.
Церковь посредине
И зари костер.
Край ты мой низинный,
Радостный простор.*

О Малиновском можно сказать, что он думает сердцем. И потому его глубокие жизненные раздумья пропитаны сильными переживаниями. Теплая, живая мысль рождается и существует в поэтическом тексте как органическое проявление его внутреннего «Я» и особенности стиля. И поэтому в песнях проступают и захватывают слушателя достоверные приметы быта и бытия.

Наиболее отчетливо это проявилось, пожалуй, в песне «Окошко с геранью», не случайно озаглавившей весь сборник. Ведь в окошко это, если угодно, видны многие важнейшие мотивы творчества А. Малиновского, близкие некоторым особенностям национального русского мелоса. И сокровенное чувство родных истоков, отчего дома. И образ матери с её песнями. И мелодическая напевность. И восторг перед земной благодатью. И какое-то особое ощущение гармонии разномасштабного мира в единстве и неслиянности крошечного домика и земного шара. Ну и, конечно, зоркое видение большого в малом.

*Матица с крюком над зыбкой скрипела —
Матушка песни сердечные пела.*

*Детство моё уж давно отзвенело,
Матица в доме своё отскрипела.*

*Выпорхнул, встал на крыло и умчался —
Шарик земной небольшим оказался.*

*Все-то мне кажется раннею ранью —
Матушка смотрит в окошке с геранью.*

*Где я, какой я, и песни какие
Нынче пою в наши годы лихие...*

*Матица с крюком над зыбкой скрипела —
Матушка песни сердечные пела...*

Завершая далеко не исчерпывающий, неполный анализ продолжающихся стихотворных исканий А. Малиновского, подчеркну, что они так или иначе соотносятся с двумя имеющими давние и много-разветвленные корни концепциями поэтического творчества.

Одна из них выдвигает в нем на первый план насыщенность текстов сложными, изощренными, подчас весьма непростыми, даже трудными для спонтанного восприятия изобразительно-выразительными средствами и приемами, мобилизующими едва ли не все ассоциативные ресурсы языка. При этом они даже могут обрести статус так называемых «нервных узлов поэтической системы» (А. Веселовский). О крайних проявлениях данной тенденции уже знакомый читателю Х. Ортега-и-Гассет говорил как о «метафорических вывертах», когда молния сравнивается с «плотницким аршином», а «зимние деревья» превращаются в «веники, чтобы подметать небо». Лирическое оружие обращается против естественных вещей и убивает их.

Вторая концепция не приемлет лавины предельно усложненных приемов построения словесно-художественного целого. В. Брюсов писал о том, что «задачи поэта вовсе не сводятся к тому, чтобы выискивать новые, ещё небывалые образы и сочетания слов. Поскольку нов будет общий замысел произведения, постольку будут новы (...) его образы. Поэзия всегда — синтез между двумя представлениями (...) На этом основаны все тропы, все метафоры («зеленокудрые леса» — синтез между кудрями и лесом). Но этот синтез должен быть оправдан основной мыслью художественного произведения. Где такое оправдание есть, нечего бояться быть банальным или слишком изысканным в образах.

Его образы, подчиненные единому замыслу и единому стилю, будут те единственные, которые возможны в данном произведении». А вот мнение С. Есенина, которому, как мы уже говорили, близок А. Малиновский. Он ратовал за конкретность и однозначность даже последовательно ориентирующегося на сложную метафористику языка: «Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотделимо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства». Отсюда, кстати, и оригинальная есенинская модель естественного саморазвития поэтического образа как «узловой завязи природы».

Именно в русле этой концепции и развиваются искания А. Малиновского с их лаконизмом, подчас демонстративно подчеркиваемым аскетизмом, скупостью словесно-художественной, так сказать, палитры. Хотя ему и ведом вход в «лавку метафор»:

*Край неба, как будто арбузная мякоть,
А семечки — звезды в прохладном соку.
Но вечер-прохожий в осеннюю слякоть
Доел тот арбуз и уснул на боку.*

Но всё-таки главное для А. Малиновского — простота, о чем с самого начала упоминалось не раз.

*Все о деревне, о деревне,
В лучах закатных меж деревьев:
Все о раздумье дальних плесов.
О новом дне, зачатом в росах,
О боли в сердце — о России
Ищу слова, слова простые.*

Критик Ю. Баранов, вспомнив хрестоматийную пастернаковскую формулу о плодотворности впадения «как в ересь, в неслыханную простоту», справедливо отметил: «простота» эта для Александра Малиновского — не ересь, то есть не отклонение от правильного. Ему нет нужды поминутно заверять читателя, что вообще-то он может любую загогулину прописать, а простота — это лишь один из фокусов. Для Александра Малиновского простота (отсутствие выкрутасов) — норма. Они ему не нужны. Заявлять об этом прямо смеют не все. Александр Малиновский — смеет».

Но всё-таки что это за простота? Так ли с ней, прибегнем к вынужденному каламбуру, все просто? Ю.Баранов говорит и о стремлении поэта «передать вечное, исходное, глубинное, корневое»:

Вот именно! Оттого простота Малиновского — интегральная, емкая и сердечная.

И ещё... таинственная. На это «таинственное» определение натолкнули следующие строки:

*Таинственность бежит от простоты.
И мудрости большой в ней явно нет.
Я это понял так же, как и ты.
Но вновь в плену её! Так в чем секрет?*

Способ художественного изложения у Малиновского действительно внешне прост. Но не потому, что элементарна содержательная его сторона. Она-то как раз весьма сложна — в непрерывном движении слитых с мыслями чувств, изобилующем их оттенками и полутонами, взаимопереходами и пересечениями. А фигура поэта, на мой взгляд, предстает как точка сложения многих, подчас очень разных, воздействующих на человека сил, которые сгущаются и преломляются в лирическом «Я».

При этом сугубо частное, индивидуальное словно расширяется до горизонтов общезначимости.

А сам труднейший путь поиска остается как бы за скобками, свертываясь, что особенно заметно в стихотворных миниатюрах, в кристаллизованных выводах. Множество, сжимаясь, концентрируется в единичном. Отбрасывая все лишнее, поэт, как он сам говорит в одном из стихотворений, добирается до истины «целиной».

И обнажается некая суть, начисто лишенная благостности, благолепия и безоглядного оптимизма, пронизанная порой нотами усталости, боли, тоски и разочарования. Отсюда — и «вспышки», правда, нечастые, обнаженной публицистичности, питаемые открытым пафосом неприятия теневых сторон текущей действительности. Так возникает в поэзии А. Малиновского этико-эстетическая катализация, как бы предваряющая и облегчающая познание и преобразование мира, захватывающая сопереживанием неравнодушного читателя.

К тому же поэт почти всегда избегает соблазна внешне убедительных, прямых, простых, так сказать, ответов. Его постоянная, неуходящая тревога включает в себя и то мучительное порой сомнение, которое, как известно, обостряет творческую чуткость и восприимчивость художника.

*Я никого не обвиняю.
Моя же в том, должно, вина,
Что больше чувствую, чем знаю, —
И в этом вся шту-ко-ви-на.*

И ещё:

*Блажен, кто истину познал,
Но трижды — кто не ведает о ней!*

Так видимая простота у Малиновского оборачивается сущностной художественно-концептуальной сложностью, «адовой работой» венчания в саду жабы с розой.

*Я пропащею жизнь не считаю
Ни свою, ни Вашу. Ничуть.
Но я честно скажу, что не знаю,
Не знаю, где — истинный путь.*

Алексей Молько,
*кандидат филологических наук, доцент Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии*

«МОЛЧАНИЕ СТАЛО ПРОРЫВАТЬСЯ...»

Что-то такое появилось в современной литературе, чему и названия нет. Какая-то тяга к тому, чтобы услышали, прочитали. Своеобразная исповедальная проза. Выговориться за долгие годы молчания.

В шуме и многоголосице нашего дня, в вихре информации, как ни странно, человек чувствовал себя одиноким, брошенным. Витии вроде бы и талдычили о народном благе, но в их глазах сквозил хитрый прищур рвачей и выжиг. Никому был не нужен человек со своею болью. Словно рыба в аквариуме, он смотрел на мерцающий экран телевизора и молчал, молчал, молчал...

И наконец, это молчание стало прерываться. Торопливо записывая свои впечатления, стремясь объяснить с невидимым собеседником, поведать ему личное, затаенное, люди стали доверяться бумаге. Выплескивать в не оформившейся ещё прозе, в поэзии острое, всё в иглах проблем и противоречий, содержание.

Нечто подобное, думается, произошло и с Александром Малиновским, автором нескольких книг прозы, поэзии и публицистики. Сам он родом из Самары, из среды, как говорили раньше, технической интеллигенции. Сейчас директорствует на двух крупнейших химических предприятиях. С его литературным талантом (а к слову его тянуло с ранних лет) в прежние годы он бы издал, скажем, в «Новом мире»; «Записки директора за вода». Проблемная публицистика на злободневную рабочую тему. Такие воспоминания любил отыскивать в редакционном «самолетике» Твардовский. Тут же бы откликнулись в «Лит. России» «аналитики темы» типа Бровмана или Медникова. И на этом автора благополучно бы «закрыли».

Но в случае с Малиновским все серьезнее и сложнее. Уж, казалось бы, какой интересный материал — будни современного производства. Какие конфликты, характеры, реалии!.. Что там происходит, так сказать, изнутри, после всех этих реформ? Но если человек, даже директор, не разобрался в самом себе, если он не выговорился (ибо некогда, некогда...) о том, что произошло в стране, то и его записи не могут касаться лишь производственных вопросов, он пишет вроде бы обо всем, но прежде всего о себе. Стремится понять себя, определить и защитить своё. «Что надо, чтобы жить с умом? — спрашивал тот же А.Т. Твардовский. И отвечал: — Искать свою планиду. Найти себя в себе самом. И не терять

из виду». Александр Малиновский, казалось бы, давно «нашёл себя», вся жизнь по заводскому гудку, но и в чем-то себя «потерял», ведь ещё в молодости мечтал поступить в Литературный институт. Спустя многие годы он находит себя и в писательстве. Как он сам выводит формулу существования: «Смысл всему придает человек, его искать надо в себе. Разобраться в себе. Поставить цель себе и сделать её смыслом жизни».

Стержнем всего творчества Александра Малиновского стала какая-то одухотворенная, прямо-таки восторженная любовь к родной земле. Много повидав, автор вновь и вновь возвращается к своему селу Утёвка. Возвращается не только в воспоминаниях о детских счастливых временах. Возвращается весьма деятельно. На несколько лет Александра Малиновского увлекла история своего земляка художника-иконописца Григория Журавлева. Поистине широк русский человек, поубавить бы его! Почти забытый Григорий Журавлев в буквальном смысле от природы был «поубавлен» — не имел ни рук, ни ног. И, несмотря на такой безжалостный выверт судьбы, нашел в себе силы выучиться, сжимая зубами кисть, на прекрасного живописца, чем заслужил великое уважение земляков.

Но и эта судьба — героическая! — в трагедиях XX века забылась. Понимая всю несправедливость такого беспамятыства, Александр Малиновский поставил своей целью собрать всё, что было возможно, о Журавлеве, записать воспоминания о нем, найти разбросанные по стране иконы его письма. В результате получилась очерковая книга «Радостная встреча», где в бесхитростной форме сложилась мужественная сага о народном таланте. Малиновский нашёл и фотографию своего героя, восхищаясь достоинством его лица, одухотворенностью взгляда. Всматриваясь в такой лик, не замечаешь и природного уродства человека.

Человек никогда не должен сдаваться — такому девизу следовал и дальше Александр Малиновский. Его размышления и наблюдения над современной жизнью вылились в прозаическую трилогию, полностью вошедшую в книгу «Повести». Здесь и деревенское детство героя, и трудовые будни руководителя крупного завода, и неустроенность личной судьбы. Публицистика перемежается с лирическими воспоминаниями, заграничные впечатления — с горестными раздумьями о путях-дорогах Родины. И вырисовывается портрет нашего современника, задержанного, усталого, разочарованного, но хранящего в глубине души надежду, что «всё придёт, всё перемелется». Только вот когда и как?

Вадим Дементьев,
профессор Литературного института имени М. Горького

ХЛЕБНАЯ КОРКА

Александр Малиновский занимает в современной литературе место особое: его сочинения рождены «умом естественным», источником своим имеющим законное стремление сохранить в литературе тот реальный опыт, тот жизненный тип, к которому и сам принадлежит. Кажется, Малиновский считает себя должником — должником ближних своих, земли своей — села Утёвки и самарских волжских просторов. Должником народа своего, из которого он вышел в люди интеллигентом первого поколения. Сегодня именно в таком интеллигенте сохранилась подлинная благодарность к культуре, а сам он — прямое «доказательство» её достоверности, её реальной силы по выделке человека. Александр Малиновский не стал ждать, когда другим (профессиональным писателям) станут интересны его инженеры, технологи, заводские рабочие и директора-промышленники. И правильно сделал — не дождался бы он внимания, не стали они интересны литературе, столь стремительно убегающей от всякой «производственной тематики» как скомпрометированной (часто ими же). С документальной тщательностью и публицистической прямоотой повел Малиновский речь о том, что на самом-то деле оставалось фундаментом нашей жизни: да, все мы только и слышали о реформах экономики, о свободном предпринимательстве, но как реально выживали те, кто становился непосредственным «полигоном» для новых реформ, — о том не говорили. «Черный ящик» потому и написан, чтобы сохранить (и докричаться до будущих историков) тот простой опыт, который переживал так называемый «директорский корпус», тот простой опыт «негероической жизни», который стоил многим из них столь же простой «негероической смерти». Конечно же, принцип переустройства всех оснований нашей жизни работал на разрыв, на потери, на разлад. Но, пожалуй самым ценным в «Черном ящике» является описание такого человеческого типа (в лице директора Стражниковова), который не позволил разорвать времена — не позволил все накопленное поколениями добро посчитать своим, личным, не позволил обанкротить завод, не позволил опуститься своим подчиненным. Его собственная жизнь, его воля стали той скрепой, тем цементирующим звеном, что не дали окончательно разойтись временам. Они, такие директора и совсем не герои, смогли так «согнуть» реформы, оставив луч-

шее от советского времени, что определенно можно было бы сказать, что именно по этому пути и нужно было идти: модернизировать, сохраняя. Читая Малиновского, я не раз вспоминала Юрия Федоровича Галкина, много лет отдавшему размышлениям о национальном труде, о тягловых сословиях, о сущности административного труда и пришедшего в печальном выводу: у нас нет осмысленной концепции общенационального труда. Герои Малиновского, будучи прежде тягловым сословием, трудом которого жило и богатело государство, таковыми и остаются, — только условия их нынешней тягловой ноши и совсем за-предельно-тяжелы.

Это бойким публицистам и чистеньким «гигиеническим» экономистам можно было безответственно болтать о будущем цветении «рыночной экономики»; это интеллигентам-оппозиционерам можно было сколько угодно громко обругивать правительство, но реальным хозяйственникам нужно было работать с этим правительством, чтобы в результате все тот же оппозиционный интеллигент имел элементарные силы на свою ругань и «критику». В сущности, все большие произведения («Чёрный ящик»¹, «Отклонение», «Совмещение») Александра Малиновского стали своеобразными памятниками такой невозвышенной, будничной и изнурительной борьбе «производственников» против «оскала капитализма» — за человеческий облик нашего бытия, которое вообще стремительно переставало определять сознание. Сознание же самого Малиновского-писателя, мне кажется, определялось верным «чтением жизни», живым отношением к живому. Он говорит о такой среде (людей дела, производственников), которая весьма далеко от эстетического благолепия, которая была в первую очередь искалечена и скомкана катком реформаторства, но он увидел и в ней, под её грубой экономической оболочкой, громко бьющееся сердце человека. Он увидел сквозь «хозяйственное», сквозь борьбу за элементарное пропитание, кусок хлеба глубокий идеализм русского человека. Где, в какой цивилизованной стране с рыночной экономикой, рабочие, утягивающие ремни на животах, придут к директору с предложением урезать зарплату для того, чтобы сохранить завод? Где не будут продавать свой опыт, инженерный талант только за «чечевичную похлебку» легких денег времен варварского обогащения (герой повести «Отклонение»? Малиновский увидел человеческое достоинство, а значит и красоту, в облике русского мужика, рабочего, инженера. Он подтвердил своими героями, что русским людям скучно прозябать, скучно быть «негосударственными

¹ Повесть «Чёрный ящик» в последствии вошла в роман «Противостояние» в качестве главы.

людьми», не иметь большой общей цели. Его герои живут в нужде (и в городе, и в деревне), но нужду внешнюю, лишения можно претерпеть, вот только она в богатейшем государстве оскорбительна для сердца. Это оскорбленное, разоренное сердце есть у многих героев повестей и рассказов, как есть и сильная тяга к преодолению раздора: один бросит своё дело, работу и будет, забыв все, описывать свои переживания, сочиняя то ли дневник-документ, то ли роман, другой уйдет в Церковь, пробиваясь к вере праотцев, третий будет ежедневно, с предельным упорством, склеивать «фрагменты бытия», оставшиеся живыми после катастрофического низвержения с государственных высот, четвертый примется искать всякие «древности» на родной земле, изучать историю. Бессознательная сила привычки к противостоянию разорению — не в генах ли она у русского человека?

За всей простой житейской действительностью, разместившейся в повестях и рассказах Александра Малиновского, стоит и ещё один чрезвычайно интересный опыт — опыт того, как на самом деле менялся простой человек за все эти годы реформ. И мы видим, что путь этот совсем не тот, что описан в нашей лихой прогрессивной журналистике. Это — опыт изменения народной толщи, донной жизни, который, действительно, был практически никому из писателей нашего авангарда попросту неинтересен. Увы, но историю пишут люди образованные. «Образованные люди» эпохи смуты, быстро закрыв (или зарыв) «тоталитарную тему» советской культуры и советской жизни, пустились во все тяжкие свобод: они не описывали реальность, исходя изнутри России, но вертели головами, вынюхивая запах ветра, предпочитая западный. Они не описывали реальных людей, но вбрасывали в жизнь и культуру новую мифологию, зараженную вирусом предательства.

Малиновский как раз и занял позицию «изнутри России», и, если случается его герою покидать пределы родины, то все равно это направление «к Западу от России» — все равно Россия остается на месте, в центре, вместо общепринятого движения «с Запада к России». Изнутри России все то же остается неизменной монетой, что и во все времена: терпение и труд. Вообще у Малиновского человек по преимуществу крепкий и деятельный — тут, конечно, видна личность автора, но при его верности документальному ходу жизни, с автором хочется согласиться.

Народность героев Малиновского, как и его народной интеллигенции, совершенно невыдуманная и неидеологическая, хотя всеми своими сочинениями он дает нам возможность опираться на эту народность как на идеологию, дает тот «литературный чернозем», без которого

дело любого критика национального толка будет шатко. И так, как народным героем переживалось и проживалось все, что теперь называем революционным переворотом 1991 года? Во-первых, герои «Черного ящика», «Отклонения», «Опыты», «Всех помнишь?», «Про лошадиную биографию...», «Петряева правда» и др. не воспринимали этот «переворот» как «свой», народный, то есть сопровождавшийся подъемом национально-патриотического духа. «Усталую совесть» народа, конечно же, в нем использовали, но сам «катаклизм» никем из героев не воспринимается как происшедший «в пользу русского народа». Никакого самоопределения России не произошло, так как «ножки Буша» (в экономике, культуре) загрузили национальное пространство так плотно, что эта «формула официальной народности» народом же и была встречена не без должного ехидства. Во-вторых, отказ государственных сил от «государственного народа» был понят сразу — никаких «народных интересов» государство не могло уже представлять, и удержал народ сам себя в рамках народа государственного (я думаю этот феномен самоорганизации, самоудерживания ещё предстоит в будущем изучать). Как отдельный директор завода (то есть ближайшая к народу власть), так и сам народ — по Малиновскому — обнаружили в себе такие запасы внутренней «тягучести», гибкости, пластичности, что и помогли соединить контуры, имеющие разные очертания. Народное «тело» как бы обтесало, округлило чудовищные перекосы «реформ», как морская волна округляет камень. Вот это-то живое в народе, в простом человеке и является для автора настоящим неуничтожимым началом. В-третьих, бороться за «право жить по-своему», то есть национально, может только мыслящий человек. И Малиновский особенно ценит этого мыслящего сельского учителя или простого селянина. Конечно, его герои, как и он сам в борьбе за память об утесском иконописце Григории Журавлёве, не создают никаких «национальных концепций», но просто выявляют действие народного духа в нынешних условиях. А условия эти, всем известно, абсолютно критические — антинациональные. Русский человек в антинациональных условиях — тема огромная, для нескольких поколений писателей, но и Александр Малиновский внес в неё свою «малую лепту». Он сам, собственной практической деятельностью, совершенно не предполагающей никакого сочинительства, никакого художества показал, как велика в нас как в народе «сила сохраняющая» и «сила обновляющая». Последней, то есть обновляющей силой, стало для автора Православие: он совершенно не собирается высчитывать процентное соотношение «национального» или «православного» в характере нашего народа как это любят делать иные патриоты — но просто пишет

о возрождающихся храмах, о нашедших себя в вере людях как о деле совершенно естественном. Силой же сохраняющей, безусловно, для Александра Малиновского, стало детство. Оно прошло, но автор не забыл детского чувства свежести и правильности мира. Все, что детством выращено, то и стало в нем самым крепким основанием характера, самым твердым составом души. Детский цикл рассказов А.Малиновского сродни любому русскому, выросшему в просторном месте: кто забудет сенокосы, с их благословенной усталостью? Кто забудет дедушкин чай сенокосной поры из трав, которые хороши только там, в поле? Разве что-нибудь может вытеснить эту радость молчаливой слаженности в полевой работе? Или манящую загадочность большого мира? или запойное чтение? или родительский дом, так вкусно пахнувший печным дымком и хлебным духом по утрам? У меня, и у тысячи тысяч русских людей все было так же, все было то же, и перечитывать страницы детства всегда сладко. Ведь это абсолютно не важно, что писано-переписано о том сто раз — важно, что наша литература держит эту чистую линию детства, охраняет его границы. Детство у Малиновского в повестях и рассказах остается в человеке «набело». В повести «Под открытым небом» мир повернут к нам со стороны ребенка: тут и честность взрослых по отношению к ребенку, тут и общий семейный труд и деревенские праздники. Герой повести Шурка на все свои вопросы получал ответы в своей семье — и эта особенность деревенского мира сегодня особенно в цене. Где нынешние дети получают ответы на свои вопросы о мире? Увы, но чаще всего за пределами семьи. «Под открытым небом» — это повесть ещё и о том, как мальчишки вырастают в сильных мужчин. О том, что отец и дед, мать и бабушка в этом росте определяют практически все. Уже мальчиком Шурка знал отцовскую «силу и уверенность... во всем, что он делал». Уже подростком эта дедовская-отцовская сила «воспринималась как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь». Правильное детство — это счастье, это фундамент всей жизни. А настоящесть и правильность в герое Малиновского воспитывалась иногда и совсем простыми вещами, например, «сдержанностью за столом»: «...и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что дается нелегко и не вдруг». Потом деревенские пойдут в города, получают образование, станут государственными людьми при ответственных должностях, будут строить большую промышленность большой страны («Зеленый чемодан», «Совмещение»), но сохраняют эти деревенские правила — «уважения к тому, что дается нелегко».

У кого было такое детство, тот, конечно же, любит своё земное Отечество совершенно естественно. Быть может в самом ясном виде любовь эта вылилась в стихах Александра Станиславовича, положенных на музыку и ставших песнями. «Сторона родная» — это русская пейзажная лирика. Степь, о границах которой и не помыслишь, церковка по середине, озера со звездами, березки-утешительницы, ветлы— горемычницы, звонкая речка Самарка, тягучий волжский говор, силушка Волги, долготой своей упирающаяся в далекую дальность, матушка, смотрящая в окошко с геранью. Простые слова. Сердечные песни. Простая сила «хлебной корки»:

*Как хлебную корку,
В далеком, роскошном Нью-Йорке,
Я память о нашей Утёвке храню.*

Только и досталось двум-трем поколениям русских людей успеть себя вырастить в личность; поучиться с радостью, властью; поработать с энтузиазмом, осмысленно. Он, Александр Малиновский, из этого поколения. Но в литературу он пришел, когда всякий общественный, публичный и государственный интерес к ней свелся к простейшей задаче — пиару и удовольствию. Пришел, быть может потому, чтобы размыслить о потерях и приобретениях. Пришел со своей «хлебной коркой» — Утёвкой. Такой мерой меряют у нас до сих пор те, кто чувствуют себя «сопричастными ко всему», кто предпочитает «ясные отношения с миром», — то есть писатели с совестью.

Капитолина Кокшенёва,
литературный критик

«ЖИЛ БЫ Я... КАЖЕТСЯ, ЧТО ЖИЛ...»

Жил-был человек. Состоявшийся инженер. Семьянин. Защитил кандидатскую. Далеко не последний в ряду российской интеллигенции. Думающий. Размышляющий. Совестьливый. И вдруг эта самая совесть, а может быть, чувство самосохранения уходит в глубокое подполье и человек решает застрелиться. Вот с этого трагического эпизода и начинается повесть А. Малиновского «Отклонение». Жутко. Неправдоподобно. Никогда подобное безысходное я не читала у этого писателя с таким огромным оптимистическим зарядом. Откуда этот пессимизм, неверие в жизнь, дарованную нам Богом?

...Я прочитала это произведение четверть века назад. Тогда оно меня потрясло своей обнажённой болью за судьбу страны, общества, героя повести Касторгина. Потрясает и сейчас, когда я вновь листаю «Отклонение», вместившее 160 страниц с двадцатью главами.

Время то было для страны и всех нас страшное, переломное, хаотично выстраиваемое, с лукавыми лозунгами горбачёвской перестройки. Все мы в разной степени прошли путь мучительных раздумий и метаний, как и хорошо угадываемый прототип повести Кирилла Кирилловича. Однажды в беседе о творческой лаборатории писателя я спросила его о том, что во многом в его литературном наследии вижу и угадываю самого автора: его мысли и суждения, его твёрдая позиция по многим проблемам нашего стремительно меняющегося общества. Александр Станиславович не стал отрицать, но уточнил, что все его книги — это стусок его самого, без этого и писать не стоило бы. И это так! Столько энергии вкладывал он в своих героев, что невозможно не угадать, не услышать и не понять негромкий, но такой убедительный голос писателя.

В «Отклонении» этот голос звучит и за себя, и за нас всех, и за главного героя, потерявшего на какое-то время опору в жизни. Он сам, по своей совестьливой вере ушёл с завода, когда понял, что в новые рамки управления не вписывается. Уезжает «за бугор» любимая жена и увозит с собой дочь. Стать пенсионером в 53 года и с особой остротой и безнадёгой понимать, как подгибается под тобой земля, как мучительно шагать по знакомым улицам и скверам родного города и чувствовать себя ненужным, выпотрошенным до доньшка горестными думками о своей невостребованности ни в чём. Трагедия. Ещё какая, особенно для чело-

века, привыкшего загружать себя работой, наукой, книгами, заботами о семье. Тут не только за револьвер схватишься, а пустишься во все тяжкие...

Но писатель проводит своего героя через тернии горьких и порой безутешных раздумий, сталкивая его с самыми разными людьми, с которыми он в беседах и спорах сравнивает свой внутренний компас и приходит к мысли, что самое первое юношеское тяготение к литературе — вот тот путь, который ему был указан самой судьбой.

Отклонение — это ведь несовпадение или нарушение чего-то определенного, устоявшегося, к чему человек привык или чему был обучен. У героя произведения — вынужденное отклонение от той живой бурлящей жизни, от любимой работы и родного коллектива. На серьёзном и взрывоопасном производстве, где Касторгин командовал ресурсами, техникой и людьми, нельзя было допускать любые нарушения, иначе — катастрофа. И такая катастрофа в жизни самого героя могла бы закончиться плачевно. Собственно, и сам автор прошёл такую же суровую перекламеновку, поэтому он любит, жалеет, оберегает своего Касторгина, и выводит его к живительному источнику — к творчеству.

1998-1999 годы — такой временной отрезок занимают события, описанные в повести. Столько же времени заняла работа над повестью. Можно сказать, создана по самым горячим следам тех лет, когда нас накрыла девальвация рубля, резко поднялись цены на продовольствие и промышленные товары. В высших кругах власти началась лихорадка перетасовок и отставок, в стране — задержки выдачи зарплаты, а сельское хозяйство, как и промышленность, стремительно скатывались под откос разрухи и передела собственности...

Но вот что удивительно. Читаешь споры-разговоры и дискуссии героев повести о судьбе России, крестьянства, пролетариата, интеллигенции и невольно оглядываешься на сегодняшний день. Прошло три десятка лет, а как пророчески откликаются тревоги и опасения думающих и переживающих за Россию людей сегодня... словно вчера это было... Наверное, в том и состоит миссия писателя, чтобы прозорливо увидеть завтрашний день и предупредить нас о том, что «...этот шустрый бедлам вокруг власти будет, ох, как еще долго».

Погружаясь в книги Малиновского, невозможно оторваться от его героев, которые по прочтению становятся задушевными собеседниками и верными друзьями. Поскольку многие его произведения посвящены колоритным и узнаваемым жителям нашей Самарской области, то воспринимается писательское слово как прямое обращение к нам, читателям. Вот смотрите, люди добрые, словно говорит нам автор, я ничего не выду-

мываю, не приукрашиваю. Жизнь, как однажды сказал один из мудрых наших утесских стариков, это дверь — открыл и ...закрыл. А еще надо любить людей так, чтобы прощать им их слабости, хитрости, но только не подлости и предательства.

«Читать Малиновского — большая духовная работа, требующая от читателя ответной работы, роста души», — пишут студенты Нефтегорского государственного техникума в своем реферате «Тема родного края в произведениях А.С. Малиновского». Самарский журналист Дмитрий Денисов в статье «Три жизни Александра Малиновского» приводит одно из любимых его высказываний: «Писатель — человек, который делает открытие. А литература, должна усиливать желание жить». И вот это горячее и ничем неутолимое желание жить спасает героя повести «Отклонение».

Антонида Бердникова,
член Союза журналистов России, член Союза литераторов России

ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА

Читаю стихи Александра Станиславовича Малиновского, и в душе у меня занимается небесное полымя света. Оно, это полымя человеческой любви, ширится и возрастает до всех мыслимых и немыслимых границ и высот мирского бытия, до крыши Божьей. И с той недостигаемой высоты из самого зенита льётся песня жаворонка. И на душе покойно и светло, как бывает только в детстве.

*Времена наступили не лучшие,
Помнишь, как мы с тобой начинали?
Моих ранних стихов простодушие
Меня лечит теперь от печали.*

*Почитай мою книжечку первую,
Что когда-то дарил я тебе.
Как надеюсь сейчас и как верую,
Что останусь я верен себе.*

*Что не сдамся я веку циничному,
Хотя голос звучит мой не звонко.
В золотеющем поле пшеничном
Мне спасение — песнь жаворонка.*

*Его голос простой и негромкий,
Но мертво это поле без птахи.
Ты на небушке меж жаворонков
Стал своим в ярко-красной рубахе.*

*Твои песни светлы непривычно,
Ведь мои-то теперь как стерня.
Ах ты поле моё пшеничное,
Ты отрада всегда для меня.*

«Вот и всё. И всё понятно. Всё на русском языке», — так, бывало, говаривал Александр Твардовский. А он-то знал цену простому и вразумительному слову. «Так это было на земле...» — частенько повторял Твардовский, когда хвалил стихи. А уж по простоте и ясности Александр Малиновский даст фору любому стихотворцу. Стихи его светлые, про-

зрачные, ясные, согретые вековой крестьянской мудростью и добросердечностью.

*Колки мои и моё перелесье,
Лики моих земляков в поднебесье,*

*Лица живых земляков! И поныне
В сердце моём к вам любовь не остынет.*

*Зной над равниной и тень чернолесья —
Всё уместилось в сердечную песню.*

*Русичи, где мы?! Какими мы стали,
Колки мои и равнины устали.*

*Ждать возвращенья былого усердья,
Вялость душевная хуже нам смерти.*

*Дух наш восстанет, я верую свято:
Будут поля и просёлки опрятны.*

*Будет в душе не раздрай и смятенье,
Снова придут к нам и лад, и уменье.*

*Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тьму побеждает*

*Утренний свет. Над моею равниной.
Сумрак уходит, и разум былинный*

*Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики.*

Поэзия Александра Малиновского — это та высокая матица, на которой вековечно стояло и будет стоять РУССКОЕ НЕБО.

Евгений Семичев,
секретарь Союза писателей России, поэт

Содержание

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА. Документальная повесть... 5	
СТЕПНОЙ ЧАЙ. Цикл рассказов.....	113
ФИЛОСОФ. Цикл рассказов	155
ОКОШКО С ГЕРАНЬЮ. Стихи	191
А Я ТАКОЕ БЫ СКАЗАЛ. Стихи	251
ПЛАНЕТА ЛЮБВИ. Рассказ	291
ОТКЛОНЕНИЕ. Повесть	327
<i>Алексей Молько. «Умру — от любви к жизни».....</i>	<i>490</i>
<i>Вадим Дементьев. Молчание стало прорываться... 513</i>	
<i>Капиталина Кокшенёва. Хлебная корка</i>	<i>515</i>
<i>Антонида Бердникова. «Жил бы я... Кажется, что жил...»</i>	<i>521</i>
<i>Евгений Семичев. Песня Жаворонка</i>	<i>524</i>

*Проект «Издание Собрания сочинений
Александра Малиновского в 7-ми томах»
реализован при грантовой поддержке
Правительства Самарской области
и грантовой поддержке Администрации г. Самара.*

*Финансовую поддержку изданию оказали
Администрация муниципального района Нефтегорский
(глава муниципального района
Александр Викторович Баландин),
ООО ГК «ИНФОПРО» (генеральный директор
Павел Владимирович Сергиенко),
Сергей Анатольевич Тишин, Леонид Иванович Пешков,
Дмитрий Владимирович Сергиенко,
Василий Владиславович Никонов,
Евгения Сергеевна Попова, Владимир Иванович Петрушин,
Алла Николаевна Горборукова, Борис Фёдорович Ремезенцев,
Юрий Михайлович Тулупников, Юрий Минович Ример,
Дмитрий Сергеевич Колмыков, Андрей Евгеньевич Дорфман,
Дмитрий Владимирович Кошаев,
Владимир Александрович Тыщенко.*

*Подписались на один экземпляр издания:
Виктор Алексеевич Бесперстов, Татьяна Николаевна Иоффе,
Галина Васильевна Плотникова, Людмила Петровна Горюхина,
Василий Алексеевич Серебряков, Ольга Кузьминична Говорухина,
Владимир Дмитриевич Самсонов, Людмила Васильевна Чернецова,
Дмитрий Александрович Кузнецов и другие.*

**Малиновский
Александр Станиславович**

**Собрание сочинений в 7-ми томах
том 3**

Вёрстка — *А.В. Громов*
Дизайн обложки — *В.А. Лисина*
Автор фото на обложке — *К.М. Байгузин*

Издание подготовлено
Издательским домом «Российский писатель» (г. Москва),
Центром поддержки и развития творческих инициатив
им. А.С. Малиновского Самарского государственного
технического университета
и творческим объединением «РУССКОЕ ЭХО» (г. Самара)
443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон: (846) 333-48-01
www.litsamara.com
e-mail: litsamara@yandex.ru

Подписано в печать 10.06.2019 г. Формат 60х90 ^{1/16}.
Бумага офсетная. Гарнитура Exselsior.
Печать офсетная. Печ. л. 33,00.
Тираж 350 экз. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ООО «Слово»
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1;
тел.: (846) 267-36-82
e-mail: izdatkniga@yandex.ru